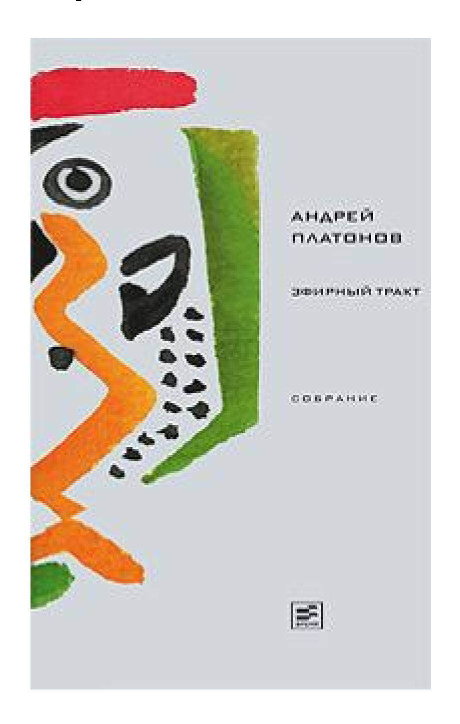
Андрей Платонович Платонов
Том 3. Эфирный тракт

Собрание сочинений – 3



«Собрание сочинений»: Время; Москва; 2009
ISBN 978-5-9691-0615-4

Аннотация

Перед вами — первое собрание сочинений Андрея Платонова, в которое включены все известные на сегодняшний день произведения классика русской литературы XX века.

В эту книгу вошли повести 1920-х — начала 1930-х годов «Эфирный тракт», «Епифанские шлюзы», «Город Градов», «Сокровенный человек», «Ямская слобода», «Впрок», «Ювенильное море», «Хлеб и чтение». Повесть «Хлеб и чтение» (реконструкция текста Н.В. Корниенко) публикуется впервые.

Повести «Эфирный тракт» и «Город Градов», издававшиеся раньше в искаженном цензурой и редактурой виде, публикуются в авторской редакции (из аннотации оригинального издания; в файле тексты представлены в старых вариантах).

Андрей Платонович Платонов
Собрание сочинений
Том 3. Эфирный тракт

Епифанские шлюзы

М.А. Кашинцевой

I

«Сколь разумны чудеса натуры, дорогой брат мой Бертран! Сколь обильна сокровенность пространств, то непостижимо даже самому благородному сердцу! Зришь ли ты, хотя бы умозрительно, местожительство своего брата в глубине азийского континента? Ведомо мне, того ты не умопостигаешь. Ведомо мне, что твои взоры очарованы многошумной Еуропой и многолюдством родного моего Ньюкестля, где мореплавателей всегда изрядно и есть чем утешиться образованному взору.

Тем усерднее средоточится скорбь во мне по родине, тем явственней свербит во мне тоска пустынножительства.

Россы мягки нравом, послушны и терпеливы в долгих и тяжких трудах, но дики и мрачны в невежестве своем. Уста мои срослись от безмолвия просвещенной речи. Токмо условные сигналы десятским я подаю на сооружениях своих, а они команду рабочим громко говорят.

Натура в сих местах обильна: корабельные леса все реки в уют одели, да и равнины почитай ими сплошь укрыты. Алчный зверь наравне с человеком себе жизнь промышляет, и сельские россы великое беспокойство от них держат.

Однако зерна и говядины здесь вдосталь, и обильное питание утучнение мне учинило, несмотря на мою душевную скорбь об Ньюкестле.

Это письмо не столько подробно, как предыдущее. Купцы, отправляющиеся в Азов, Кафу и Константинополь, уже починили свои корабли и готовятся к отлучке. Я с ними и посылаю эту графическую посылку, дабы она скорее достала Ньюкестля. А негоцианты спешат, ибо Танаид[1] может усохнуть и тогда не поднимет грузные корабли. А просьба моя невелика, и тебя с такого дела станет.

Царь Петер весьма могучий человек, хотя и разбродный и шумный понапрасну. Его разумение подобно его стране: потаенно обильностью, но дико лесной и зверной очевидностью.

Однако к иноземным корабельщикам он целокупно благосклонен и яростен на щедрость им.

На устье реки Воронеж построен мной двухкамерный шлюз с перемычкой, что дало помогу починкам кораблей на суше, не причиняя им большой ломки. Устроил я также большую перемычку и шлюз с воротами, придав ему размеры, достаточные для пропуска воды. Потом устроил другой шлюз с двумя большими воротами, через которые могли бы проходить большие корабли так, что их можно бы запирать во всякое время в пространстве, огражденном перемычкою, и спускать с него воду, когда корабли войдут в него.

И в той работе прошло шестнадцать месяцев. А с тем пришла другая работа. Царь Петер остался доволен трудами моими и приказал строить другой шлюз выше, дабы сделать реку Воронеж судоходного до самого города для кораблей в восемьдесят пушек. И эту тягость я снес в десять месяцев, и ничего с сооружениями моими не станется, пока свет стоит. Хотя и слаб грунт в месте шлюза и били могучие ключи. Немецкие помпы стали слабосильны от ключей, и шесть недель стояла работа от обильности тех ключей. Тогда мы изготовили машину, коя двенадцать бочек воды в минуту истребляла и работала без утиха восемь месяцев, и тогда мы посуху в глубь котлована пошли.

После столь понудных трудов Петер поцеловал меня и вручил тысячу рублей серебром, что немаловажные деньги. Еще сказал мне царь, что и Леонардо да Винчи, изобретатель шлюзов, не устроил бы лучше.

А сурьезность моей мысли в том, что я хочу тебя, любимый мой Бертран, позвать в Россию. Здесь весьма к инженерам щедры, а Петер большой затейщик на инженерные дела.

[1] Дон.

Самолично я услышал от него, что есть нужда в устройстве канала меж Доном и Окою, могучими туземными реками.

Царь желает создать сплошной водный тракт меж Балтикой и Черным и Каспийским морем, дабы превозмочь обширные пространства континента в Индию, в Средиземные царства и в Европу. Сие зело задумано царем. А догадку к тому подает торговля и купецкое сословие, кое все почитай промышляет в Москве и смежных городах; да и богатства страны расположение имеют в глубине континента, откель нету выхода, кроме как сплотить каналами великие реки и плавать по ним сплошь от персов до Санкт-Петербурга и от Афин до Москвы, а также под Урал, на Ладогу, в Калмыцкие степи и далее.

Но туго царю Петеру надобны инженера для столького дела. Ведь канал меж Доном и Окой немалое дело, и тут потребно усердие большое и пущее знание.

Вот я и обещал Петеру-царю, что позову из Ньюкестля брата Бертрана, а сам устал, да и невесту я люблю и соскучился. Четыре года в дикарях живу, и сердце ссохлось, и разум тухнет.

Напиши против сего писания твое решение по такому случаю, а я даю тебе совет, чтоб ехать. Трудно тебе будет, но через пять лет поедешь в Ньюкестль в избытке и кончишь жизнь на родине в покое и достатке. Для сего не скорбно потрудиться.

Передай мою любовь и тоску невесте моей Анне, а через малую длительность я вернусь. Скажи ей, что я уже питаюсь только кровоточием своего сердца по ней, и пускай она дождется меня. А затем прощай меня и глянь ласково на милое море, на веселый Ньюкестль и на всю родимую Англию.

Твой брат и друг, инженер

Вильям Перри.

1708 лета осьмого аугуста».

II

Весною 1709 года в первую навигацию в Санкт-Петербург прибыл Бертран Перри.

Путешествие из Ньюкестля он совершил на старом судне «Мери», много раз видавшем и австралийские и южноафриканские порты.

Капитан Сутерлэнд пожал Перри руку и пожелал доброго пути в страшную страну и скорого возвращения к родному очагу. Бертран его поблагодарил и ступил на землю — в чуждый город, в обширную страну, где его ожидала трудная работа, одиночество и, быть может, ранняя гибель.

Бертрану шел тридцать четвертый год, но угрюмое, скорбное лицо и седые виски делали его сорокапятилетним.

В порту Бертрана встретил посол русского государя и резидент[2] английского короля.

Сказав друг другу скучные слова, они расстались: государев посланец пошел домой есть гречневую кашу, английский резидент к себе в бюро, а Бертран — в отведенный ему покой близ морского цейхгауза.

В покоях было чисто, пусто, укромно, но тоскливо от тишины и уютности. В венецианское окно бился пустынный морской ветер, и прохлада от окна еще пуще говорила Бертрану об одиночестве.

На прочном и низком столе лежал пакет за печатями.

Бертран вскрыл его и прочитал:

> «По повелению государя и самодержца всероссийского, Наук-Коллегия любезно просит аглицкого морского инженера Бертрана-Рамсея Перри пожаловать в Наук-Коллегию — в водно-канальное установление, что по Обводному прошпекту помещение особое имеет.
>
> Государь имеет самоличное наблюдение за движением прожекта по

[2] Консул.

коммутации рек Дона с Окою — через Иван-озеро, реку Шать и реку Упу, — посему надлежит в прожектерском труде поспешать.

А с тем и вам следовает быть в Наук-Коллегий наспех, однако допустив себе отдых после морского перехода, сколь с чувствами и всей телесной физикой мирно станется.

По приказу Президента
Главный Уставщик и Юриспрудент Наук-Коллегий —
Генрих Вортман».

Бертран лег с письмом на широкий немецкий диван и нечаянно заснул.

Проснулся он от бури, тревожно гремевшей в окне. На улице, в мраке и безлюдье, беспокойно падал влажный густой снег. Бертран зажег лампу и сел к столу насупротив жуткого окна. Но делать было нечего, и он занимался.

Прошло длинное время, и земля давно встретила медленную ночь. Иногда Бертран забывался и, резко оборачиваясь, ожидал встретить родную комнату в Ньюкестле, а за окном — ландшафт теплой, людной гавани и смутную полоску Европы на горизонте.

Но ветер, ночь и снег на улице, молчание и прохлада в покоях — указывали Бертрану на иную широту положения его жилища.

И то, от чего он так долго отнекивался в своем сознании, вмиг застлало его фантазию.

Мери Карборунд, его двадцатилетняя невеста, сейчас, наверно, ходит по зеленым улицам Ньюкестля и носит в своей блузе сиреневую ветку. Быть может, другой ее водит под руку и шепчет убедительно про лживую любовь — то останется Бертрану навеки неизвестным. Он две недели плыл сюда, а что случиться может в этот срок в фантастическом безумном сердце Мери?

И разве может женщина ждать мужа пять или десять лет, растя в себе любовь к невидимому образу? Едва ли так. Тогда давно весь мир уже был бы благороден.

А ежели б в тылу имелась достоверная любовь, тогда бы каждый пешком пошел хоть на луну.

Бертран насыпал трубку индийским табаком.

— Однако Мери была права! На что ей нужен муж-негоциант или простой моряк? Она любезна мне и умница большая…

Мысли Бертрана шли стремительно, но чередуясь и соблюдая ясный такт.

— Неукоснимо ты права, маленькая Мери… Я помню даже то, как ты травою пахла. Я помню, ты сказала: мне нужен муж, как странник Искандер, как мчащийся Тамерлан или неукротимый Аттила. А если и моряк, то как Америго Веспуччи… Ты знаешь много и мудрица, Мери!.. Ты истинно права: если муж тебе дороже жизни, то пускай он будет интересней и редкостней ее! Иначе ты заскучаешь и несчастие тебя погубит.

Бертран неистово сплюнул табачную жвачку и сказал:

— Да, Мери, слишком ты остра на ранний разум! И я, пожалуй, сам такой жены не стою. Зато как хорошо ласкать такую резвую головку! То мне отрада, что под косой жены живет горячий мозг!.. Но еще посмотрим!.. Затем я и приехал в сию грустнейшую Пальмиру! Послание Вильяма не причастно к такой судьбе, но оно сердечному решению помогло…

Бертран окоченел и стал собираться спать. Пока он воображал Мери и умственно беседовал с ней, над Санкт-Петербургом успела рассвирепеть вьюга и, окорачиваясь у зданий, она студила покои.

Завернувшись в одеяло, укрывшись сверху морской шинелью из чертового вечного сукна, Бертран дремал, и тонкая живая печаль, не переставая, не слушаясь, разума, струилась по всему его сухому сильному телу.

На улице раздался странный резкий звук, будто корабль треснул по всей обшивке от удара льда; Бертран открыл глаза, прислушался, но мысль его отвлеклась от страдания, и он уснул, не опомнившись.

III

На другой день в Наук-Коллегий Бертран знакомился с замыслом Петра. Прожект был только начат.

Задание царя сводилось к тому, чтобы создать сплошной судовой ход меж Доном и Окою, а через то — всего придонского края с Москвою и волжскими провинциями. Для сего требовалось произвести большие шлюзовые и канальные работы, к прожектерству которых и был призван Бертран из Британии.

Следующая неделя ушла у Бертрана на знакомство с изыскательскими документами, по которым следовало прожектировать работы. Документы оказались добропорядочными и составлены знающими людьми: французским инженером генерал-майором Трузеоном и польским техником капитаном Цицкевским.

Бертран был доволен, ибо добрые изыскания делали способным скорое начатие строительных работ. Тайная дума Бертрана хоронилась в том предмете, что он очаровался Петром, еще будучи в Ньюкестле, и хотел стать его соучастником в цивилизации дикой и таинственной страны. А тогда бы и Мери восхотела его мужем своим иметь.

Искандер завоевывал, Веспуччи открывал, а теперь наступил век построек — окровавленного воина и усталого путешественника сменил умный инженер.

Трудился Бертран тяжко, но счастливо — горе его разлуки с невестой в работе припотухало.

Жил он в тех же покоях; адмиралтейских и штатских ассамблей не посещал и знакомств с дамами и их мужьями чуждался, хотя некоторые светские женщины и искали сообщества с одиноким англичанином. Бертран вел работу, как корабль, — осторожно, здравомысленно и скоро, избегая феоретических мелей и перекатов в своих планшетах.

К началу июля прожект был исполнен и планы начисто переписаны. Все документы были доложены царю, который их одобрил, а Бертрану приказал выдать награду в тысячу пятьсот рублей серебром, а впредь жалованье учредить по тысяче рублей в каждый месяц и назначить главным мастером и строителем всех шлюзов и каналов, что Дон с Окой соединить должны.

В тот же час Петр отдал приказ наместникам и воеводам, по провинциям которых шлюзы и каналы строиться будут, дабы они оказали полное воспособление главному инженеру — всем, чего он ни потребует. Бертрану же были даны права генерала, и соподчинение он имел только царю и главнокомандующему.

После официальной беседы Петр встал и имел к Бертрану речь:

— Мастер Перри! Я знаю твоего брата Вильяма, тот завидный речной корабельщик и на славу водяную силу братать может искусными устройствами. А тебе, не в пример ему, поручается зело умный труд, коим мы навеки удумали главнейшие реки империи нашей в одно водяное тело сплотить и тем великую помощь оказать мирной торговле, да и всякому делу военному. Через оные работы крепко решено нами в сношение с древлеазийскими царствами сквозь Волгу и Каспий войти и весь свет с образованной Европой, поелику возможно, обручить. Да и самим через ту всесветную торговлишку малость попитаться, а на иноземном мастерстве руку народа набить.

Через то я поручаю тебе к работам приступить немедля — судовому ходу тому быть!

А что сопротивленье тебе будут чинить, про то доноси мне гонцами — на живую и скорую расправу. Вот моя рука — тебе порука! Держи начало крепко, труд веди мудро — благодарить я могу, умею и сечь нерадетелей государства добра и супротивщиков царской воли!

Тут Петр с быстротой, незаконной в его массивном теле, подошел к Бертрану и тряхнул его руку.

Затем Петр повернулся и ушел в свои покои, прохаркиваясь и тяжко дыша на ходу.

Речь царя Бертрану перевели, и она ему понравилась.

Проект Бертрана Перри состоял в следующих частях: построить тридцать три шлюза из дикого и известкового камня, прорыть соединительный канал от деревни Любовки на реке

Шати до деревни Бобриков на Дону длиною двадцать три версты; реку Дон прочистить и углубить для судового хода от деревни Бобриков до деревни Гай, по длине в сто десять верст; кроме того, Иван-озеро, откуда Дон течет, а также весь канал — валом и земляными дамбами окружить и заулючить.

Всего, стало быть, требовалось устроить двести двадцать пять верст судового пути, один конец которого был в Оке, а другой внедрялся стодесятиверстным каналом в Дон. Ширину каналу следовало придать двенадцать сажен, а глубину — два аршина.

Строительное управление предусматривалось Бертраном в городе Епифани, в Тульской провинции, ибо в том городе сходилась середина будущих работ.

Вместе с Бертраном должны были ехать еще пять немецких инженеров и десять писцов из Административного Приказа.

День отбытия пал на восемнадцатое июля. В тот день к десяти часам утра к покоям Бертрана должны подать дорожные кареты для следования в глухой и терпеливый путь, держа маршрут на неприметный пункт — Епифань.

IV

Покуда векует на свете душа, потуда она и бедует.

Собравшись для изрядной еды, пять немцев и Перри понадеялись зарядиться пищей на сутки.

И действительно, животы они набили круто, готовясь для долгого созерцания тогдашних немощных русских пространств.

Уже Перри в дорожный рундучок пачки с табаком укладывал — последнее дело его перед всякой дорогой. Уже немцы письма своим семьям кончали, и младший из них, Карл Берген, вдруг разрыдался от жмущей сердце, неудержимой тоски по молодой, любимой еще жене.

И тут затряслась дверь от резкого стука казенной руки: так мог стучать посланный либо арестовать, либо известить о милости бешеного царя.

Но то был гонец из Почт-Приказа.

Он попросил указать ему Бертрана Перри, аглицкого капитан-инженера. И пять немецких рук, в родинках и веснушках, указали ему на англичанина.

Гонец нелепо выбросил вперед ногу и почтительно подал Перри некий пакет за пятью печатями.

— Сударь, соизвольте приять посыл из аглицкой державы!

Перри отошел от немцев к окну и вскрыл пакет:

> «Ньюкестль, июня 28.
>
> Мой славный Бертран! Ты не ждешь этой вести. Мне трудно тебя огорчать; наверно, любовь к тебе меня еще не оставила. Но уже новое чувство жжет меня. И жалкий разум мой напряжен, чтобы поймать твой милый образ, который так скорбно обожало мое сердце.
>
> Но ты наивен и жесток — ради наживы золота ты уплыл в дальнюю землю; ради дикой славы ты погубил мою любовь и мою ждущую нежности молодость. Я женщина, я слаба без тебя, как веточка, и отдала свою жизнь другому.
>
> Ты помнишь ли, мой славный Берт, Томаса Рейса? Вот он стал моим мужем. Ты огорчен, но признайся, что он очень славный и такой преданный мне! Некогда я отказала ему и предпочла тебя. Но ты уехал, и он долго утешал меня в моем ужасе и в моей тоскливой любви по тебе.
>
> Не печалься, Берт! Мне так тебя жалко! Ты думал, и вправду мне нужен был мужем Александр Македонский? Нет, мне нужен верный и любимый, а там пускай он хоть уголь грузит в порту или плавает простым матросом, но только поет всем океанам песни обо мне. Вот что нужно женщине, имей это в виду, глупый Бертран!
>
> Две недели уже, как вышла наша свадьба с Томасом. Он весьма счастлив, и я тоже. Кажется, у меня ребенок тревожится под сердцем. Видишь, как скоро! Это

потому, что Томас мой любимый и не оставит меня, а ты уехал колонии искать, — возьми их себе, а я взяла Томаса.

Прощай! Не печалься, а будешь в Ньюкестле — навести нас, мы будем рады. А умрешь — мы заплачем с Томасом.

Мери Карборунд-Рейс»

Перри, не помня рассудка, трижды кряду исчитал письмо. Потом взглянул в огромное окно: разбить его жалко — у немцев за золото куплено стекло. Стол проломить — тяжелой вещи в наличности нет. Немцу в физиономию дать — беззащитное существо, а один из них и так плакал. Пока свирепела ярость в Перри, а он колебался своим арифметическим рассудком, его лютость сама нашла себе выход.

— Герр Перри, у вас рот не в порядке! — сказали ему немцы.

— А что такое? — уже обессилев и чуя грусть, спросил Перри.

— Вытрите рот, герр Перри!

Перри с трудом вырвал трубку из впившихся в нее зубов. А зубы, сжав трубку, так уперлись в свои гнезда, что порвали десны, и из них текла горькая кровь.

— Что случилось, герр? Несчастие дома?

— Нет. Кончено, друзья…

— Что кончилось, герр? Ну пожалуйста, скажите!

— Кровь кончилась, а десна зарастут. Давайте ехать в Епифань.

V

Путешественники тянулись по Посольской дороге, что через Москву до Казани доходит, смыкаясь за Москвой с Калмиюсской Сакмой — татарской дорогой на Русь, по правой стороне Дона. На нее и следовало путникам сделать поворот, чтобы затем через Идовские и Ордобазарные большаки и малые столбы достигнуть Епифани — своего будущего местожительства.

Встречный ветер вместе с дыханием выдувал горе из груди Перри.

Он с обожанием наблюдал эту природу, такую богатую и такую сдержанную и скупую. Встречались земли — сплошные, удобрительные туки, но на них росла непышная растительность: худая, изящная береза и скорбящая певучая осина.

Даже летом так гулко было пространство, как будто оно не живое тело, а отвлеченный дух.

Изредка в лесу обнажалась церквушка — деревянная, бедная, со знаками византийского стиля в своей архитектуре. Под самой Тверью Перри заметил даже дух готики на одном деревенском храме, при протестантском постном убожестве самого здания. И на Перри задышала теплота его родины — скупой практический разум веры его отцов, понявшей тщету всего неземного.

Огромные торфяники под лесом прельщали Перри, и он чувствовал на своих губах вкус неимоверного богатства, скрытого в этих темных почвах.

Немец Карл Берген, — тот, что плакал в Санкт-Петербурге над письмом, — думал о том же. На воздухе он отживел, возбудился, забыл на время молодую жену и объяснил Перри, глотая слюну:

— Энглянд — это шахтмейстер[3]. Рюссланд — торфмейстер! Верно я говорю, герр Перри?

— Да, да, точно, — сказал Перри и отвернулся, заметив страшную высоту неба над континентом, какая невозможна над морем и над узким британским островом.

Изредка, но изрядно путешественники ели в попутных селениях. Перри пил целыми жбанами квашонку, в которой он нашел немалый вкус и способствование дорожному пищеварению.

[3] Горнорабочий.

Минувши Москву, инженеры долго помнили ее колокольную музыку и тишину пустых пыточных башен по углам Кремля. Особо восхитил Перри храм Василия Блаженного — это страшное усилие души грубого художника постигнуть тонкость, вместе — круглую пышность мира, данного человеку задаром.

Иногда перед ними расстилались пространные степи и ковыльные земли, на которых не было и следа дороги.

— А где же Посольский тракт? — спрашивали немцы ямщиков.

— А вот он самый, — указывали на круглое пространство ямщики.

— А сего незаметно! — восклицали немцы, вглядываясь в грунт.

— Так трахт одно направление, а трамбовки тут быть не должно! Он до самой Казани такой — все едино! — поясняли, поелику возможно, ямщики иноземцам.

— Ах, это знаменито! — смеялись немцы.

— А то как же! — всерьез подтверждали ямщики. — Оно так видней и просторней! Степь в глаза — веселья слеза!

— Весьма примечательно! — дивились немцы.

— А то как же! — поддакивали ямщики, а сами ухмылялись в бороду, дабы никому оскорбительно не было.

За Рязанью — обиженным и неприютным городком — уже редко жили люди. Тут шла бережная и укромная жизнь. Еще от татар остался этот страх, испуганные очи ко всякому путнику, потаенность характера и заулюченные чуланчики, где таилось впрок небогатое добро.

С удивлением вглядывался Бертран Перри в редкие укрепления с храмишками посредине. Окрест таких самодельных кремлей жили местные люди в кучах избушек. И видно было, что это — новосельные люди. А раньше все хоронились в уюте земляных валов и деревянных стен, когда татары По степному разнотравию достигали сих районов. Да и жил в тех крепостцах все более казенный народ, учиненный сюда князьями, а не полезные хлебопашцы. А теперь — разрастаются селитбища, а по осени и ярмарки гремят, даром что нынче царь то со шведами, то с турками воюет и страна— от того ветшает.

Вскоре путешественники должны повернуть на Калмиусскую Сакму — татарский ход по обочине Дона на Русь.

Однажды в полдень ямщик махнул кнутом без нужды и дико свистнул. Лошади взяли.

— Танаид! — крикнул Карл Берген, высунувшись из кареты.

Перри остановил экипаж и вышел. На дальнем горизонте, почти на небе, блестела серебряной фантазией резкая живая полоса, как снег на горе.

«Вот он, Танаид!» — подумал Перри и ужаснулся затее Петра: так велика оказалась земля, так знаменита обширная природа, сквозь которую надо устроить водяной ход кораблям. На планшетах в Санкт-Петербурге было ясно и сподручно, а здесь, на полуденном переходе до Танаида, оказалось лукаво, трудно и могущественно.

Перри видел океаны, но столь же таинственны, великолепны и грандиозны возлежали пред ним эти сухие, косные земли.

— На Сакму! — крикнул передовой ямщик. — Ухватывай ее в укос! Штоб к ночевке на Идовском большаке быть беспременно!

Овсяные кони схватили и понесли полной мочью, в соучастие нетерпеливым людям.

— Окоротись! — закричал вдруг передовой ямщик и для признака задним поднял кнутовище.

— Что вышло? — спохватились немцы.

— Стражника взять забыли, — сказал ямщик.

— Какой методой? — уже спокойно спросили немцы.

— За нуждой в отвершек на постое побежал, — глянул, а его нету на заднем причале!

— Эх ты, бурмистр бородатый! — резонно выразился второй ямщик.

— Да вон он лупит степью, плешивый чин, за ширинку держится! — успокоился виноватый ямщик.

И странствие тронулось, держа курс на полдень — на Идовские и Ордобазарные большаки, а оттуда — на малые епифанские столбы.

VI

Работа на Епифани взялась сразу.

Малоизвестный язык, странный народ и сердечное отчаяние низложили Перри в трюм одиночества.

И лишь на работе исходила вся энергия его души, и он свирепел иногда без причины, так что сподручные прозвали его каторжным командиром.

Епифанский воевода занарядил всех мужиков воеводства: кто камень ломал и к шлюзам подвозил, кто на канале землю рыл, кто реку Шать чистил по живот в воде.

— Что ж, Мери! — бормотал Бертран, бродя ночью по своему епифанскому покою. — Таким горем меня не взять! Покуда есть влага в сердце — спасусь! Построю канал, царь денег много даст, и — в Индию… Ах, как жаль мне тебя, Мери!..

И, путаясь в страдании, тяжких мыслях и в избыточных силах своего тела, Перри грузно и безумно засыпал, тоскуя и взывая во сне, как маленький.

Около осени приехал в Епифань Петр. Он остался недоволен работами:

— Скорбь в рундуке разводите, а не тщитесь пользу отечеству ускорить, — сказал царь.

Действительно, медленно шли работы, как ни ожесточался Перри. Мужики укрывались от повинности, а лихие головы сбегали в безвестные места.

Охальные местные люди вручили Петру челобитные, в коих велся учет злому начальству. Петр приказал повести дознание, откуда выяснилось, что воевода Протасьев за большие поборы освобождал слободских мужиков от повинностей, а поверх всего миллион рублей себе нажил на всяких начетах и требовательных ведомостях с казны.

Петр приказал Протасьева бить кнутом, а потом сослал его на Москву для дополнительного следствия, но он там досрочно с печали и стыда умер.

По отъезде Петра, когда срамота еще не забылась, другая беда нашла на епифанские работы.

Карл Берген ведал работами на Иван-озере, — валом земляным его огораживал, чтобы воду в нем поднять до нужной судоходной глубины.

В сентябре Перри получил от него рапорт — где указывалось:

«Пришлые люди, особливо московские чиновники и балтийские мастера, волею божьею чуть не все лежат больны. Великий им упадок живет, а болят и умирают больше лихорадкою и пухнут. Простолюдин же местный терпит, но при всякой тяжести и спехе работы в болотной воде, коя прохладна стала близу осени, бунт норовит учинить. Заключу сие тем, что, тако и далее пойдет, без начальников и мастеров мы очутиться можем. А затем жду спешных приказов главного инженера-строителя».

Перри уже знал, что балтийские мастера и техники-немцы не только болеют и умирают в болотах Шати и Упы-реки, но также и бегут по тайным дорогам на родину, ухватывая великие деньги.

Перри боялся весеннего половодья, которое грозило разрушить начатые и беспомощные сооружения. Он хотел довести их до безопасного состояния, чтобы полые воды особого вреда им не причинили.

Однако того достигнуть было трудно, — технические чиновники умирали и сбегали, а мужики того пуще мутились и целыми слободами не выезжали на работу. Одному же Бергену не управиться с такими злодеяниями и болотную мороку не залечить.

Тогда Перри, чтобы хоть одно зло усечь, издал по работам и всем окружным воеводствам приказ: под смертною казнью, чтобы иноземцев — канальных и шлюзных мастеров — нигде не пропущали, и в подводы под них никто не наряжался, и лошадей бы не продавали, и в ссуды не давали.

А под приказом Перри поставил подпись Петра, — для устрашения и исполнения: пускай потом царь поругает, нельзя же ехать к нему в Воронеж, где он флот на Азов снаряжал, чтобы подпись его получить и два месяца времени упустить.

Но и так пристрожить мастеровых людей не удалось.

Тогда Перри увидел, что зря таким штурмом он работы повел и столь многочисленных работных, служилых и мастеровых людей в них сразу втравил. Следовало бы начать работы спрохвала, чтобы дать народу и мастеровым к труду такому притерпеться и очухаться.

В октябре работы стали вконец. Немцы-инженеры клали все силы на то, чтобы людской охраной сооружения и заготовленные материалы снабдить, но и то не удавалось. Через это немцы слали с каждой оказией Перри рапорты, чтобы их он уволил с работ, ибо их царь запороть может, когда приедет, а они неповинны.

Однажды епифанский воевода пришел к Перри в воскресенье.

— Бердан Рамзеич! Каку штуку я тебе принес! Непостижное охальство!

— Что такое? — спросил Перри.

— А ты погляди, Бердан Рамзеич! Да ты вдумайся в документ втихомолку, а я так посижу… Штой-то дюже бездомно у тебя, Бердан Рамзеич! Да што сказать — жен у нас по тебе нету. То я вижу и тому сочувствую…

Пери развернул грамотку:

> «Петру Первому Алексеичу, Русскому Самодержцу и Государю.
>
> Мы, холопы твои и крестьянишки наши, в той год у твоего, Великий Государь, канавного и слюзного дела приставлены неотлучно были, во время пахотное, и жатвенное, и сенокосное в домишках своих не были и ныне по работе ж и за тою работою озимого хлеба не сбирали, а ярового не усеяли, и сеять некому и нечем, и за безлошадьем ехать не на чем, а который у нашей братьи и крестьянишек наших старого припасу молоченой и немолоченой хлеб был, и тот хлеб служилые и работные люди, идучи на твою, Великого Государя, службу и на Епифань на работу, много брали безденежно, а остальной волею божьей от мышей поеден без остатку, и многое нам и крестьянишкам нашим такие служилые и работные люди обиды и разоренье чинят и девок до времени всех почитай оскоромили».

— Чуешь, Бердан Рамзеич? — спросил воевода.

— Как это попало к вам? — удивился Перри.

— А так — дуриком: у писаря моего две недели какие-то холуи чернил допытывались аль состав просили сказать за окорок ветчинный. Токмо писарь мой жох и сам вотчинник — чернила дай, а сам в слежку, да так и дознался и грамотку проведал… Ведь, окромя воеводского приказу, в Епифани чернилов нету и составные краски никому не ведомы!..

— Неужели мы так народ и вправду умучили? — спросил Перри.

— Да што ты, Бердан Рамзеич! Это у нас народ такой охальник и ослушник! Ему хоть ты што — он все челобитные пишет да жалобы егозит, даром што грамоте не учен и чернильного состава не знает… Вот погоди, я их умещу в тесное место! Я им покажу супротивщину чинить и царю без угомону писать… Ведь это наказанье господне! И зачем их слова обучали говорить? Раз грамоты не разумеют, и от устных слов надобно отучить!..

— А вы имеете донесения, воевода, с Иван-озера? Целы там те колонны пеших рабочих и подвод, коих вы из Епифани со стражниками погнали?

— Каки колонны? Это што я на спас послал? Куды тебе, Бердан Рамзеич! Стражник один, — тому десять дён, — прискакал оттыльча, сказывал, что пешие все на Яик и Хопер убегли, а семьи их истинно по Епифани с голоду маются. Отдыху от баб не вижу, а окромя всяка стервь доносом норовит меня унять… Стерегусь государя, Бердан Рамзеич! Нагрянет — порке без оглядки предаст. Уж ты заступись, Бердан Рамзеич, аглицким богом тебя прошу!..

— Хорошо, заступлюсь, — сказал Перри. — Ну, а конные подводы работают на

Иване?..

— Што ты, Бердан Рамзеич! Кони пеших упредили: все по степям и неприметным хуторам разбеглись и утаились. Да разве сыщешь? Только то не к добру — лошади извелись на работах и к пахоте боле не пригожи, а многие пали кончиной в степи… Тах-то, Бердан Рамзеич!

— Да! — воскликнул Перри и сжал руками свою твердую, худую голову, в которой сейчас не было никакого утешения.

— Так что ж ты думаешь делать, воевода? — спросил Перри. — Ведь мне рабочие нужны! Как хочешь делай, — давай пеших и конных, а то шлюзы весной смоет, а царь мне не спустит!

— Как хошь, Бердан Рамзеич! Голову мою бери, — в Епифани одни бабы остались, а в остальной воеводской земле разбой свищет. В свое воеводство показаться не могу, — куды там рабочих сыскать! Мне одна тропка: от народа голову сберег — царь снесет!

— Это меня не касается! Вот тебе наряд, воевода, на неделю: на Иван-озеро поставить пятьсот пеших, сто конных; на шлюз, что при деревне Сторожевой Дубровке, тысячу пятьсот пеших и четыреста конных; на Нюховской шлюз две тысячи пеших и семьсот конных; еще на Любовской канал, между Шатью и Доном, четыре тысячи пеших и полторы тысячи конных, да на Гаевский шлюз конных сто и пеших шестьсот. Вот бери наряд, воевода! Чтоб вся эта рабочая сила была поставлена в одну неделю! Не сделаешь — отправлю рапорт царю!..

— Слухай меня, Бердан Рамзеич!..

Перри перебил:

— Больше не слушаю. Нечего тебе мне страдать и песни петь, — я не невеста! Чтоб были рабочие, а жалобы мне не нужны! Ступай в воеводство и делай мне живых людей!

— Слухаю, Бердан Рамзеич, слухаю, сударь! Токмо ни хрена не выйдет, вот тебе покойница— мать…

— Ступай в свое воеводство! — раздраженно сказал Перри.

— Дозволь тогда, Бердан Рамзеич, хучь камень дикий возкой до весны оставить. Он и пужает мужиков, — дюже тяжесть агромадна, да и ломка на Люторце не способна…

— Дозволяю, — ответил Перри, догадавшись, что сейчас ему не до новых работ, впору сделанное от разлива уберечь. — Только ты ступай, воевода! Очень ты речист, а на дело хитер без смысла!

— Благодарим за камень! Прощевайте, Бердан Рамзеич!..

Воевода негромко выговорил еще несколько слов и удалился.

Последние слова он сказал на местном языке, по-епифански, поэтому Перри ничего в них не понял. А если б и понял, то добра бы в них себе не увидел.

VII

На зиму все пять немцев-инженеров тоже приехали в Епифань. Они обросли бородами, постарели за полгода и явно одичали.

Карла Бергена грызла жестокая скорбь по своей германке-жене, но он подписал договор с царем на год, а ранее уехать было нельзя: в ту пору лиха была русская расправа. Поэтому молодой немец дрожал от ужаса и семейной тоски и работа у него валилась из рук.

Остальные немцы тоже заплошали и жалели, что приехали в Россию за длинными рублями.

Один Перри не сдавался, и сердечная печаль по Мери находила себе исход в его лютой энергии.

На техническом совете с немцами Перри выяснил, что положение с недоделанными шлюзами грозное. Весенние воды могут начисто снести сооружения, особенно же Люторецкой и Муровлянской шлюзы, откуда еще в августе сбежали все рабочие.

По последнему наряду Перри епифанский воевода ничего не поставил: то ли злая воля

в том его была, то ли правда — рабочих согнать нельзя было.

Обсудив работы, инженеры не выдумывали, как уберечь шлюзы от весны. Перри знал, что царь Петр приказывал в Петербурге инженерам, которые строили корабли, чтобы они надевали черные погребальные балахоны. Если спуск и пробное плавание нового корабля проходили отлично, царь давал инженеру-корабельщику награду сто либо более рублей, смотря по емкости судна, и личными руками снимал с инженера смертный балахон. Если же корабль давал течь и кренился без причины, еще пуще того — тонул у берега, царь предавал таких корабельщиков на скорую казнь — на снос головы.

Перри не боялся утраты своей головы, однако допускал ее, но немцам ничего не говорил.

Потянулась великорусская зима. Епифань засыпалась снегом, окрестности окончательно замолчали. Казалось, что люди здесь живут с великой скорбью и мучительной скукой. А на самом деле — ничего себе. Ходили друг к другу на многие праздники, пили самодельное вино, ели квашеную капусту и моченые яблоки и по разу женились.

Загнанный скукой и одиночеством, один из немцев — Петер Форх — женился рождеством на епифанской боярышне — Ксении Тарасовне Родионовой, дочери богатого торговца солью. Отец ее имел свой обоз в сорок подвод, который странствовал меж Астраханью и Москвой с двадцатью чумаками, снабжая солью полночные провинции. А в молодости Тарас Захарович Родионов и сам чумачил. Петер Форх переселился к тестю и вскоре пополнел от мирной жизни и заботливого питания.

Все инженеры, под началом Перри, до самого нового европейского года усердно занимались составлением исполнительных чертежей, смет на израсходованные материалы и рабочие руки, а также прожектировали всякие способы безопасного пропуска весенних вод.

Перри написал царю рапорт, где изложил всю историю работ, указал на роковую нехватку рабочих и усомнился в конечном благополучии. В копии свой рапорт Перри направил аглицкому послу в Санкт-Петербург, — на всякий случай.

В феврале в Епифань прибыл царский курьер с пакетом Перри.

> «Бертрану Перри,
> Главному инженеру-строителю Епифанских шлюзов
> и каналов меж Доном и Окой реками.
>
> Слух о твоей неспособной работе дошел до меня допрежь твоей челобитной. Из сей незадачи я усматриваю, что тамошний епифанский народ — холуй и пользы своей не принимает, а сверх того и тебе следовало круче волю мою гнуть и утруждать сподручных втугачку, дабы никому не было под стать на ослушание решиться: будь то мастер-иноземец или черный люд.
>
> Обсудив круг мыслей, до Епифанских шлюзов касающихся, я порешил упредительные меры на нонешнее лето.
>
> Воеводу твово я прогнал и епитимью ему назначил — с Азова брандеры на Воронеж гнать по мелям великим. А новым воеводой посылаю тебе Гришку Салтыкова — человека твердого и ходовитого, мне известного и лихого на скорую расправу. Он тебе будет первый помощник по пешей и гужевой силе.
>
> Кроме того, я объявляю епифанское Воеводство на военном положении, а мужское население забираю в солдаты сплошь. Затем я шлю тебе поручиков и капитанов отборного свойства, кои с ротами епифанских рекрутов и ополченцев придут на твои работы, а ты считайся полным генералом, а помощникам и сподручным мастерам также раздай подобающие чины, коих с них станет.
>
> В иных смежных воеводствах, кои работам твоим под стать, так же я военное положение учредил…
>
> Ежели и в нонешнем лете прогадаешь со шлюзами и каналами — тогда гляди сам. Что ты британец — отрадой тебе не станется».

Перри обрадовался такому ответу Петра. Успех работ после таких епифанских реформ был теперь обнадежен. Лишь бы весна особо не нагадила и прошлогодний труд не пошел

прахом и убытками.

В марте Перри получил из Ньюкестля письмо. Он прочел его, как весть с того света, до, того заржавело его сердце к своей минувшей судьбе.

> «Бертран!
>
> В новогодний день умер мой первенец, мой сын. Все тело мое болит при воспоминании о нем. Ты прости, что я тебе пишу, чужому теперь человеку, но ты верил в мою искренность. Ты помнишь, я тебе говорила — кому первому отдаст женщина свой поцелуй, того она помнит всю жизнь. И я тебя помню и поэтому пишу о своем потерянном даре — маленьком сыне. Он был мне дороже мужа, дороже твоей памяти и дороже себя. О, во сколько раз дороже всех моих кровных драгоценностей! Не буду писать о нем тебе, а то заплачу и не кончу и второго письма. Первое я тебе послала месяц назад.
>
> Муж мне стал совсем чужой. Он много работает, ходит по вечерам в морской клуб, а я одна, и мне так скучно! Единственное мое утешение — чтение книг и письма к тебе, которые я тебе буду писать часто, если ты не обидишься.
>
> Прощай, дорогой Бертран! Ты мил мне, как друг, и словно далекий родственник, в тебе мое чувство нежных воспоминаний. Пиши мне письма, я буду очень рада их получать. В жизни меня держит только любовь к моему мужу да память о тебе. Но мертвый мой мальчик в моих сновидениях зовет меня разделить с ним его мучения и его смерть.
>
> А я все живу, бессовестная и трусливая мать.
>
> Мери.
>
> NB. В Ньюкестле жаркая весна. По-прежнему в ясные дни виден берег Европы за проливом. Этот берег всегда мне напоминает тебя, и оттого мне еще тоскливее бывает.
>
> Помнишь ли ты стихи, которые писал мне в своем письме когда-то!
>
> …Возможность страсти горестной и трудной —
>
> Залог души, любимой божеством…
>
> Чьи это стихи? Помнишь ли ты свое первое письмо ко мне, где признался мне в любви, стыдясь сказать мне в лицо роковые слова. Я тогда поняла мужество и скромность твоей натуры, и ты мне понравился».

После письма Перри охватила человечность и нежное чувство покоя: быть может, он был доволен несчастьем Мери, — судьба обоих теперь уравновесилась.

Не имея в Епифани близкого знакомого, он начал ходить в гости к Петеру Форху; пил там чай с вишневым вареньем и беседовал с женой Форха — Ксенией Тарасовной — о далеком Ньюкестле, теплом проливе и о европейском береге, который виден из Ньюкестля в прозрачные дни. Только о Мери Бертран ни с кем не говорил, скрывая в ней источник человечности и общительности. Шел март. Епифанцы постились; заунывно звонили в православных храмах, а на водоразделах уже почернели поля.

Хорошее душевное расположение Перри не проходило. Мери на письмо он не ответил ничего, да и мужу ее не понравятся его письма; писать же общие вежливые слова ему не хотелось.

Немецких инженеров Перри разослал по наиболее опасным шлюзам для руководства работами по пропуску вешних вод.

Мужики теперь ходили в солдатах. А новый воевода, Григорий Салтыков, лютовал по воеводству без спуску и милости; тюремные дома были туго населены непокорными мужиками, а особая воеводская расправа, порочная хата тож, действовала ежедневно, кнутом вбивая разум в мужиков.

Рабочих, и пеших и конных, теперь было вдосталь, но Перри видел, сколь это непрочно: каждый час мог вспыхнуть бунт, и не только все побегут с работ, но и сооружения будут злостно разрушены вмах.

Но весна выдалась недружная: днем текло малыми порциями, а ночами прихватывало. Через шлюзы вода исходила, как сквозь худое ведро; поэтому немцы и дежурные рабочие

успевали затыкать талой землей щели в водоспусках, и особых разрух не происходило.

Перри был весьма доволен и чаще навещал одинокую теперь супругу Форха, беседуя с ее отцом о чумаках-солевозах, татарских нашествиях и о сладких травах старых ковыльных степей.

Наконец разгорелась летним огнем провинциальная прелестная весна, а затем стихла молодость природы. Наступила зрелость и злоба лета, и вся жизнь по земле затревожилась.

Перри решил к осени все каналы и шлюзы закончить. Он соскучился по морю, по родине, по старику отцу, жившему в Лондоне.

Грусть отца по сыну измерялась пеплом из его трубки: от тоски по сыну отец неугомонно курил. Он и сказал на прощанье:

— Берт! Сколько мне табаку сжечь придется, пока я увижу тебя…

— Много, отец, много! — ответил Бертран.

— Да уж не берет меня никакой яд, сынок! Скоро, наверно, жевать табачный лист начну…

В начале лета работа пошла спешно. Напуганные царем мужики усердно трудились. Однако иные ветхопещерники бежали и укрывались в дальних скитах. А некоторые неуемные головы сшептывались меж собой и увлекали цельные роты на Урал и в калмыцкие степи. За ними учреждали угон, но толку от него никогда не случалось.

В июне Перри поехал по работам. Скорость их и успешность он нашел достаточными.

А Карл Берген совсем обрадовал его. На Иван-озере, на самом низком дне, он обнаружил бездонный колодезь-окно. Оттуда поступало в озеро столь много ключевой воды, что ее хватит на дополнительное питание каналов в мелководные сухие годы. Следует только на Иван-озере подсыпать прошлогодний земляной вал еще на сажень, чтобы собирать из колодца в озеро больше воды, а затем пускать эту воду в каналы по особому спуску, когда надобность в том явится.

Перри одобрил изобретение Бергена и приказал тот колодезь желонкой расчистить и опустить в него большую железную трубу с сеткой, чтобы колодезь не заилился вновь. Воды тогда в озеро будет подтекать еще больше, и водный путь в засуху не обмелеет.

Страх и сомнение ужалили гордость Перри, когда он возвращался в Епифань. Петербургские прожекты не посчитались с местными натуральными обстоятельствами, а особо с засухами, которые в сих местах нередки. А выходило, что в сухое лето как раз каналам воды не хватит и водный путь обратится в песчаную сухопутную дорогу.

По приезде в Епифань Перри начал пересчитывать свои технические числа. И вышло еще хуже: прожект составлен был по местным данным от 1682 года, лето которого изобиловало влагой.

Поговорив с местными людьми и тестем Форха, Перри догадался, что и в средние по снегам и дождям годы каналы будут так маловодны, что по ним и лодка не пройдет. А про сухое лето и говорить нечего, — одна песчаная пыль поднимется на канальном русле.

«Тогда я отца-то, пожалуй, больше не увижу! — подумал Перри. — И в Ньюкестль я не поеду и берега Европы не посмотрю!»

Единственная надежда осталась на ключ на дне Иван-озера. Если он даст много воды, то ею можно будет прокормить каналы в суховейные годы.

Но это открытие Бергена все же не возвращало тихого покоя душе Бертрана, какой он имел после письма Мери. Втайне он не верил, чтобы колодезь Иван-озера способен был помочь обильной водой, но укрывал свое отчаяние за этой маленькой надеждой.

Сейчас на Иван-озере шла постройка особого плота, с которого подводный колодезь пробурят глубже и вставят в него широкую чугунную трубу.

VIII

В начале августа Перри получил от Карла Бергена служебный рапорт. Принес его воевода Салтыков:

— Вот, ваше превосходительство, тебе писуля пришла. Ребята мои сказывали, что мужицкая гнида вся с Татинского слюза анамеднись молчком ушла. Так я тебе спокой нащет слюза того даю: завтра баб тех, коих мужики убегли, всех сгоню на Татинку. А бегунов словлю и военно-полевому суду отдам. Снесу головы, тады поумнеют. Видно тах-то!..

— Я с тобой согласен, Салтыков! — сказал помертвевший от забот Перри.

— Так, стало, ты, ваше превосходительство, тады те смертные казни подпишешь? Упреждаю тебя, теперича ты тут всему делу голова.

— Ладно, подпишу… — ответил Перри.

— А еще, генерал, завтра у меня дочерины смотрины. Один ухажер московский, купецкий сын, мою Феклушу в дом себе примает на супружество. Так ты приходи подчеваться…

— Благодарю. Может, зайду. Спасибо, воевода.

Салтыков ушел; Перри разодрал пакет Бергена:

«Конфиденциально!

Коллега Перри!

С 20 по 25 июля производилось бурение подводной скважины на Иван-озере — для углубления, уширения и прочистки ее. По вашей задаче следствием должен быть сильный приток подземных вод в Иван-озере.

Бурение остановлено на десятой сажени по причинам, сказуемым ниже.

В 8 часов вечера 25 июля, желонка перестала таскать вязкую глину и вынималась с сухим мелким песком. При сей процедуре я присутствовал неотлучно.

Отчалив от бурильного плота, чтобы достигнуть берега по случайной нужде, я обнаружил торчащую траву над горизонтом воды, которой раньше не замечал. Ступив на береговое сухопутье, я услышал, что завыла собака, по, местному прозвищу Илюшка, что питается с солдатского котла. Это меня немало смутило, несмотря на мою веру в бога.

Солдаты-рабочие доказали мне, что с полудня и до сей поры вода в озере убывает. Подводная трава оголилась и показались два невеликих островка, посредине воды.

Солдаты были в ужасном страхе и говорили, что мы озерное дно сквозь продолбили трубой и озеро теперь исчахнет.

Действительно, на берегу явно был заметен вчерашний урез воды, а также нонешний, и разница была на полсажени ниже.

Воротившись на борт плота, я приказал бурение кончить и немедля начать забивку скважины. Для сего мы опустили в подводный колодезь чугунную крышку аршин в поперечнике, но ее сразу утащило в подземную глубину, и она пропала. Тогда начали забивать в скважину обсадную трубу, набитую глиной. Но и ту трубу засосала скважина, и она утащилась туда. И сосание то длится посейчас, и вода из озера гнетется туда безвозвратно.

Сему объяснение простое. Бурильной желонкой мастер пробил тот водоупорный глинистый пласт, на котором вода в Иван-озере и держалась.

А под тою глиной лежат сухие жадные пески, кои теперь и сосут воду из озера, а также железные предметы влекут.

И дальше не ведаю, что и делать, о чем и прошу ваших приказов».

Душа Перри, не боявшаяся никакой жути, теперь затряслась в трепете, как и подобает человеческой натуре. Бертран не выдержал такого роста горя и жалобно заплакал, упершись лбом в стол.

Судьба его нагоняла всюду: он утратил родину, потом Мери, теперь случилась неполадка работ. Он знал, что не выберется живым из этих просторных суходолов и не увидит больше ни Ньюкестля, ни Европы на том берегу, ни отца с трубкой, ни Мери в последний раз.

Пустая, низкая комната звучала от неистового скрежета зубов и плача Перри. Он

опрокинул стол и метался в тесноте, воя от хлынувшего страдания и потеряв всякий характер. Сила горя свирепела в нем и запечатлевалась как попало и без всякого надзора со стороны разума.

Смирившись затем, Бертран улыбнулся и устыдился такого бесстыдного отчаяния. Потом вынул книжку из чемодана и начал читать:

> «**АРТУР ЧЕМСФИЛЬД**
> **ЛЮБОВЬ ЛЕДИ БЕТТИ ХЬЮГ**
> Роман в 3-х томах и 40 частях.
>
> Сударыня! Любвеобильное сердце мое, терзаясь и стеная, взывает к вам с ангельской мольбою: предпочтите меня всем светским мужчинам или возьмите из груди сердце сие и скушайте его, как жидкое яйцо!
>
> Мрачный вихрь сотрясает своды моего черепа, и кровь пылает, как жидкая смола! Нюжли не приютишь, сударыня Бетти? Нюжли не боишься надгробной тоски над чужеродным тебе, но верным человеком?..
>
> Мистрис Бетти, я знаю, что мистер Хьюг застрелит меня из старого ружья лежалым порохом, как только я приближусь к вашему дому. Пускай то случится! Пускай обличится роковая моя судьба!
>
> Убийца я домашних очагов! Но сердце ищет милости под комбинезоном любимой, где бьется ее сердце под холмами наивных грудей!
>
> Бродяга я неприютный! Но благосклонности прошу у вашего солидного супруга!
>
> Мне наскучило любить лошадей и прочих животных, и я ищу любви у более субтильного существа — женщины…»

Перри замер в нечаянном, но глубоком и свежем сне, а книга свалилась — навсегда не прочитанной, но интересной.

Наступил вечер; комната остыла, потускнела и наполнилась воздыханием неясных лучей тайного и захолустного неба.

IX

Прошел значительный год — долгая осень, длиннейшая зима и робкая, редкостная весна.

Наконец внезапно распустилась сирень — эта роза русской провинции, дар скромных палисадов и признак неизбежной деревенской мечты.

Вся группа работ, что именуется Государственным Доно-Окским Водным Ходом, была совершена.

Предстояло многолетнее плавание небольших и значительных судов, кои к лицу сухопутной стране.

Зной водворился с мая. Сначала поля заблагоухали телами юных растений, а потом, в июне, оттуда понесло прахом вянущих листьев и остротой скисающих от жаркого мора цветов: не было дождя.

На испытание шлюзов и каналов государь прислал французского инженера, генерала Трузсона, с особой коллегией при нем из трех адмиралов и одного инженера-итальянца.

— Инженер Перри! — заявил Трузсон. — По приказанию государя императора предлагаю вам через неделю весь путь от Дона до Оки привести в судоходное состояние! Я имею полномочия его величества освидетельствовать все водные сооружения, дабы обнаружить и установить их добротность и целям государя соответствие.

— Слушаю! — ответил Перри. — Водный ход будет готов через четыре дня!

— О, это знаменито! — провозгласил довольно Трузсон. — Исполняйте, инженер, и не задерживайте наше отбытие в Санкт-Петербург!

Через четыре дня затворы водоспусков были опущены, и вода начала накопляться в шлюзовые плесы. Однако накоп был столь незначителен, что и в глубоких местах более

аршина не получилось. Кроме того, когда вода, запертая шлюзами, чуть поднялась в реке, то подземные ключи перестали биться. На них налег тяжелый пласт воды и задушил их.

На пятый день вода в междушлюзные пространства совсем перестала добавляться. К тому же был зной, бездождие, и из балок не было никакого подтока.

С Шати-реки от Муровлянского шлюза пущена была байдара, груженная лесом, с осадкой в пять четвертей аршина. Отплыв от шлюза на полверсты, она села на мель на самом фарватере.

Трузсон и его испытательная коллегия ездили на тройках по обочине водного пути.

Из крестьян, кроме нужных рабочих, никого не было на открытии водного хода. Мужики не чаяли, когда эта беда минует Епифань, а по воде никто не собирался плавать; может, пьяный когда вброд перейдет эту воду поперек, и то изредка: кум от кума жил в те времена верст за двести, потому что сосед соседа в кумовья не брал, — бабы не дружили.

Трузсон ругался по-французски и по-английски, но то была немощная ругань. А по-русски он не умел. Поэтому даже рабочие на шлюзах не пугались генерала — не понимали, чего кричал и брызгал ртом этот русский генерал из иноземцев.

А что воды мало будет и плавать нельзя, про то все бабы в Епифани еще год назад знали. Поэтому и на работу жители глядели как на царскую игру и иноземную затею, а сказать, к чему народ мучают, — не осмеливались.

Только епифанские бабы жалели мрачного Перри:

— Удобен да статен, пралич, и не стар будто, а с бабами не жирует. Не то скорбь кака гложет, не то бабу свою схоронил; — кто же его знает, не сказывает… А уж дюже горемычен на лицо — аж жутко…

На другой день нарядили сто мужиков мерщиками. Мужики пустились прямо вброд. Только у самых шлюзовых плотин они малость плыли, а то вброд всюду тянулись. В руках они несли шесты, и десятские зарубали на них глубины, а больше мерщики мерили голенями и потом отсчитывали четвертями, а в четверти у иных были пол-аршина. Пятипалая рука тогда имела мощный мах в пальцах и мерным работам не способствовала.

Через неделю все водные ходы были промерены, и Трузсон посчитал, что и лодка не везде пройти может, а в иных местах и плота вода не подымет.

А царь приказал глубину устроить, чтобы десятипушечным кораблям безопасно по ней плавать можно было.

Коллегия Трузсона составила испытательную ведомость и зачитала ее Перри и его сподручным немцам.

В ведомости говорилось, что каналы, а равно и шлюзованные речки, не гожи для плавания и кораблевождения по причине малости вод. Затраты и труды надо почитать напрасными и никому не впрок. Далее того предлагалось распорядиться воле царя.

— Да, — сказал один адмирал из приспешников Трузсона, — учредили водяной ход! Вечное посмешище установили, великие тяготы народные расточили!.. Испозорили, изглумили государя вдрызг, — у меня и то изжога началась от таких делов!.. Ну, теперча гляди, немцы! И ты, англичанский чудотворец, теперь кнута жди — да это еще милость!.. Страхота сию ведомость царю доложить — морду хлобыстать почнет!..

Перри молчал. Он знал, что прожект был исполнен по изысканиям того же Трузсона, но все равно ему спасаться не к чему.

На другой день, на восходе солнца, Трузсон уехал со своими людьми.

Перри не знал, куда ему деть привычную работоспособность, и гулял в степях целыми днями, а вечерами читал английские романы, но другие, а не «Любовь Бетти Хьюг».

Немцы сгинули через десять дней после Трузсона. Воевода Салтыков снарядил за ними угон, но угонные стражники еще не вернулись.

В Епифани из немцев остался только женатый Форх, как любивший супругу человек.

Воевода Салтыков учредил за Перри и Форхом неявный надзор, но то было известно и Перри и Форху. Салтыков ждал каких-то приказов из Петербурга и на глаза Перри не показывался.

Перри одичал сердцем, а мыслью окончательно замолчал. Начинать что-нибудь делать серьезное было не к чему. Он знал, что его ждет расправа царя. Однако в кратком смысле он написал британскому посланнику в Петербург, прося его вызволить подданного британского короля. Но Перри чувствовал, что воевода не пошлёт его письмо с очередной оказией или запакует его в казенную сумку и направит в Тайный Петербургский Приказ.

Через два месяца Петр прислал нарочного с секретным пакетом. Царский курьер ехал в карете, за каретой мчались мальчишки, и пыль за ними расцвечивалась радугой от вечернего солнца.

Перри стоял тот час у окна и видел весь этот скорый ход собственной судьбы. Он сразу догадался, с чем приехал посланец, и лег спать, чтобы скоротать ненужное время.

На другой день, на заре солнца, к Перри постучали.

Вошел воевода Салтыков:

— Аглицкий подданный, Бердан Рамзеич Перри, объявляю тебе волю его императорского величества: с сего часа ты не генерал, а штатский человек и сверх того преступник. На государеву расправу ты пешеходом гонишься в Москву со стражниками. Собирайся, Бердан Рамзеич, ослобождай казенное помещение!..

X

В полдень Перри шел по среднерусскому континенту и созерцал встречные травинки. За спиной его был мешок, а рядом стражники.

Дорога ожидала дальняя, и стражники были добры, чтобы не тратить зря душу на злобу.

Два стражника были родом из Епифани. Они сказали Перри, что завтра с утра начнут пороть в пыточной хате немца-остальца Форха. Царь будто другой никакой казни ему не назначил, а только дать дюжую порку и выгнать в неметчину.

Дорога в Москву оказалась столь длинна, что Перри забыл, куда его ведут, и так устал, что хотел, чтобы его поскорее довели и убили.

В Рязани епифанские стражники переменились. Новые стражники сказали Перри, что как бы войны с аглицкой державой не было.

— А что так? — спросил Перри.

— Петр-государь, сказывают, пымал у царицы на спальных снастях полюбовника, а тот аглицким посланцем окажись! Петр-царь ему голову отруби да царице ее в шелковом чувале и пришли!..

— Неужели так? — спросил Перри.

— А ты думал? — сказал стражник. — Видал нашего царя? Громадный мужчина! Сказывают, он тому посланцу руками голову оторвал, будто куренку какому! Шуточное ли дело! Только я слыхал, из женчины царь народ на войну не тронет…

Под конец дороги Перри не чувствовал ног. Они у него распухли, и он шел как в валенках.

Один стражник-старик на последней ночевке ни с того ни с сего сказал Перри:

— И куды мы тебя ведем? Может, на мертвую казнь! Нонешний царь горазд на всякую лютость… Я б убег на глазах! Пора! А ты идешь цыплаком! Кровя, брат, у тебя дохлые — я б залютовал во как и в порку не дался, тем более в казнь!..

XI

Перри привели в Кремль и сдали в башенную тюрьму. Ничего ему не говорили, и Перри перестал пытать судьбу.

В узкое окно он всю ночь видел роскошь природы — звезды — и удивлялся этому живому огню на небе, горевшему в своей высоте и беззаконии.

Такая догадка обрадовала Перри, и он беспечно засмеялся на низком глубоком полу

высокому небу, счастливо царствовавшему в захватывающем дыханье пространстве.

Перри проснулся сразу, не помня, как он заснул. Проснулся он не сам по себе, а от людей, которые стояли перед ним и негромко говорили, не будя заключенного. Но он сам проснулся, почуяв их.

— Бертран Рамзей Перри, — сказал дьяк, вынув бумажку и прочтя имя, — по приказу его величества, государя императора ты приговорен к усечению головы. Больше мне ничего не ведомо. Прощай! Царство тебе божье! Все ж ты человек!

Дьяк ушел и задвинул снаружи наглухо двери, не сразу управившись с железом.

Остался другой человек — огромный хам, в одних штанах на пуговице и без рубашки.

— Скидывай портки!

Перри начал снимать рубашку.

— Я тебе сказываю — портки прочь, вор!

У палача сияли диким чувством и каким-то шумящим счастьем голубые, а теперь почерневшие глаза.

— Где ж твой топор? — спросил Перри, утратив всякое ощущение, кроме маленькой неприязни, как перед холодной водой, куда его сейчас сбросит этот человек.

— Топор! — сказал палач. — Я без топора с тобой управлюсь!

Резким рубящим лезвием влепилась догадка в мозг Перри, чуждая и страшная его природе, как пуля живому сердцу.

И эта догадка заменила Перри чувство топора на шее: он увидел кровь в своих онемелых, остывших глазах и свалился в объятия воющего палача.

Через час в башне загремел железом дьяк.

— Готово, Игнатий? — крикнул он сквозь дверь, притулясь и прислушиваясь.

— Обожди, не лезь, гнида! — скрежеща и сопя, отвечал оттуда палач.

— Вот сатана! — бормотал дьяк. — Такого не видал вовеки: пока лютостью не изойдет — входить страховито!

Зазвонили к «Достойно» — отходила ранняя обедня.

Дьяк зашел в церковь, взял просфорочку — для первого завтрака, и запасся свечечкой — для вечернего одинокого чтения.

* * *

Епифанский воевода Салтыков получил в августе, на яблошный спас, духовитый пакет с марками иноземной державы. Написано на пакете было не по-нашему, но три слова — по-русски:

Бертрану Перри
инженеру

Салтыков испугался и не знал, что ему делать с этим пакетом на имя мертвеца. А потом положил его от греха за божницу — на вечное поселение паукам.

Эфирный тракт

Проснувшись в пять часов утра в своей московской квартире, Фаддей Кириллович почувствовал раздражение. Непотушенный свет горел в комнате, и где-то визжали толстые крысы.

Сон больше не придет. Фаддей Кириллович одел жилетку и уселся, раскачивая очумелый мозг. Он лег в час, еле добравшись до постели, и не вовремя проснулся.

— Ну-с, Фаддей Кириллович, нажмем снова, — сказал он самому себе, — микробы усталости могут успокоиться: я им пощады все равно не дам!

Он воткнул перо в чернильницу, вытянул дохлую муху и рассмеялся: это же,

понимаете, мухоловка! И у меня все так, желтые граждане, — перо тычет, а не скользит, чернила — вода, бумага — рогожа! Это удивительно, господа!..

Фаддей Кириллович всегда представлял свою комнату, населенную немыми, но внимательными собеседниками. Мало того, он тихие вещи безрассудно принимал за живые существа, и притом похожие на самого себя.

Раз, мрачно утомившись, он обмакнул в чернила перо, положил его на недописанный лист бумаги и сказал: заканчивай, заноза! А сам лег спать.

Одиночество, заглушенность души, сырость и полутьма квартиры превратили Фаддея Кирилловича в пожилого нерачительного субъекта с житейски неразвитым мозгом.

Работал Фаддей Кириллович всегда бормоча, вслух перебирая возможные варианты стиля и содержания излагаемого.

Крысы утихли, потому что Фаддей Кириллович действительно забормотал:

— Поспешим, Фаддей! Поспешим, сатана души моей!.. Несомненно одно, что… что как только почва даст вместо сорока пятьсот пудов на десятину и что… если железо начнет размножаться, то… эти, как их, женщины и ихние мужья сразу возьмут и нарожают столько людей, что не хватит опять ни хлеба, ни железа и настанет бедность… Довольно бормотать, ты мне мешаешь, дурак!..

Выругав этак себя, Фаддей Кириллович притих и усердно занялся работой, выводя аккуратные значки, как на уроке чистописания.

Москва проснулась и завизжала трамваями. Изредка вольтовы дуги озаряли туман, потому что токособиратели иногда отскакивали от провода.

— Идиоты! — не выдержал Фаддей Кириллович. — До сих пор не могут поставить рациональных токособирателей: жгут провод, тратят энергию и нервируют прохожих!..

Когда окончательно рассеялся туман и засиял неожиданный торжественный день, Фаддей Кириллович протер заслезившиеся глаза и начал в злостном исступлении драть ногтями поясницу:

— Какая-то стерва вторые сутки грызет! Только успокоишься, а уж какая-нибудь болячка появится! И вечно трудно человеку!..

В это время к Фаддею Кирилловичу постучали: Мокрида Захаровна, старушка, принесла Попову завтрак и пришла убирать комнату.

— Ну, как, Захаровна? Ничего там не случилось? Люди не вымерли? Светопреставление не началось еще? Погляди, спина у меня назади?..

— И что ты, батюшка, Фаддей Кириллович, говоришь? Опомнись, батюшка, — такого не бывает! Сидит-сидит, учится-учится — переучится, — и начинает ум за разуменье заходить! Поешь, голубчик, отдохни, ан и сердце отойдет, и дума утихнет…

— Да, Захаровна, да, Мокрида! Да, да, да! И трижды кряду — да! И еще раз — да!.. Ну, давай твою вкусную еду. Будем разводить гнилостные бактерии в двенадцатиперстной кишке, пускай живут в тесноте!.. А ты, старушка, ступай! Мне некогда, за кастрюлями придешь вечером, тогда и комнату уберешь. Вечером я уеду.

— Ох, батюшка, Фаддей Кириллович, дюже ты чуден да привередлив стал, замучил старуху!.. Когда ожидать-то вас?

— Не жди, ступай, считай меня усопшим!

Спешно поев, Фаддей Кириллович закурил и вдруг вскочил, — живой, стремительный и веселый. — Ага, вот где ты пряталось, сучество, скотоложество и супрематия! Вылазь, божья куколка! Дыши, мое чучелко! Живи, моя дочка! Танцуй, Фаддей, крутись, Гаврила, колесо налево, оттормаживай историю! Эх, моя молодость! Да здравствуют дети, невесты и влажные красные жадные губы! Долой Мальтуса и госпланы деторождения! Да здравствует геометрическая и гомерическая прогрессия жизни!..

Тут Фаддей Кириллович остановился и сказал:

— Пожилой субъект ты, Фаддей, а дурак! Еле догадался, а уж благодетельствовать собираешься, самолюбивая сволочь! Садись к столу, сгною тебя работой, паршивый выродок!

Усевшись, Фаддей Кириллович, однако, почувствовал страшную пустоту в мозгу, будто там ливни работы смыли всю плодоносную почву и нечем было питаться зелени его творчества.

Тогда он начал писать частное письмо:

> Профессору Штауферу, Вена.
>
> Знаменитый коллега! Вы уже, без сомнения, забыли меня, который был Вашим учеником двадцать один год тому назад. Помните ли Вы звонкую майскую венскую ночь, когда в самом чутком воздухе была жажда научного творчества, когда мир открывался перед нами, как молодость и загадка! Помните, мы шли вчетвером по Националштрассе — Вы, два венца и я, русский, рыжеватый любопытствующий молодой человек! Помните, Вы сказали, что жизнь, в физиологическом смысле, наиболее общий признак всей прощупываемой наукой вселенной. Я, по молодости, попросил разъяснений. Вы охотно ответили: атом, как известно, колония электронов, а электрон есть не только физическая категория, но также и биологическая — электрон суть микроб, то есть живое тело, и пусть целая пучина отделяет его от такого животного, как человек: принципиально это одно и то же! Я не забыл Ваших слов. Да и Вы не забыли: я читал Ваш труд, вышедший в этом году в Берлине, «Система Менделеева как биологические категории альфа-существ». В этом блестящем труде Вы впервые, осторожно, истинно научно, но уверенно доказали, что электроны подарены жизнью, что они движутся, живут и размножаются, что их изучение отныне изъемлется из физики и передается биологической дисциплине. Коллега и учитель! Я не спал три ночи после чтения Вашего труда! У Вас есть в книге фраза: «Дело техников теперь разводить железо, золото и уголь, как скотоводы разводят свиней». Я не знаю, освоена ли кем эта мысль так, как она освоена мной! Позвольте же, коллега, попросить у Вас разрешения посвятить Вашему имени свой скромный труд, всецело основанный на Ваших блестящих теоретических изысканиях и гениальных экспериментах.
>
> *Д-р Фаддей Попов, Москва, СССР.*

Запечатав в конверт письмо и рукопись под несколько ненаучным названием «Сокрушитель адова дна», Фаддей Кириллович спешно утрамбовал чемодан книжками и отрывками рукописей, схематически бессознательно надел пальто и вышел на улицу.

В городе сиял электричеством ранний вечер. Круто замешанные людьми, веселые улицы дышали озабоченностью, трудным напряжением, сложной культурой и скрытым легкомыслием.

Фаддей Кириллович влез в таксомотор и объявил шоферу маршрут на далекий вокзал.

На вокзале Фаддей Кириллович купил билет до станции Ржавск. А утром он уже был на месте своего стремления.

От вокзала до города Ржавска было три версты. Фаддей Кириллович прошел их пешком: он любил русскую мертвую созерцательную природу, любил месяц октябрь, когда все неопределенно и странно, как в сочельник накануне всемирной геологической катастрофы.

Идя уже по улицам Ржавска, Фаддей Кириллович читал странные надписи на заборах и воротах, исполненные по трафарету: «Тара», «брутто», «Ю.З.», «болен», «на дорогу собств.», «тормоз не действ.». Оказывается, городок строился железнодорожниками из материалов, принесенных с работы.

Наконец Фаддей Кириллович увидел надпись «Новый Афон». Сначала он подумал, что это кусок обшивки классного вагона, потом увидел вырезанный из бумаги и наклеенный на окне чайник, заурядную личность в армяке, босиком вышедшую на двор по ясной нужде, и догадался, что это гостиница.

— Свободные номера есть? — спросил босого человека Фаддей Кириллович.

— В наличности, гражданин, в полной чистоплотности, в уюте и тепле!

— Цена?

— Рублик, рубль двадцать и пятьдесят копеек!

— Давай за полтинник!

— Пожалуйте наверх!

Проходя, Фаддей Кириллович заметил на том столе, где дежурил этот человек, книжку «Парь пар в мае — будешь с урожаем».

«Народ движется, — подумал Попов, — Петрушка у Гоголя Часослов читал, и то из любопытства, а не впрок».

* * *

В полдень Фаддей Кириллович пошел в окружной исполком. Он попросил у председателя свидания, причем переговорить желательно вдвоем.

Председатель его тотчас же принял. Это был молодой слесарь — обыкновенное лицо, любознательные глаза, острая жажда организации всего уездного человечества, за что ему слегка попадало от облисполкома. У председателя были замечательные руки — маленькие, несмотря на его бывшую профессию, с длинными умными пальцами, постоянно шевелящимися в нетерпении, тревоге и нервном зуде. Лицом он был спокоен всегда, но руки его отвечали на все внешние впечатления.

Узнав, что с ним желает говорить доктор физических наук, он удивился, потом обрадовался и велел секретарю сейчас же открыть дверь, досрочно выпроводив завземотделом, пришедшего с докладом о посеве какой-то клещевины.

Фаддей Кириллович показал председателю бумаги научных институтов и секций Госплана, рекомендующих его как научного работника, и приступил к делу:

— Мое дело просто и не нуждается в доказательствах. Моя просьба обоснована и убедительна и не может быть отвергнута. Пять лет назад в вашем округе производились большие изыскания на магнитную железную руду. Вам это известно. Она обнаружена на средней глубине двести метров. Руду с такой глубины добывать пока экономически не выгодно. Она поэтому оставлена в покое. Я приехал сюда произвести некоторые опыты. Мне не нужно ни сотрудников, ни денег. Я только ставлю вас в известность и прошу отвести мне двадцать десятин земли — можно и неудобной. Район я еще не выбрал — об этом после, когда я вернусь из поездки по округу. Далее — чтобы вы знали, что я приехал сюда не шутить, я скажу вам: работы мои имеют целью, так сказать, подкормить руду — для того, чтобы она разжирела и сама выперла на дневную поверхность земли, где мы ее можем схватить голыми руками. В исходе опытов я уверен, но пока прошу молчать. Через три дня я выберу район и вернусь к вам. Вы поняли меня и согласны мне помочь?

— Понял совершенно. Держите руку, работайте — мы вам помощники!

В тот же день Фаддей Кириллович на подводе выехал в поле — отыскать условную высотную отметку экспедиции академика Лазарева, в районе которой магнитный железняк высовывает язык и лежит на глубине ста семидесяти метров. На вторые сутки Попов нашел на бровке глухого дикого оврага чугунный столб с условной краткой надписью: «Э.М.А. 38, 24, 168, 46, 22».

* * *

Через неделю Фаддей Кириллович прибыл на это место с землемером, который должен отмежевать участок в двадцать десятин, и Михаилом Кирпичниковым.

Кирпичникова рекомендовал Фаддею Кирилловичу председатель окрисполкома как совершенно идеологически выдержанного человека, а Попов увидел, что без помощника ему не обойтись.

Через три дня Попов и Кирпичников привезли из деревни Тыновки, что в десяти верстах, разобранную хатку и собрали ее на новом месте.

— Сколько мы здесь проживем, Фаддей Кириллович? — спросил Кирпичников

Попова.

— Не менее пяти лет, дорогой друг, а скорее — лет десять. Это тебя не касается. Вообще не спрашивай меня, можешь каждое воскресенье уходить и радоваться в своем клубе…

И пошли беспримерные дни. Кирпичников работал по двенадцати часов в сутки: покончив дела со сборкой дома, он начал рыть шахту на дне балки. Попов работал не меньше его и умело владел топором и лопатой, даром что доктор физических наук. Так, в глубине равнинной глухой страны, где жили пахари — потомки смелых бродяг земного шара, трудились два человека: один для ясной и точной цели, другой в поисках пропитания, постепенно стараясь узнать от ученого то, чего сам искал, — как случайную нечаянную жизнь человека превратить в вечное господство над чудом вселенной.

Попов молчал постоянно. Иногда он уходил на целый день в грязные ноябрьские поля. Раз Кирпичников слышал вдали его голос — живой, поющий и полный веселой энергии. Но возвратился Попов мрачный.

В начале декабря Попов послал Кирпичникова в областной город — купить по списку книг и всяких электрических принадлежностей, приборов и инструментов.

Через неделю Кирпичников возвратился, и Фаддей Кириллович начал делать какой-то небольшой сложный прибор.

Один только раз, поздно ночью, когда Кирпичников доливал керосин в лампу, Попов обратился к нему:

— Слушай, мне скучно, Кирпичников! Скажи-ка мне, кто ты такой, есть у тебя невеста, цель жизни, тоска, что-нибудь такое? Или ты только антропоид?

Кирпичников сдержался:

— Нет, Фаддей Кириллович! Ничего у меня нет, а хочу понять дело, которое делаете вы, но вы не говорите: это зря, я бы еще лучше работал. Я пойму, Фаддей Кириллович, честное слово!

— Оставь, оставь, ничего ты не поймешь! Ну, довольно, наговорились, ложись спать, а я посижу еще…

* * *

Фаддей Кириллович отправился в свою очередную прогулку — теперь уже по замерзающим недышащим полям. Кирпичников тесал на дворе сруб для укрепления шахты и вошел в хату за спичкой — закурить.

Подойдя к столу, он прочитал несколько слов из того, что писал Попов ночью, и, не зажегши спички, потерял все окружающее и забыл свое имя и существование.

> Коллега и учитель! К 8-й главе той рукописи, которую я Вам выслал для просмотра, необходимо сделать добавление:
>
> Из всего сказанного о природе эфира следует сделать неизбежные выводы. — Если электрон есть микроб, то есть биологический феномен, то эфир (то, что я назвал выше «генеральным телом») есть кладбище электронов. Эфир есть механическая масса умерщвленных или умерших электронов. Эфир — это крошево трупов микробов — электронов. С другой стороны, эфир не только кладбище электронов, но также матерь их жизни, так как мертвые электроны служат единственной пищей электронам живым. Электроны едят трупы своих предков.
>
> Несовпадение длительности жизни электрона и человека делает необычайно трудным наблюдение за жизнью этих, пользуясь Вашей терминологией, альфа-существ. Именно, время жизни электронов должно исчисляться цифрой пятьдесят — сто тысяч земных лет, то есть значительно продолжительней жизни человека. Между тем число физиологических процессов в теле электрона, как у более примитивного существа, значительно меньше, чем у человека — высокоорганизованного тела. Следовательно, каждый физиологический процесс в организме электрона протекает с такой ужасающей медленностью, что устраняет

возможность непосредственного наблюдения этого процесса даже в самый чувствительный прибор. Это обстоятельство делает природу в глазах человека мертвой. Это страшное разнообразие времен жизни для различных категорий существ суть причина трагедии природы. Одно существо век чувствует как целую эру, другое — как миг. Это «множество времен» — самая толстая и несокрушимая стена меж живыми, которую с трудом начинает разрушать тяжелая артиллерия человеческой науки. Наука объективно играет роль морального фактора: трагедию жизни она превращает в лирику, потому что сближает в братстве принципиального единства жизни такие существа, как человек и электрон.

Но все же можно ускорить жизнь электрона, если смягчить те явления, которые обусловили длительность его жизни. Необходимо предварительное разъяснение. Эфир, как установлено наукой, необычайно инертная, нереагирующая, лишенная основных свойств материи, сфера. Такая неощутимость и экспериментальная непознаваемость эфира объясняется тем, что «подобное познается подобным», а нет большего неподобия, чем человек и залежи трупов электронов, то есть эфир. Может быть, именно поэтому эфир «лишен» свойств материи, ибо между человеком и живым микробом — электроном — с одной стороны, и эфиром — с другой, есть принципиальное различие. Первые — живы, второй — мертв. Я хочу сказать, что «непознаваемость» эфира скорее психологическая, чем физическая задача.

Эфир, на правах «кладбища», не обладает никакой внутренней активностью. Поэтому те существа (микробы-электроны), которые им питаются, обречены на вечный голод. Питание их обеспечивается подгонкой свежих эфирных масс за счет посторонних случайных сил. В этом причина замедленности жизни электронов. Интенсивная жизнь для них невозможна: слишком замедлен приток питательных веществ. Это и вызвало замедление физиологических процессов в телах электронов.

Очевидно, ускорение подачи питания должно увеличить темп жизни электронов и вызвать их усиленное размножение. Существующая замедленность физиологических актов легко превратится, при благоприятных условиях питания, в бешеный темп, ибо электрон — существо примитивно организованное и биологические реформы в нем чрезвычайно легки.

Следовательно, одно изменение условий питания должно вызвать такую интенсивность всех жизненных отправлений электрона (в том числе и размножение), что жизнь этих существ станет легко наблюдаемой. Конечно, такая интенсивность жизни будет идти за счет сокращения продолжительности жизни электрона.

Вся загадка в том, чтобы уменьшить разницу во времени жизни человека и электрона. Тогда электрон начнет продуцировать с такой силой, что его сможет эксплуатировать человек.

Но как вызвать свободный и усиленный приток питательного эфира к электронам? Как технически создать эфирный тракт — дорогу эфиру?..

Решение просто — электромагнитное русло…

На этом рукопись Попова обрывалась. Он ее еще не закончил. Кирпичников слова не все понял, но всю сокровенную идею Попова ухватил.

Фаддей Кириллович вернулся поздно. Тотчас же он лег спать, чего никогда не было. Кирпичников посидел еще немного, почитал книжку — «Об устройстве шахтных колодцев» — и ничего в ней не понял.

Есть мысли, которые сами собой ведут человека и командуют его головой, хочет он этого или нет — все едино. Спать еще не хотелось. Было душно и тревожно. Попов храпел и стонал во сне.

Кирпичников вынул из сундучка свой старый дневник — самодельно сшитую тетрадь, открыл и вчитался: «Март. 20. 9 часов вечера. Мать и дети спят на полу на старой одежде. Нечем даже укрыться. У матери оголилась худая нога — и мне жалко, стыдно и мучительно. Захарушке 11 месяцев, его отняли от груди и питают одной моченой булкой. Какая сволочь

жизнь! А может, это я сволочь, что до сих пор не свернул скулу такой подлой жизни? Зачем я позволяю ей так мучать детей и мать… Надо жить для тех, кто делает будущее, кто томится сейчас тяжестью грузных мыслей, кто сам весь — будущее, темп и устремление. Таких мало, они затеряны, таких, может быть, нет. Но я для них живу и буду жить, а не для тех, кто гасит жизнь в себе чувственной страстью и душу держит на нуле».

Кирпичников вышел на двор, ухватил бревно и зашвырнул его в лог, как палку. Потом заскрипел зубами, застонал, вонзил топор в порог и улыбнулся. На дворе стояло одно дерево — лоза. Кирпичников подошел, обнял дерево — и их закачало обоих ночным ветром.

* * *

Когда ели утром жареный картофель, Фаддей Кириллович вдруг бросил есть и встал, веселый, полный надежды и хищной радости.

— Эх, земля! Не будь мне домом — несись кораблем небес!

В сметном исступлении крикнул Попов эти неожиданные слова и сам оторопел.

— Кирпичников! — обратился Фаддей Кириллович, — скажи: ты вошь, ублюдок или — мореплаватель? Ответь, обыватель, на корабле мы или в хате? Ага, на корабле — тогда держи руль свинцовыми руками, и не плачь на завалинке! Замолчи, сверчок! Мне известен курс и местоположение… Жуй и — на вахту!..

Кирпичников молчал. Попов болел малярией, бормотал во сне несбыточное, днем лютая злость в нем мгновенно переходила в смех. Работа головы высасывала из него всю кровь, и его истощенное тело вышло из равновесия и легко колебалось настроениями. Кирпичников это знал и смутно беспокоился за него.

Одиночество, затерянность в несчетных полях и устремленность к одной цели еще более расшатало душевный порядок Попова, и с ним было тяжело работать. У Фаддея Кирилловича явилась еще страшная и неутомимая тоска по матери, хотя она умерла пятнадцать лет назад. Он ходил по комнате, вспоминал ее обувь в гробу, запах подола и молока, нежность глаз и всю милую детскую родину ее тела… Кирпичников догадывался, что это особая болезнь Попова, но поделать ничего не мог и молчал.

Так прошел месяц или два. Фаддей Кириллович работал все меньше и меньше, наконец, 25 января он совсем не поднялся утром и только сказал:

— Кирпичников! Вычисти хату и убирайся вон — я задумался!

Устроив домашние дела, Кирпичников вышел.

Степь пылила снегом — шла вьюга.

Кирпичников спустился в овраг и закрыл люк над шахтой, где Попов уже начал делать установку приборов. Вьюга свирепела — и на дворе от нее шевелился инвентарь. Деваться было некуда, и Кирпичников залез на тесный захламленный чердак. Снег свиристел и метался по крыше, и вдруг Кирпичникову послышалась тихая, странная, грустная музыка, которую он слышал где-то очень давно. Отвлеченное плачущее чувство томилось и разрасталось от музыки до гибели человека. И будто эта растущая тоска и воспоминания были единственным утешением человека. Кирпичников прилег и занемог от этого нового робкого чувства, которого в нем никогда не было. Он забыл про стужу и, дрожа, нечаянно заснул. Музыка продолжалась и переходила в сновидение. Кирпичников почувствовал вдруг холодную тяжелую медленную волну, и в нем начало закатываться сознание, борясь и пробуждаясь, уставая от ужаса и собственной тесноты.

Проснулся Кирпичников сразу, будто кто ему крикнул на ухо или земля на что наткнулась и вдруг застопорила. Кирпичников вскочил, стукнулся о крышу и спустился во двор. Буран тряс землю, и, когда он разрывал атмосферу и показывал горизонт, были видны голые почерневшие поля. Снег сдувало в овраги и в глухие долины. Тут Кирпичников заметил, что дверь в хату открыта и туда мело снегом. Когда он вошел в комнату, то заметил бугор снега, и прямо на нем, а не на кровати, лежал мертвый Фаддей Кириллович Попов — бородой кверху, в знакомой жилетке, прильнувшей к старому телу, с печальным

пространством на белом лбу. Снег его заметал все глубже, и ноги уже укрыло совсем.

Кирпичников, в полном спокойствии, схватил его под мышки и потащил на кровать. У Фаддея Кирилловича отвалилась нижняя губа, и он сам повернулся на бок на кровати и поник головой, ища места ближе к центру земли. Кирпичников затворил дверь и разгреб снег на полу. Он нашел пузырек с недопитым розовым ядом. Кирпичников вылил остаток яда на снег — и снег зашипел, исчез газом, и яд начал проедать пол.

На столе, утвержденная чернильницей, лежала неоконченная рукопись: «Решение просто — электромагнитное русло…»

* * *

— Вы коммунист, товарищ Кирпичников? — спросил председатель окружного исполкома.

— Кандидат.

— Все равно. Расскажите, как это случилось? Вы понимаете, что это очень скверная история — не потому, что придется отвечать, а потому, что погиб очень ценный и редкий человек. Записки никакой не нашли?

— Нет.

— Ну, рассказывайте.

Кирпичников рассказал. В кабинете сидели, кроме председателя, еще секретарь комитета партии и уполномоченный ГПУ.

Кирпичникова слушали внимательно. Он рассказал все, даже содержание неоконченной рукописи, вьюгу, распахнутую дверь и странный косой наклон головы Попова, какого не бывает у живого. И еще, что Попов не очень отличался от живого, как будто смерть обыкновенна для него, как и жизнь.

Кирпичников кончил.

— Замечательная история! — сказал секретарь парткома. — Попов несомненный упадочник. Совершенно разложившийся субъект. В нем действовал, конечно, гений, но эпоха, родившая Попова, обрекла его на раннюю гибель, и гений его не нашел себе практического приложения. Растрепанные нервы, декадентская душа, метафизическая философия — все это жило в противоречии с научным гением Попова, и вот — какой конец.

— Да, — сказал председатель исполкома. — Прямо агитация фактами. Наука могущественна, а носители ее — выродки и ублюдки. Действительно, срочно необходимы свежие люди с твердой внутренней установкой…

— А ты только сейчас в этом убедился? — спросил уполномоченный ГПУ. — Чудород ты, брат! Наше дело, по-моему, теперь оформить следствие и затем, если не будет ничего противоречить словам Кирпичникова, назначить его хранителем научной базы Попова. Ну, надо немножко Кирпичникову платить за это. Ты, — обратился он к председателю, — из местного бюджета это устроишь! Затем, надо сообщить в тот научный институт, который командировал сюда Попова, чтобы выслали другого ученого для продолжения дела… А сохранить все надо в целости! Я пошлю сотрудника составить опись. Ведь там есть ценные приборы, рукописи Попова, кой-какой инвентарь и имущество…

— Верно, — сказал председатель. — Давайте на этом кончим. Я проведу все дело через президиум, и тогда зафиксируем наше постановление.

Через неделю закончили следствие, труп Попова отправили в Москву, а Кирпичникова назначили сторожем в научную усадьбу Попова, с окладом жалования пятнадцать рублей в месяц.

Кирпичникову вручили копию описи, и он остался один.

Начиналась ранняя заунывная весна — время инерции зимы и мужественного напора солнца.

Заместитель Попова никак не ехал. Кирпичников усердно читал и перечитывал книги и рукописи Попова, рассматривал приборы, построенные здесь же самим Поповым, — и перед

ним открывался могучий мир знания, власти и жажды неутомимой жестокой жизни. Кирпичников начал ощущать вкус жизни и увидел ее дикую пучину, где скрыто удовлетворение всех желаний и находятся конечные пункты всех целей.

«Эх, хорошо! — думал Кирпичников. — Зря умер Попов: сам это писал и сам же не понимал. А стоит только понять — и всякому захочется жить…»

Наступило лето. Шло одно и то же. Новый ученый на место Попова не приезжал. Кирпичников начал переписывать рукописи Фаддея Кирилловича начисто, не зная сам для чего, — но так лучше ему понималось.

Наконец в июле приехали двое московских ученых и забрали все наследство Попова — и рукописи, и аппараты.

Кирпичников вернулся работать в черепичную мастерскую, и все кругом для него затихло. Но открывшееся ему чудо человеческой головы сбило его с такта жизни. Он увидел, что существует вещь, посредством которой можно преобразовать и звездный путь, и собственное беспокойное сердце — и дать всем хлеб в рот, счастье в грудь и мудрость в мозг. И вся жизнь предстала ему как каменное сопротивление его лучшему желанию, но он знал, что это сопротивление может стать полем его победы, если воспитать в себе жажду знания, как кровную страсть.

Кирпичников пошел к председателю исполкома и заявил, что хочет учиться — пусть его отправят на рабфак.

— По следам Попова, сударь, желаете идти? Что же, путь приличный, валяйте! — и дал ему записку, куда следовало ее дать.

Через неделю Кирпичников шел в областной город — полтораста верст — на рабфак.

Стоял август. Поля шумели земледельцами, пылили стада по большаку, изумительное молодое солнце улыбалось разродившейся измученной земле.

Рыба играла на речных плесах, деревья чуть-чуть трогались желтой сединой, земля лежала голубым пространством в ту страну и в тот век, куда шел Кирпичников, где его ждало время, роскошное, как песнь.

* * *

Прошло восемь лет — срок, достаточный для полного преображения мира, срок, в который человек перерождается начисто, вплоть до спинного мозга.

Михаил Еремеевич Кирпичников — инженер-электрик, научный сотрудник при кафедре биологии электронов, учрежденной после смерти Попова на основе его трудов.

Кирпичников женат и имеет детей — двух мальчиков. Его жена — бывшая сельская учительница, такая же сторонница немедленного физического преобразования мира, как и ее муж. Счастливая убежденность в победе любимой науки на всемирном плацдарме и помогла им пережить убийственные годы ученья, нужды, издевательства обывателей и дала смелость родить двух детей. Они верили, что наступает время, когда хлеба будет столько же, сколько воздуха. Кирпичников мозгом ощущал приближение этой раскованной эпохи, когда у человека освободятся руки от труда и душа от угнетения и он сможет перелепить мир.

Голодная и счастливая пребывала эта семья. Шел век социализма и индустриализации, шло страшное напряжение всех материальных сил общества, а благоденствие откладывалось на завтра.

Освоившись с научной работой, Кирпичников не занял кафедры, а пошел, для тренировки, на практическую работу. Кроме высшего образования, Кирпичников имел стаж живой общественной работы и был твердым и искренним коммунистом. Как умный и честный человек, как выходец из черепичной мастерской, он знал, что вне социализма невозможна научная работа и техническая революция. В его время это подразумевалось само собой, как подразумевается, но не сознается биение сердца в живом человеке.

Десять лет прошло со дня смерти Попова. Это сказать легко, но еще легче десять раз погибнуть в эти десять лет. Попробуйте описать эти десять лет во всем их крохоборстве

борьбы, строительства, отчаяния и редкого покоя. Невозможно — состаришься, умрешь, а не исчерпаешь темы. Попробуйте в этом диком лесе человечества остаться свежим, мудрым и прямым! Невозможно. Поэтому и Кирпичников, которому был всего тридцать один год, густо поседел на висках и исполосовался морщинами.

В ответ на просьбу практической строительной работы Кирпичникова отправили в Нижнеколымскую тундру — производителем работ по постройке вертикального туннеля. Целью сооружения была добыча внутренней тепловой энергии земли.

Семью Кирпичников оставил в Москве, а сам отправился. Термический вертикальный туннель был опытной работой советского правительства Якутии. В случае успеха работ предполагалось весь край Азиатского материка за Полярным кругом покрыть целой сетью таких туннелей, затем блокировать их энергию посредством единой электропередачи, и на конце электрического провода продвигать культуру, промышленность и население к Ледовитому океану.

Но главная причина туннельных работ была в том, что в равнинах тундры были изысканы остатки неведомых великолепных стран и культур. Почва и подпочва тундры были не материнского, древнегеологического происхождения, а представляли собой наносы. Причем эти наносы покрыли погребальным покровом целую серию древнейших человеческих культур. А благодаря тому, что этот смертный покров над трупами таинственных цивилизаций представлял пленку вечной мерзлоты, погребенные люди и сооружения хранились, как консервы в банке, — целыми, свежими и невредимыми.

Уже то немногое, что случайно найдено учеными в провалах рельефа тундры, представляло неслыханный интерес и вечную ценность. Найдены были трупы четырех мужчин и двух женщин. У женщин сохранились розовые щеки и тонкий аромат легкой гигиеничной одежды. У одного мужчины в кармане найдена книга — маленькая, испещренная изящным шрифтом; ее предполагаемое содержание: изложение принципов личного бессмертия в свете точных наук; в книге описывались опыты по устранению смерти какого-то небольшого животного, срок жизни которого — четверо суток; сфера жизни этого животного (пища, атмосфера, тело и проч.) подвергалась беспрестанному воздействию целого комплекса электромагнитных волн; причем каждый вид волны был рассчитан на убийство отдельного рода губительных микробов в теле животного; так, держа жизнь подопытного животного в поле электромагнитной стерилизации, удалось добиться увеличения срока его жизни в сто раз.

Затем была найдена пирамидальная колонна из дикого камня. Совершенная форма ее напоминала работу токарного станка, но колонна была сорок метров высоты и десять метров в основании.

Трупы людей имели смуглые лица, розовые губы, низкий, но широкий лоб, небольшой рост, широкую грудную клетку и спокойную, мирную, почти улыбающуюся гримасу. Очевидно, или смерть застала их внезапно, или, что вероятнее, смерть была у них совсем другим чувством и другим событием, чем у нас.

Эти открытия разожгли научные страсти всего мира, и общественное мнение форсировало работы по культивированию тундры, с целью полной реставрации древнего мира, залегающего под почвой мерзлого пространства и, быть может, уходящего на дно ледовитого океана.

Страсть к знанию стала новым органическим чувством человека, таким же нетерпеливым, острым и богатым, как зрение или любовь. Этим чувством иногда подменялись даже непреложные экономические законы и стремление к материальному благополучию общества.

Такова была истинная причина сооружения первого вертикального термического туннеля в тундре.

Система таких туннелей должна стать фундаментом культуры и экономики тундры, а затем ключом в подземные ворота — в мир неизвестной гармонической страны, нахождение которой ценнее изобретения паровой машины и открытия радиевого Монблана.

Ученые думали, что тот отрезок науки, культуры и промышленности, который нам предстоит пройти в течение ближайших ста — двухсот лет, содержится готовым в недрах тундры. Достаточно снять мерзлую почву — и история сделает скачок на век или на два века вперед, а затем снова пойдет своим темпом. Зато какая экономия труда и времени произойдет от такой получки задаром двух будущих веков! С этим не сравнится никакое историческое благодеяние человечества в прошлом! Ради этого стоило сделать дырку в земле, глубиной в два километра.

Кирпичников поехал, сжимая от радости кулаки, чувствуя цель, которую он должен выполнить, как всемирную победу и обручение древнейшей эры с сегодняшним днем.

Не просто была построена знаменитая скважина в тундре — человек мучается, мучит, ошибается и влечет ошибки других, гибнет и возрождается, — потому что он все-таки движется и лезет на стену истории и природы.

Но все же туннель был построен. Вот документ инженера Кирпичникова.

Центральному Совету Труда.
Управлению работ по сооружению
Вертикального Термического Туннеля в
Нижнеколымской тундре на 67 параллели.

ОБЩИЙ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДОКЛАД ЗА 1934 ГОД

Термический Вертикальный Туннель (ь 1) окончен 2 декабря этого года. Туннель, как было задано, предназначается для утилизации теплоты нашей планеты, находящейся в ее недрах; эта теплота, превращенная в электрический ток, должна обслуживать район под именем Тао-Лунь, площадью 1100 кв. километров, предназначенный для заселения, с целью работ по сплошному снятию почвенного и подпочвенного покрова с тундровского массива.

Туннель имеет форму усеченного конуса, обращенного усечением внутрь тела земли. Ось его наклонена к плоскости экваториального сечения в 62°. Длина оси туннеля 2080 метров. Диаметр широкого основания на дневной поверхности земли равен 42 метрам, усеченной вершины внутри земли — 5 метрам.

Достигнутая температура на дне туннеля — 184 °C (в том месте, где установлены термоэлектрические батареи).

Согласно проекту, утвержденному Советом Труда, работы начались 1 января 1954 года, окончены 2 декабря того же года.

Формовка туннеля достигнута не взрывным методом, как указано было в проекте, а электромагнитными волнами, отрегулированными соответственно микрофизической электронной структуре недр. Электромагнитные волны вибратора были настроены на такую длину и частоту, которые точно совпадали с естественными колебаниями электронов в атомах периферии земли; поэтому, от действия внешней дополнительной силы, увеличивался их размах и получался разрыв атомных орбит, вследствие чего наступала реконструкция ядра атома — его превращение в другие элементы — разрушение.

Мы поставили на поверхности мощные, и в больших пределах регулируемые, резонаторы; нашли экспериментально среднюю волну каждой встречной породы недр, подлежащей разрушению (точнее, распылению, размягчению), — итак, разжевали ствол туннеля во всех поперечных сечениях.

Затем металлическими пятитонными ковшами, скреперного типа, на стальных тросах, мы выели получившуюся туннельную кашу. Впрочем, ее осталось немного после электромагнитной операции: большинство составных частей почвы и недр превратились в газы и улетучились. Одинаково были мягкою пылью и газом — глина, вода, гранит, железная руда.

Всего извлечено твердыми остатками 400 тыс. кб. метров, 640 тыс. кб. метров ушло газами.

Образованное коническое жерло (не совсем точное) открыло 7 горизонтов грунтовых вод, 5-й был с морской водой, а 6-й и 7-й с материнскими

геологическими сжатыми водами, сильно газированными, с резкими целительными качествами.

Для откачки этой воды было образовано (взрывным способом, требовался точный профиль) 7 круглых террас внутри туннеля и установлены насосы-камероны с электрическими приводами. В общей сложности они подавали 120 тыс. кб. метров воды в час. Очистка туннеля от воды — главного препятствия работам — получалась довольно полная, вследствие равновесия между фильтрацией и откачкой воды.

После этого было приступлено (в августе месяце) к проектной формовке туннеля. Благодаря высокой температуре люди опускались только до 1000-ного метра; глубже работа производилась на тросах: посредством их устанавливались насосы, рылись кюветы и водосборные бассейны в террасах и управлялись землечерпательные ковши на формовке склонов. Дно и ствол туннеля покрыты терроизолитом сплошь, начальной толщиной слоя (у поверхности земли) в 2 сантиметра и конечной в 1,25 метра.

После сооружения туннеля собранные наверху термоэлектрические батареи вместе с проводами были опущены на тросах на дно туннеля и установлены — батарея над батареей — в двенадцать этажей.

Батареи после месячной контрольной работы показали способность непрерывной отдачи по 172800 тыс. киловатт-часов в год, иначе говоря, мощность батареи равна 28000 лош. сил.

Концы проводов закреплены на выводящих кронштейнах у поверхности земли, и ток в них ждет своего потребителя.

Энергия пока пущена в почву тундры — тундра тает; тает в первый раз после того, как был ею накрыт и сохранен для нас тот странный и чудесный мир, ради которого, по распоряжению Центрального Совета Труда, была добыта внутренняя теплота земного шара.

Глав. инж. Верт. Термтуннеля — Вл. Крохов.
Производитель работ — инженер М. Кирпичников.
№ 2/А, 4 ноября 1934

Вернулся к семье Кирпичников только в апреле месяце, пробыв в отсутствии восемнадцать месяцев.

Он чувствовал себя переутомленным и собирался поехать с женой и мальчишками куда-нибудь в деревню.

Есть люди, бессознательно живущие в такт с природой; если природа делает усилие, то такие люди стараются помочь ей внутренним напряжением и сочувствием.

Может быть, это остаток того чувства единства, когда природа и человек были сплошным телом и жили заодно.

Так бывало у Кирпичникова. Если разгоралось время весны, таял снег и ручьям подпевали южные птицы с неба, Кирпичников был доволен. Когда же неожиданно возвращался снег, заморозки и мрачное молчаливое зимнее небо, Кирпичников печалился и напрягался.

Двадцать восьмого апреля Кирпичниковы поехали в Волошино — дальнюю деревню Воронежской губернии, где когда-то учительствовала Мария Кирпичникова, жена Михаила.

У Марии там были девичьи воспоминания, одинокие годы, милые дни прозревающей души, впервые боровшиеся за идею своей жизни. В оправе скудных волошинских полей лежала душевная родина Марии Кирпичниковой.

Михаила Кирпичникова влекла в Волошино любовь к жене и ее тихому прошлому, а еще то, что около Волошина, в соседнем селе Кочубарове, жил Исаак Матиссен, инженер-агроном, знакомый Кирпичникова. Когда-то, в годы ученья в институте, Кирпичников встречался с ним, и они говорили на близкие им технические темы. Матиссен ушел со второго курса электротехнического института и поступил в сельскохозяйственную академию. В Матиссене Кирпичникова интересовала его теория техники без машин, — техники, где универсальным инструментом был сам человек. Матиссен, человек чести,

единой идеи и несокрушимого характера, поставил целью своей жизни осуществление своей мысли.

Теперь он был заведующим Кочубаровской опытно-мелиоративной станцией. Кирпичников не видел его шесть лет — чего он добился, неизвестно, но что он старался добиться всего, в этом Кирпичников был уверен.

Уезжая в Волошино, Кирпичников заранее радовался встрече с Матиссеном.

От того Михаила Кирпичникова, который жил когда-то в Гробовске[4], работал в черепичной мастерской, искал истину и мечтал, осталось немного. Мечты превратились в теории — теории превратились в волю и постепенно осуществлялись. Истина стала не сердечным покоем, а практическим завоеванием мира.

Но одно тревожило Кирпичникова и толкало его на беспокойные изыскания всюду — среди книг, среди людей и чужих научных работ. Это — жажда закончить труд погибшего Попова об искусственном размножении электронов-микробов и технически исполнить эфирный тракт Попова, чтобы по нем прилить эфирную пищу к пасти микроба и вызвать в нем бешеный темп жизни.

— «…Решение просто — электромагнитное русло…» — бормотал время от времени Кирпичников последние слова неоконченной работы Попова и тщетно искал того явления или чужой мысли, которые бы навели его на разгадку «эфирного тракта». Кирпичников знал, что может дать людям этот эфирный тракт: можно вырастить любое тело природы до любых размеров за счет эфира. Например, взять кусочек железа в один кб. сантиметр, подвести к нему эфирный тракт, и этот кусочек железа на глазах начнет расти и вырастет в гору Арарат, потому что в железе начнут размножаться электроны.

Несмотря на усердие и привязанность к одной проклятой мысли, решение эфирного тракта не давалось Кирпичникову уже много лет. Работая в тундре на термическом туннеле. Кирпичников думал всю долгую, беспокойную, тревожащую полярную ночь все об одном и том же. Его путала еще одна загадка, не решенная в трудах Попова: что такое положительно заряженное ядро атома, в котором присутствует материя?

Если чистые отрицательные электроны и есть микробы и живые тела, то что такое материальное ядрышко атома, к тому же положительно заряженное?

Этого никто не знал. На это были смутные указания и сотни гипотез в научных работах, но ни одно из них не удовлетворяло Кирпичникова. Он искал практического решения, объективной истины, а не субъективного удовлетворения первой попавшейся догадкой, — может быть, и блестящей, но не отвечающей строению природы.

В Волошино Кирпичников поехал на своем автомобиле, который в его время стал орудием каждого человека. Хотя от Москвы до Волошина лежала линия в девятьсот километров, Кирпичников решил ехать на автомобиле, а не в купе вагона. Его с женой влек к себе мало известный путь, ночевки в поселках, скромная природа равнинной северной страны, мягкий ветер в лицо — вся прелесть живого мира и постепенное утопание в безвестности и задумчивом одиночестве.

Они поехали. Машина «алгонда-09» работала бесшумно: бензиновый мотор погиб пять лет назад, сокрушенный кристаллическим аккумулятором ленинградского академика Иоффе. Автомобиль шел на электрической аккумуляторной тяге и только тихо шипел покрышками по асбестоцементному шоссе. Запас энергии «алгонда» имела на десять тысяч километров пути, при весе аккумуляторов в десять килограммов.

И вот развернулась перед путешественниками чудесная натура вселенной, глубину которой десятки веков старались постигнуть мудрецы всех стран и культур, идя дорогой мысленного созерцания. Будда, составители вед, десятки египтян и арабов, Сократ, Платон, Аристотель, Спиноза, Кант, наконец, Бергсон и Шпенглер — все силились догадаться про существо вселенной. А вся суть в том, что догадаться об истине нельзя, до нее можно доработаться: вот когда весь мир протечет сквозь пальцы работающего человека,

[4] Выше упоминается автором как Ржавск.

преображаясь в полезное тело, тогда можно будет говорить о полном завоевании истины. В этом была философия революции, случившаяся восемнадцать лет назад и не совсем оконченная и сейчас.

Понять — это значит прочувствовать, прощупать и преобразить, — в эту философию революции Кирпичников верил всей кровью, она ему питала душу и делала волю боеспособным инструментом.

Кирпичников вел «алгонду», улыбался и наблюдал. Мир был уже не таким, каким его видел Кирпичников в детстве — в глухом Гробовске. Поля гудели машинами; за первые двести километров пути он встретил шесть раз линию электропередачи высокого напряжения от мощных централей. Деревня резко изменила свое лицо — вместо соломы, плетней, навоза, кривых и тонких бревен в строительство вошли черепица, железо, кирпич, толь, террезит, цемент, наконец, дерево, но пропитанное особым составом, делающим его несгораемым. Народ заметно потолстел и подобрел характером. История стала практическим применением диалектического материализма. Искусственное орошение получило распространение до московской параллели. Дождевательные машины встречались так же часто, как пахотные орудия. На север от Москвы дождеватели исчезали, и появлялись дренажные осушительные механизмы. И дождеватели и осушители напоминали по внешнему виду тракторы.

Жена Кирпичникова показывала детям эту живую экономическую географию социалистической страны, и сам Кирпичников с удовольствием ее слушал. Трудная личная жизнь как-то погасила в нем эту простую радость видеть, удивляться и чувствовать наслаждение от удовлетворения любознательности.

Только на пятый день они приехали в Волошино.

В доме, где остановились Кирпичниковы, был вишневый сад, который уже набух почками, но еще не оделся в свой белый неописуемый трогательный наряд.

Стояло тепло. Дни сияли так мирно и счастливо, как будто они были утром тысячелетнего блаженства человечества.

Через день Кирпичников поехал к Матиссену.

Исаак совсем не удивился его приезду.

— Я каждый день наблюдаю гораздо более новые и оригинальные явления, — пояснил Матиссен Кирпичникову, поняв его недоумение равнодушным приемом.

Через час Матиссен немного отмяк.

— Женатый, черт! Привык к сентиментальности. А я, брат, почитаю работу более прочным наследством, чем дети!.. — И Матиссен засмеялся, но так ужасно, что у него пошли морщины по лысому черепу. Видно, что смех его столь же част, как затмение солнца.

— Ну, рассказывай и показывай, чем живешь, что делаешь, кого любишь! — улыбнулся Кирпичников.

— Ага, любопытствуешь! Одобряю и приветствую!.. Но слушай, — я тебе покажу только главную свою работу, потому что считаю ее законченной. Про другие говорить не буду — и не спрашивай!..

— Послушай, Исаак! — сказал Кирпичников, — меня бы интересовала твоя работа над темой техники без машины, помнишь? Или ты уже забыл эту проблему и разочаровался в ней?

Матиссен пожмурился, хотел сострить и удивить приятеля, но, позабыв все эти вещи, тщетно вздохнул, сморщил лицо, привыкшее к неподвижности, и просто ответил:

— Как раз это я тебе и покажу, коллега Кирпичников!

Они прошли плантации, сошли в узкую долину небольшой речки и остановились. Матиссен выпрямился, приподнял лицо к горизонту, как будто обозревая миллионную аудиторию на склоне холма, и заявил Кирпичникову:

— Я скажу тебе кратко, но ты поймешь: ты электрик, и это касается твоей области! Только не перебивай: мы оба спешим — ты к жене (Матиссен повторил свой смех — лысина заволновалась морщинами и челюсти разошлись, в остальном лицо не двигалось), а я — к

почве.

Кирпичников промолчал и предложил свой вопрос:

— Матиссен, а где же приборы? Ведь мне хотелось бы не лекцию прослушать, а увидеть твои эксперименты!

— И то и другое, Кирпичников, и то и другое! А все приборы налицо! Если ты их не видишь, значит, ты ничего и не услышишь и не поймешь!

— Я слушаю, Матиссен! — кратко поторопил его Кирпичников.

— Ага, ты слушаешь! Тогда я говорю. — Матиссен поднял камешек, изо всех сил запустил его на другую сторону речки и начал: — Видно даже очам, что всякое тело излучает из себя электромагнитную энергию, если это тело подвергается какой-нибудь судороге или изменению. Верно ведь? И каждому изменению — точно, неповторимо, индивидуально — соответствует излучение целого комплекса электромагнитных волн такой-то длины и таких-то периодов. Словом, излучение, радиация, если хочешь, зависит от степени изменения, перестройки подопытного тела. Дальше. Мысль, будучи процессом, перестраивающим мозг, заставляет мозг излучать в пространство электромагнитные волны.

Но мысль зависит от того, что человек конкретно подумал, — от этого же зависит, как и насколько изменится строение мозга. А от изменения строения или состояния мозга уже зависят волны: какие они будут. Мыслящий, разрушающий мозг творит электромагнитные волны, и творит их в каждом случае по-разному: смотря какая мысль перестраивала мозг. Тебе все ясно, Кирпичников?

— Да, — подтвердил Кирпичников, — дальше!

Матиссен сел на кочку, потер усталые глаза и продолжал:

— Опытным путем я нашел, что каждому роду волны соответствует одна строго определенная мысль. Я, понятно, несколько обобщаю и схематизирую, чтобы ты лучше понял. На самом деле все гораздо сложнее. Так вот. Я построил универсальный приемник-резонатор, который улавливает и фиксирует волны всякой длины и всякого периода. Но скажу тебе, что даже одной, самой незначительной и короткой мыслью вызывается целая сложнейшая система волн.

Но все же мысли, скажем, «окаянная сила» (помнишь этот дореволюционный термин?) соответствует уже известная, экспериментально установленная система волн. От другого человека она будет лишь с маленькой разницей.

И вот, свой приемник-резонатор я соединил с системой реле[5] и исполнительных аппаратов и механизмов, сложных по технике, но простых и единых по замыслу. Но эту систему надо еще более усложнить и продумать. А затем распространить по всей земле для всеобщего употребления. Пока же я действую на незначительном участке и для определенного цикла мыслей.

Теперь гляди! Видишь, на том берегу у меня посажена капустная рассада. Видишь, она уже засохла от бездождия. Теперь следи: я четко думаю и даже выговариваю, хотя последнее не обязательно: о-р-о-с-и-т-ь! Гляди на другой берег, голова!..

Кирпичников всмотрелся на противоположный берег речонки и только сейчас заметил полузакрытую кустом небольшую установку насосного орошения и какой-то компактный прибор. Вероятно, приемник-резонатор, догадался Кирпичников.

После слова Матиссена — оросить — насосная установка заработала, насос стал сосать из речки воду, и по всему капустному участку из форсунок-дождевателей забили маленькие фонтанчики, разбрызгивающие мельчайшие капельки. В фонтанчиках заиграла радуга солнца, и весь участок зашумел и ожил: жужжал насос, шипела влага, насыщалась почва и свежели молодые растеньица.

Матиссен и Кирпичников молча стояли в двадцати метрах от этого странного самостоятельного мира и наблюдали.

Матиссен ехидно посмотрел на Кирпичникова и сказал:

[5] Приборы, замыкающие сильный ток, но приводимые в действие слабым током.

— Видишь, чем стала мысль человека? Ударом разумной воли! Не правда ли?

И Матиссен уныло улыбнулся своим омертвевшим лицом.

Кирпичников почувствовал горячую жгущую струю в сердце и в мозгу — такую же, какая ударила его в тот момент, когда он встретил свою будущую жену. И еще Кирпичников сознал в себе какой-то тайный стыд и тихую робость — чувства, которые присущи каждому убийце, даже тогда, когда убийство совершено в интересах целого мира. На глазах Кирпичникова Матиссен явно насиловал природу. И преступление было в том, что ни сам Матиссен, ни все человечество еще не представляли из себя драгоценностей дороже природы. Напротив, природа все еще была глубже, больше, мудрее и разноцветней всех человеков.

Матиссен разъяснил:

— Вся штука чрезвычайно проста! Человек, то есть я, в данном случае находится в сфере исполнительных механизмов, и его мысль (например, «оросить») есть в плане возможности исполнительных машин: они так построены. Мысль — оросить — воспринимается резонатором. Этой мысли соответствует строгая неповторимая система волн. Именно только волнами такой-то длины и таких-то периодов, какие эквивалентны мысли «оросить», замыкаются те реле, которые управляют в исполнительных механизмах орошением. То есть там прямо замыкается ток и начинает действовать агрегат электромотор-насос. Поэтому через миг после мысли человека — оросить — под корнями капусты уже блестит вода.

Такая высшая техника имеет целью освободить человека от мускульной работы. Достаточно будет подумать, что надо, чтобы звезда переменила путь… Но я хочу добиться, чтобы обойтись без исполнительных механизмов и без всяких посредников, а действовать на природу прямо и непосредственно — голой пертурбацией мозга. Я уверен в успехе техники без машин. Я знаю, что достаточно одного контакта между человеком и природой — мысли, — чтобы управлять всем веществом мира! Понял?.. Я поясню. Видишь, в каждом теле есть такое место, такое сердечко, что если дать по нем щелчком — все тело твое: делай с ним что хочешь! А если язвить тело как нужно и где нужно, то оно будет само делать то, что его заставишь! Вот я считаю, что той электромагнитной силы, которая испускается мозгом человека при всяком помышлении, вполне достаточно, чтобы так уязвлять природу, что эта Маша станет нашей!..

Кирпичников на прощанье сжал руку Матиссену, а потом обнял его и сказал с горячим чувством и полной искренностью:

— Спасибо, Исаак! Спасибо, друг! Знаешь, только одна еще есть проблема, которая равна твоей! Но она еще не решена, а твоя почти готова… Прощай! Еще раз спасибо тебе! Надо всем работать, как ты — с резким разумом и охлажденным сердцем! До свиданья!

— Прощай! — ответил Матиссен и полез вброд, не разуваясь, на ту сторону своей маловодной речонки.

* * *

Пока Кирпичников отдыхал в Волошине, мир сотрясала сенсация. В Большеозерской тундре экспедицией профессора Гомонова откопаны два трупа: мужчина и женщина лежали обнявшись на сохранившемся ковре. Ковер был голубого цвета, без рисунка, покрытый тонким мехом неизвестного животного. Люди лежали одетыми в плотные сплошные ткани темного цвета, покрытые изображениями изящных высоких растений, кончавшихся вверху цветком в два лепестка. Мужчина был стар, женщина молода. Вероятно, отец и дочь. Лица и тела были того же строения, что и люди, обнаруженные в Нижнеколымской тундре. То же выражение спокойных лиц: полуулыбка, полусожаление, полуразмышление, — будто воин завоевал мраморный неприступный город, но среди статуй, зданий и неизвестных сооружений упал и умер, усталый и удивленный.

Мужчина крепко сжимал женщину, как бы защищая ее покой и целомудрие для смерти.

Под ковром, на котором лежали эти мертвые обитатели древней тундры, были найдены две книги, — одна была напечатана тем же шрифтом, что и книжка, найденная в Нижнеколымской тундре, другая имела иные знаки. Эти знаки были не буквами, а некоторой символикой, однако с очень точным соответствием каждому символу отдельного понятия. Символов было чрезвычайное множество, поэтому ушло целых пять месяцев на их расшифровку. После этого книга была переведена и издана под наблюдением Академии филологических наук. Часть текста найденной книги осталась неразгаданной: какой-то химический состав, вероятно находившийся в ковре, безвозвратно погубил драгоценные страницы — они стали черными, и никакая реакция не выявляла на них символических значков.

Содержание найденного произведения было отвлеченно-философское, отчасти историко-социологическое. Все же сочинение представляло такой глубокий интерес как по теме, так и по блестящему стилю, что книжка в течение двух месяцев вышла в одиннадцати изданиях подряд.

Кирпичников выписал книгу. Везде и всюду он искал одного — помощи для разгадки эфирного тракта.

Когда он посетил Матиссена, на обратном пути что-то зацепилось в его голове, он обрадовался, но потом снова все распалось — и Кирпичников увидел, что работы Матиссена имеют лишь отдаленное родство с его мучительной проблемой.

Получив книгу. Кирпичников углубился в нее, томимый одною мыслью, ища между строк неясного намека на решение своей мечты. Несмотря на дикость, на безумие искать поддержки в открытии эфирного тракта у большеозерской культуры, Кирпичников с затаенным дыханием прочел сочинение мертвого философа.

Сочинение не имело имени автора, называлось оно «Песни Аюны». Прочитав его, Кирпичников ничему не удивился — ничего замечательного в сочинении не содержалось.

— Как скучно! — сказал Кирпичников. — И в тундре ничего путного не думали! Все любовь, да творчество, да душа, а где же хлеб и железо?..

* * *

Кирпичников сильно затосковал, потому что он был человеком, а человек обязательно иногда тоскует. Ему случилось уже тридцать пять лет. Построенные им приборы для создания эфирного тракта молчали и подчеркивали заблуждение Кирпичникова. Фразу Попова — «Решение просто — электромагнитное русло» — Кирпичников всячески толковал посредством экспериментов, но выходили одни фокусы, а эфирного пищепровода к электронам не получалось.

— Так-с! — в злобном исступлении сказал себе Кирпичников. — Следовательно, надо заняться другим! — Тут Кирпичников прислушался к дыханию жены и детей (была ночь и сон), закурил, прислушался к шуму Тверской за окном и сразу зачеркнул все. — Тогда тебе надо пуститься пешему по земле, ты гниешь на корню, инженер Кирпичников! Семья? Что ж — жена красива, новый муж к ней сам прибежит, дети здоровы, страна богата — прокормит и вырастит! Это единственный выход, другой — смерть на снежном бугре у распахнутой двери: выход Фаддей Кирилловича!.. Да-с, Кирпичников, таковы дела!

Кирпичников вздохнул с чрезвычайной сентиментальностью, а на самом деле искренне и мучительно.

— Ну что я сделал? — продолжал он шепотом ночную беседу с самим собой. — Ничего. Туннель? Чепуха: сделали бы и без меня. Крохов был талантливее меня. Вон Матиссен — действительно работник! Машины пускает мыслью! А я… а я обнял жизнь, жму ее, ласкаю, а никак не оплодотворю… Будто женился человек, а сам только с виду мужчина и обманул жену…

Кирпичников тут спохватился:

— Философствуете, сударь? В отчаяние впали? Стоп! Это, брат, нервы у меня

расшились: простая физиологическая механика, субъективно не имеющая страдания… Так зачем же ты страдаешь?

Зазвонил неожиданно и не вовремя телефон:

— У телефона Крохов. Здорово, Кирпичников!

— Здравствуй, что скажешь?

— Я, брат, получил назначение. Еду на Фейссуловскую атлантическую верфь: первое компрессорно-волновое судно строить. Знаешь эту новую конструкцию: судно идет за счет силы волн самого океана! Проект инженера Флювельберга.

— Ну, слыхал, а я-то при чем тут?

— Что ты бурчишь? У тебя изжога, наверно! Чудак, я еду главным инженером верфи, а тебя вот зову своим заместителем! Я ведь корабельщик по образованию — справимся как-нибудь, и сам Флювельберг будет у нас! Ну как, едем?

— Нет, не поеду, — ответил Кирпичников.

— Почему? — спросил пораженный Крохов. — Ты где работаешь-то?

— Нигде.

— Ну, смотри, парень! Пройдет изжога, пожалеешь! Я подожду неделю.

— Не жди, не поеду!

— Ну, как хочешь!

— Прощай.

— Спокойной ночи.

Кирпичников прошел в спальню. Постоял молча в дверях, потом надел старое пальто, шляпу, взял мешок и ушел из дому навсегда. Он ни о чем не сожалел и питался своей глухою тревогой. Он знал одно: устройство эфирного тракта поможет ему опытным путем открыть эфир, как генеральное тело мира, все из себя производящее и все в себя воспринимающее. Он тогда технически, то есть единственно истинно, разъяснит и завоюет всю сферу вселенной и даст себе и людям горячий ведущий смысл жизни. Это старинное дело, но мучительны старые раны. Только людские ублюдки кричат: нет и не может быть смысла жизни — питайся, трудись и молчи. Ну, а если мозг уже вырос и так же страстно ищет своего пропитания, как ищет его тело? Тогда как? Тогда — труба, выкручивайся сам, в этом мало люди помогают.

Вот именно! Найдите вы человека, который живет не евши! Кирпичников же вошел в ту эпоху, когда мозг неотложно требовал своего питания, и это стало такой же горячей воющей жаждой, как голод желудка, как страсть пола!

Может быть, человек, незаметно для себя, рождал из своих недр новое великолепное существо, командующим чувством которого было интеллектуальное сознание, и ничто иное! Наверное, так. И первым мучеником и представителем этого существа — был Кирпичников.

Кирпичников пошел пешком на вокзал, сел в поезд и поехал на свою забытую, заросшую забвением родину — Гробовск. Там он не был двенадцать лет. Ясной цели у Кирпичникова не было. Он влекся тоскою своего мозга и поисками того рефлекса, который наведет его мысль на открытие эфирного тракта. Он питался бессмысленной надеждой обнаружить неизвестный рефлекс в пустынном провинциальном мире.

Очутившись в вагоне, Кирпичников сразу почувствовал себя не инженером, а молодым мужичком с глухого хутора и повел беседу с соседями на живом деревенском языке.

* * *

Русское овражистое поле в шесть часов октябрьского утра — это апокалипсическое явление, кто читал древнюю книгу — Апокалипсис. Идет смутное столпотворение гор сырого воздуха, шуршит робкая влага в балках, в десяти саженях движутся стены туманов, и ум пешехода волнует скучная злость. В такую погоду, в такой стране, если ляжешь спать в деревне, может присниться жуткий сон.

И действительно, по дороге, выспавшись в ближней деревне, шел человек. Кто знает,

кем он был. Бывают такие раскольники, бывают рыбаки с верхнего Дона, бывает прочий похожий народ. Пешеход был не мужик, а, пожалуй, парень. Он поспешал, сбивался с такта и чесал сырые худые руки. В овраге стоял пруд, человек сполз туда по глинистому склону и попил водицы. Это было ни к чему — в такую погоду, в сырость, в такое прохладное октябрьское время не пьется даже бегуну. А путник пил много, со вкусом и жадностью, будто утоляя не желудок, а смазывая и охлаждая перегретое сердце.

Очнувшись, человек зашагал сызнова, глядя как напуганный.

Прошло часа два; пешеход, одолевая великие грязи, выбился из сил и ждал какую-нибудь нечаянную деревушку на своей осенней дороге.

Началась равнина, овраги перемежились и исчезли, запутавшись в своей глуши и заброшенности.

Но шло время, а никакого сельца на дороге не случалось. Тогда парень сел на обдутый ветрами бугорок и вздохнул. Видимо, это был хороший молчаливый человек и у него была терпеливая душа.

По-прежнему пространство было безлюдно, но туман уползал в вышину, обнажались поздние поля с безжизненными остьями подсолнухов, и понемногу наливался светом скромный день.

Парень посмотрел на камешек, кинутый во впадину, и подумал с сожалением об его одиночестве и вечной прикованности к этому невеселому месту. Тотчас же он встал и опять пошел, сожалея об участи разных безымянных вещей в грязных полях.

Скоро местность снизилась, и обнаружилось небольшое село — дворов пятнадцать.

Пеший человек подошел к первой хате и постучал. Никто ему не ответил. Тогда он самовольно вошел внутрь помещения.

В хате сидел нестарый крестьянин, бороды и усов у него не росло, лицо был утомлено трудом или подвигом. Этот человек как будто сам только вошел в это жилье и не мог двинуться от усталости, оттого он и не ответил на стук вошедшего.

Парень, житель Гробовского округа, вгляделся в лицо нахмуренного сидельца и сказал:

— Феодосий! Нюжли возвратился?

Человек поднял голову, засиял хитрыми умными глазами и ответил:

— Садись, Михаил! Воротился, нигде нет благочестия — тело наружи, а душа внутри. Да и шут ее знает — кто ее щупал — душу свою…

— Што ж, хорошо на Афоне? — спросил Михаил Кирпичников.

— Конечно, там земля разнообразней, а человек — стервец, — разъяснял Феодосий.

— Что ж теперь делать думаешь, Феодосий?

— Так чохом не скажешь! Погляжу пока, — шесть лет ушло зря, теперь бегом надо жить! А ты куда уходишь, Михаил?

— В Америку. А сейчас иду в Ригу на морской пароход!

— Далече. Стало быть, дело какое имеешь знаменитое?

— А то как же!

— Стало быть, дело твое сурьезное?

— А то как же! Бедовать иду, всего лишился!

— Видать, туго задумал ты свое дело?

— Знамо, не слабо. Без харчей иду, придорожным приработком кормлюсь!

— Дело твое крупное, Михайла…

Пустая хата пахла не по-людски. Мутные окна глядели равнодушно и разуверяли человека: оставайся, не ходи никуда, живи молча в укромном месте!

Михаил и Феодосий разулись, развесили мокрые портянки и закурили, уставившись на стол рассеянными глазами.

— Что-то дует! Михайла, захлобысни дверь! — сказал Феодосий.

Устроив это, Михаил спросил:

— Небось тепло теперь в Афонском монастыре! Небось покойно живется там. Чего сбежал из монахов?

— Оставь, Михаил, мне нужна была истина, а не чужеродные харчи. Я хотел с Афона в Месопотамию уйти — говорят, там есть остатки рая, а потом передумал. Года ушли, уж ничего не нужно стало. Только вспомнишь детей, и как-то жалко станет. Помнишь, трое детей умерло у меня в одно лето?.. Уж двадцать годов прошло, небось кость да волос остались в могиле… Эх, жутко мне чего-то, Михаил!.. Оставайся ночевать, может, дорога к утру заквокнет…

— И то останусь, Феодосий. Этак до Риги не дойдешь!

— Вари картохи! Жрать с горя тянет…

Уснувши спозаранок, Феодосий и Михаил проснулись ночью. Огня в хате не было; за окном стояла нерушимая и безысходная тишина. Как будто и поля проснулись, но был час ночи, до утра далеко, и они лежали и скучали, как люди.

Почуяв, что Михаил не спит, Феодосий спросил:

— Из Америки-то думаешь возвращаться?

— Затем и еду, чтоб вернуться.

— Едва ли: дюже далеко!

— Ничего, обучусь нужному делу и ворочусь!

— Мудрому делу скоро не обучишься.

— Это верно, дело мое богатое, скоро не ухватишь!

— Насчет чего же дело твое?

— Пыточный ты человек, Феодосий, был на Афоне и в иностранных державах, рай искал, а насущного ничего не узнал…

— Это истинно, кому что!

— Мужикам одно нужно — достаток! У нас ржи — хоть топи ей, а все не богато живем и туго идем на поправку. В этом году рожь до двугривенного доходила — вот тебе и урожай!

— А чего же ты задумал?

— Слыхал про розовое масло? — неожиданно для себя выпалил Кирпичников, смутно вспомнив какую-то старую, давно слышанную историю. И это его спасло, потому что ясного ответа — на вопрос о своем странствии — он не имел даже для себя.

— Слыхал — гречанки тело мажут им для прелести.

— Это што! Это для духовитости. Из розового масла знаменитые лекарства делают — человек не стареет, кровь ободряют, волос выращивают — я по книжке изучал. Я ее с собой несу. В Америке половина земли розами засажена — по тыще рублей в год чистого прибытка десятина дает! Вот где, Феодосий, мужицкое счастье…

Михаил говорил зажмурившись, в избытке благородного чувства, но думая совсем о другом. Открыв глаза, он заметил, что в окне посерело, он слез с печки и стал собираться в Америку, не стравливая зря времени.

— Куда ты? — спросил Феодосий.

— Пора уходить, мне еще далече идти. Отдохнул — и в ход, а то я томиться начинаю, когда задерживаюсь!

— Рано еще, наварим кулешу, поешь и пойдешь.

— Нет, пойду, день и так короток!

— Ну, как хочешь… Ты, стало быть, в Америке хочешь узнать, как розовое масло делается?

— Догадался? А ты думал, я свечки там делать буду? Наша земля сотворена для розы! На нашем черноземе только розе и расти! Ты погляди, Феодосий, благоухание какое будет — все болезни пропадут!..

— Да, дело твое лепное! Ну, ступай, чудотворец, поглядим — подышим! Много тогда рассады, должно, потребуется! Скорей только ворочайся и в морях не утопни!

Кирпичников вышел и пропал в полях. Он был доволен ночевкой, Феодосием — восемнадцать лет пропадавшим где-то в поисках праведной земли и увидевшим в нем только черепичного мастера — и своей хорошей беседой с ним. Но в этой беседе была и правда — Кирпичников на самом деле собрался в Америку, ища там невиданных новостей жизни,

заранее им радуясь, чувствуя в себе необъяснимое освобождение.

Пройдя сквозь европейский кусок СССР, Михаил достиг Риги. Он шел четыре месяца. Задерживала его не столько дальность дороги, сколько заработки по хуторам, где он поденно батрачил. Как только он зарабатывал пищи на неделю, он бросал хозяина с его заботами и уходил в направлении Балтийского моря.

В Риге в Михаиле Кирпичникове проснулся инженер. Его поразила прочность домов — ни ветер, ни вода такие постройки не возьмет, — одно землетрясение может поразить такие монументы. Сразу почуял в Риге Михаил всю тщету, непрочность и страх сельской жизни. В Москве он почему-то про это не думал. Еще удивил Михаила этот город стройной задумчивой торжественностью зданий и крепкими спокойными людьми. Несмотря на образование и жизнь в Москве, в Кирпичникове сохранилась первобытность и способность удивляться простым вещам. Михаил нечаянно для себя подумал, что действительно нежное масло душных и пьяных роз способно построить вечные здания в древних балках его родины и в этих зданиях поселятся довольные вежливые мужики.

Так, незаметно, голова Кирпичникова переводилась на другую идею, чтобы дать отдых первой.

По ровным цементным дорогам побегут чистоплотные автомобили, шурша узорной резиной, развозя мужиков в гости к кумовьям верст за двести и далее. Феодосий, наверное, тогда женится, купит сто пудов бензину и поедет в Месопотамию смотреть остатки обители умершего бога.

Хорошо будет. Встанешь утром, воткнул рычаги, повернул кнопки — жарится завтрак, греется чай, насос пыль из комнаты высасывает, в руках находится умная книга. Женщину не за что терзать, и ей нечего мучиться, борясь с неуютностью жизни, — и женщина тогда порозовеет щеками, потому что в поле будут расти розы, а не рожь. Женщина тогда станет настоящей матерью могучих людей, которые народятся в мир и дадут ему здоровье и покойную силу. Будущие женщины станут похожими на своих сестер, откопанных в тундре.

Михаил ходил по Риге и улыбался от удовольствия видеть такой город и иметь в себе верную мысль всеобщего богатства и здоровья. Ходил он столько дней, пока у него не вышли харчи; тогда он пошел в порт.

Кирпичников окончательно убедился, что розы — верная мысль и надежный источник народного обогащения. Еще далеко не все богаты были, даже в Советской стране.

Голландский пароход «Индонезия», сгрузив индиго, чай и какао, грузился лесом, деревообделочными машинами, пенькой и разными изделиями советской индустрии. Из Риги он должен идти в Амстердам, там он произведет текущий ремонт машин, а затем уйдет в Сан-Франциско, в Америку.

Михаила Кирпичникова взяли на него помощником кочегара — подкидчиком угля, потому что Кирпичников согласился работать за половинную цену.

Через десять дней «Индонезия» тронулась, и перед Михаилом Ковалем[6] открылся новый могучий мир пространства и бешеной влаги, о котором он никогда особенно не думал.

Океан неописуем. Редкий человек переживает его по-настоящему, тем чувством, какого он достоин. Океан похож на тот великий звук, который не слышит наше ухо, потому что у этого звука слишком высок тон. Есть такие чудеса в мире, которые не вмещают наши чувства, именно потому, что наши чувства их не могут вынести, а если бы попробовали, то человек разрушился бы.

Вид океана снова убедил Михаила в необходимости достигнуть богатой жизни и отыскать эфирный тракт, а вечная работа воды заряжала его энергией и упорством.

Эфир уже сочетался с розой в сознании Кирпичникова, и, экономя образ, он иногда воображал себе розу, опущенную в синий дух эфира.

В Сан-Франциско Кирпичникову посоветовали идти в Калифорнию — там есть округ Риверсайда, где много лимонных садов и цветоводов. Там именно и занимаются выгонкой

[6] Описка автора. Имеется в виду Кирпичников.

розового масла, и имеется для этого большой завод.

И Кирпичников двинулся вдоль Америки.

У одного фермера, где Кирпичников нанялся на прочистку сада, была дочь. Михаилу она очень понравилась, до того она была ласковая и миловидная. Ее звали Руфью. Руфь была прилежна в работе, имела твердые руки и смело водила «форд». Она же заведовала всеми машинами и орудиями на ферме и была за машиниста на водокачке, которая подавала воду на орошение сада. Руфь была русая, голубоглазая и по характеру, по сердечности и серьезности напоминала русскую.

И Кирпичников захотел остаться на ферме. Отец Руфи ценил прилежание Михаила, относился к нему хорошо и, наверное, оставил бы Михаила на неопределенное время. Тем более на ферме не было ни слесаря, ни кузнеца, а Михаил знал это дело.

Но раз ночью Михаил проснулся. На колодце чвакал двигатель, нагнетая воду в сад. Хутор спал, и Михаил почувствовал тоску и тревогу. Он вспомнил розы, Россию, Феодосия, Попова, эфирный тракт, работающий океан — и стал одеваться. Деньги у него были, двадцать долларов, и он вышел в прохладную ночь. Была за фермой тьма, какой-то город сиял ночным чудом на далеком холме — и Михаил молча пошел дальше на Калифорнию, в лимонный округ Риверсайда.

* * *

Десять лет прошло, как ушел Михаил из Ржавска, успев кончить рабфак и электротехнический институт и попасть в Америку в научную командировку. Всюду он искал решение задачи мертвого Попова. В свежее утро раннего лета, среди молодых розовых гор Калифорнии, шагал Михаил к далеким лимонным рощам и цветочным полям Риверсайда.

Кирпичников чувствовал в себе сердце, в сердце был напор крови, а в крови — надежда на будущее, — на сотни счастливых советских лет, напоенных благотворным газом роз и накормленных эфирным железом.

И Михаил спешил среди ферм, обгоняя мощные стада, сквозь веселый белый бред весенних вишневых садов. Калифорния немного напоминала Украину, где Кирпичников бывал мальчиком, но народ был сплошь здоровый, рослый и румяный, а коричневые обнажения древних горных пород напоминали Кирпичникову, что родина его далеко и что там сейчас, наверное, грустно.

И, свирепея, отчаиваясь, завидуя, упираясь в твердые ноги, Кирпичников почти бежал, спеша достигнуть таинственный Риверсайд, где сотни десятин под розами, где из нежного тела беззащитного цветка выгоняется тончайшая драгоценная влага и где, быть может, работает возбудитель того рефлекса, который выведет его на эфирный тракт: в Риверсайде находилась тогда знаменитая лаборатория по физике эфира, принадлежащая Американскому электрическому униону.

Четверо суток шел Михаил. Он немного заблудился и дал круг километров в пятьдесят.

Наконец он достиг города Риверсайда. В городе было всего домов тысячу; но улицы, электричество, газ, вода — все было удобно обдумано и устроено, как в лучшей столице.

У околицы города висела вывеска:

> «Путник, только у Глэн-Бабкока, в гостинице „Четырех стран света“, высосут пыль из твоей одежды (вакуум-пюпитры), предложат влагу лучших источников Риверсайда, накормят стерилизованной пищей, почти не дающей несваренных остатков, и уложат в постель с электрическими грелками и рентгенокомпрессором, изгоняющим тяжелые сновидения».

Кирпичников немного понимал по-английски и теперь развлекался этими надписями.

> «Американцы! В Вашингтоне — ваша мудрость! В Нью-Йорке — слава! В

Чикаго — кухня! В Риверсайде — ваша красота! Американцы, вы должны быть настолько красивы, насколько энергичны и богаты: заказывайте тоннами пудру „Ривергрэн“!»

«В Фриско наши корабли, в Риверсайде — наши женщины! Американки, объясните мужьям — нашей стране нужны не только броненосцы, но и цветы! Американки, записывайтесь в Добровольную Ассоциацию Поощрения Национального Цветоводства: Риверсайд, 1, А/34».

«Масло розы — основа богатства нашего округа! Масло розы — основа здоровья нации! Американцы, уснащайте ваши мужественные тела эссенцией розы — и вы не потеряете мужества до ста лет!»

«В Азии — Месопотамия, но без рая! В Америке — Риверсайд, но в раю!»

«Элементы нашего национального рая, суть:

Пища — Жилище — Влага: Глэн-Бабкок;

Одежда — Красота — Мораль: Кацманзон;

Искусство — Рассуждение — Религия — Пути Поведения — Вечная Слава: универсальное блок-предприятие Звездного треста;

Вечный покой: Анонимная Компания „Урна“;

Эксплуатация времени в целях смеха и развлечения: изолированная обитель „Древо Евы“;

Препараты „Антисексус“: Беркман, Шотлуа и Сн.».

«Ходят только в башмаках Скрэга, в остальной обуви ползают!»

«Приведи в действие тормоз опасности! Стоп! Дальше — конец света! Зайди в наш дом „Сотворение мира“!»

«Джентльмены! Танец творит человека — творите себя: танцзала напротив! Маэстро Майнрити: стаж 50 лет в странах Европы».

«Помолись! Каждый обречен на смерть! Встреча с Богом неминуема! Что ты скажешь ему? Зайди в Дом Абсолютной Религии! Вход бесплатный. Хор юных девушек зафиксированного целомудрия! Оживленная Статуя Истинного Бога! Мистические процедуры, стихи, музыка нерожденных душ, ароматное помещение! Кино религиозными методами иллюстрирует современность, пастор Фокс доказывает соответствие Истории и Библии! Посетившему гарантируется стерилизация души и возвращение перводушевности!»

«Звездное Знамя есть Знамя Небесного Бога! Аллилуйя!»

«Наклони голову: тебя ждут обувные автоматы и препараты против пота!»

> «Главное в жизни — Пища! И — наоборот! Усовершенствованные экскрементарии в каждом квартале Риверсайда ждут тебя! Осознай желудок!»

> «Аэропланы в розницу с бесплатной упаковкой: Эптон Гаген».

Кирпичников хохотал. Он читал где-то, что американцы по развитию мозга — двенадцатилетние мальчики. Судя по Риверсайду, это была точная правда.

Работу себе нашел Кирпичников через четыре дня: машинистом на насосной станции, поднимающей воду из реки Квебека в лимонные сады. На заводе розовых масел работы не было и не предвиделось. Кирпичников решил обождать.

Прошел монотонный месяц. Кругом жили глупые люди: работа, еда, сон, ежевечернее развлечение, абсолютная вера в бога и в мировое первенство своего народа! Очень любопытно! Кирпичников наблюдал, молчал и терпел, друзей никаких не имел.

Адреса своего Кирпичников дома не оставил, записки тоже, однако то, что он отправился в Америку, на родине было известно. Кирпичников, как всегда, внимательно читал газеты, и однажды увидел в «Чикагском ораторе» следующее объявление:

> «Мария Кирпичникова просит своего бывшего мужа Михаила Кирпичникова вернуться на родину, если ему дорога жизнь жены. Через три месяца Кирпичников жену в живых не застанет. Это не угроза, а просьба и предупреждение».

Кирпичников вскочил, бросился к машине и закрыл клапан паропровода. Машина остановилась.

Сейчас же зазвонил телефон:

— Алло! В чем дело, механик?

— Посылайте смену до срока! Ухожу!

— Алло! В чем дело? Куда уходите? Что за шутки дьявола? Пустите сейчас же насос, иначе взыщем убытки! Алло, вы слушаете? Достаточно ли у вас долларов для уплаты штрафа? Я звоню полиции!

— Убирайся к черту, двенадцатилетний дурак! Я предупредил — я ухожу без расчета!

Кирпичников выбежал по мостику с плавучего понтона, на котором помещалась установка, и пустился по долине Квебека на запад, не успевая думать. Солнце жалило зноем, горизонт закрыт горами, подошвы которых устланы тучными плантациями, и жаль было, что великолепные плоды земли превращались в конечном счете в темную глупость и бессмысленное наслаждение человека.

* * *

Снова пошли дни, мучительные поиски заработка, тысячи затруднений и приключений. Описание даже обычного дня человека заняло бы целый том, описание дня Кирпичникова — четыре тома. Жизнь — в работе молекул; никто еще не уяснил себе, ценою каких трагедий и катастроф согласуется бытие молекул в теле человека и создается симфония дыхания, сердцебиения и размышления. Это неизвестно. Потребуется изобретение нового научного метода, чтобы его заостренным инструментом просверлить скважины в пучинах нутра человека и посмотреть, какая там страшная работа.

Снова океан. Но Кирпичников уже не кочегар на судне, а пассажир. В Нью-Йорке он попал в мертвую хватку голода. Работы не было, и он вышел из бедствия лишь случайно. Еще в студенческие годы он изобрел однажды точный регулятор напряжения электрического тока. После недельной сплошной голодовки он начал обходить тресты и предприятия с предложением своего изобретения.

Наконец Западная индустриальная компания купила у него проект регулятора. Однако

его заставили изготовить рабочие чертежи всех деталей. Кирпичников просидел над этим делом два месяца и получил всего двести долларов. Это его спасло.

Вез его океанский пароход «Гамбург — Америка линии» со средней скоростью шестьдесят километров в час. Кирпичников знал свою жену и был уверен, что если он не поспеет к сроку домой — она будет мертвой. Самоубийства он не допускал, но что же это будет? Он слышал, что в старину люди умирали от любви. Теперь это достойно лишь улыбки. Неужели его твердая, смелая, радующаяся всякой чепухе жизни Мария способна умереть от любви? От старинной традиции не умирают, тогда отчего же она погибнет?

Размышляя и томясь, Кирпичников блуждал по палубе. Он заметил прожектор далекого встречного корабля и остановился.

Вдруг сразу похолодало на палубе — начал бить страшный северный ветер, потом на судно нахлобучилась водяная глыба и в один миг сшибла с палуб и людей, и вещи, и судовые принадлежности. Судно дало крен почти в 45° к зеркалу океана. Кирпичников уцелел случайно, попав ногой в люк.

Воздух и вода гремели и выли, густо перемешавшись, разрушая судно, атмосферу и океан.

Стоял шум гибели и жалкий визг предсмертного отчаяния. Женщины хватали ноги мужчин и молили о помощи. Мужчины их били кулаками по голове и спасались сами.

Катастрофа наступила мгновенно, и, несмотря на высокую дисциплину и мужество команды, ничего существенного по спасению людей и судна сделать было нельзя.

Кирпичникова сразу поразила не сама буря и мертвая стена воды, а мгновенность их нашествия. За полминуты до них океан имел штиль и все горизонты были открыты. Пароход заревел всеми гудками, радио заискрило тревогу, началось спасение смытых пассажиров. Но вдруг буря затихла, и судно мирно закачалось, нащупывая равновесие.

Горизонт открылся, в километре шел европейский пароход, сияя прожекторами и спеша на помощь.

Мокрый Кирпичников суетился у катера, налаживая отказывающийся работать мотор. Он не вполне сознавал, как попал к катеру. Но катер необходимо спустить немедленно: в воде захлебывались сотни людей. Через минуту мотор заработал: Кирпичников зачистил его окислившиеся контакты — в этом была вся причина.

Кирпичников влез в кабинку катера и крикнул: отдавай блоки!

В эту минуту непроницаемый едкий газ затянул все судно, и Кирпичников не мог увидеть своей руки. И сейчас же он увидел падающее, одичалое, нестерпимо сияющее солнце и сквозь треск своего рвущегося мозга услышал на мгновенье неясную, как звон Млечного Пути, песню и пожалел о краткости ее.

* * *

Правительственное сообщение, помещенное в газете «Нью-Йорк таймс», было передано из-за границы Телеграфным агентством СССР:

> В 11 часов 15 мин. 24/IX с/г под 35°11′ сев. шир. и 62°4′ вост. долготы затонули американское пассажирское судно «Калифорния» (8 485 человек, считая команду) и германское судно «Клара» (6 841 чел. с командой), шедшее на помощь первому. Точные причины не выяснены. Надлежащее следствие ведется обоими правительствами. Спасенных и свидетелей катастрофы нет. Однако главную причину гибели обоих судов следует считать точно установленной: на «Калифорнию» вертикально упал болид гигантских размеров. Этот болид увлек корабль на дно океана; образовавшаяся воронка засосала также и «Клару».
>
> По мере хода следствия и подводных изысканий, публика будет своевременно и полностью информирована.

Сообщение было перепечатано во всех газетах мира. Наибольшее страдание оно

доставило не сиротам, не невестам, не женам и родственникам погибших, а Исааку Матиссену, директору Кочубаровской опытно-мелиоративной станции, близ поселения Волошино, Воронежского округа, Центрально-Черноземной области.

— Ну что, голова! Достиг вселенской мощи — наслаждайся теперь победой! — шептал Матиссен самому себе с тем полным спокойствием, которое соответствует смертельному страданию. И только пальцами он зря крошил хлеб, скатывал ядрышки и сшибал их щелчками со стола на пол.

— Ведь, по сути и справедливости, я ничего и не достиг. Я только испытал новый способ управления миром и совсем не знал, что случится! — Матиссен встал, вышел на ночной двор и крикнул собаку: — Волчок! Эх ты, тварь кобелястая! — Матиссен погладил подбежавшую собаку. — Верно, Волчок, что сердце наше — это болезнь? А? Верно, ведь, что сентиментальность — гибель мысли? Ну, конечно, так! Разрубим это противоречие в пользу головы и пойдем спать!

Матиссен закричал через забор в открытое поле, пугая невидимых, но возможных врагов. Волчок заскулил — и оба разошлись спать.

Хутор затих. Тихо шептала речонка в долине, подвигая свои воды к далекому океану, и в Кочубарове-селе отсекал исходящий газ двигатель электростанции. Там люди глубоко спали, не имея родственников ни на «Калифорнии», ни на «Кларе».

Матиссен тоже спал — с помертвелым лицом, оловянным утихшим сердцем и распахнутым зловонным ртом. Он никогда не заботился ни о гигиене, ни о здоровье своей личности.

Проснулся Матиссен на заре. В Кочубарове чуть слышно пели петухи. Он почувствовал, что ему ничего не жалко: значит, окончательно умерло сердце. И в ту же минуту он понял, что ему ничто не интересно и то, чего он добился — не нужно ему самому. Он узнал, что сила сердца питает мозг, а мертвое сердце умерщвляет ум.

В дверь постучался ранний гость. Вошел знакомый крестьянин Петропавлушкин.

— Я к вам от нашей коммуны пришел, Исаак Григорьевич! Вы не обижайтесь, я сам по званию и по науке помощник агронома и суеверия не имею!..

— Говори короче, в чем твое дело? — подогнал его Матиссен.

— Наше дело в том, что вы слово особое знаете и им пользу большую можете делать. Мы же знаем, как от вашей думы машины начинают работать…

— Ну, и что же?

— Нельзя ли, чтобы вы такую думу подумали, чтоб поля круче хлеб рожали…

— Не могу, — перебил Матиссен, — но, может быть, открою, тогда помогу вам. Вот камень с неба могу бросить на твою голову!..

— Это ни к чему, Исаак Григорьевич! А ежели камень можете, то почва ближе неба…

— Дело не в том, что почва ближе…

— Исаак Григорьевич, а я вот читал, корабли в океане утонули, тоже от небесного камня. Это не вы американцев удружили?

— Я, товарищ Петропавлушкин! — ответил Матиссен, не придавая ничему значения.

— Напрасно, Исаак Григорьевич! Дело не мое, а полагаю, что напрасно!

— Сам знаю, что напрасно, Петропавлушкин! Да что же делать-то? Были цари, генералы, помещики, буржуи были, помнишь? А теперь новая власть объявилась — ученые. Злое место пустым не бывает!

— А я того не скажу, Исаак Григорьевич! Если ученье со смыслом да с добросердечностью сложить, то, я полагаю, и в пустыне цветы засияют, а злая наука и живые нивы песком закидает!

— Нет, Петропавлушкин, чем больше наука, тем больше ее надо испытывать. А чтоб мою науку проверить, нужно целый мир замучить. Вот где злая сила знания! Сначала уродую, а потом лечу. А может быть, лучше не уродовать, тогда и лекарства не нужно будет…

— Да разве одна наука уродует, Исаак Григорьевич? Это пустое. Жизнь глупая увечит

людей, а наука лечит!

— Ну, хотя бы так, Петропавлушкин! — оживился Матиссен. — Пускай так! А я вот знаю, как камни с неба на землю валить, знаю еще кое-что, похуже этого! Так что же меня заставит не делать этого? Я весь мир могу запугать, а потом овладею им и воссяду всемирным императором! А не то — всех перекрошу и пущу газом!

— А совесть, Исаак Григорьевич, а общественный инстинкт? А ум ваш где же? Без людей вы тоже далеко не уплывете, да и в науке вам все люди помогали! Не сами же вы родились и разузнали сразу все!

— Э, Петропавлушкин, на это можно высморкаться! А ежели я такой злой человек?

— Злые умными не бывают, Исаак Григорьевич!

— А по-моему, весь ум — зло! Весь труд — зло! И ум и труд требуют действия и ненависти, а от добра жалеть да плакать хочется…

— Несправедливо вы говорите, Исаак Григорьевич! Я так непривычен, у меня аж в голове шумит!.. Так наша коммуна просит помощи, Исаак Григорьевич! Очень земля истощена, никакой фосфат уже не утучняет. Вам думу почве передать не трудно, а нам жизнь от этого! Уж вы, пожалуйста, Исаак Григорьевич! Вон как прелестно у вас: подошел, подумал что следует — и машина воду сама погнала! Так бы и нам материнство в почву дать! До свиданья, пока!

— Ладно. Прощай! — ответил Исаак Григорьевич.

«А этот человек умен, — подумал Матиссен, — он почти убедил меня, что я выродок!»

Затем Матиссен окончательно оделся и перешел в другую комнату. В ней стоял плоский и низкий стол размером 4 x 3 метра. На столе помещались приборы. Матиссен подошел к самому маленькому аппарату. Он включил в него ток от аккумуляторов и лег на пол. Сейчас же он потерял ясное сознание, и его начали терзать гибельные кошмары почти смертельной мощи и почти физически разрушающие мозг. Кровь переполнялась ядами и зачерняла сосуды; все здоровье Матиссена, все скрытые силы организма, все средства его самозащиты были мобилизованы и боролись с ядами, приносимыми кровью, обращающейся в мозгу. А сам мозг лежал почти беззащитным под ударами электромагнитных волн, бьющих из аппарата на столе.

Эти волны возбуждали особые мысли в мозгу Матиссена, а мысли стреляли в космос особыми сферическими электромагнитными бомбами. Они попадали где-то, может быть в глуши Млечного Пути, в сердце планет и расстраивали их пульс, — и планеты сворачивали с орбит и гибли, падая и забываясь, как пьяные бродяги.

Мозг Матиссена был таинственной машиной, которая пучинам космоса давала новый монтаж, а аппарат на столе приводил этот мозг в действие. Обычные мысли человека, обычное движение мозга бессильны влиять на мир, для этого нужны вихри мозговых частиц, — тогда мировое вещество сотрясает буря.

Матиссен не знал, когда начинал опыт, что случится на земле или на небе от его нового штурма. Тем чудесным и неповторимым строением электромагнитной волны, которую испускал его мозг, он еще не научился управлять. А именно в особом строении волны и был весь секрет ее могущества; именно это било мировую материю по самому нежному месту, и от боли она сдавалась. И такие сложные волны мог давать только живой мозг человека лишь при содействии мертвого аппарата.

Через час особые часы должны прервать ток, питающий мозговозбудительный аппарат на столе, и опыт прекратится.

Но часы остановились: их забыл завести Матиссен перед началом опыта. Ток неутомимо питал аппарат, и аппарат тихо гудел в своем труде.

Прошло два часа. Тело Матиссена таяло пропорционально квадрату количества времени. Кровь из мозга поступала сплошной лавой трупов красных шариков. Равновесие в теле нарушилось. Разрушение брало верх над восстановлением. Последний неимоверный кошмар вонзился в еще живую ткань мозга Матиссена, и милосердная кровь погасила последний образ и последнее страдание. Черная кровь бурей ворвалась в мозг через

разорванную вену и затормозила пульсирующее боевое сердце. Но последний образ Матиссена был полон человечности: перед ним встала живая измученная мать, из глаз ее лилась кровь, и она жаловалась сыну на свое мучение.

В девять часов утра Матиссен лежал мертвым — с открытыми белыми глазами, с руками, въевшимися ногтями в пол в борющемся исступлении.

Аппарат усердно гудел и остановился только к вечеру, когда иссякла энергия в аккумуляторе.

Весь день мимо дома Матиссена бежали упряжки лошадей и полуторатонные грузовики — возить отаву с лугов, заготовлять впрок корм скоту.

Петропавлушкин водил автомобиль — грузовичок, улыбался мировому пространству в полях и успокоительно думал о пользе добросердечной науки, коей он сам немалый соучастник.

* * *

Через два дня «Известия» в отделе «Со всего света» напечатали информацию Главной астрономической обсерватории.

> В созвездии Гончих Псов при ясном небе вторые сутки не обнаруживается альфа-звезда.
>
> В Млечном Пути на 4-й дистанции (9-й сектор) образовалось пустое пространство — разрыв. Его земной угол = 4°71′. Созвездие Геркулеса несколько смещено, вследствие чего вся солнечная система должна изменить направление своего полета. Столь странные явления, нарушившие вековое строение неба, указывают на относительную хрупкость и непрочность самого космоса. Обсерваторией ведутся усиленные наблюдения, направленные к отысканию причин этих аномалий.

В дополнение к этому обещалась беседа в ближайшем номере с академиком Ветманом. Из других телеграмм с одной четвертой земного шара (тогдашние размеры СССР) не явствовало, чтобы Земля потерпела что-либо существенное от звездных катастроф, исключая петитную информацию с Камчатки:

> На горы село небольшое небесное тело, около 10 километров в поперечнике. Строение его неизвестно. Форма — сфероид. Тело прилетело с небольшой скоростью и плавно приземлилось к вершинам гор. В бинокли видны огромные кристаллы на его поверхности. Местным Обществом Любителей Природоведения снаряжена экспедиция для предварительного изучения опустившегося тела. Но экспедиция не может дать быстрых результатов: горы почти неприступны. Из Владивостока затребованы аэропланы. Сегодня в направлении небесного тела пролетела небольшая эскадрилья японских аэропланов.

На следующий день эта заметка превратилась в сенсацию и странному событию была посвящена статья в триста строк академика Ветмана.

В тот же день «Беднота» сообщила о смерти инженера-агронома Матиссена, известного в кругах специалистов работника по оптимальному режиму влаги в почве.

И только помощнику агронома в Кочубарове Петропавлушкину, выписывавшему и «Известия» и «Бедноту», пришла в голову нечаянная мысль о связи трех заметок: Матиссен умер — на Камчатские горы села планетка — одна звезда пропала и лопнул Млечный Путь. Но кто поверит такому деревенскому бреду?

Хоронили Матиссена торжественно. Почти вся Кочубаровская сельскохозяйственная коммуна шла за его трупом. Земледелец издревле любит странников и чудородных людей. А молчаливый одинокий Матиссен был из таких — это явно чувствовали в нем все. Последний ободок волос на лысом черепе Матиссена осыпался, когда гроб резко толкнули неловкие

руки. Это удивило всех крестьян, и к мертвому Матиссену прониклись еще большей жалостью и уважением.

Похороны Матиссена совпали с концом работ подводной экспедиции, отправленной правительствами Америки и Германии для отыскания затонувших «Калифорнии» и «Клары».

Снимаясь с места катастрофы, экспедиция отправила радио в Нью-Йорк и Берлин:

> Считать установленным точной разведкой — живая сила болида была титанически велика: «Калифорния» и «Клара» загнаны болидом глубоко в дно океана и сам болид утонул в недрах океанического ложа. В месте катастрофы образовалась впадина диаметром в сорок километров, с наибольшей глубиной, считая от прежнего уровня дна, в 2,55 километра. Только подводное бурение может указать глубину залегания всех трех тел — «Калифорнии», «Клары» и самого болида. Надо ожидать сильной деформации изыскиваемых предметов.

В ответ на это оба правительства телеграфировали:

> Бурите дно океана. Соответствующие кредиты открыты.

Экспедиция послала одно из своих судов за добавочным оборудованием для буровых подводных работ, а через две недели начала бурение.

Петропавлушкин был селькором «Бедноты». Наука держала мир в панике сенсаций. Каждый день манифесты ее открытий занимали половину ежедневной прессы. Было время: веселился воин, потом торжествовал богач, а теперь настало время ученого героя и ликующего знания. В науке поместилось ведущее начало Истории.

В стороне от науки стоять не было терпения, и Петропавлушкин написал в «Бедноту» корреспонденцию, которая должна дать ему внутреннее удовлетворение соучастника всемирной науки.

Девять дней его терзала догадка, потом она превратилась в теплое убеждение, греющее мозг.

Корреспонденция называлась «Битва человека со всем миром»:

> Ученый инженер и агроном Исаак Григорьевич Матиссен, что умер на днях, как то известно читателям, изобрел такие мысли, что они сами по себе могли кидать метеоры на землю. Перед смертью, когда тело его было горячо, Исаак Григорьевич говорил мне, что он и не то будет еще делать. Американский корабль утонул тоже по его власти. А я ему отсоветовал так отягощаться бедой. Но он насмеялся над здравым смыслом полунаучного человека (я имею степень помощника агронома по полеводству). И вот я уверился, что Млечный Путь лопнул от мыслей Исаака Григорьевича. Смешно говорить, но он умер от такого усилия. У него жилы лопнули в голове и произошло кровоизлияние. Кроме Млечного Пути, Исаак Григорьевич навеки испортил одну звезду и совлек Солнце с Землею с их спокойного гладкого пути. От этого же, я так думаю, и какая-то планета отчего-то прилетела на Камчатские полуострова.
>
> Но дело прошлое. Теперь Исаак Григорьевич умер и только зря поломал мировое благонадежное устройство. А мог бы он и добро делать, только не захотел отчего-то и умер.
>
> Я освещаю этот мировой факт и требую к нему доверия, потому что я очевидец всему. Доказательство тому — мой предварительный разговор с Исааком Григорьевичем перед его уединенной смертью.
>
> Разгадка теперь дана всем малосведущим, и факт стал фактом во всеуслышание.
>
> Долой злые тайны и да здравствует сердечная наука!
>
> Селькор и помощник участкового агронома по полеводственной дисциплине Петропавлушкин.

В редакции «Бедноты» посмеялись над таким доносом на мертвого и написали товарищу Петропавлушкину теплое письмо, полное разубеждения, пообещав прислать ему такие книги, которые его сразу вылечат от идеалистического сумбура.

Петропавлушкин обиделся и перестал писать корреспонденции. Потом одумался, разозлился и написал открытку:

> Граждане! Редакторы-издатели! Полуученый человек сообщил вам факт, а вы не поверили, будто я совсем не ученый. Прошу опомниться и поверить хоть на сутки, что мысль не идеализм, а твердое могучее вещество. А все мироздания с виду прочны, а сами на волосках держатся. Никто волоски не рвет, они и целы. А вещество мысли толкнуло, все и порвалось. Так о чем же речь и насмеяние фактов? Вселенский мир это вам не бумажная газета. Остаюсь с упреком — быв. селькор Петропавлушкин.

* * *

Мария Александровна Кирпичникова прочитала в списке погибших на «Калифорнии» имя своего мужа. Она знала, что он к ней вернется, теперь узнала, что его нет на свете.

Она его не видела двенадцать месяцев, а теперь не увидит никогда.

— Кончена жизнь! — вслух сказала она и подошла к окну.

— Что, мама? — спросил пятилетний сын, возившийся с кошкой.

— Лето кончается, сынок! Видишь, падают листья на улице!

— А отчего ты плачешь? Папа не приедет?

— Приедет, милый!..

— Тебе жалко его? Ты ему большую книжку купила?

— А ты забыл свое стихотворение? Ну-ка, повтори!

Мальчик поднялся с пола и единым духом выговорил, боясь остановиться и забыть:

Рыжий шофер очень важен,
Ахтобузик он ведет.
Ехать быстро очень страшно;
Дядя денежки берет…

Мальчик говорил важно и про себя думал, что он шофер. Мать его начала обнимать и уговаривать лечь поспать, чтобы не быть вечером дохлым. Мальчик сопротивлялся и сам ласкал мать, жадно и сознательно, как взрослый.

— Ляжь, поспи, мальчик! Папа скорей приедет!

— Не ври, мамка! Сколько раз спал, а он все не едет!

— Ну ты так ляжь — полежи! А то к бабушке отправлю, как Левочку, скучать по мне будешь! Поедешь к бабушке?

— Не поеду я!

— Почему?

— Мне там скучно будет, а без меня папа приедет!

И все же мальчик улегся спать — мать знает, как это сделать. Мария Александровна посмотрела на ребенка — лицо его стало мирным и необыкновенным, вызывающим жалость и новые силы любви. Кажется, пусть только проснется он — и все станет новым, и мать его никогда не обидит. Но это был только милый обман образа спящего беззащитного ребенка: просыпался мальчик снова маленьким бандитом и изувером, и даже мебель от него уставала.

Оставшись в покое, Мария Александровна решила неуклонно жить. Но она понимала, что теперь всю энергию своего сознания она должна бросить на то, чтобы урегулировать свое плачущее любящее сердце. И только тогда она устоит на ногах, иначе можно умереть во

сне.

Спать она боялась ложиться: отдыхающий беззащитный мозг могут растерзать дикие образы ее неутомимого несчастья. Она знала, что в спящем человеке разводятся страшные образы, как сорняки в некультурных заброшенных полях.

И грядущая ночь ей была непостижимо страшна.

Как женщина, как человек, она хотела бы иметь горсть пепла от праха своего мужа. Отвлеченная могила под дном океана не давала веры в настоящую смерть, но темным инстинктом она была убеждена, что Михаил уже не дышит воздухом земли.

Спящий Егорушка до привидения напоминал ей мужа. Отсутствовали только морщины и складки утомления у рта.

Мария Александровна не совсем понимала мужа: ей непонятна была цель его ухода из дома. Она не верила, что живой человек теплое достоверное счастье может променять на пустынный холод отвлеченной одинокой идеи. Она думала, что человек ищет только человека, и не знала, что путь к человеку может лежать через стужу дикого пространства. Мария Александровна предполагала, что людей разделяют лишь несколько шагов.

Но ушел Михаил, а потом умер в далеком плавании, ища драгоценность своей затаенной мысли. Мария Александровна, конечно, знала, чего ищет ее муж. Она понимала смысл изобретения размножения материи. И в этой области хотела помочь мужу. Она купила ему десять экземпляров большого труда — перевод символов только что найденной в тундре книги, изданной под именем «Генерального сочинения». В Аюнии, вероятно, сильно было развито чтение: этому способствовала тьма восьмимесячной ночи и уединенность жизни аюнитов.

При строительстве второго вертикального термического туннеля, когда Кирпичников уже пропал, строители обнаружили четыре гранитных плиты с символами на них, исполненные крупным рельефом. Символы были того же начертания, что и в ранее найденной книге «Песни Аюны», поэтому легко поддались переложению на современный язык.

Плиты-писанцы, вероятно, были памятником и завещанием философа-аюнита, но в них содержались мысли на сокровенное содержание природы. Мария Александровна исчитала всю книгу и нашла ясные намеки на то, что искал ее муж по всей пустой земле. Далекий мертвый человек давал помощь ее мужу, ученому и бродяге, давал помощь счастью женщины и матери.

И вот тогда Мария Александровна дала объявления в пять американских газет.

Она изучила на память нужные места в «Генеральном сочинении», боясь утратить как-нибудь книги и не встретить Михаила с наилучшей для него радостью.

> Лишь живое познается живым, — писал аюнит, — мертвое непостижимо. Неимоверное нельзя измерить достоверным. Именно посему мы познали отчетливо такое далекое, как аэны (соответствует электронам. — Примеч. переводчиков и излагателей.), и нам осталось мало известным такое близкое, как мамарва (соответствует материи. — Примеч. переводчиков и излагателей.). Это потому, что первое живет, как ты живешь, а второе — мертво, как Муйя (неизвестный образ. — Примеч. перевод. и излагателей.). Когда аэны шевелились в пройе (соответств. атому. — Прим. пер. и изл.), сначала мы видели в этом механическую силу, а потом с радостью открыли в аэнах жизнь. Но центр пройи, полный мамарвы, был веками загадкой, пока мой сын достоверно не показал, что центр пройи состоит из тех же аэнов, только мертвых. И, мертвые, они служат пищей живым. Стоило сыну моему извлечь из пройи ее середину, как все живые аэны погибли от голода. Так вышло, что центр пройи есть амбар пищи для живых аэнов, пасущихся вокруг этой обители трупов своих предков, чтобы пожирать их. Так просто и сияюще истинно была открыта природа всей мамарвы. Вечная память моему сыну. Вечная скорбь его имени! Вечное почитание его утомленному образу!

Это Мария Александровна знала наизусть, как ее сын стихотворение про рыжего

важного шофера.

Остальная часть «Генерального сочинения» содержала учение об истории аюнитов — о ее начале и близком конце, когда аюниты найдут свой зенит во времени и в природе, когда все три силы — народ аюнитов, время и природа — придут в гармоническое соотношение и их бытие втроем зазвучит как симфония.

Это Марию Александровну мало интересовало. Она искала равновесие своего личного счастья и не вполне осваивала откровения неведомого аюнита.

И только последние страницы книги заставили ее вздрогнуть и забыться в удивленном внимании.

…Ныне это так же стало возможным, как было в эпоху детства моей родины. Тогда возмутились пучины Материнского океана (Северного Ледовитого. — Примеч. редактора), и океан начал заливать нашу землю жесткой мерзлой водой, перемешанной с глыбами льда. Вода ушла, а льды остались. Они долго ползли по холмам нашей просторной земли, пока не стерли их и наша родина не превратилась в бесплодную равнину. Лучшие плодородные почвы на холмах были срезаны льдом, и народ остался в голодном поле. Но беда лучший наставник, а катастрофа народа — организатор его, если еще не обеcсплоложена его кровь долгой жизнью на земле. Так и тогда: льды разрушили плодоносную землю, лишили наших предков питания и размножения, и гибель опустилась над головою народа. Горячий поток в океане, отапливавший страну, начал удаляться на север, и стужа завыла над той землей, где цвели сумрачные аргоны. На севере нас сторожил хаос мертвых льдов, на юге лес, набитый темною тучей мощных зверей, наполненный свистом мрачных гадов и пересеченный целыми реками яда зундры (испражнения гигантских змей. — Прим. редак.). Народ аюны, народ мужества и чувства уважения к своей судьбе, начал себя умерщвлять, закапывая свои книги — высший дар аюны — в землю, оковав их золотом, пропитав листы составом веньи, дабы они могли уцелеть вечность и не сгнить.

Когда половина народа была покорена смертью и лежала трупами, явился Эйя — хранитель книг — и пошел бродить по опустевшим дорогам и замолкающим жилищам. Он говорил: у нас отнято материнство почвы, погасает теплота воздуха, лед скребет нашу родину и горе тушит мудрость ума и мужество. У нас остался только свет солнца. Я сделал аппарат — вот он! Страдание научило меня терпению, и дикие годы отчаяния народа я сумел плодотворно использовать. Свет — сила терзаемой мамарвы (изменяющейся материи. — Прим. редак.), свет — стихия аэнов; мощь аэнов сокрушительна. Мой аппарат превращает потоки солнечных аэнов в тепло. И не только свет солнца, но и луны и звезд я могу своей простой машиной превратить в тепло. Я могу получить огромное количество тепла, которым можно расплавить горы. Нам теперь не нужен теплый поток океана, чтобы греть нашу землю!

Так Эйя стал водителем жизни и началом новой истории аюны. Его аппарат, состоявший из сложных зеркал, преобразующих свет неба в тепло и в живую силу металла (вероятно, электричество. — Прим. редак.), и поныне служит источником народной жизни и довольства.

Равнины родины расцвели, и родились новые дети. Прошел эн (очень длительный промежуток времени. — Прим. редак.).

Организм человека был исчерпан. Даже молодой мужчина не мог производить семени, даже сильнейший разум перестал рождать мысль. Долины родины покрылись сумраком последнего отчаяния — человек дошел до предела в самом себе — аюна, солнце нашего сердца, закатывалась навсегда. Перед этим льды были ничто, холод — ничто, смерть — ничто. Человек питался одним презрением к себе. Он не мог ни любить, ни мыслить и даже не мог страдать. Источники жизни иссякли в недрах тела, потому что они были выпиты. У нас были горы пищи, дворцы уюта и кристаллические книгохранилища. Но не было больше судьбы, не стало живости и жара в теле, и затмились надежды. Человек — рудник, но руда была выработана вся, остались пустынные шахты.

Хорошо погибнуть на крепком корабле в диком океане, но плохо насмерть захлебнуться пищей.

Так было долго. Целое поколение не познало молодости.

Тогда мой сын Рийго нашел исход. Чего не могло дать естество, то дало искусство. Он сохранил остатки живого мозга в себе и сказал нам, что судьба наша кончается, но еще можно открыть ей двери, — нас ждет ясный день. Решение было просто: электромагнитное русло. (В подлиннике: труба для живой силы металла. — Прим. редак.). Рийго провел из пространства пищепровод к аэнам нашего мрачного тела, пустил по этому пищепроводу потоки мертвых аэнов (соответствует эфиру. — Прим. редак.), и аэны нашего тела, получив избыток пищи, ожили. Так были воскрешены наш мозг, наше сердце, наша любовь к женщине и наша аюна. Но больше того: дети росли скорее в два раза и жизнь в них пульсировала, как сильнейшая машина. Все остальное — сознание, чувство и любовь — выросло в страшные стихии и напугало отцов. История перестала шествовать и начала мчаться. И ветер судьбы бил нас в незащищенное лицо великими новостями мысли и поступков.

Изобретение моего сына, как все замечательное, имеет серое лицо. Рийго взял два центра пройи, наполненные трупами аэнов, и поместил в одну пройю. Тогда живые аэны пройи стали быстро размножаться, и вся пройя выросла в пять раз в десять дней. Причина видна и невзрачна: аэны стали больше питаться, потому что запас их пищи увеличился в два раза.

Так Рийго развел целые колонии сытых, быстрорастущих, неимоверно множащихся аэнов. Тогда он взял обыкновенное тело — кусок железа — и мимо него, лишь касаясь железа, начал излучать в направлении звезд поток сытых аэнов, разведенных в колониях. Сытые аэны не перехватывали для пищи трупы своих предков (то есть эфир. — Прим. редак.), и они свободно текли к куску железа, где их ждали голодные аэны. И железо начало расти на глазах людей, как растение из земли, как ребенок в животе матери.

Так искусство моего сына оживило человека и начало выращивать вещество.

Но победа всегда подготовляет поражение.

Искусственно откормленные аэны, имея более сильное тело, стали нападать на живых, но естественных аэнов и пожирать их. А так как при всяком превращении вещества есть неустранимые потери, то пожранный маленький аэн не увеличивал тела большого аэна настолько, сколько имел сам, когда был живой. Так вещество то там, то здесь — всюду, куда попадали откормленные аэны (электроны — дальше пользуемся этим современным термином. — Прим. редак.), — начало уменьшаться. Искусство Рийго не смогло сделать пищепровод для всей земли, и вещество таяло. Только там, куда был проложен тракт для потока трупов электронов (эфирный тракт. — Прим. редак.), вещество росло. Эфирными трактами были снабжены люди, почва и главнейшие вещества для нашей жизни. Все остальное уменьшилось в своих размерах, вещество сгорало, мы жили за счет разрушения планеты.

Рийго исчез из дома. В Материнском океане начала пропадать вода. Рийго знал причину исчезновения влаги и вышел встречать противника. Однажды откормленное и воспитанное им племя электронов, работой времени и естественным отбором, достигло того, что каждый электрон равнялся облаку, по объему тела.

В неистовой свирепости шли тучи электронов из недров Материнского океана, колыхаясь, как горы при землетрясении, дыша, как могучие ветры. Аюна будет выпита ими, как обычная вода!

Рийго пал. Нельзя вытерпеть взгляд электрона. Гнусна будет смерть от ужаса, но нет спасения больше аюне. Рийго давно пал в безвестности, как камень в колодезь. Слишком медленно идут эти космические звери. Но слишком быстро прошли они путь от частички пройи до живой горы. Я думаю, они тонут в земле, как в твороге, потому что тело их тяжелее свинца. Наверно, Рийго пал не зря, а имея решение и способ победить неизвестные элементарные тела. В быстром росте, в бешеном действии естественного отбора — сила электрона. В этом и

слабость их, потому что ясно указывает на предельную простоту их психики и физиологической организации, а стало быть, обнаруживает беззащитное уязвимое место. Рийго постиг эту очевидность, но убит лапой электрона, тяжелой, как пласт платины…

Мария Александровна поникла над книгой, Егорушка спал, часы пробили двенадцать ночи — самый страшный час одиночества, когда спят все счастливые.

— Неужели так труден корм человеку? — громко сказала Мария Александровна. — Неужели всегда победа — предвестник поражения?

Тишина в Москве. Последние трамваи спешат в парк, искря контактами.

— Тогда какой победой возместится мрачная смерть моего мужа? Какая душа мне заменит его сумрачную потерянную любовь?

И она загорелась кипящей скорбью и заплакала слезами, убивающими тело скорее, чем льющаяся кровь. Ее мысль металась в кошмаре: гул живых мрачных электронов терзал мудрую беззащитную Аюну, реки зеленого яда зундры заливали цветущую тундру, и в зеленой влаге плыл, томясь и захлебываясь, Михаил Кирпичников, ее единственный друг, утраченный на веки веков.

* * *

В Серебряном бору, близ крематория, стояло здание нежного архитектурного стиля. Оно исполнено было как сфероид — образ космического тела, но не касалось земли, удерживаемое пятью мощными колоннами. От высшей точки сфероида уходила в небо телескопическая колонна — в знак и в угрозу мрачному стихийному миру, отнимающему живых у живущих, любимых у любящих, — в надежду, что мертвые будут отняты у вселенной силою восходящей науки, воскрешены и возвратятся к живым.

Это был Дом воспоминаний, где стояли урны с пеплом погибших людей.

Седая, и от старости прекрасная, женщина вошла с юношей в Дом.

Тихо прошли они в дальний конец огромного зала, освещенного тихим синим светом памяти и тоски.

Урны стояли в ряд, как некие светильники с потухшим светом, освещавшие некогда неизвестную дорогу.

На урнах были прикреплены мемориальные доски.

> «Андрей Вогулов. Пропал без вести в экспедиции по подводному исследованию Атлантиды.
>
> В урне нет праха — лежит платок, смоченный его кровью во время ранения на работах на дне Тихого океана. Платок доставлен его спутницей».

> «Петер Крейцкопф, строитель первого снаряда для достижения Луны. Улетел в своем снаряде на Луну и не возвратился. Праха в урне нет. Сохраняется его детское платье. Честь великому технику и мужественной воле!»

Седая женщина, сияющая удивительным лицом, прошла с юношей дальше.

Они остановились у крайней урны.

> «Михаил Кирпичников, исследователь способа размножения материи, сотрудник доктора физики Ф. К. Попова, инженер. Погиб на „Калифорнии“ под упавшим болидом. В урне нет праха. Хранится его работа по искусственному кормлению и выращиванию электронов и прядь волос».

Внизу висела вторая малая доска:

> «Чтобы найти пищу электронам, он потерял свою жизнь и душу своей подруги. Сын погибшего осуществит дело отца и возвратит матери сердце, растраченное отцом. Память и любовь великому искателю!»

Бывает старость как юность: ожидающая спасения в чудесной опоздавшей жизни.

Мария Александровна Кирпичникова утратила молодость напрасно, теперь ее любовь к мужу превратилась в чувство страстного материнства к старшему сыну Егору, которому шел уже двадцать пятый год. Младший сын Лев учился, был общителен, очень красив, но не возбуждал в матери того резкого чувства нежности, бережности и надежды, как Егор.

Егор лицом напоминал отца — серое, обычное, но необычайно влекущее скрытой значительностью и бессознательной силой.

Мария Александровна взяла Егора за руку, как мальчика, и пошла к выходу.

В вестибюле Дома воспоминаний висела квадратная золотая доска с серыми платиновыми буквами:

> «Смерть присутствует там, где отсутствует достаточное знание физиологических стихий, действующих в организме и разрушающих его».

Над входом в Дом висела арка со словами:

> «Вспоминай с нежностью, но без страдания: наука воскресит мертвых и утешит твое сердце».

Женщина и юноша вышли на воздух. Летнее солнце ликовало над полнокровной землей, и взорам двух людей предстала новая Москва — чудесный город могущественной культуры, упрямого труда и умного счастья.

Солнце спешило работать, люди смеялись от избытка сил и жадничали в труде и в любви.

Всем их обеспечивало солнце над головой, — то самое солнце, которое когда-то освещало дорогу Михаилу Кирпичникову в лимонном округе Риверсайда, — старое солнце, которое сияет тревожной страстной радостью, как мировая катастрофа и зачатие вселенной.

* * *

Егор Кирпичников кончил Институт имени Ломоносова и стал инженером-электриком.

Дипломный проект он сдавал на тему: «Лунные возмущения электросферы земли».

Егору мать передала все книги и рукописи отца, в том числе труд Ф. К. Попова, который начисто переписал Михаил Кирпичников после смерти Попова.

Егор познакомился с работами Попова, редкой литературой аюнитов и всеми современными гипотезами по выкармливанию и воспитанию электронов. Что электроны были живыми существами — отпали все сомнения. Область электронов уже твердо определилась, как микробиологическая дисциплина.

Егор избрал темой своей жизни конечную разгадку вселенной, и он не напрасно, подобно своему отцу, искал первичное чрево мира в межзвездном пространстве — в таинственной жизни электронов, составляющих эфир.

Егор верил, что, кроме биологического, существует электротехнический способ искусственного размножения вещества, и искал его со всею свежестью и страстью молодости, не тронутой женской любовью.

В это лето Егор рано кончил свою работу в лаборатории профессора Маранда, которому он ассистировал по кафедре Строения Эфира.

Маранд в мае уехал в Австралию к своему другу, астрофизику Товту, и Егор наслаждался отдыхом, летом и собственными нечаянными мыслями.

Отдых — лучшее творчество, — писал когда-то в письме Марии Александровне отец

Егора, бродя по тундре вокруг вертикального термического туннеля, где он служил некоторое время производителем работ.

Егор уходил из дому утром. Его нес метрополитен под Красными воротами, под площадью Пяти Вокзалов и выносил далеко за город, за Новые Сокольники, в кислородные рощи. Там шествовал Егор, чувствуя давление крови, свободную вибрацию мозга и острую тоску приближающейся любви.

И раз было так. Егор проснулся — на дворе стоял уже великий торжественный летний день. Мать спала, зачитавшись накануне до глубокой ночи. Егор оделся, прочитал утреннюю газету, прислушался к звенящему напряжению удивительного города и решил куда-нибудь уйти. От отца или давних предков в нем сохранилась страсть к движению, странствованию и к утолению чувства зрения. Быть может, его далекие деды ходили когда-то с сумочками и палочками на богомолье из Воронежа в Киев, не столько ради спасения души, сколько из любопытства к новым местам; может быть, еще что — неизвестно. И Егор посильно удовлетворял свое тревожное чувство бродяги в районе узкого радиуса.

Подземка вынесла Егора за Останкино и там оставила одного. Егор вышел на глухую полевую дорогу, снял шляпу и пробормотал забытое стихотворение, вычитанное в книгах матери:

Среди людей, мне близких и чужих,
Скитаюсь я без цели, без желанья.

Дальше он вспомнить слов не мог, но вспомнил другое:

Любимый твой умер далеко,
Как камень в колодезь упал.
В урне лежит его локон,
А голову он потерял.

Эту песню иногда пела мать Егора, когда ее схватывала тоска о муже и она искала от нее защиты у детей и у простой песенки.

— Так, — сказал себе Егор, — но что же производит эфир? — И лег в траву: — А черт его знает что!

Солнце гладило землю против шерсти — и земля вздымалась травами, лесами, ветрами, землетрясениями и северными сияниями.

Егор небрежно посмотрел на солнце — и сразу горячая волна прошла в его горле и остановилась в голове.

Он поднялся и ничего не мог сообразить.

Как будто его обняла сзади внезапно утраченная любимая женщина и сразу скрылась.

Как в женщину, вонзилась в его сознание сияющая догадка и прополосовала мозг, как падающая звезда. Это было так же странно и безумно, как ребенок хватает сосцы матери, как момент зачатия в девственном теле. Он ощутил страсть и успокоение, как цвет, сбросивший плодотворную пыль в материнское пространство.

Утратив нечаянную мысль, Егор крикнул от досады и пошел прочь со случайного места.

Но потом к нему не спеша возвратились все неясные мысли, как дети со двора, наигравшись и слабо сопротивляясь матери.

* * *

Четвертого января в газете «Интеллектуальный труженик» была напечатана заметка:

Электроцентраль жизни.

Молодым инженером Г. Кирпичниковым в лаборатории эфира проф. Маранда производятся в течение ряда месяцев интересные опыты над искусственным производством эфира. В идее работа инженера Кирпичникова заключается в том, что электромагнитное поле высокой частоты перемен убивает в материи живые электроны; мертвые же электроны, как известно, составляют тело эфира. Высоту технического искусства инженера Кирпичникова можно понять из того, что для убиения электронов нужно переменное поле не менее 1012 периодов в секунду.

Высокочастотную машину Кирпичникова представляет само солнце, свет которого разлагается сложной системой интерферирующих поверхностей на составные энергетические элементы: механическую энергию давления, химическую энергию, электрическую и т. д.

Кирпичникову нужна, собственно, одна электрическая энергия, которую он, посредством особого прибора из призм и дефлекторов, концентрирует в очень ограниченном пространстве и достигает нужной частотности.

Электромагнитное поле, по существу, есть колония электронов. Заставляя быстро пульсировать это поле, Кирпичников добился, что живые электроны, составляющие то, что называется полем, погибали; электромагнитное поле превращалось по этой причине в эфир — механическую массу тел мертвых электронов.

Получая некоторые эфирные пространства, Кирпичников опускал в них какое-либо обыкновенное тело (например, самопис Ваттермана), и это тело за трое суток увеличивалось в два раза по своему объему.

В веществе самописа происходил следующий процесс: живые электроны, существующие в веществе самописа, получали усиленное питание за счет окружающих трупов электронов и быстро размножались, увеличиваясь также в своем объеме. Это вызывало рост всего вещества самописа. По мере поглощения эфира живыми электронами рост и размножение их прекращались.

Кирпичниковым, на основании своих работ, установлено, что в массиве солнца зарождаются в неимоверных количествах исключительно живые электроны; но именно средоточие их гигантского количества в относительно тесном месте вызывает такую страшную борьбу между ними за источники питания, что почти все электроны погибают нацело. Борьба электронов за питание обусловливает высокую пульсацию солнца. Физическая энергия солнца имеет, так сказать, социальную причину — взаимную конкуренцию электронов. Электроны в солнечном массиве живут всего несколько миллионных долей секунды, будучи истребляемы более сильными противниками, которые, в свою очередь, погибают под ударами еще более мощных конкурентов и т. д. Еле успев пожрать труп врага, электрон уже гибнет — и очередной победитель поедает его вместе с непереваренными клочьями тела ранее убитого электрона.

Движения электронов в солнце настолько стремительны, что огромное количество их вытесняется за пределы солнца и улетает в мировое пространство со скоростью трехсот тысяч километров в секунду, производя эффект светового луча. Но на солнце идет настолько грозная и опустошительная борьба, что все электроны, покинувшие солнце, бывают мертвы и летят за счет либо инерции движения, когда они были живы, либо от удара противника.

Однако Кирпичников убежден, что бывают редчайшие исключения — раз в зоне времен, — когда электрон может живым оторваться от солнца. Тогда, имея вокруг себя эфир — обильную питательную среду, — он служит отцом новой планеты. В дальнейшем инж. Кирпичников предполагает производить эфир в больших количествах, преимущественно из высоких слоев атмосферы, пограничных с эфиром. Электроны там менее активны, и на истребление их потребуется меньше энергии.

Кирпичников заканчивает свой новый метод искусственного производства эфира; новый способ заключается в электромагнитном русле, где действует высокая частота для умерщвления электронов. Электромагнитное высокочастотное русло направляется от земли к небу, и в нем, как в трубе, образуется поток мертвых

электронов, подгоняемый давлением солнечного света к земной поверхности.

У земной поверхности эфир собирается, аккумулируется в особые сосуды и затем идет на питание тех веществ, объем которых желают увеличить.

Инж. Кирпичников произвел и обратные опыты. Действуя высокочастотным полем на какой-либо предмет, он достигал как бы угасания предмета и полного его исчезновения. Очевидно, убивая электроны в веществе предмета, Кирпичников уничтожал самую сокровенную природу вещества, ибо только живой электрон — частица материи, мертвый же принадлежит эфиру. Несколько предметов таким способом Кирпичников начисто превратил в эфир, в том числе и самопис Ваттермана, который он сначала «откормил».

Совокупность всех работ Кирпичникова указывает, какую титаническую силу созидания и истребления получило человечество в его изобретении.

По мнению Кирпичникова, благодаря постоянному снабжению земного шара эфиром, текущим из солнца, земля в целом постоянно увеличивается в своих размерах и в удельном весе своего вещества. Это обеспечивает прогресс человечества и подводит физический базис под исторический оптимизм.

Кирпичников говорит, что он в своем изобретении всецело скопировал деятельность солнца по отношению к земле и лишь ускорил его работу.

В связи с этими поражающими открытиями невольно приходит на память имя Ф. К. Попова, оставившего нам свой изумительный труд, и, наконец, отца изобретателя, странно и трагически погибшего инженера Михаила Кирпичникова.

* * *

Как музыка, лилась работа у Кирпичникова, как любовь, он ощущал в себе страсть к неуловимому нежному телу — эфиру. Когда он писал пояснительную записку «О возможности и нормах дополнительного питания электронов», то чувствовал аппетит, и его полные юношеские губы бессознательно смачивались слюной.

Корреспондентов газет он не принимал, обещая скоро выпустить небольшой труд информационного характера и публично продемонстрировать свои опыты.

Однажды Егор Кирпичников заснул у стола, но сразу проснулся. Была ночь — глубокая и неизвестная, как все ночи над живой землей. Тот напряженный и тревожный час, когда по стихам забытого поэта:

И по хребту электроволн
Плывущее внимание,
Как ночь в бульварном, мировом
Таинственном романе.

В это время, когда человеку надо либо творчество, либо зачатье новой жизни, в дверь Егора постучали. Значит, пришел кто-то близкий или важный, кого впустила даже мать Егора, жестоко хранившая рабочий и трудный покой своего сына.

— Да! — сказал Егор и полуобернулся.

Вошла редкая гостья — Валентина Крохова, дочь инженера Крохова, друга и сотрудника отца Егора по работе в тундре на вертикальном туннеле. Валентине было двадцать лет — возраст, когда выносится решение: что же делать — полюбить ли одного человека или любовную силу обратить в страсть познания мира? Или, если жизнь в тебе так обильна, объять то и другое?

Нам это не понятно, но тогда будет так. Наука стала жизненной физиологической страстью, такой же неизбежной у человека, как пол.

И эта раздвоенность неясного решения была выражена на лице Валентины Кроховой. Ищущая юность, жадные глаза, эластичная душа, не нашедшая центра своего тяготения и заключенная в оболочку пульсирующих мышц и бьющейся крови, — вот красота Валентины

Кроховой. Нерешенность, бродяжничество мысли и неверные черты доверчивого лица — удивительная красота молодости человека.

— Ну, что скажешь мне, Валя? — спросил Егор.

— Да так кое-что! Ты все занят ведь? — ответила Валентина.

— Нет, не особенно: и занят, и нет! Живу как в бреду; сам еще не знаю, что у меня выйдет!

— Да уж вышло, Егор! Будет тебе скромничать!

— Не совсем, Валя, не совсем! Я открыл еще нечто такое, что сердце останавливается…

— Что это такое? Про эфирный тракт все?

— Нет, это другое совсем. Эфирный тракт — пустяки!.. Как вселенная, Валя, родилась и рождается, как вещество начинает дышать в недрах хаоса, свободы и узкой неизбежности мира! Вот, Валя, где хорошо! Но я только чувствую, а ничего не знаю… Ну, ладно! А где твой отец?

— Отец на Камчатке…

— Что, все эту несчастную планетку бурят? Черт, даже мне она надоела! Сколько лет ведь прошло, как она села с неба, еще отец был жив!..

— Да, все бурят, Егорушка!

— Ну, а что они там находят — отец не пишет?

— Пишет, что находят сплавы разных металлов, но все эти металлы известны людям.

— Так, а еще что пишет?

— Еще пишет, что нашли какой-то круглый предмет…

— Ну, какой? Говори скорее!..

— И этот шар ничему не поддается — никакая механическая обработка его не берет, и ни на какой химический реактив он не отвечает. Полный нейтралитет!

— Ого! Ведь ты химик, Валя, что это, как ты думаешь?

— Ну, куда мне, Егор, что ты? Я тебя хотела спросить.

— А черт его знает что это такое! Мало ли чего нет в этой пучине, откуда к нам свет идет и метеоры летят!

— А когда, Егор, ты покажешь свой эфирный тракт?

— Да вот как-нибудь покажу. Сначала книжку напишу.

— Кому ты ее посвятишь?

— Отцу, конечно, — инженеру Михаилу Кирпичникову, страннику и электротехнику.

— Это очень хорошо, Егор! Чудесно, как в сказке, — страннику и электротехнику!

— Да, Валя. Я забыл лицо отца, помню, что он был молчаливый и рано вставал. Как странно он умер, ведь он почти открыл эфирный тракт!

— Да, Егор! И мать твоя старушкой стала!.. Может, ты проводишь меня немного? А то поздно, а ночь хороша — я нарочно тихонько шла сюда.

— Провожу, Валя. Только недалеко, я хочу выспаться. Надо через два дня книжку в печать отдавать, а я только половину написал — не люблю писать, люблю что-нибудь существенное делать…

Они вышли в вестибюль, спустились на лифте и очутились на воздухе, в котором бродили усталые ночные теченья.

Тихо двигалась по небу луна. Быть может, там сейчас лежало оледенелое тело инженера Крейцкопфа, навеки одинокое.

Егор и Валя шли под руку. В голове Егора струились неясные мысли, угасая, как ветры в диком и темном поле, зажигаясь от контакта с милой девушкой, такой человечной и женственной. Но Кирпичников изобретал не одной головой, а также сердцем и кровью, поэтому Валентина в нем возбуждала только легкое чувство тоски. Силы его сердца были мобилизованы на другое.

Москва засыпала. Невнятно и смутно шумели какие-то далекие машины. Бессонно стояла луна, маня человека к полету, странствию и глубокому вздоху в межпланетной

бездне.

Егор пожал руку Вале, хотел ей что-то сказать, — какое-то медленное и девственное слово, которое каждый человек говорит по разу в жизни, но ничего не сказал и молча пошел домой.

Мать его спала, и чертежный стол томился по нем.

Сняв башмаки и потушив свет, Егор вдруг вспомнил про находку Крохова на камчатском болиде — молчаливый шар, который нельзя ни разрубить, ни разъесть кислотами.

— Спрессованный эфир! — вслух сказал Егор. — Трупы электронов, втиснутые один в другой! Да — их действительно ничем не возьмешь — смерть примитивная и абсолютная!

Егор укрылся одеялом и уже сквозь сон подумал: «А что спрессовало эфир?» — и заснул.

Во сне он увидел огромную роскошную книгу, а себя — семилетним мальчиком. В книге он прочел середину страницы:

> «Жизнь — порочный факт, каждое существо норовит сделать такое, чего никогда не было и не будет, поэтому многие явления живой природы необъяснимы и не имеют подобия во вселенной. Так умирающий электрон, ища в эфире труп своей невесты, может стянуть к себе весь космос, сплотить его в камень чудовищного удельного веса, а сам погибнет в его каменном центре от отчаяния, масштаб которого подобен расстоянию от Земли до Млечного Пути. Пусть тогда догадается ученый о тайне небесного мертвого камня!.. Пусть родится мозг, могущий вместить чудовищную сложность и страшную порочную красоту вселенной!»

Проснувшись, Егор забыл свой сон навсегда, на всю жизнь.

* * *

Двадцатого марта не так велики дни и кратки ночи, чтобы утренняя заря загорелась в час пополуночи. Так еще не бывало никогда, даже старики не помнят.

А однажды случилось так. Московские люди расходились по домам — кто из театра, кто с ночной работы на заводе, кто просто с затянувшейся беседы у друга.

В этот вечер в Большом зале Филармонии был концерт знаменитого пианиста Шахтмайера, родом из Вены. Его глубокая подводная музыка, полная того величественного и странного чувства, которое нельзя назвать ни скорбью, ни экстазом, — потрясла его слушателей. Молчаливо расходились люди из Филармонии, ужасаясь и радуясь новым и неизвестным недрам и высотам жизни, о которых рассказал Шахтмайер стихийным языком музыки.

В Политехническом музее в половине первого кончился доклад Макса Валира, возвратившегося с полдороги на Луну. В ракете его конструкции обнаружился просчет; кроме того, среда между Землей и Луной оказалась совсем иной, чем о ней предполагали с Земли, поэтому Валир вернулся обратно. Аудитория была взволнована до крайней степени докладом Валира и, заряженная волей и энтузиазмом великой попытки, со страшным шумом, лавой растекалась по Москве. В этом отношении слушатели Валира и Шахтмайера резко отличались друг от друга.

А высоко над площадью Свердлова в этот миг засветилась синяя точка. Она в секунду удесятерилась в размерах и затем стала излучать из себя синюю спираль, тихо вращаясь и как будто разматывая клубок синего вязкого потока. Один луч медленно влекся к земле, и было видно его содрогающееся движение, как будто он встречал упорные встречные силы и, пронзая их, тормозил свой путь. Наконец столб синего немерцающего мертвого огня установился между землей и бесконечностью, а синяя заря охватила все небо. И сразу ужаснуло всех, что исчезли все тени: все предметы поверхности земли были окунуты в

какую-то немую, но все пронзающую влагу — и не было ни от чего тени.

В первый раз с постройки города в Москве замолчали: кто говорил, тот оборвал свое слово, кто молчал, тот ничего не воскликнул. Всякое движение остановилось; кто ехал, тот забыл продолжать путь, кто стоял на месте, тот не вспомнил о цели, куда его влекло.

Тишина и синее мудрое сияние стояли одни над землею, обнявшись.

И было так безмолвно, что, казалось, звучала эта странная заря — монотонно и ласково, как пели сверчки в нашем детстве.

В весеннем воздухе каждый голос звонок и молод — пронзительно и удивленно крикнул женский голос под колоннами Большого театра: чья-то душа не выдержала напряжения и сделала резкое движение, чтобы укрыться от этого очарования.

И сразу тронулась вся ночная Москва: шоферы нажали кнопки стартеров, пешеходы сделали по первому шагу, говорившие закричали, спящие проснулись и бросились на улицу, каждый взор обратился навзничь к небу, каждый мозг забился от возбуждения.

Но синяя заря начала угасать. Темнота заливала горизонты, спираль свертывалась, забираясь в глубину Млечного Пути, затем осталась яркая вращающаяся звезда, но и она таяла на живых глазах — и все исчезло, как беспамятное сновидение. Но каждый глаз, глядевший на небо, еще долго видел там синюю кружащуюся звезду, — а ее уже не было, и по небу шел обычный звездный поток.

И всем стало отчего-то скучно, хотя никто почти не знал, в чем дело.

* * *

Утром в «Известиях» было помещено интервью с инженером Кирпичниковым.

> Объяснение ночной зари над миром.
>
> С большим трудом наш корреспондент проник в Микробиологическую лабораторию имени проф. Маранда. Это произошло в четыре часа ночи, непосредственно после оптического явления в эфире. В лаборатории корреспондент застал спящего Г. М. Кирпичникова — известного инженера, конструктора приборов для размножения материи, открывшего так называемый «эфирный тракт».
>
> Наш корреспондент не осмелился будить усталого изобретателя, однако обстановка лаборатории позволила увидеть все результаты ночного эксперимента.
>
> Кроме приборов, необходимых для производства эфирного тракта и аккумуляции мертвых электронов, на столе изобретателя лежала старая, желтая рукопись. На открытой странице ее было написано: «Дело техников теперь разводить железо, золото и уголь, как скотоводы разводят свиней». Кому принадлежат эти слова, корреспондентом пока не установлено.
>
> Половину экспериментальной залы занимало блестящее тело. По рассмотрении это оказалось железом. Форма железного тела — почти правильный куб, размером 10 x 10 x 10 метров. Непонятно, каким образом такое тело могло попасть в залу, так как существующие в ней окна и двери позволяют внести тело размером не больше половины указанных. Остается одно предположение — железо в залу ниоткуда не вносилось, а выращено в самой зале. Эта достоверность подтверждена журналом экспериментов, лежавшим на том же столе, где и рукопись. Рукою Г. М. Кирпичникова там записаны размеры подопытного тела: «Мягкое железо, размером 10 x 10 x 10 сантиметров — 1 ч. 25 мин., оптимальный вольтаж». Дальнейших записей в журнале не имеется. Таким образом, в течение 2–3 часов железо в объеме увеличилось в 100 раз. Такова сила эфирного питания электронов.
>
> В зале стоял какой-то ровный и постоянный шум, на который наш корреспондент вначале не обратил внимания. Осветив залу, наш сотрудник обнаружил некое чудовище, сидящее на полу близ железной массы. Рядом с неизвестным существом лежали сложные части разрушенного прибора, как бы пережженные вольтовой дугой. Животное издавало ровный стон. Корреспондент

его сфотографировал (см. ниже). Наибольшая высота животного — метр. Наибольшая ширина — около половины метра. Цвет его тела — красно-желтый. Общая форма — овал. Органов зрения и слуха — не обнаружено. Кверху поднята огромная пасть с черными зубами, длиною каждый по 5–4 сантиметра. Имеются четыре короткие (1/4 метра) мощные лапы с налившимися мускулами; в обхвате лапа имеет не менее полуметра; кончается лапа одним могущественным пальцем, в форме эластичного сверкающего копья. Животное стоит на толстом сильном хвосте, конец которого шевелится, сверкая тремя зубьями. Зубы в отверзтой пасти имеют нарезку и вращаются в своих гнездах. Это странное и ужасное существо очень прочно сложено и производит впечатление живого куска металла.

Шум в лаборатории производил гул этого гада: вероятно, животное голодно. Это, несомненно, искусственно откормленный и выращенный Кирпичниковым электрон.

В заключение редакция поздравляет читателей и страну с новой победой научного гения и радуется, что эта победа выпала на долю молодого советского инженера.

Искусственное выращивание железа и вообще размножение вещества даст Советскому Союзу такие экономические и военные преимущества перед остальной, капиталистической частью мира, что если бы капитализм имел чувство эпохи и разум истории, он бы сдался социализму теперь же и без всяких условий. Но, к сожалению, империализм никогда не обладал такими ценными качествами.

Реввоенсоветом и ВСНХ Союза уже приняты соответствующие меры для обеспечения монопольного пользования государством изобретениями Г. М. Кирпичникова.

Г. М. Кирпичников — член партии и Исполбюро КИМа, и от него еще несколько месяцев назад правительством получено согласие на передачу всех своих открытий и конструкций в пользу государства, и притом безвозмездно. Правительство, конечно, целиком и полностью обеспечит Г. М. Кирпичникову возможность дальнейшей работы.

Сегодня в 1 час дня Г. М. Кирпичников будет иметь свидание с предсовнаркома Союза т. Чаплиным.

Вся Москва — этот новый Париж социалистического мира — пришла в исступление от такой заметки. Живой, страстный, общественный город весь очутился на улицах, в клубах, на лекциях — везде, где пахло хотя бы маленькими новыми сведениями о работах Кирпичникова.

День родился солнечным, снег подтаивал, и неимоверная надежда разрасталась в человеческой груди. По мере движения солнца к полуденному зениту все яснее в мозгу человека освещалось будущее, как радуга, как завоевание вселенной и как синяя бездна великой души, обнявшей стихию мира, как невесту.

Люди не находили слов от радости технической победы, и каждый в этот день был благороден.

Что может быть счастливее и тревожнее того дня, который служит кануном технической революции и неслыханного обогащения общества?

В «Вечерней Москве» появилось описание рабочего собрания завода «Генератор», где Егор Кирпичников отбывал свою двухлетнюю студенческую практику.

На собрание прибыли предсовнаркома Чаплин и Кирпичников. Их встретили восемь тысяч мастеровых и специалистов, стоя на ногах.

Кирпичников сделал доклад об открытии эфирного тракта и его промышленной эксплуатации в ближайшем будущем. Он начал с работ аюнитов в этом направлении, подробно остановился на трудах Ф. К. Попова, которого и следует считать изобретателем эфирного тракта, затем изложил историю поисков своего отца и закончил кратким указанием на свою работу, завершающую труд всех предшественников.

Тов. Чаплин доложил о том, что намерено сделать правительство, чтобы изобретение Кирпичникова принесло наибольшую пользу обществу.

Мастеровые подняли на руки Кирпичникова и Чаплина и пронесли их между моторами и станками до автомобилей.

Чаплин поехал в Кремль, а Кирпичников — к матери на Большой Златоустинский.

* * *

Как в старину, женщины теперь носили накидки и длинные платья, закрывающие ноги и плечи. Любовь была редким чувством, но считалась признаком высокого интеллекта.

Девственность женщин и мужчин стала социальной моралью, и литература того времени создала образцы нового человека, которому незнаком брак, но присуще высшее напряжение любви, утоляемое, однако, не сожительством, а либо научным творчеством, либо социальным зодчеством.

Времена полового порока угасли в круге человечества, занятого устроением общества и природы.

Наступило новое лето. Егор Кирпичников устал от эфирного тракта и беспомощно затосковал по далеким и смутным явлениям, как это с ним бывало не раз.

Он снова убивал дни, скитаясь и наслаждаясь одиночеством — то в Останкино, то в Серебряном бору, то уезжая на Ладожское озеро, которое он так любил.

— Тебе, Егор, влюбиться надо! — говорили ему друзья. — Эх, напустить бы на тебя хорошую русскую девушку, у которой коса травою пахнет!..

— Оставьте, — отвечал Егор. — Я сам себя не знаю куда деть! Знаете, я никак не могу устать, — работаю до утра, а слышу, что мозг скрежещет и спать не хочет!

— А ты женись! — советовали все-таки ему.

— Нет, когда полюблю прочно, в первый раз и на всю жизнь, тогда…

— Что тогда?

— Тогда… уйду странствовать, и думать о любимой.

— Странный ты человек, Егор! От тебя каким-то старьем и романтизмом пахнет… Инженер, коммунист, а мечтает!..

В мае был день рождения Валентины Кроховой Валентина весь день читала Пушкина и плакала: ей сравнялось двадцать лет. Вечером она надела серое платье, поцеловала перстень на пальце — подарок отца — и стал ждать Егора с матерью и еще двух подруг. Она убрала стол, в комнате пахло жимолостью, полем и чистым телом человека.

Огромное окно было распахнуто, но видно в него одно небо и шевелящийся воздух на страшной высоте.

Пробило семь часов. Валентина села за рояль и сыграла несколько этюдов Шахтмайера и Метнера. Она не могла отделаться от своей сердечной тревоги и не знала, что ей делать — расплакаться или сжать зубы и не надеяться.

Весенняя природа волновалась страстью размножения и жаждала забвения жизни в любви. И в круг этих простых сил была включена Валентина Крохова и не могла от них отбиться. Ни разум, ни чужое страдание в поэмах и в музыке — ничто не помогло горю ее молодости. Ей нужен был поцелуй, а не философия и даже не красота. Она привыкла честно мыслить и понимала это.

В восемь часов к ней постучали. Принесли телеграмму от Егора. В ней стояли странные, шутливые и жестокие слова, и притом в стихах, к которым Егор питал влечение с детства:

Дарю тебе луну на небе
И всю живую траву на земле, —
Я одинок и очень беден,
Но для тебя — мне нечего жалеть.

Валентина не поняла, но к ней вошли веселые подруги.

В одиннадцать часов Валентина выпроводила подруг и пошла к Егору, зажженная темным отчаянием.

Ее встретила Мария Александровна. Егора дома не было, уже вторые сутки. Валентина посмотрела на бланк телеграммы: она была подана из Петрозаводска.

— А я думала, он у вас будет сегодня вечером! — сказала Мария Александровна.

— Нет, его у меня не было!

И обе женщины молча сели, ревнуя друг к другу утраченного и томясь одинаковым горем.

* * *

В августе Мария Александровна получила письмо от Егора из Токио.

> Мама. Я счастлив и кое-что постиг. Конец моей работы близок. Только бродя по земле, под разными лучами солнца и над разными недрами, я способен думать. Я теперь понял отца. Нужны внешние силы для возбуждения мыслей. Эти силы рассеяны по земным дорогам, их надо искать и под них подставлять голову и тело, как под ливни. Ты знаешь, что я делаю и ищу — корень мира, почву вселенной, откуда она выросла. Из древних философских мечтаний это стало научной задачей дня. Надо же кому-нибудь это делать, и я взялся. Кроме того, ты знаешь мои живые мускулы, они требуют напряжения и усталости, иначе я бы затомился и убил себя. У отца тоже было это чувство; быть может, это болезнь, быть может, это дурная наследственность от предков — пеших бродяг и киевских богомольцев. Не ищи меня и не тоскуй, — сделаю задуманное, тогда вернусь. Я думаю о тебе, ночую в стогах сена и в куренях рыбаков. Я тоскую о тебе, но меня гонят вперед мои беспокойные ноги и моя тревожная голова. Быть может, верно, жизнь — порочный факт, и каждое дышащее существо — чудо и исключение. Тогда я удивляюсь, и мне хорошо думать о своей милой матери и неотомщенном отце.
>
> Егор.

* * *

Тридцать первого декабря в Москве было получено известие о смерти Егора Кирпичникова в Буэнос-Айресе, в тюрьме. Он был арестован вместе с бандитами, грабившими скорые поезда. В тюрьме он заболел тропической малярией. Вся шайка была приговорена к повешению. Так как Кирпичников не мог идти на виселицу, валяясь в предсмертном бреду, то ему дали яду, и он, не помня уже ничего о жизни, скончался.

Труп его, наравне с повешенными бандитами, был брошен в илистые воды Амазонки и смыт в Тихий океан. Виселицы стояли на самом берегу Амазонки; их также после казни бросили в реку, и они поплыли, таща трупы в своих мертвых петлях.

На запросы советского правительства о такой расправе с человеком, который не мог быть преступником и попал в шайку по неизвестному случаю, бразильское правительство ответило, что оно не знало, что в его руках Кирпичников; при аресте же он отказался назвать себя, а потом заболел и ни разу не приходил в сознание во время следствия.

* * *

Мария Александровна поставила новую урну в Доме воспоминаний в Серебряном бору, рядом с урной своего мужа.

На ней значилось:

> «Егор Кирпичников. Погиб 29 лет. Изобретатель эфирного тракта — последователь Ф. К. Попова и своего отца. Вечная слава и скорбная память

зодчему новой природы».

Город Градов

Мое сочинение скучно и терпеливо, как жизнь, из которой оно сделано.

Ив. Шаронов, писатель конца XIX века

1

От татарских князей и мурз, в летописях прозванных мордовскими князьями, произошло столбовое градовское дворянство, — все эти князья Енгалычевы, Тенишевы и Кугушевы, которых до сих пор помнит градовское крестьянство.

Градов от Москвы лежит в пятистах верстах, но революция шла сюда пешим шагом. Древневотчинная Градовская губерния долго не сдавалась ей: лишь в марте 1918 года установилась Советская власть в губгороде, а в уездах — к концу осени.

Оно и понятно: в редких пунктах Российской империи было столько черносотенцев, как в Градове. Одних мощей Градов имел трое: Евфимий-ветхопещерник, Петр-женоненавистник и Прохор-византиец; кроме того, здесь находились четыре целебных колодца с соленой водой и две лежачие старушки прорицательницы, живьем легшие в удобные гробы и кормившиеся там одной сметаной. В голодные годы эти старушки вылезли из гробов и стали мешочницами, а что они святые — все позабыли, до того суетливо жилось тогда.

Проезжий ученый говорил властям, что Градов лежит на приречной террасе, о чем и был издан циркуляр для сведения.

Город орошала речка Жмаевка — так учили детей в школе первой ступени. Но летом на улицах было сухо, и дети не видели, что Жмаевка орошает Градов, и не понимали урока.

Вокруг города жили слободы: исконные градовцы называли слобожан нахальщиками, ибо слобожане бросали пахотное дело и стремились стать служилами-чиновниками, а в междуцарствие свое — пока им должностей не выходило — занимались чинкой сапог, смолокурством, перепродажей ржаного зерна и прочим незнатным занятием. Но в том была подоплека всей жизни Градова: слобожане наседали и отнимали у градовцев хлебные места в учреждениях, а градовцы обижались и отбивались от деревенских охальников. Поэтому три раза в год — на троицу, в николин день и на крещенье — между городом и слободами происходили кулачные бои. Слобожане, кормленные густой пищей, всегда побивали градовцев, исчахших на казенных харчах.

Если подъезжать к Градову не по железной дороге, а по грунту, то въедешь в город незаметно: все будут поля, потом пойдут хаты, сделанные из глины, соломы и плетня, потом предстанут храмы, и уже впоследствии откроется площадь. Посреди площади стоит собор, а против него двухэтажный дом.

— А где же город? — спросит приезжий человек.

— А вот он город и есть! — ответит ему возчик и укажет на тот же двухэтажный дом старинной стройки. На доме том висит вывеска: «Градовский губисполком».

На краю базарной площади стоят еще несколько домов казенного вечного образца — там тоже необходимые губернии учреждения.

Есть в Градове жилища и поприличней хат. Крыты они железом, на дворе имеют нужники, а с уличной стороны палисадники. У иных есть и садики, где растут вишня и яблоня. Вишня идет в настойку, а яблоко в мочку.

Живут в таких домах служащие люди и хлебные скупщики.

В летние вечера город наполняется плавающим колокольным звоном и трубным дымом

поставленных самоваров.

Народ в городе существовал без спешки и не беспокоился о якобы лучшей жизни. Служил с усердием, держа порядок в губернии, но ярости в труде не знал. Торговали по малости, без риска, но прочно сбывая хлеб насущный.

Героев город не имел, безропотно и единогласно принимая резолюции по мировым вопросам.

А может, и были в Градове герои, только их перевела точная законность и надлежащие мероприятия.

Отсюда пошло то, что, сколько ни давали денег этой ветхой, растрепанной бандитами и заросшей лопухами губернии, ничего замечательного не выходило.

В Москве руководители губернии говорили правительству, что хотя нельзя сказать точно, на что истрачены пять миллионов, отпущенные в прошлом году на сельское хозяйство, но толк от этих миллионов должен быть — все-таки деньги истрачены в Градовской губернии, а не в чужом месте и как-нибудь скажутся.

— Может, пройдет десять годов, — говорил председатель Градовского губисполкома, — а у нас рожь начнет расти в оглоблю, а картошка с колесо! Вот тогда и видно будет, куда ушло пять миллионов рублей!

А было дело так. Случился в Градовской губернии голод от засухи. На прокормление крестьян и на особые гидротехнические работы правительство отпустило пять миллионов рублей.

Восемь раз заседал президиум Градовского губисполкома: что делать с этими деньгами? Четыре месяца шло обсуждение серьезного вопроса.

В основу отбора голодающих крестьян от сытых был положен классовый принцип: помощь оказывать только тем крестьянам, у которых нет ни коровы, ни лошади, а наличный скот — не свыше двух овец и двадцати кур, включая петуха; остальным крестьянам, имеющим корову или лошадь, давать хлеб порциями, когда в теле есть научные признаки голода.

Научное определение голода было возложено на ветеринаров и на сельский педагогический персонал. Затем Градовским губисполкомом была детально разработана «Ведомость учета крестьянских хозяйств, на восстановление, укрепление и развитие коих может в некоторой степени повлиять частичный недород некоторых районов губернии».

Сверх натуральной кормежки решено было начать гидротехнические работы. Создана была особая комиссия по набору техников. Но она ни одного техника не приняла, так как оказалось, чтобы построить деревенский колодезь, техник должен знать всего Карла Маркса.

Комиссия решила, что технического персонала на рынке республики нет, и по одному доброму совету приняла, что эти работы надо поручить бывшим солдатам-военнопленным, а также сельским самоучкам, которые даже часы могут чинить, а не только насыпь сделать или яму для воды выкопать. Один член этой приемочной комиссии вслух прочитал книгу, где говорится, как холоп Микишка сделал аэроплан и летал на нем перед Иваном Грозным, чем убедил окончательно комиссию в скрытых силах пролетариата и трудового крестьянства. Следовательно, решила комиссия, средства, отпущенные губернии на борьбу с недородом, помогут «выявить, использовать, учесть и в дальнейшем снова использовать внутренние умственные силы пролетариата и беднейших крестьян, тем самым гидротехнические работы в нашей губернии будут иметь косвенный культурный эффект».

Было построено шестьсот плотин и четыреста колодцев. Техников совсем не было, а может, было человека два. Не достояв до осени, плотины были смыты летними легкими дождями, а колодцы почти все стояли сухими.

Кроме того, одна сельскохозяйственная коммуна, под названием «Импорт», начала строить железную дорогу длиною в десять верст. Железная дорога должна соединить «Импорт» с другой коммуной — «Вера, Надежда, Любовь». Денег «Импорт» имел пять тысяч рублей, и даны они были на орошение сада. Но железная дорога осталась недостроенной: коммуна «Вера, Надежда, Любовь» была ликвидирована губернией за свое

название, а член правления «Импорта», посланный в Москву купить за двести рублей паровоз, почему-то не вернулся.

Сверх того, на те же казенные деньги десятниками самочинно были построены восемь планеров для почтовой службы и перевозки сена и один вечный двигатель, действующий моченым песком.

2

В Градов Иван Федотович Шмаков ехал с четким заданием — врасти в губернские дела и освежить их здравым смыслом. Шмакову было тридцать пять лет, и славился он совестливостью перед законом и административным инстинктом, за что и был одобрен высоким госорганом и послан на ответственный пост.

Думал Шмаков как раз про то, что было ему известно про Градов. А известно ему было одно, что Градов — оскуделый город и люди живут там настолько бестолково, что даже чернозем травы не родит.

За два часа до Градова Шмаков вышел на попутной станции и, оглянувшись по сторонам, испуганно и наспех выпил водочки в буфете, зная, что Советская власть не любит водки. Особое чувство скуки и беспокойства охватило Шмакова, когда он шел по мрачным и бесприютным залам вокзала. В третьем классе сидели безработные и ели дешевую мокрую колбасу. Плакали дети, увеличивая чувство тревоги и беспомощной жалости. Уныло гудели маломощные паровозы, готовясь к одолению скучных осенних пространств, полных редкой и убогой жизни.

Проезжие люди жили так, как будто они ехали по чужой планете, а не по отечественной стране; каждый ел украдкой и соседу пищи не давал, но все-таки люди жались друг к другу, ища защиты на страшных путях сообщения.

Шмаков вошел в вагон и закурил. Поезд тронулся. Наспех выскочила баба с яблоками, запутавшись в сдаче пассажиру с гривенника.

Шмаков плюнул, раздражаясь от длительности пути, и сел. За окном проскакивали хижины какого-то городка и не спеша помахивала мельница ветхими крылами, тяжело меля грубое зерно.

Некий старичок рассказывал соседям хитроумную притчу, и люди смеялись, торопя старика.

— А мордвин што?

— А мордвин богатый человек, — говорил старик, — мордвин угостил русского подобру и честь честью. Только русский говорит мордвину: «Я беден, и когда разбогатею, тогда тебя тоже в гости позову».

— А мордвин ему што?

— А мордвин ждет! Прошел год, еще год, а потом сразу два. Русский все не богатеет, а мордвин все ждет: когда его русский к себе в гости позовет. Четыре года томился мордвин, а потом вспомнил про русского и пошел к нему в гости. Вот приходит в хату…

— К русскому?

— К русскому, то видно по рассказу. Да… Русский схватил шапку с мордвина — то на один гвоздь ее повесит, то на другой, то на третий. «Што ты?» — спрашивает его мордвин. «Места тебе не найду», — говорит русский. «Почет, значит?» — «Ну, почет, конечно». Сел мордвин за порожний стол и глядит, чего бы ухватить ему из пищи. Глядь, русский кувшин тащит. «Пей», — говорит. Мордвин ухватился, думал влага какая, а там вода. Попил мордвин. «Будя», — говорит. «Пей, — говорит русский, — не обижай, пожалуйста!» Мордвин, конечно, человек уважительный, — пьет. Не успел выпить этого кувшина, хозяйка ведро принесла, а хозяин доливает кувшин и потчует гостя. «Не обидь, говорит, угощайся, ради бога!» Выпил мордвин три ведра воды и пошел домой. «Хорошо угостил тебя русский?» — спрашивает мордвина жена. «Хорошо, — говорит мордвин, — спасибо, что вода была, а от водки я бы помер — три ведра выпил…»

Шмаков задремал от плавного хода поезда и сбился с рассказа старика. Увидев во сне кошмарное видение, что рельсы лежат не на земле, а на диаграмме и означают пунктир, то есть косвенное подчинение, Шмаков пробормотал что-то и проснулся. Старичок исчез, взяв свой мешок с продуктами, а на его месте сидел комсомолец и проповедовал:

— Религия должна караться по закону!

— Это через почему ж такое по закону-то? — злобно допытывался неизвестный человек, ранее рассказывавший о ценах на пшено в Саратове и Раненбурге.

— А вот почему! — говорил парень, равнодушно и старчески улыбаясь и явно жалея собеседников. — Я расскажу все последовательно! Потому что религия есть злоупотребление природой! Поняли? Дело ведь просто: солнце начинает нагревать навоз, сначала вонь идет, а потом оттуда трава вырастает. Так и вся жизнь на земле произошла — очень просто…

— А я у вас извинения попрошу, товарищ коммунист, — робко выговорил все тот же неизвестный человек, что на пшено цену знал, — ежели ты навоз, допустим, на загнетку положишь, а печку затопишь, чтоб тепло и свет шли, то, по-вашему, вырастет трава из навоза аль нет?

— Ну да, вырастет! — ответил знающий парень. — Все равно — что печка, что солнце…

— И на лежанке можно? — хитрил неизвестный человек.

— Ясно, можно! — подтвердил комсомолец.

— А вы вот что нам скажите, гражданин коммунист, — хрипло обратился человек, ехавший в Козлов на мясохладобойню, — правда, что Днепр перегородить хотят и Польшу затопить?

Комсомольский знаток разгорелся и сразу рассказал о Днепрострое все, что известно и неизвестно.

— Сурьезное дело! — дал свое заключение о Днепрострое козловский человек. — Только воду в Днепре не удержать!

— Это почему ж такое? — вступился тут Шмаков. Козловец сумрачно поглядел на Шмакова: дескать, это еще что за моль тут встряла в разговор?

— А потому, — сказал он, — что вода — дело тяжкое, камень точит и железо скоблит, а советский материал — мягкая вещь!

«Он прав, сволочь! — подумал Шмаков. — У меня тоже пуговицы от новых штанов оторвались, а в Москве покупал!»

Дальше Шмаков не слушал, заскорбев от дум и недоброкачественности жизни. Поезд гремел на крутом уклоне и скрежетал бессильными тормозами.

Печальный, молчаливый сентябрь стоял в прохладном пустопорожнем поле, где не было теперь никакого промысла. Одно окно в вагоне было открыто, и какие-то пешие люди кричали в поезд:

— Эй, сволочи!

Иногда встречные пастушонки просили:

— Брось газету! — Газета им требовалась на цигарки.

Комсомолец, раздобрев от своей осведомленности, побросал им всю наличную бумагу, и пастушонки ловили ее, не допуская до земли. Но Шмаков своей газеты не дал — в чужом городе всякий клок дорог.

— Градов! Кому до Градова? Первая остановка! — сказал проводник и начал выметать сор. — Насорили, идолы, как в поле! Штрафовать вас надо, да денег у вас нету! Бабка, прими ноги!

Шмаков сошел в Градове, и его охватила некоторая жуть.

«Вот оно, мое поселение», — подумал Шмаков и оглядывал тихий вокзал и скромных людей, спешащих попасть в вагоны.

Несмотря на то что этот пункт был связан рельсами со всем миром — с Афинами и Апеннинским полуостровом, а также с берегом Тихого океана, — никто туда не ездил: не

было надобности. А если б кто поехал, то запутался бы в маршруте: народ тут жил бестолковый.

3

Вселился Шмаков в дом № 46 по Коркиной улице; дом был невелик, и жила в нем одна старушка, караульщица своего недвижимого имущества. Получала она за мужа пенсию одиннадцать рублей двадцать пять копеек в месяц и комнату сдавала за восемь рублей с ее топкой.

Сел за голый стол Иван Федотыч, поглядел на двор, где травы умирали, и ему сделалось скучно. Посидев, Иван Федотыч лег, а полежавши, встал и пошел еды купить.

Еще не закатилось сентябрьское солнце, а Иван Федотыч вернулся в пустоту своего жилища. Старушка вздыхала на кухне от перемены власти и трещала лучинками к самовару.

Иван Федотыч поел колбасы, а затем сел вырабатывать форму своей подписи на будущих бумагах. «Шмаков», — написал Иван Федотыч. «Нет, не твердо», — подумал он и вновь написал «Шмаков», но уже более бесхитростно и как бы невзначай копируя по простоте начертания подпись Ленина.

Затем долго раздумывал Иван Федотыч, ставить ему перед своей фамилией «Ив» — Иван, или не надо. Наконец решил поставить: могут обознаться и спутать с инородным человеком; хотя фамилия «Шмаков» — достаточно редкостная.

В восемь часов старушка перестала вздыхать и тихо засопела — уснула, стало быть. Потом проснулась и долго бормотала славянские молитвы.

Иван Федотыч задернул занавесочки, понюхал больной цветок на подоконнике и извлек из чемодана кожаную тетрадь. На коже было вырезано перочинным ножом заглавие рукописного труда:

«Записки государственного человека».

Открыв рукопись на сорок девятой странице, Иван Федотыч подчитал конец и, разогнавшись мыслью, начал продолжать:

«…Я тайно веду свой труд. Но когда-нибудь он сделается мировым юридическим сочинением, а именно: я говорю, чиновник и прочее всякое должностное лицо — это ценнейший агент социалистической истории, это живая шпала под рельсами в социализм.

Служение социалистическому отечеству — это новая религия человека, ощущающего в своем сердце чувство революционного долга.

Воистину в 1917 году в России впервые отпраздновал свою победу гармонический разум порядка!

Современная борьба с бюрократией основана отчасти на непонимании вещей.

Бюро есть конторка. А конторский стол суть непременная принадлежность всякого государственного аппарата.

Бюрократия имеет заслуги перед революцией: она склеила расползавшиеся части народа, пронизала их волей к порядку и приучила к однообразному пониманию обычных вещей.

Бюрократ должен быть раздавлен и выжат из советского государства, как кислота из лимона. Но не останется ли тогда в лимоне одно ветхое дерьмо, не дающее вкусу никакого достоинства…»

— Гады! — заорал кто-то у окна. — Испотрошу всякую сволочь, всякую баптистскую ересь…

И вдруг голос смилостивился и зазвучал милосердно:

— Друг, скажи по-матерному, по-церковнославянски! Ага, нельзя!.. Эх ты, гниденыш!

Шаги удалились, и пустынно застучал колотушечник, предупреждая грабеж.

Шмаков сначала насторожился, а потом поник в удручении от многочисленности

хамства.

Одолев нравственную тревогу, он продолжал:

«Что нам дают вместо бюрократизма? Нам дают доверие вместо документального порядка, то есть дают хищничество, ахинею и поэзию.

Нет! Нам нужно, чтобы человек стал святым и нравственным, потому что иначе ему деться некуда. Всюду должен быть документ и надлежащий общий порядок.

Бумага лишь символ жизни, но она и тень истины, а не хамская выдумка чиновника.

Бумага, изложенная по существу и надлежаще оформленная, есть продукт высочайшей цивилизации. Она предучитывает порочную породу людей и фактирует их действия в интересах общества.

Более того, бумага приучает людей к социальной нравственности, ибо ничто не может быть скрыто от канцелярии».

Часто бывало, что мысль Ивана Федотыча увлекалась сторонними соображениями во вред пользе. Вот и сейчас, пренебрегая временем, он задумался о сравнительной административной силе предуика и исправника. Затем он подумал о воде земного шара и решил, что лучше спустить все океаны и реки в подземные недра, чтобы была сухая территория. Тогда не будет беспокойства от дождей, а народ можно расселить просторнее. Воду будут сосать из глубины насосы, облака исчезнут, а в небе станет вечно гореть солнце, как видимый административный центр.

«Самый худший враг порядка и гармонии, — думал Шмаков, — это природа. Всегда в ней что-нибудь случается…

А что, если учредить для природы судебную власть и карать ее за бесчинство? Например, драть растения за недород. Конечно, не просто пороть, а как-нибудь похитрее — химически, так сказать!

Не согласятся, — вздохнул Шмаков, — беззаконники везде сидят!»

Потом он очнулся и продолжал работать:

«И как идеал зиждется перед моим истомленным взором то общество, где деловая официальная бумага проела и проконтролировала людей настолько, что, будучи по существу порочными, они стали нравственными. Ибо бумага и отношение следовали за поступками людей неотступно, грозили им законными карами, и нравственность сделалась их привычкой.

Канцелярия является главной силой, преобразующей мир порочных стихий в мир закона и благородства.

Подумать надо над этим, и крепко подумать. Я кончаю сегодняшнюю очередную запись, чтобы крепко подумать о бюрократии».

Тут Иван Федотыч встал и действительно задумался.

Так думал он о бюрократии долго, пока его не перебил собачий лай на ночной улице, и тогда он уснул, зря не потушив лампы.

На другой день Шмаков явился на службу — в губернское земельное управление, куда он назначен был заведовать подотделом. Явившись, он молча сел и начал листовать разумные бумаги. Сослуживцы дико смотрели на новое молчаливое начальство и, вздыхая, не спеша чертили какие-то длинные скрижали. Иван Федотыч постепенно входил в самое средоточие дел, но сразу усмотрел ущерб стройности и делопроизводственной логике.

Вечером, лежа на кровати, он раздумывал о своей новой службе. Круг обязанностей каждого сотрудника очерчен недостаточно четко, служащие суетятся с малой пользой, в бумагах запор смысла и скользкая бесплановая логика, в толчее и подотдельской тесноте сотрудники утратили самую цель своих трудов и исторический смысл своей службы.

Поев вчерашней колбасы, Шмаков сел писать доклад начальнику земуправления.

«О соподчинении служащих внутри вверенного мне подотдела в целях рационализации руководимой мною области сельскохозяйственных мероприятий».

Трактат свой Иван Федотыч кончил поздней ночью — за полночь.

Утром хозяйка сжалилась над одиноким человеком и дала Ивану Федотычу бесплатно

чай. Ночью она слышала, как у спящего Шмакова рычала и резко трескалась сухая жирная пища в животе.

Иван Федотыч принял чай без всякого одобрения и без интереса прослушал хозяйкин рассказ об их глухой стороне.

Оказалось, что в ближних к Градову деревнях, — не говоря про дальние, что в лесистой стороне, — до сей поры весной в новолунье и в первый гром купались в реках и озерах, умывались с серебра, лили воск, окуривали от болезней скот и насвистывали ветер.

«Холуйство! — подумал Иван Федотыч, послушав старуху. — Только живая сила государства — служилый, должный народ способен упорядочить это мракобесие».

Идя на службу, Иван Федотыч чувствовал легкость желудка от горячего чая старухи и покой мысли от убежденности в благотворном государственном начале.

На службе Ивану Федотычу дали дело о наделении землей потомков некой Алены, которая была предводительницей мятежных отрядов поценского края в XVIII столетии и которую сожгли за чародейные дела в срубе в городе Кадоме.

«Ездили они, отцы наши, воровские казаки, — читал в деле Шмаков, — по уездам, рубили помещиков и вотчинников, за которыми были крестьяне, а черных людей, крестьян и боярских людей и иных служилых никого не рубили и не грабили».

Дело о землеустройстве потомков Алены тянулось уже пятый год. Теперь пришла новая бумага от них с резолюцией начальника учреждения:

«Тов. Шмакову. Реши это дело, пожалуйста, окончательно. Пятый год идет волокита о семи десятинах. Доложи мне срочно по сему».

Шмаков исчитал все дело и нашел, что это дело можно решить трояко, о чем и написал особую докладную записку начальнику учреждения, не предрешая вопроса, а ставя его на усмотрение вышестоящих инстанций. В конце записки он вставил собственное изречение, что волокита есть умственное коллективное вырабатывание социальной истины, а не порок. Управившись с Аленой, Шмаков углубился в поселок Гора-Горушку, который жил на песках, а на лучшие земли не выходил. Оказалось, что поселок жил тихим хищничеством с железной дороги, которая проходила в двух верстах. Поселку давали и деньги, и агрономов, а он сидел на песке и жил неведомо чем.

Шмаков написал на этом деле резолюцию:

«Гору-Горушку считать вольным поселением, по примеру немецкого города Гамбурга, а жителей — транспортными хищниками; земли же надлежит у них изъять и передать в трудовое пользование».

Далее попалось заявление жителей хутора Девьи Дубравы о необходимости присылки им аэроплана для подгонки туч в сухое летнее время. К заявлению прилагалась вырезка из газеты «Градовские известия», которая обнадежила девьедубравцев.

«Пролетарский Илья Пророк.

Ленинградский советский ученый профессор Мартенсен изобрел аэропланы, самопроизвольно льющие дождь на землю и делающие над пашней облака. Будущим летом предположено испытать эти аэропланы в крестьянских условиях. Аэропланы действуют посредством наэлектризованного песка».

Изучив все тексты сего дела, Шмаков положил свое заключение:

«Ввиду сыпящегося из аэроплана песка, чем уменьшается добротность пахотных почв, признать отпуск аэроплана хутору Девьи Дубравы пока преждевременным, о чем и уведомить просителей».

Остаток трудового дня Шмаков истратил целиком и полностью на заполнение форм учета учетной работы, наслаждаясь графами и терминами государственного точного языка.

На пятый день службы Шмаков познакомился с заведующим административно-финансовым отделом земельного управления Степаном Ермиловичем Бормотовым.

Бормотов принял Шмакова спокойно, как чуждое интересам дела явление.

— Товарищ Бормотов, — обратился Шмаков, — у нас дело стоит: вы почту приказали отправлять два раза в месяц оказиями.

Бормотов молчал и подписывал ассигновки.

— Товарищ Бормотов, — повторил Иван Федотыч, — у меня тут срочные бумажки, а отправлять почту будут через неделю чохом…

Бормотов нажал кнопку звонка, не глядя на Шмакова.

Вошел испуганный пожилой человек и прищурился на Бормотова с почтительным и усиленным вниманием.

— Отнеси это в ремесленную управу, — сказал Бормотов человеку. — Да позови мне какую-нибудь балерину из переписчиц.

Человек не осмелился ничего сказать и ушел.

Вошла машинистка.

— Соня, — сказал ей Бормотов, не взирая на нее, а узнав по запаху и иным косвенным признакам. — Соня! Ты оперплан не переписала еще?

— Переписала, Степан Ермилыч! — ответила Соня. — Это операционный план? Ах нет, не переписала!

— Ну вот, ты спроси сначала, а потом отвечай, а то — переписала!

— Вы про операционный спрашиваете, Степан Ермилыч?

— Ну да, не про опереточный! Оперплан и есть оперплан!

— Ах, я его сейчас только вдела в машинку!

— Вдела и держи там! — ответил Степан Ермилыч. Тут Бормотов кончил подписывать ассигновки и заметил Шмакова.

Бормотов прослушал и ответил:

— А как же в Вавилоне акведуки строили? Хорошо ведь строили? Хорошо! Прочно? Прочно! А почта ведь там раз в полгода отправлялась, а не чаще! Что теперь мне скажешь? — Бормотов знающе улыбнулся и принялся подписывать подтверждения и напоминания.

Шмаков сразу утих от такого резона Бормотова и недоуменно вышел. По дороге он дышал сухим воздухом старой деловой бумаги и думал о том, что значит ремесленная управа, которую упомянул Бормотов. Думал Шмаков и еще кое о чем, но о чем — неизвестно.

В дверях административно-финансового отдела спорили два человека. Каждый из них был особенный: один утлый, истощенный и несчастный, пьющий водку после получки, другой — полный благотворности жизни от сытой пищи и внутреннего порядка. Первый, тощий, свирепо убеждал второго, что это глина, держа в руке какой-то комочек. Другой, напротив, стоял за то, что это песчаный грунт, и удовлетворялся этим.

— А почему? Ну почему песок? — пытал его тощий.

— А потому, что сыплется, — резонно говорил тот, что поспокойнее. — Потому, что мукой пылит. Ты дунь! Тощий дунул — и что-то вышло.

— Ну? — спросил утлый человек.

— Что ну? — сказал плотный. — Сыплется — значит, песок!

— А ты плюнь, — догадался тощий.

Его недруг взял в свои руки комок неведомого грунта и смачно харкнул, уверенный в неразмочимой природе песка.

— Ну? — торжественно возгласил тощий. — Помни теперь!

Тот помял и сразу согласился, чтобы не рушить равновесия чувств.

— Глина! Мажется. Дребедень!..

Шмаков прослушал беседу друзей и, достигнув своего стола, сейчас же сел писать доклад начальнику управления «О необходимости усиления внутренней дисциплины во вверенном Вам управлении, дабы пресечь неявный саботаж».

Но вскоре саботаж явился перед Шмаковым как узаконенное явление. Во вверенном Шмакову подотделе сидело сорок два человека, а работы было на пятерых; тогда Шмаков, испугавшись, донес рапортом кому следовало о необходимости сократить штат на тридцать семь единиц.

Но его вызвали сейчас же в местком и там заявили, что это недопустимо — профсоюз не позволит самодурствовать.

— А чего ж они будут делать? — спросил Шмаков. — Им дела у нас нет!

— А пускай копаются, — сказал профсоюзник, — дай им старые архивы листовать, тебе-то што?

— А зачем их листовать? — допытывался Шмаков.

— А чтоб для истории материал в систематическом порядке лежал! — пояснил профработник.

— Верно ведь! — согласился Шмаков и успокоился, но все же донес по начальству, чтобы на душе покойнее было.

— Эх ты, жамка! — сказал впоследствии Шмакову его начальник. — Профтрепача послушал — ты работай, как гепеус, вот где умные люди!

Раз подходит к Шмакову секретарь управления и угощает его рассыпными папиросами.

— Покушайте, Иван Федотович! Новые: пять копеек сорок штук, градовского производства. Под названием «Красный инок», вот на мундштучке значится — инвалиды делают!

Шмаков взял папиросу, хотя почти не курил из экономии, только дарственным табаком баловался.

Секретарь приник к Шмакову и пошептал вопрос:

— Вот вы из Москвы, Иван Федотович! Правда, что туда сорок вагонов в день мацы приходит и то будто не хватает? Нюжли верно?

— Нет, Гаврил Гаврилович, — успокоил его Шмаков, — должно быть меньше. Маца непитательна — еврей любит жирную пищу, а мацу он в наказанье ест.

— Вот именно, я ж и говорю, Иван Федотович, а они не верят!

— Кто не верит?

Да никто: ни Степан Ермилович, ни Петр Петрович, ни Алексей Палыч — никто не верит!

4

А меж тем сквозь время настигла Градов печальная мягкая зима. Сослуживцы сходились по вечерам пить чай, но беседы их не отходили от обсуждения служебных обязанностей: даже на частной квартире, вдали от начальства, они чувствовали себя служащими государства и обсуждали казенные дела. Попав раз на такой чай, Иван Федотыч с удовольствием установил непрерывный и сердечный интерес к делопроизводству у всех сотрудников земельного управления.

Желчь дешевого табака, шелест бумаги, запечатлевшей истину, покойный ход очередных дел, шествующих в общем порядке, — эти явления заменяли сослуживцам воздух природы.

Канцелярия стала их милым ландшафтом. Серый покой тихой комнаты, наполненной умственными тружениками, был для них уютней девственной натуры. За огорожами стен они чувствовали себя в безопасности от диких стихий неупорядоченного мира и, множа писчие документы, сознавали, что множат порядок и гармонию в нелепом, неудостоверенном мире.

Ни солнца, ни любви, ни иного порочного явления они не признавали, предпочитая письменные факты. Кроме того, ни любовь, ни учет деятельности солнца в прямой круг делопроизводства не входили.

Однажды в темный вечер, когда капала неурочная вода — был уже декабрь — и хлопал мокрый снег, по улицам Градова спешил возбужденный Шмаков.

Предназначалась сегодня пирушка — по три рубля с души — в честь двадцатипятилетия службы Бормотова в госорганах.

Шмаков кипел благородством невысказанных открытий. Он хотел выступить перед

Бормотовым и прочими на свою сокровенную тему «Советизация как начало гармонизации Вселенной». Именно так он хотел переименовать свои «записки государственного человека».

Градов еще не спал, потому что шел восьмой час вечера. Злились от скуки собаки на каждом дворе. Замечательно — потому что он был один — горел вдалеке электрический фонарь. Небо было так низко, тьма так густа, а город столь тих, невелик и явно благонравен, что почти не имелось никакой природы на первый взгляд, да и нужды в ней не было.

Проходя мимо пожарной каланчи, Шмаков слышал, как вздыхал наверху одинокий пожарный, томясь созерцанием.

— А все-таки он не спит, — с удовольствием гражданина подумал Иван Федотыч, — значит, долг есть! Хотя пожаров тут быть не может: все люди осторожны и порядочны!

На вечер, в условный дом вдовы Жамовой, сдавшей помещение за два рубля, Шмаков пришел первым. Вдова его встретила без приветливости, как будто Шмаков был самый голодный и пришел захватить еду.

Иван Федотыч сел и затих. Отношений к людям, кроме служебных, он не знал. Если бы он женился, его жена стала бы несчастным человеком. Но Шмаков уклонялся от брака и не усложнял историю потомством. Шмаков не чувствовал в женщинах никакой прелести, как настоящий мыслитель, в котором циркулирует голый долг. Воли в себе он не знал, ощущая лишь повиновение — радостное, как сладострастие, он любил служебное дело настолько, что дорожил даже крошками неизвестного происхождения, затерянными в ящиках своего письменного стола, как неким царством покорности и тщетности.

Вторым явился Степан Ермилович Бормотов. Он держался не как именинник, а как распорядитель.

— Марфуша, — обратился он к Жамовой, — ты бы половичок в передней постелила! Ноги могут быть нечисты, калоши людям не по бюджету, а у тебя все-таки горница, а не кабак!

— Сейчас, Степан Ермилыч, сейчас постелю! А вы проходите — я вам престольное место приготовила. Выше вас чина ведь не будет?

— Да не должно быть, Марфа Егоровна, не должно! — И Степан Ермилович сел в лучшее кресло старинного устройства.

Чуя, что Степан Ермилович уже на месте, быстро стали подходить другие гости. Пришли четыре деловода, три счетовода, два заведующих личными столами, два бухгалтера, три заведующих подотделами, машинистка Соня и заведующий местной черепичной мастерской — старинный приятель Бормотова по земской службе — гражданин Родных. Этими людьми мир Бормотова замкнулся в своих горизонтах и плановых перспективах, и началось чаепитие.

Чай пили молча и с удовольствием, разогревая им настроение. Марфа Жамова стояла за спиной Бормотова и меняла ему пустые стаканы, сластя чай желтым экономическим песком, купленным в кооперативе как брак.

Степан Ермилович Бормотов сидел с сознанием чести. Почтительный разговор не выходил из круга служебных тем. Поминались лихие случаи задержки распоряжений губисполкома, — и в голосе говорившего чувствовался страх и скрытая радость избавления от ответственности.

Выплыло событие об исчезновении Градовской губернии. Центр вдруг перестал присылать циркуляры. Тогда Бормотов добровольно поехал дешевым поездом в Москву выяснять положение. Денег ему дали мало — не пришли из Москвы кредиты, а отпустили пышек из инвалидной пекарни и выписали удостоверение о командировке. В Москве Бормотов узнал, что Градов хотят передать в область, и в областной же город передали поэтому все градовские кредиты.

А областной город отказывался от Градсва.

«Город не пролетарский, говорят, на черта он нам сдался!»

Так и повис Градов без государственного причалу. После своего возвращения Бормотов собрал на своей квартире старожилов и хотел объявить в Градовской губернии автономную

национальную республику, потому что в губернии жили пятьсот татар и штук сто евреев.

— Не республика мне была нужна, — объяснял Бор-мотов, — я не нацменьшой, а непрерывное государственное начало и сохранение преемственности в делопроизводстве.

Шмаков тлел возбуждением и шумел переполненным сердцем, но молчал до поры и тер свои писцовые руки.

Много еще случаев помянули присутствующие. История текла над их головами, а они сидели в родном городе, прижукнувшись, и наблюдали, усмехаясь, за тем, что течет. Усмехались они потому, что были уверены, что то, что течет, потечет-потечет и — остановится. Еще давно Бормотов сказал, что в мире не только все течет, но и все останавливается. И тогда, быть может, вновь зазвонят колокола. Бормотов, как считающий себя советским человеком, да и другие не жалели, конечно, звона колоколов, но для порядка и внушения массам единого идеологического начала и колокола не плохи. А звон в государственной глуши, несомненно, хорош, хотя бы с поэтической точки зрения, ибо в хорошем государстве и поэзия лежит на предназначенном ей месте, а не поет бесполезные песни.

Незаметно чай кончился, самовар заглох. Марфа осvнулась и села в уголок, устав угождать. Тогда за чай заступилась русская горькая.

— Вот, граждане, — сказал счетовод Смачнев, — я откровенно скажу, что одно у меня угощенье — водка!.. Ничто меня не берет — ни музыка, ни пение, ни вера, а водка меня берет! Значит, душа у меня такая твердая, только ядовитое вещество она одобряет… Ничего духовного я не признаю, то — буржуазный обман…

Смачнев, несомненно, был пессимист и в общем и целом перегнул палку.

Но действительно, что только водка разморозила сознание присутствующих и дала теплую энергию их сердцам.

Первым, по положению, встал Бормотов.

— Граждане! Служил я в разных местах. Я пережил восемнадцать председателей губисполкома, двадцать шесть секретарей и двенадцать начальников земуправлений. Одних управделами ГИК при мне сменилось десять человек! А чиновников особых поручений — как их, личных секретарей, председателей — целых тридцать штук прошло… Я страдалец, друзья, душа моя горька, и ничто ее не растрогает… Всю жизнь я спасал Градовскую губернию. Один председатель хотел превратить сухую территорию губернии в море, а хлебопашцев в рыбаков. Другой задумал пробить глубокую дырку в земле, чтобы оттуда жидкое золото наружу вылилось, и техника заставлял меня сыскать для такого дела. А третий все автомобили покупал, для того чтобы подходящую систему для губернии навеки установить. Видали, что значит служба? И я должен всему благожелательно улыбаться, терзая свой здравый смысл, а также истребляя порядок, установленный существом дела! И более того — ремесленная управа, то есть губпрофсовет, однажды исключила меня из союза рабземлеса за то, что я назвал членские взносы налогом в пользу служащих профессиональных союзов. Но, однако, членом союза я остался — иначе и быть не могло. Ремесленной управе невыгодно лишаться плательщика налога, а об остальном постаралось мое начальство — без меня ему бы делать нечего было!

Бормотов хлебнул пивца для голоса, оглядел подведомственное собрание и спросил:

— А? Не слышу?

Собрание молчало, истребляя корм.

— Ваня! — обратился Бормотов к человеку, мешавшему пиво с водкой. — Ваня! Закрой, дружок, форточку! Время еще раннее, всякий народ мимо шляется… Так вот, я и говорю, что такое губком? А я вам скажу: секретарь — это архиерей, а губком — епархия! Верно ведь? И епархия мудрая и серьезная, потому что религия пошла новая и посерьезней православной. Теперь на собрание — ко всенощной — попробуй не сходи! Давайте, скажут, ваш билетик, мы отметочку там сделаем! Отметочки четыре будут, тебя в язычники зачислят. А язычник у нас хлеба не найдет! Так-то! А я про себя скажу: кто в епархии делопроизводство поставил? Я! Кто контрольную палату — РКИ, скажем, или казначейство

— губфо наше — на ноги поставил и людей там делом занял? Кто? А всякие карточки, НОТы и прочую антисанитарию истребил в канцеляриях? Ну, кто?..

— Без Бормотова, друзья, — сказал Степан Ермилович со слезами на глазах, — не было бы в Градове учреждений и канцелярий, не уцелела бы Советская власть и не сохранилось бы деловой родственности от старого времени, без чего нельзя нам жить! Я первый, кто сел за стол и взял казенную вставочку, не сказав ни одной речи!

Вот, милые мои, где держится центр власти и милость разума! Мне бы царем быть на всемирной территории, а не заведовать охраной материнства и младенчества своих машинисток или опекать лень деловодов!..

Тут Бормотов захлестнулся своими словами и сел, уставившись в пищу на столе. Собрание шумело одобрением и питалось колбасой, сдерживая ею стихию благородных чувств. Водка расходовалась медленно и планомерно, вкруговую и в общем порядке, оттого и настроение участников ползло вверх не скачками, а прочно, по гармонической кривой, как на диаграмме.

Наконец встал счетовод Пехов и спел, поверх разговоров, песнь о диком кургане. Счетоводство — нация артистов, и нет ни одного счетовода или бухгалтера, который бы не смотрел на свою профессию как на временное и бросовое дело, почитая своим исконным призванием искусство — пение, а изредка — скрипку или гитару. Менее благородный инструмент счетоводы не терпели.

За Пеховым, так же молча и без предупреждения, встал бухгалтер Десущий и пропел какой-то отрывок из какой-то оперы, какой — никто не понял. Он славился своей корректностью и культурностью в областях искусства и полным запустением своих бухгалтерских дел.

Приподнялся и постучал вилкой о необходимости молчания заведующий подотделом землеустройства Рванников.

— Любимые братья в революции! — начал раздобревший от горькой Рваннннков. — Что привело вас сюда, не щадя ночи? Что собрало нас, не сожалея симпатий? Он — Степан Ермилович Бормотов — слава и административный мозг нашего учреждения, революционный наставник порядка и государственности великой неземлеустроенной территории нашей губернии!

И пусть он не кивает там мудрой головой, а пьет рябиновую златыми устами, если я скажу, что нет ему равных среди людского остальца после революции! Вот действительно человек дореволюционного качества!

— Граждане советские служащие! — проревел в заключение Рванников. — Приглашаю вас выпить за двадцатипятилетие Степана Ермиловича Бормотова, истинного зиждителя территории людьми, как наш славный и премудрый юбиляр!..

Все вскочили с места и пошли с рюмками к Бормотову.

Плача и торжествуя, Бормотов всех перецеловал — этого момента он только и ждал весь вечер, сладко томя честолюбие.

Тогда не выдержал Шмаков и, встав на стул, произнес животрепещущую речь — длинную цитату из своих «Записок государственного человека»!

— Граждане! Разрешите поговорить на злобу дня!

— Разрешаем! — сказало коллективно собрание. — Говори, Шмаков! Только режь экономию: кратко и не голословно, а по кровному существу!

— Граждане, — обнаглел Шмаков, — сейчас идет так называемая война с бюрократами. А кто такой Степан Ермиловинч Бормотов? Бюрократ или нет? Бюрократ положительно! И да будет то ему в честь, а не в хулу или осуждение! Без бюрократии, уважаемые ратники государства, не удержаться бы Советскому государству и часа — к этому я дошел долгою мыслью… Кроме того… (Шмаков начал путаться, голова его сразу вся выпотрошилась — куда что девалось.) Кроме того, дорогие соратники…

— Мы не ратники, — прогудел кто-то, — мы рыцари!

— Рыцари умственного поля! — схватил лозунг Шмаков. — Я вам сейчас открою

тайну нашего века!

— Ну-ну! — одобрило собрание. — Открой его, черта!

— А вот сейчас, — обрадовался Шмаков. — Кто мы такие? Мы за-ме-ст-и-те-л-и пролетариев! Стало быть, к примеру, я есть заместитель революционера и хозяина! Чувствуете мудрость? Все замещено! Все стало подложным! Все не настоящее, а суррогат! Были сливки, а стал маргарин: вкусен, а не питателен! Чувствуете, граждане?.. Поэтому-то так называемый, всеми злоумышленниками и глупцами поносимый бюрократ есть как раз зодчий грядущего членораздельного социалистического мира.

Шмаков сел и достойно выпил пива — среднего непорочного напитка; высшей крепости он не пил.

Но тут встал Обрубаев… Его заело; он озлобился и приготовился быть на посту. Пост его был видный — кандидат ВКП(б); но такое состояние Обрубаева службе не помогало, он был и остался делопроизводителем с окладом в двадцать восемь рублей ежемесячно, по шестому разряду тарифной сетки при соотношении 1:8.

— Уважаемые товарищи и сослуживцы! — сказал Обрубаев, доев что-то. — Я не понимаю ни товарища Бормотова, ни товарища Шмакова! Каким образом это допустимо! Налицо определенная директива ЦКК — борьба с бюрократизмом. Налицо — наименования советских учреждений девятилетней давности. А тут говорят, что бюрократ — как его? — зодчий и вроде кормилец. Тут говорят, что губком — епархия, что губпрофсовет — ремесленная управа и так и далее. Что это такое? Это перегиб палки, констатирую я. Это затмение основной директивы по линии партии, данной всерьез и надолго. И вообще в целом я высказываю свое особое мнение по затронутым предыдущими ораторами вопросам, а также осуждаю товарищей Шмакова и Бормотова. Я кончил.

— Закон-с, товарищ Обрубаев! — сказал тихо, вразумляюще, но сочувственно Бормотов. — Закон-с! Уничтожьте бюрократизм — станет беззаконие! Бюрократизм есть исполнение предписаний закона. Ничего не поделаешь, товарищ Обрубаев, закон-с!

— А если я губкому сообщу, товарищ Бормотов, или в РКИ? — мрачно сказал Обрубаев, закуривая для демонстрации папиросу «Пушку».

— А где у вас документики, товарищ Обрубаев? — спросил Бормотов. — Разве кто вел протокол настоящего собрания? Вы ведь. Соня, ничего не записывали? — обратился Бормотов к единственной здесь машинистке, особо чтимой в землеуправлении.

— Нет, Степан Ермилыч, я не записывала; вы ничего не сказали мне, а то бы я записала, — ответила хмельная, блаженная Соня.

— Вот-с, товарищ Обрубаев, — мудро и спокойно улыбнулся Бормотов. — Нет документа, и нет, стало быть, самого факта! А вы говорите — борьба с бюрократизмом! А был бы протокольчик, вы бы нас укатали в какую-нибудь гепею или рекаю! Закон-с, товарищ Обрубаев, закон-с!

— А живые свидетели! — воскликнул зачумленный Обрубаев.

— Свидетели пьяные, товарищ Обрубаев. Во-первых. А во-вторых, они, так сказать, масса, существа наших разногласий не поняли и понять не могли, и дело мое наверняка пойдет к прекращению. А в-третьих, товарищ Обрубаев, выносит ли дисциплинированный партиец внутрипартийные разногласия на обсуждение широкой массы, к тому же мелкобуржуазной, — попытаю я вас? А?! Выпьем, товарищ Обрубаев, там видно будет… Соня, ты не спишь там? Угощай товарища Обрубаева, займись чистописанием… Десущий, крякни что-нибудь подушевней.

Десущий сладко запел, круто выводя густые ноты странной песни, в которой говорилось о страдальце, жаждущем только арфы золотой. Затем делопроизводитель Мышаев взял балалайку: я, говорит, хоть и кустарь в искусстве, но побрякаю! И он быстро залепетал пальцами, выбивая лихой такт веселящегося тела.

Бормотов прикинулся благодушным человеком, сощурил противоречивые утомленные глаза и, истощенный повседневной дипломатической работой, вдарился бессмысленно плясать, насилуя свои мученические ноги и веселя равнодушное сердце.

Шмакову стало жаль его, жаль тружеников на ниве всемирной государственности, и он заплакал навзрыд, уткнувшись во что-то соленое.

5

А утром Градов горел; сгорели пять домов и одна пекарня. Загорелось, как говорят, с пекарни, но пекарь уверял, что он окурки всегда бросает в тесто, а не на пол, тесто же не горит, а шипит и гасит огонь. Жители поверили, и пекарь остался печь хлебы.

Далее жизнь шла в общем порядке и согласно постановлениям Градовского губисполкома, которые испуганно изучались гражданами. В отрывных календарях граждане метили свои беспрерывные обязанности. Со сладостью в душе установил это Шмаков в бытность на именинах у одного столоначальника, по прозвищу Чалый.

В листках календаря значилось что-нибудь почти ежедневно, а именно:

«Явиться на переучет в терокруг — моя буква Ч, подать на службе рапорт о неявке по законной причине».

«В 7 часов перевыборы горсовета — кандидат Махин, выдвинут ячейкой, голосовать единогласно».

«Сходить в ком. отд. — отнести деньги за воду, последний срок, а то пеня».

«Подать сведения горсанкомиссии о состоянии двора, — штраф, см. постановление ГИКа».

«Собрание жилтоварищества о забронировании сарая под нужник».

«Протестовать против Чемберлена, — в случае чего стать, как один, под ружье».

«Зайти вечером постоять в красном уголке, а то сочтут отступником».

«Именины супруги сочетать с режимом экономии и производственным эффектом. Пригласить наш малый совнарком».

«Узнать у Марфы Ильиничны, как варить малиновый узвар».

«Справиться в загсе, как переменить прозвище Чалый на официальную фамилию Благовещенский, а также имя Фрол на Теодор».

«Переморить клопов и проверить лицевой счет жены».

«Суббота — открыто заявить столоначальнику, что иду ко всенощной, в бога не верю, а хожу из-за хора, а была бы у нас приличная опера, ни за что не пошел бы».

«Попросить у сослуживцев лампадного масла. Нигде нет, и все вышло. Будто для смазки будильника».

«Отложить 366-ю бутылку для вишневой настойки. Этот год високосный».

«Сушить сухари впрок — весной будет с кем-то война».

«Не забыть составить 25-летний перспективный план народного хозяйства; осталось 2 дня».

Каждый день был занят.

Не в первый раз и не во второй, а в более многократный констатировал Шмаков то знаменательное явление, что времени у человека для так называемой личной жизни не остается — она заменилась государственной и общеполезной деятельностью. Государство стало душою. А то и надобно, в том и сокрыто благородство и величие нашей переходной эпохи!

— А как, товарищ Чалый, существует в вашей губернии точный план строительства?

— Как же-с, как же-с! В десятилетний план сто элеваторов включено: по десяти в год будем строить, затем-с двадцать штук мясохладобоен и пятнадцать фабрик валяной обуви… А сверх того, водяной канал в земле до Каспийского моря рыть будем, чтобы персидским купцам повадно стало торговать с градовскими госорганами.

— Вон оно как! — дал заключение Шмаков. — Курс значительный! Ну, а денег сколько же вам потребно на эти солидные мероприятия?

— Денег надо множество, — сообщил Чалый второстепенным тоном. — Того не менее, как миллиарда три, сиречь по триста миллионов в год.

— Ого, — сказал Шмаков, — сумма почтительная! А кто же даст вам эти деньги?

— Главное — план! — ответил Чалый. — А уж по плану деньги дадут…

Это верно! — согласился Шмаков. Вопрос получил надлежащее уточнение.

6

И жил Шмаков в Градове уже без малого год. Жизнь для него выдалась подходящая: все шло в общем порядке и по закону. Лицо его было беззаботным, пожилым и равнодушным, как у актера в забвенной игре. Труд его жизни — «Записки государственного человека» — подбивался к концу. Шмаков обдумывал лишь заключительные аккорды его.

Как и всюду по республике, над Градовом ночью солнце не светило, зато отсвечивало на чужих звездах.

Прогуливаясь для укрепления здоровья и поглядывая на них, Шмаков нашел однажды заключительный аккорд для своего труда:

«В сердце моем дышит орел, а в голове сияет звезда гармонии».

Придя домой и завершив рукописный труд, Шмаков до раннего утра сидел за ним, увлекшись чтением своего сочинения.

«…Стоит ли, — читал он середину, — измышлять изобретения, раз мир диалектичен, сиречь для всякого героя есть своя стерва. Не стоит!

И тому пример: в Градове пять лет тому назад, и двадцать лет обратно, было всего две пишущие машинки (обе системы „ройяль“, т. е. король), а теперь их близко сорока штук, не обращая внимания на системы.

Но увеличился ли от этого социальный прок? Нисколько! А именно: сидели ранее писцы за бумагой, снабженные гусиными перьями, и писали. Затупится перо или засквозится от переусердия, писец его начинает зачинивать; сам зачинивает, а сам на часы смотрит. Глядь, время уже истекло и пора идти в собственный деревянный домик, где его ждала как-никак пища и уют порядка, высшим образом обеспеченный государственным строем.

И ничего не нарушалось от течения дел рукописным порядком. Ничто не спешило, а все поспевало.

А теперь что? Барышне попудриться не успеть, как втыкают ей новое черновое произведение…

Да и то видно: как появляется человек, так и бумага около него заводится, и не малая грудка. А что, если лишнего человека не заводить! Может, и бумаге завестись будет неоткуда?..»

Тут Иван Федотыч вздохнул и задумался:

«Не пора ли ему отправиться в глухой скит, чтобы дальше не скорбеть над болящим миром? Но так будет бессовестно.

Хотя оправданием такого поступка может послужить то, что мир официально никем не учрежден и, стало быть, юридически не существует. А если бы и был учрежден и имел устав и удостоверение, то и этим документам верить нельзя, так как они выдаются на основании заявления, а заявление подписывается „подателем сего“, а какая может быть вера последнему? Кто удостоверит самого „подателя“, прежде чем он подаст заявление о себе?»

Почувствовав изжогу в желудке и отчаяние в сердце, Иван Федотыч сходил на кухню попить водицы и посмотреть, кто там пищит все время.

Возвратившись, он снова принялся за чтение, трепеща всеми чувствами.

«…Возьмем соподчиненный мне подотдел. Что там есть?

Я за ошибки подчиненных не упрекаю, а лишь вывожу из них следствие, что значит — дело идет. А когда мне заявили, что построенные под моим руководством водоудержательные плотины почти все вровень с землей уничтожены, я ответил, что постройка их, следовательно, велась.

А никакая земля воды не держит, тому доказательство — явление оврагов…»

После этого Шмаков успокоился и уснул с легким сердцем и удовлетворенным умом.

Но известно ли что-нибудь достоверно на свете? Оформлены ли надлежаще все факты природы? Того документально нет! Не есть ли сам закон или другое присутственное установление — нарушение живого тела Вселенной, трепещущей в своих противоречиях и так достигающей всецелой гармонии?

Эта преступная мысль, собственно, разбудила Ивана Федотовича.

Оказалось, что стояло раннее счастливое утро. В Градове топились печи, разогревая вчерашний ужин на завтрак. Хозяйки шли за теплым хлебом для мужей, резаки в пекарнях его резали и метрически взвешивали, мудря на граммах: никто из них не верил, что грамм лучше фунта, знали только, что он легче.

Кроме того, чувствовалось счастье, что новый день уподобится вчерашнему и оттого терзаний жизни не причинит.

7

Сапожник Захар, сосед Ивана Федотыча по двору, каждый день будился от сна женою одинаковыми словами:

— Захарий! Вставай, садись за свой престол!

Престол — круглый пенек, на котором сидел Захар перед верстаком. Пенек на треть стерся от сидения, и Захар много раз думал о том, что человек прочней дерева. Так оно и было.

Захарий вставал, закуривал трубку и говорил:

— Я в мире человек сверхштатный! Не живу, а присутствую, и учета мне нет… На собранья я не хожу и ничего не член!

— Ну, будя, будя тебе, Захарий, — говорила ему жена. — Будя бурчать, садись чай пить. Член! Обдумал тоже — член!

После чая Захар садился за работу, которой не вынес бы ни один зверь: столько она требовала мужества и терпения.

Шмаков постоянно латал свои сапоги у Захара, которым тот много удивлялся:

— Иван Федотыч, вашей обуже восьмой год идет, и как вы ее терпите? Когда их на фабрике сшили, с тех пор дети выросли и грамоте выучились, а многие померли из них, а сапоги все живут… Кустарник лесом стал, революция прошла, может, и звезды какие потухли, а сапоги все живут… Это непостижимо!..

Иван Федотыч ему отвечал:

— В этом и есть порядок, Захарий Палыч! Жизнь бесчинствует, а сапоги целы! В этом и находится чудо бережного разума человека.

— А по мне, — говорит Захар, — бесчинство благородней! А то на сапожном престоле так и будешь сидеть, как и я!

Иван Федотыч убеждал Захария Палыча не глядеть на жизнь такими чувствительными глазами и не скорбеть влекущей мыслью. На свете того не бывает, чем бы утешилось беспутное сердце человека. А что такое утешение, как не мещанство, опороченное Октябрьской революцией?

— Порядок — дело чинное, — говорил Захар. — Да уж дюже землю назлили, Иван Федотыч! В порядок ее теперь добром не приведешь, опустошать надо, не иначе!

По уходе Ивана Федотыча Захар Палыч втайне думал, что постная жизнь все же лучше благородного бесчинства, и удовлетворительно глядел на свой порожний двор, ландшафт которого — плетень, а житель — курица.

8

Через три месяца для всего государственного населения Градова настали боевые дни. Центр решил четыре губернии, как раз и Градовскую, слить в одну область.

И заспорили четыре губернских города, кому приличествует быть областным.

Особенно лютовал в этом деле Градов.

Он имел четыре тысячи советских служащих, да безработных имелось две тысячи восемьсот тридцать семь человек; только область могла поглотить этот писчий народ.

Бормотов, Шмаков, управделами ГИКа Скобкин, зампред губплана Наших и другие заметные люди Градова стали во главе бумажной войны с другими городами перед лицом Москвы.

Градовцы спешно приступили к рытью канала, начав его в лопухах слободы Моршевки, из усадьбы гражданина Моева.

Канал тот учреждался для сплошного прохода в Градов персидских, месопотамских и иных коммерческих кораблей.

О канале губплан написал три тома и послал их в центр, чтобы там знали про это. Градовский инженер Паршин составил проект воздушных сообщений внутри будущей области, предусмотрев необходимость воздушной перевозки не только багажа, но и объемистых кормов для скота; для последней цели в мастерских райсельсоюза строился аэроплан сугубой мощности, с двигателем, работающим на порохе.

Сам предгубисполкома тов. Сысоев рвал, метал и внушал подчиненной ему губернии, что только Градов будет областным центром — и никакой иной населенный пункт.

Тов. Сысоев распорядился заказать штампы и вывески с наименованиями Градовского облисполкома и отдал приказ называть себя впредь предоблисполкома.

Когда никто из служащих не сбивался с области на губернию в отношениях и устных словах, тов. Сысоев повышался в добром чувстве и говорил кому попало, кто оказывался на глазах:

— Область у нас, братец! А? Почти республика! А Градов-то — почти столица европейского веса! А что такое губерния? Контрреволюционная царская ячейка, и больше ничего!

Началась беспримерная война служащих. Соседние города-претенденты на областной престол — не отставали от градовцев в должном усердии.

Но Градов истреблял всех перед молчаливой Москвой. Иван Федотыч Шмаков написал на четырехстах страницах среднего формата проект администрирования проектируемой Градо-Черноземной области; за соответствующими подписями он был отослан в центр.

Бормотов Степан Ермилович подошел к делу исподволь. Он предложил учредить такой облисполком, чтобы он собирался на сессии по очереди во всех бывших губгородах и нигде не имел постоянного местопребывания и вечного здания.

Но тут была уловка: Москва на это, конечно, не согласится, но спросит, кто это изобрел. И когда станет известным, что это измышление принадлежит гражданину города Градова, Москва улыбнется, но учтет, что в Градове живут умные люди, подходящие для руководства областью.

Так раз доказал свою мысль Бормотов тов. Сысоеву, председателю ГИКа. Тот подумал и сказал:

— Да, это орудие высшего психологического увещания, но теперь нам всякое дерьмо гоже! — и подписал доклад Бормотова для следования его в Москву.

Много дел наделали градовцы, доказывая свое явное превосходство перед соседями.

Шмаков извелся и застрадал общей болью в теле, с ужасом думая о поражении Градова, но тихо заходя сердцем при мысли о Градове — областном центре.

Большую книгу стоит написать, излагая борьбу пяти губгородов. Букв в ней было бы столько, сколько лопухов в Градовской губернии[7].

Сапожник Захарий Палыч умер, не дождавшись области; сам Шмаков поник на уклоне к пожилому возрасту.

Бормотов же был уволен старшим инспектором Наркомата РКИ за волокиту и чах дома, заведя частную канцелярию по выработке форм учета деятельности госорганов; в этой

[7] Но можно ее и не писать, так как градовцам читать ее некогда, а прочим неинтересно.

канцелярии он служил один, и притом без жалованья и без охраны труда.

Наконец, через три года после начала областной войны, пришло постановление Москвы:

«Организовать Верхне-Донскую земледельческую область в составе территорий таких-то губерний. Областным городом считать Ворожеев. Окружными центрами учредить такие-то пункты. Градов-город, как не имеющий никакого промышленного значения, с населением, занятым преимущественно сельским хозяйством и службою в учреждениях, перечислить в заштатные города, учредив в нем сельсовет, переместив таковой из села Малые Вершины».

Что же случилось потом в Градове? Ничего особенного не вышло — только дураки в расход пошли. Шмаков через год умер от истощения на большом социально-философском труде: «Принципы обезличения человека, с целью перерождения его в абсолютного гражданина с законно упорядоченными поступками на каждый миг бытия». Перед смертью он служил в сельсовете уполномоченным по грунтовым дорогам. Бормотов жив и каждый день нарочно гуляет перед домом, где раньше помещался губисполком. Теперь на том доме висит вывеска «Градовский сельсовет».

Но Бормотов не верит глазам своим — тем самым глазам, которые некогда были носителями неуклонного государственного взора.

Сокровенный человек

Этой повестью я обязан своему бывшему товарищу Ф.Е. Пухову и тов. Тольскому, комиссару Новороссийского десанта в тыл Врангеля.

1

Фома Пухов не одарен чувствительностью: он на гробе жены вареную колбасу резал, проголодавшись вследствие отсутствия хозяйки.

— Естество свое берет! — заключил Пухов по этому вопросу.

После погребения жены Пухов лег спать, потому что сильно исхлопотался и намаялся. Проснувшись, он захотел квасу, но квас весь вышел за время болезни жены — и нет теперь заботчика о продовольствии. Тогда Пухов закурил — для ликвидации жажды. Не успел он докурить, а уж к нему кто-то громко постучал беспрекословной рукой.

— Кто? — крикнул Пухов, разваливая тело для последнего потягивания. — Погоревать не дадут, сволочи!

Однако дверь отворил: может, с делом человек пришел.

Вошел сторож из конторы начальника дистанции.

— Фома Егорыч, — путевка! Распишитесь в графе! Опять метет — поезда станут.

Расписавшись, Фома Егорыч поглядел в окно: действительно, начиналась метель, и ветер уже посвистывал над печной вьюшкой. Сторож ушел, а Фома Егорыч загоревал, подслушивая свирепеющую вьюгу, — и от скуки, и от бесприютности без жены.

— Все совершается по законам природы, — удостоверил он самому себе и немного успокоился.

Но вьюга жутко развертывалась над самой головой Пухова, в печной трубе, и оттого хотелось бы иметь рядом с собой что-нибудь такое, не говоря про жену, но хотя бы живность какую.

По путевке на вокзале надлежало быть в шестнадцать часов, а сейчас часов двенадцать — еще можно поспать, что и было сделано Фомой Егорычем, не обращая внимания на пение вьюги над вьюшкой.

Разомлев и распарившись, Пухов насилу проснулся. Нечаянно он крикнул, по старому сознанию:

— Глаша! — жену позвал, но деревянный домик претерпевал удары снежного воздуха и весь пищал. Две комнаты стояли совсем порожними, и никто не внял словам Фомы Егорыча. А бывало, сейчас же отзовется участливая жена:

— Тебе чего, Фомушка?

— А ничего, — ответит, бывало, Фома Егорыч, — это я так позвал: цела ли ты!

А теперь никакого ответа и участия: вот они, законы природы!

— Дать бы моей старухе капитальный ремонт — жива бы была, но средств нету и харчи плохие! — сказал себе Пухов, шнуруя австрийские башмаки.

— Хоть бы автомат выдумали какой-нибудь: до чего мне трудящимся быть надоело! — рассуждал Фома Егорович, упаковывая в мешок пищу: хлеб и пшено.

На дворе его встретил удар снега в лицо и шум бури.

— Гада бестолковая! — вслух и навстречу движущемуся пространству сказал Пухов, именуя всю природу.

Проходя безлюдной привокзальной слободой, Пухов раздраженно бурчал — не от злобы, а от грусти и еще отчего-то, но отчего — он вслух не сказал.

На вокзале уже стоял под парами тяжелый, мощный паровоз с прицепленным к нему вагоном — снегоочистителем. На снегоочистителе было написано: «Система инженера Э. Бурковского».

«Кто этот Бурковский, где он сейчас и жив ли? Кто ж его знает!» — с грустью подумал Пухов, и отчего-то сразу ему захотелось увидеть этого Бурковского.

К Пухову подошел начальник дистанции:

— Читай, Пухов, расписывайся, и — поехали! — и подал приказ:

> «Приказывается правый путь от Козлова до Лисок держать непрерывно чистым от снега, для чего пустить в безостановочную работу все исправные снегоочистители. После удовлетворения воинских поездов все паровозы поставить для тяги снегоочистителей. В экстренных случаях снимать для той же тяги дежурные станционные паровозы. При сильных метелях — впереди каждого воинского состава должен неотлучно работать снегоочиститель, дабы ни на минуту не было прекращено движение и не ослабела боеспособность Красной Армии.
>
> Пред. Глав. рев. комитета Ю.-В. ж. д. Рудин. Комиссар путей сообщения Ю.-З. ж. д. Дубанин».

Пухов расписался — в те годы попробуй не распишись!

— Опять неделю не спать! — сказал машинист паровоза, тоже расписавшись.

— Опять! — сказал Пухов, чувствуя странное удовольствие от предстоящего трудного беспокойства: все жизнь как-то незаметней и шибче идет.

Начальник дистанции, инженер и гордый человек, терпеливо слушал метель и смотрел поверх паровоза какими-то отвлеченными глазами. Его раза два ставили к стенке, он быстро поседел и всему подчинился — без жалобы и без упрека. Но зато навсегда замолчал и говорил только распоряжения.

Вышел дежурный по станции, вручил начальнику дистанции путевку и пожелал доброго пути.

— До Графской остановки нет! — сказал начальник дистанции машинисту. — Сорок верст! Хватит ли воды у вас, если топку придется все время форсировать?

— Хватит, — ответил машинист. — Воды много — всю не выпарим!

Тогда начальник дистанции и Пухов вошли в снегоочиститель. Там уже лежали восемь рабочих и докрасна калили чугунку казенными дровами, распахнув для свежего воздуха окно.

— Опять навоняли, дьяволы! — почувствовал и догадался Пухов. — А ведь только что пришли и харчей жирных, должно, не едали! Эх, идолы!

Начальник дистанции сел на круглый стул у выпуклого окна, откуда он управлял всей работой паровоза и снегоочистителя, а Пухов стал у балансира.

Рабочие тоже встали у своих мест, у больших рукояток, посредством которых по балансиру быстро перекидывался груз — и балансир то поднимал, то опускал снегосбросный щит.

Метель выла упорно и ровно, запасшись огромным напряжением где-то в степях юго-востока.

В вагоне было не чисто, но тепло и как-то укромно. Крыша вокзала гремела железами, отстегнутыми ветром, а иногда этот скрежет железа перемежался с далеким артиллерийским залпом.

Фронт работал в шестидесяти верстах. Белые все время прижимались к железнодорожной линии, ища уюта в вагонах и станционных зданиях, утомившись в снежной степи на худых конях. Но белых отжимали бронированные поезда красных, посыпая снега свинцом из изношенных пулеметов. По ночам — молча, без огней, тихим ходом — проходили броневые поезда, просматривая темные пространства и пробуя паровозом целость пути. Ночью ничего не известно; помашет издали поезду низкое степное дерево — и его порежут и снесут пулеметным огнем: зря не шевелись!

— Готово? — спросил начальник дистанции и посмотрел на Пухова.

— Готово! — ответил Пухов и взял в обе руки рычаги.

Начальник дистанции потянул веревку к паровозу — тот запел, как нежный пароход, и грубо дернул снегоочиститель.

Выскочив со станционных путей, начальник дистанции одной рукой резко и коротко дернул за веревку паровозного свистка, а другой махнул Пухову. Это означало: работа!

Паровоз крикнул, машинист открыл весь пар, а Пухов передвинул оба рычага, опуская щит с ножами и развертывая крылья.

Сейчас же снегоочиститель сдал скорость и начал увязать в снегу, прилипая к рельсам, как к магнитам.

Начальник дистанции еще раз дернул веревку на паровоз, что означало — усилить тягу! Но паровоз весь дрожал от перенапряжения и сифонил так, что из трубы жар вылетал. Колеса его впустую ворочались в снегу, как в крутой почве, подшипники грелись от частых оборотов и плохого масла, а кочегар весь взмок от работы с топкой, несмотря на то, что выбегал за дровами на тендер, где его прохватывал двадцатиградусный ветер.

Снегоочиститель и паровоз попали в глубокий снежный перевал. Один начальник дистанции молчал — ему было все равно. Остальные люди на паровозе и на снегоочистителе грубо выражались на каком-то самодельном языке, сразу обнажая задушевные мысли.

— Пару мало! Пошуруй топку и просифонь, чтоб баланец[8] загремел, — тогда возьмем!

— Закуривай! — крикнул рабочим Пухов, догадавшись о том, что делается на паровозе.

Начальник дистанции тоже вынул кисет и насыпал в кусочек газеты зеленой самогонной махорки.

К метели давно притерпелись и забыли про нее, как про нормальный воздух. Покурив, Пухов вылез из вагона и здесь только обнаружил гром бури, злобу холода и пальбу сухого снега.

— Вот сволота! — сказал Пухов, еле управляясь с тем, с чем ему нужно было управиться.

Вдруг бешено заревел баланс паровоза, спуская лишний пар. Пухов вскочил в вагон — и паровоз сейчас же и разом выхватил снегоочиститель из снежного бугра, пробуксовав колесами так, что огонь посыпался из рельс. Пухов даже увидел, как хлестнула вода из паровозной трубы от слишком большого открытия пара, и оценил машиниста за отвагу:

— Хорош парень у нас на паровозе!

— А? — спросил старший рабочий Шугаев.

— Чего — а? — ответил Пухов. — Чего акаешь-то? Горе кругом, а ты разговариваешь!

[8] Баланс — автоматический предохранитель от излишнего давления пара в котле. (Прим. автора.)

Шугаев поэтому замолчал.

Паровоз прогудел два раза, а начальник дистанции крикнул:

— Закрой работу!

Пухов рванул рычаг и поднял щит.

Подъезжали к переезду, где лежали контррельсы. Такие места проезжали без работы: щит снегоочистителя резал снег ниже головки рельса и не мог работать, когда у рельса что-нибудь находилось — тогда снегоочиститель опрокинулся бы.

Проехав переезд, снегоочиститель понесся открытой степью. Укрытый снегом, лежал искусный железный путь. Пухов всегда удивлялся пространству. Оно его успокаивало в страдании и увеличивало радость, если ее имелось немного.

Так и теперь — поглядел в запушенное окно Пухов: ничего не видно, а приятно.

Снегоочиститель, имея жесткие рессоры, гремел, как телега по кочкам, и, ухватывая снег, тучей пушил его на правый откос пути, трепеща выкинутым крылом; это крыло назначено было швырять снег на сторону — то оно и делало.

В Графской сделали значительную стоянку. Паровоз брал воду, помощник машиниста чистил дымовую коробку, топку и прочее огневое хозяйство.

Обмерзший машинист ничего не делал, а только ругался на эту жизнь. Из штаба какого-то матросского отряда, стоявшего в Графской, ему принесли спирту, и Пухов тоже прошел в долю, а начальник дистанции отказался.

— Пей, инженер, — предложил ему главный матрос.

— Благодарю покорно. Я ничего не пью, — уклонился инженер.

— Ну, как хочешь! — сказал матрос. — А то выпей — согреешься! Хочешь, рыбы принесу — покушаешь?

Инженер опять отказался, по неизвестной причине.

— Эх ты, тина! — сказал тогда оскорбленный матрос. — Ведь тебе с душой дают — нам же не жалко, — а ты не берешь! Поешь, пожалуйста!

Машинист и Пухов пили и жевали все напролом, улыбаясь насчет начальника.

— Отстань ты от него! — обрубил другой матрос. — Он есть хочет, но идея его не велит!

Начальник дистанции смолчал. Есть он действительно не хотел. Месяц назад он вернулся из командировки — из-под Царицына, где сдавал восстановленный мост. Вчера он получил депешу, что мост просел под воинским поездом: клепка моста шла наспех, неквалифицированные рабочие ставили заклепки на живую нитку, и теперь фермы моста расшились — от одного чувства веса мало-мальски грузного поезда.

Два дня назад началось следствие по делу моста, и дома у начальника дистанции лежала повестка от следователя железнодорожного Ревтрибунала. Назначенный в экстренную поездку, инженер не мог пойти в Ревтрибунал, но помнил об этом. Поэтому ему не пилось и не елось. Но страха он тоже не имел, терзаясь сплошным равнодушием; равнодушие, он чувствовал, может быть страшнее боязливости — оно выпаривает из человека душу, как воду медленный огонь, и когда очнешься — останется от сердца одно сухое место; тогда человека хоть ежедневно к стенке ставь — он покурить не попросит: последнее удовольствие казнимого.

— Теперь куда поедете? — спросил у Пухова главный матрос.

— Должно, на Грязи!

— Верно: под Усманью два эшелона и броневик в сугробах застряли! — вспомнил матрос. — Казаки, говорят, Давыдовку взяли, а снаряды за Козловом в заносах стоят!

— Расчистим, сталь режем, а снег — вещество чепуховое! — уверенно определил Пухов, спешно допивая последние капли спирта, чтобы ничто не пропадало в такое время.

Тронулись на Грязи. Пассажиром напросился старичок — будто бы ехал от сына в Лиски, — а кто ж его знает!

Поехали. Загремел балансир, кидая щит то вниз, то вверх, забурчали рабочие, которым

не досталось матросской жирной рыбы.

— Яблок бы моченых я теперь поел! — сказал на полном ходу снегоочистителя Пухов. — Ух, и поел бы — ведро бы съел!

— А я бы сельдь покушал! — ответил ему старичок-пассажир. — Люди говорят, что в Астрахани сельди той миллионы пудов гниют, только маршрутов туда нету!

— Тебя посадили, ты и молчи сиди! — строго предупредил Пухов. — Сельдь бы он покушал! Будто без него съесть ее некому!

— А я, — встрял в разговор помощник Пухова, слесарь Зворычный, — на свадьбе в Усмани был, так полного петуха съел — жирен был, дьявол!

— А сколько петухов-то было на столе? — спросил Пухов, чувствуя на вкус того петуха.

— Один и был — откуда теперь петухи?

— Что ж, тебя не выгнали со свадьбы? — допытывался Пухов, желая, чтоб его выгнали.

— Нет, я сам рано ушел. Вылез из стола, будто на двор захотел, — мужики часто ходят, — и ушел.

— А тебе, старик, не пора слезать — деревня твоя не видна еще? — спросил Пухов пассажира. — Гляди, а то разбалакаешься — проскочишь!

Старик подскочил к окну, подышал на стекло и потер его.

— Места будто знакомые пошли — будто Хамовские выселки торчат на юру.

— Раз Хамовские выселки — тебе к месту, — сказал сведущий Пухов. — Слезай, пока на подъем прем!

Старик почухался с мешком и покорно возразил:

— Машина ходко бежит, аж воздух журчит, — жутко убиваться, господин машинист! Может, окоротить позволите на одну минуту — я враз.

— Обдумал! — осерчал Пухов. — Окоротить ему казенную машину в военное время! Теперь до самых Грязей остановки не будет!

Старик смолчал, а потом спросил особо покорным голосом:

— Сказывали, тормоза теперь могучие пошли — на всякую скороту окорот дают!

— Слазь, слазь, старик! — серчал Пухов. — Скороту ему окоротить! Не на каменную гору прыгаешь, а в снег! Так мягко придется, что сам полежишь — и потянешься еще!

Старик вышел на наружную площадку, осмотрел веревку на мешке — не для прочности, конечно, а для угона времени, чтобы духу набраться, — а потом пропал: должно, шлепнулся.

С Грязей снегоочистителю вручили приказ: вести за собой броневик и поезд наркома, пробивая траншею в заносах, вплоть до Лисок.

Снегоочистителю дали двойную тягу: другой паровоз уступил поезд наркома — громадную спокойную машину Путиловского завода.

Тяжелый боевой поезд наркома всегда шел на двух лучших паровозах.

Но и два паровоза теперь обессилели от снега, потому что снег хуже песка. Поэтому не паровозы были в славе в ту мятежную и снежную зиму, а снегоочистители.

И то, что белых громила артиллерия бронепоездов под Давыдовкой и Лисками, случилось потому, что бригады паровозов и снегоочистителей крушили сугробы, не спя неделями и питаясь сухой кашей.

Пухов, например, Фома Егорыч, сразу почел такое занятие обыкновенным делом и только боялся, что исчезнет махорка с вольного рынка; поэтому дома имел ее пуд, проверив вес на безмене.

Не доезжая станции Колодезной, снегоочиститель стал: два могучих паровоза, которые волокли его, как плуг, влетели в сугроб и зарылись по трубу.

Машинист-петроградец с поезда наркома, ведший головной паровоз, был выбит из сиденья и вышвырнут на тендер от удара паровоза в снег и мгновенной остановки. А паровоз

его, не сдаваясь, продолжал буксовать на месте, дрожа от свирепой безысходной силы, яростно прессуя грудью горы снега впереди.

Машинист прыгнул в снег, катаясь в нем окровавленной головой и бормоча неслыханные ругательства.

К нему подошел Пухов с четырьмя собственными зубами в кулаке — он стукнулся челюстью о рычаг и вытащил изо рта ослабшие лишние зубы. В другой руке он нес мешочек со своими харчами — хлеб и пшено. Не глядя на лежащего машиниста, он засмотрелся на его замечательный паровоз, все еще бившийся в снегу.

— Хороша машина, сволочь!

Потом крикнул помощнику:

— Закрой пар, стервец, кривошипы порвешь!

С паровоза никто не ответил.

Положив харчи на снег и зашвырнув зубы, Пухов сам полез на паровоз, чтобы закрыть регулятор и сифон.

В будке лежал мертвый помощник. Его бросило головой на штырь, и в расшившийся череп просунулась медь — так он повис и умер, поливая кровью мазут на полу. Помощник стоял на коленях, разбросав синие беспомощные руки и с пришпиленной к штырю головой.

«И как он, дурак, нарвался на штырь? И как раз ведь в темя, в самый материнский родничок хватило!» — обнаружил событие Пухов.

Остановив бег на месте бесившегося паровоза, Пухов оглядел все его устройство и снова подумал о помощнике:

«Жалко дурака: пар хорошо держал!»

Манометр действительно и сейчас показывал тринадцать атмосфер, почти предельное давление, — и это после десяти часов хода в глубоком плотном снегу!

Метель стихала, переходя в мокрый снегопад. Вдалеке дымили на расчищенных путях броневик и поезд наркома.

Пухов с паровоза ушел. Рабочие снегоочистителя и начальник дистанции лезли по живот в снегу к паровозу.

Со второго паровоза тоже сошла бригада, перевязав разбитые головы грязными обтирочными концами.

Пухов подошел к петроградскому машинисту. Тот сидел на снегу и прикладывал его к окровавленной голове.

— Ну что, — обратился он к Пухову, — как стоит машина? Закрыл поддувала?

— Все на месте, механик! — ответил по-служебному Пухов. — Помощник только твой убился, но я тебе Зворычного дам, парень умственный, только жрать здоров!

— Ладно, — сказал машинист. — Положи-ка мне хлебца на рану и портянкой окрути! Кровь, сатану, никак не заткну!

Из-за снегоочистителя выглянула милая усталая морда лошади, и через две минуты к паровозу подъехал казачий отряд в человек пятнадцать.

Никто на них не обратил нужного внимания.

Пухов со Зворычным закусывали; Зворычный советовал Пухову непременно вставить зубы, только стальные и никелированные — в воронежских мастерских могут сделать: всю жизнь тогда не изотрешь о самую твердую пищу!

— Опять выбить могут! — возразил Пухов.

— А мы тебе их штук сто наделаем, — успокоил Зворычный. — Лишние в кисет в запас положишь.

— Это ты верно говоришь, — согласился Пухов, соображая, что сталь прочней кости и зубов можно наготовить массу на фрезерном станке.

Казачий офицер, видя спокойствие мастеровых, растерялся и охрип голосом.

— Граждане рабочие! — нарочито сказал офицер, ворочая полубезумными глазами. — Именем Великой Народной России приказываю вам доставить паровозы и снегочистку на

станцию Подгорное. За отказ — расстрел на месте!

Паровозы тихо сипели. Снег падать перестал. Дул ветер оттепели и далекой весны.

У машиниста кровь на голове свернулась и больше не текла. Он почесал сухую корку сукровицы и трудным, ослабевшим шагом пошел на паровоз.

— Пойти воды покачать и дров подложить — машину морозить неохота!

Казаки вынули револьверы и окружили мастеровых. Тогда Пухов рассерчал:

— Вот сволочи, в механике не понимают, а командуют!

— Што-о? — захрипел офицер. — Марш на паровоз, иначе пулю в затылок получишь!

— Что ты, чертова кукла, пулей пугаешь! — закричал, забываясь, Пухов. — Я сам тебя гайкой смажу! Не видишь, что в перевал сели и люди побились! Фулюган, черт!

Офицер услышал короткий глухой гудок броневого поезда и обернулся, подождав стрелять в Пухова.

Начальник дистанции лежал на шинели, постеленной на снег, и о чем-то мрачно размышлял, рассматривая хилое, потеплевшее небо.

Вдруг на паровозе по-плохому закричал человек. То, наверно, машинист снимал со штыря своего разбитого помощника.

Казаки сошли с коней и бродили вокруг паровоза, как бы ища потерянное.

— По коням! — крикнул казакам офицер, заметя вывернувшийся из закругления бронепоезд. — Пускай паровозы, стрелять начну! — и выстрелил в голову начальника дистанции — тот и не вздрогнул, а только засучил усталыми ногами и отвернулся вниз лицом ото всех.

Пухов вскочил на паровоз и заревел во всю сирену прерывистой тревогой. Догадливый машинист открыл паровой кран инжектора, и весь паровоз укутался паром.

Казачий отряд начал напропалую расстреливать рабочих, но те забились под паровозы, проваливались, убегая, в сугробы — и все уцелели.

С бронепоезда, подошедшего к снегоочистителю почти вплотную, ударили из трехдюймовки и прострочили из пулемета.

Отскакав саженей на двадцать, казачий отряд начал тонуть в снегах и был начисто расстрелян с бронепоезда.

Только одна лошадь ушла и понеслась по степи, жалобно крича и напрягая худое быстрое тело.

Пухов долго глядел на нее и осунулся от сочувствия.

С бронепоезда отцепили паровоз и подвели его сзади к снегоочистителю толкачом.

Через час, подняв пар, три паровоза продавили снежный перевал на путях и вырвались на чистое место.

2

В Лисках отдыхали три дня. Пухов обменял на олеонафт десять фунтов махорки и был доволен. На вокзале он исчитал все плакаты и тащил газеты из агитпункта для своего осведомления.

Плакаты были разные. Один плакат перемалевали из большой иконы — где архистратиг Георгий поражает змея, воюя на адовом дне. К Георгию приделали голову Троцкого, а змею-гаду нарисовали голову буржуя; кресты на ризе Георгия Победоносца зарисовали звездами, но краска была плохая, и из-под звезд виднелись опять-таки кресты.

Это Пухова удручало. Он ревниво следил за революцией, стыдясь за каждую ее глупость, хотя к ней был мало причастен.

На стенах вокзала висела мануфактура с агитационными словами:

В рабочие руки мы книги возьмем,
Учись, пролетарий, ты будешь умен!

— Тоже нескладно! — заключил Пухов. — Надо так написать, чтоб все дураки заочно поумнели!

Каждый прожитый нами день — гвоздь в голову буржуазии.
Будем же вечно жить — пускай терпит ее голова!

— Вот это серьезно! — расценивал Пухов. — Это твердые слова!

Подходит раз к Лискам поезд — хорошие пассажирские вагоны, красноармейцы у дверей, и ни одного мешочника не видно.

Пухов стоял в тот час на платформе у дверей и кое-что обдумывал.

Поезд останавливается. Из вагонов никто не выходит.

— Кто это прибыл с этим эшелоном? — спрашивает Пухов одного смазчика.

— А кто его знает? Сказывают, главный командир один в целом поезде!

Из переднего вагона вышли музыканты, подошли к середине поезда, построились и заиграли встречу.

Немного погодя выходит из среднего мягкого вагона толстый военный человек и мажет музыкантам рукой: будет, дескать, доволен!

Музыканты разошлись. Военный начальник не спеша сходит по ступенькам и идет в вокзал. За ним идут прочие военные люди — кто с бомбой, кто с револьвером, кто за саблю держится, кто так ругается, — полная охрана.

Пухов прошел вслед и очутился около агитпункта. Там уже красноармейская масса, разные железнодорожники и жадные до образования мужики.

Приехавший военный начальник взошел на трибуну — и тут ему все захлопали, не зная его фамилии. Но начальник оказался строгим человеком и сразу отрубил:

— Товарищи и граждане! На первый раз я прощаю, но заявляю, чтобы впредь подобных демонстраций не повторялось! Здесь не цирк, и я не клоун — хлопать в ладоши тут не по существу!

Народ сразу примолк и умильно уставился на оратора — особенно мешочники: может, дескать, лицо запомнит и посадит на поезд.

Но начальник, разъяснив, что буржуазия целиком и полностью — сволочь, уехал, не запомнив ни одного умильного лица.

Ни один мешочник в порожний длинный поезд так и не попал: охрана сказала, что вольным нельзя ехать на военном поезде особого назначения.

— А он же порожняком, — все едино — лупить будет! — спорили худые мужики.

— Командарму пустой поезд полагается по приказу! — объяснили красноармейцы из охраны.

— Раз по приказу — мы не спорим! — покорялись мешочники. — Только мы не в поезде сядем, а на сцепках!

— Нигде нельзя! — отвечали охранники. — Только на спице колеса можно!

Наконец поезд уехал, постреливая в воздух — для напуга жадных до транспорта мешочников.

— Дела! — сказал Пухов одному деповскому слесарю. — Маленькое тело на сорока осях везут!

— Нагрузка маленькая — на канате вошь тащут! — на глаз измерил деповский слесарь.

— Дрезину бы ему дать — и ладно! — сообразил Пухов. — Тратят зря американский паровоз!

Идя в барак за порцией пищи, Пухов разглядывал по дороге всякие надписи и объявления — он был любитель до чтения и ценил всякий человеческий помысел. На бараке висело объявление, которое Пухов прочитал беспрерывно трижды:

ТОВАРИЩИ РАБОЧИЕ!

Штабом IX Рабоче-Крестьянской Красной Армии формируются добровольные отряды технических сил для обслуживания фронтовых нужд

> Красных армий, действующих на Северном Кавказе, Кубани и Черноморском побережье.
>
> Разрушенные железнодорожные мосты, береговые оборонительные сооружения, служба связи, орудийные ремонтные мастерские, подвижные механические базы — все это, взятое в целом, требует умелых пролетарских рук, которых не хватает в действующих Красных армиях юга.
>
> С другой стороны, без технических средств не может быть обеспечена победа над врагами рабочих и крестьян, сильных своей техникой, полученной задаром от антантовского империализма.
>
> Товарищи рабочие! Призываем вас записываться в отряды технических сил у уполномоченных Реввоенсовета-IX на всех ж.-д. узловых станциях Условия службы узнайте от товарищей уполномоченных. Да здравствует Красная Армия!
>
> Да здравствует рабоче-крестьянский класс!

Пухов сорвал листок, приклеенный мукой, и понес его к Зворычному.

— Тронемся, Петр! — сказал Пухов Зворычному. — Какого шута тут коптить! По крайности, южную страну увидим и в море покупаемся!

Зворычный молчал, думал о своем семействе.

А у Пухова баба умерла, и его тянуло на край света.

— Думай, Петруха! На самом-то деле: какая армия без слесарей! А на снегоочистке делать нечего — весна уж в ширинку дует!

Зворычный опять молчал, жалея жену Анисью и мальчишку, тоже Петра, которого мать звала выпороточком.

— Едем, Петруш! — увещевал Пухов. — Горные горизонты увидим; да и честней как-то станет! А то видал — тифозных эшелонами прут, а мы сидим — пайки получаем!.. Революция-то пройдет, а нам ничего не останется! Ты, скажут, што делал? А ты што скажешь?..

— Я скажу, что рельсы от снегов чистил! — ответил Зворычный. — Без транспорта тоже воевать нельзя!

— Это што! — сказал Пухов. — Ты, скажут, хлеб за то получал, то работа нормальная! А чем ты бесплатно пожертвовал, спросят, чему ты душевно сочувствовал? Вот где загвоздка! В Воронеже вон бывшие генералы снег сгребают — и за то фунт в день получают! Так же и мы с тобой!

— А я думаю, — не поддавался Зворычный, — мы тут с тобой нужней!

— То никому не известно, где мы с тобой полезней! — нажимал Пухов. — Если только думать, тоже далеко не уедешь, надо и чувство иметь!

— Да будет тебе ерунду лить! — задосадовал Зворычный. — Кто это считать будет — кто что делал, чем занимался? И так покою нет от жизни такой! Тебе теперь все равно — один на свете, — вот тебя и тянет, дурака! Небось думаешь бабу там покрасивше отыскать, — чувство-то понимаешь! Мужик ты не старый — без бабы раздуешься скоро! Ну и вали туда рысью!..

— Дурак ты, Петр! — оставил надежду Пухов. — В механике ты понимаешь, а сам по себе предрассудочный человек!

С горя Пухов и обедать не стал, а пошел к уполномоченному записываться, чтобы сразу управиться с делами. Но когда пришел — съел два обеда: повар к нему благоволил за полудку кастрюли и за умные разговоры.

— После гражданской войны я красным дворянином буду! — говорил Пухов всем друзьям в Лисках.

— Это почему же такое? — спрашивали его мастеровые люди. — Значит, как в старину будет, и землю тебе дадут?

— Зачем мне земля? — отвечал счастливый Пухов. — Гайки, что ль, сеять я буду? То будет честь и звание, а не угнетение.

— А мы, значит, красными вахлаками останемся? — узнавали мастеровые.

— А вы на фронт ползите, а не чухайтесь по собственным домам! — выражался Пухов и уходил дожидаться отправки на юг.

Через неделю Пухов и еще пятеро слесарей, принятых уполномоченным, поехали на Новороссийск — в порт.

Ехали долго и трудно, но еще труднее бывают дела, и Пухов впоследствии забыл это путешествие. На дорогу им дали по пять фунтов воблы и по ковриге хлеба, поэтому слесаря были сыты, только пили воду на всех станциях.

В Екатеринодаре Пухов сидел неделю — шел где-то бой, и на Новороссийск никого не пропускали. Но в этом зеленом отпетом городке давно притерпелись к войне и старались жить весело.

«Сволочи! — думал обо всех Пухов. — Времен не чувствуют!»

В Новороссийске Пухов пошел на комиссию, которая якобы проверяла знания специалистов.

Его спросили, из чего делается пар.

— Какой пар? — схитрил Пухов. — Простой или перегретый?

— Вообще… пар! — сказал экзаменующий начальник.

— Из воды и огня! — отрубил Пухов.

— Так! — подтвердил экзаменатор. — Что такое комета?

— Бродящая звезда! — объяснил Пухов.

— Верно! А скажите, когда и зачем было восемнадцатое брюмера? — перешел на политграмоту экзаменатор.

— По календарю Брюса тысяча девятьсот двадцать восьмого года восемнадцатого октября — за неделю до Великой Октябрьской революции, освободившей пролетариат всего мира и все разукрашенные народы! — не растерялся Пухов, читавший что попало, когда жена была жива.

— Приблизительно верно! — сказал председатель проверочной комиссии. — Ну, а что вы знаете про судоходство?

— Судоходство бывает тяжельше воды и легче воды! — твердо ответил Пухов.

— Какие вы знаете двигатели?

— Компаунд, Отто-Дейц, мельницы, пошвенные колеса и всякое вечное движение!

— Что такое лошадиная сила?

— Лошадь, которая действует вместо машины.

— А почему она действует вместо машины?

— Потому, что у нас страна с отсталой техникой — корягой пашут, ногтем жнут!

— Что такое религия? — не унимался экзаменатор.

— Предрассудок Карла Маркса и народный самогон.

— Для чего была нужна религия буржуазии?

— Для того, чтобы народ не скорбел.

— Любите ли вы, товарищ Пухов, пролетариат в целом и согласны за него жизнь положить?

— Люблю, товарищ комиссар, — ответил Пухов, чтобы выдержать экзамен, — и кровь лить согласен, только чтобы не зря и не дуриком!

— Это ясно! — сказал экзаменатор и назначил его в порт монтером для ремонта какого-то судна.

Судно то оказалось катером, под названием «Марс». В нем керосиновый мотор не хотел вертеться — его и дали Пухову в починку.

Новороссийск оказался ветреным городом. И ветер-то как-то тут дул без толку: зарядит, дует и дует, даже посторонние вещи от него нагревались, а ветер был холодный.

В Крыму тогда сидел Врангель, а с ремонтом «Марса» большевики спешили — говорили, что Врангель морской набег думает сделать, так чтоб было чем защититься.

— Так у него ж английские крейсера, — объяснял Пухов, — а наш «Марс» — морская лодка, ее кирпичом можно потопить!

— Красная Армия все может! — отвечали Пухову матросы. — Мы в Царицын на щепках приплыли, кулаками город шуровали!

— Так то ж драка, а не война! — сомневался Пухов. — А ядро не классовая вещь — живо ко дну пустит!

Керосиновый мотор на «Марсе» никак не хотел вертеться.

— Был бы ты паровой машиной, — рассуждал Пухов, сидя одиноко в трюме судна, — я б тебя сразу замордовал! А то подлецом каким-то выдумана: ишь провода какие-то, медяшки… путаная вещь!

Море не удивляло Пухова — качается и мешает работать.

— Наши степи еще попросторней будут, и ветер еще почище там, только не такой бестолковый; подует днем, а ночью тишина. А тут — дует, дует и дует, — что ты с ним делать будешь?

Бормоча и покуривая, Пухов сидел над двигателем, который не шел. Три раза он его разбирал и вновь собирал, потом закручивал для пуска — мотор сипел, а крутиться упорствовал.

Ночью Пухов тоже думал о двигателе и убедительно переругивался с ним, лежа в пустой каютке.

Пришел раз к Пухову на «Марс» морской комиссар и говорит:

— Если ты завтра не пустишь машину, я тебя в море без корабля пущу, копуша, черт!

— Ладно, я пущу эту сволочь, только в море остановлю, когда ты на корабле будешь! Копайся сам тогда, фулюган! — ответил как следует Пухов.

Хотел тогда комиссар пристрелить Пухова, но сообразил, что без механика — плохая война.

Всю ночь бился Пухов. Передумал заново всю затею этой машины, переделал ее по своему пониманию на какую-то новую машину, удалил зазорные части и поставил простые — и к утру мотор бешено запыхал. Пухов тогда включил винт — мотор винт потянул, но тяжело задышал.

— Ишь, — сказал Пухов, — как черт на Афон взбирается!

Днем пришел опять морской комиссар.

— Ну что, пустил машину? — спрашивает.

— А ты думал, не пущу? — ответил Пухов. — Это только вы из-под Екатеринодара удрали, а я ни от чего не отступлю, раз надо!

— Ну, ладно, ладно, — сказал довольный комиссар. — Знай, что керосину у нас мало — береги!

— Мне его не пить — сколько есть, столько будет! — положительно заявил Пухов.

— Ведь мотор с водой идет? — спросил комиссар.

— Ну да, керосин топит, вода охлаждает!

— А ты норови керосину поменьше, а воды побольше, — сделал открытие комиссар.

Тут Пухов захохотал всем своим редким молчаливым голосом.

— Что ты, дурак, радуешься? — спросил в досаде комиссар.

Пухов не мог остановиться и радостно закатывался.

— Тебе бы не советскую власть, а всю природу учреждать надо, — ты б ее ловко обдумал! Эх ты, мехоноша!

Услышав это, комиссар удалился, потеряв некую внутреннюю честь.

А в Новороссийске шли аресты и разгром зажиточных людей.

«Чего они людей шуруют? — думал Пухов. — Какая такая гроза от этих шутов? Они и так дальше завалинки выйти боятся».

Кроме арестов, по городу были расклеены бумаги:

«Вследствие тяжелой медицинской усталости ораторов, никаких митингов на этой неделе не будет».

«Теперь нам скучно будет», — скорбел, читая, Пухов.

Меж тем в порту появился маленький истребитель «Звезда». Там пробоину заклепывали и якорную лебедку чинили. Пухов туда ходил смотреть, но его не пустили.

— Чего это такое? — обиделся Пухов. — Я же вижу, там холуи работают. Я помочь хотел, а то случится в море неполадка!

— Не велено никого пускать! — ответил часовой-красноармеец.

— Ну, шут с вами, мучайтесь! — сказал Пухов и ушел, озабоченный.

К вечеру того же дня пришло в порт турецкое транспортное судно «Шаня». В клубе говорили, что это подарок Кемаля-паши, турецкого вождя, но Пухов сомневался.

— Я же видел, — говорил он красноармейцам, — что судно исправное! Станет вам турецкий султан в военное время такие подарки делать — у него самого нехватка!

— Так он друг наш, Кемаль-паша! — разъясняли красноармейцы. — Ты, Пухов, в политике — плетень!

— А ты снял онучи — думаешь, гвоздем стал? — обижался Пухов и уходил в угол глядеть плакаты, которым он, однако, особо не доверял.

— Ночью Пухова разбудил вестовой из штаба армии. Пухов немного испугался.

— Должно быть, морской комиссар гадит!

На дворе штаба стоял большой отряд красноармейцев в полном походном снаряжении. Тут же стояли трое мастеровых, но тоже в военных шинелях и с чайниками.

— Товарищ Пухов, — обратился командир отряда, — вы почему не в военной форме?

— Я и так хорош, чего мне чайник цеплять! — ответил Пухов и стал к сторонке.

Стояла ночь — и огромная тьма, — и в горах шуршали ветер и вода.

Красноармейцы стояли молча, одетые в новые шинели, и ни о чем не говорили. Не то они боялись чего-то, не то соблюдали тайну друг от друга.

В горах и далеких окрестностях изредка кто-то стрелял, уничтожая неизвестную жизнь.

Один красноармеец загремел винтовкой, — его враз угомонили, и он почуял свой срам, до самого сердца.

Пухов тоже что-то заволновался, но не выражал этого чувства, чтобы не шуметь.

Фонарь над конюшней освещал дворовую нечистоту и дрожал неясным светом на бледных лицах красноармейцев. Ветер, нечаянно зашедший с гор, говорил о смелости, с которой он воюет над беззащитными пространствами. Свое дело он и людям советовал — и те слышали.

В городе бесчинствовали собаки, а люди, наверно, тихо размножались. А тут, на глухом дворе, другие люди были охвачены тревогой и особым сладострастием мужества — оттого, что их хотят уменьшить в количестве.

Вышел на середину военный комиссар полка и негромко начал говорить, будто имел перед собой одного человека:

— Дорогие товарищи! Сейчас у нас не митинг, и я скажу немного… Высшее командование Республики приказало Реввоенсовету нашей армии ударить в тыл Врангелю, который сейчас догорает в Крыму. Наша задача как раз в том, чтобы переплыть на тех судах, которые у нас есть, Керченский пролив и высадиться на Крымском берегу. Там мы должны соединиться с действующими в тылу Врангеля красно-зелеными партизанскими отрядами и отрезать Врангеля от судов, куда он бросится, когда северная Красная Армия прорвется через Перекоп. Мы должны разрушить мосты и дороги у Врангеля, растерзать его тыл и загородить ему море, чтобы выжечь сразу всю эту заразу!

Красноармейцы! Добраться до Крыма нам будет тяжело, и это рискованная вещь. Там плавают дозорные крейсера, которые нас потопят, если заметят. Это я должен вам открыто сказать. А если и доплывем, то нам предстоит опасная, смертельная борьба среди озверелого противника. Не много нас уцелеет, а может, никого, когда Крым станет советским, — вот что я хочу вам сказать, дорогие товарищи красноармейцы!

И далее того, я хочу спросить у вас, товарищи, согласны ли вы на это дело идти добровольно?

Чувствуете ли вы мужественную отвагу в себе, дабы пожертвовать достоинством жизни на благо революции и Советской Республики? Если кто боится или колеблется, у кого семья осталась и ему ее жалко — пускай выйдет и скажет, чтобы ясно было, и мы освободим такого товарища!

Центральное наше правительство возлагает великую надежду на нашу операцию, чтобы поскорей покончить с войной и приступить к мирному строительству на фронте труда!

Я жду вашего ответа, товарищи красноармейцы! Я должен сейчас же передать его Реввоенсовету армии!

Военный комиссар кончил речь и стоял насупившись — ему было хорошо и неловко. Красноармейцы тоже молчали. А у Пухова все дрожало внутри.

«Вот это дело, — думал он, — вот она, большевистская война, — нечего тут яйца высиживать!»

Никто уже не слышал ветра и не видел ночных гор. Мир затмился во всех глазах, как дальнее событие, каждый был занят общей жизнью. Фонарь на дворе тоже потух, израсходовав свой керосин, и никто этого не заметил.

Вдруг из рядов выступает один красноармеец и определенно говорит:

— Товарищ комиссар! Передайте Реввоенсовету армии и всему командованию, что мы ждем приказа о выступлении! Мы того не ждали, чтобы нам оказали такую высокую честь и поручили прикончить Врангеля! Я в том убежден, что говорю от чистого сердца всех красноармейцев, если скажу, что, стало быть, мы благодарим и также клянемся отдать свою кровную силу и жизнь, раз то надо советской власти, — вот и все! Чего там волынку тянуть и чего ждать, раз люди в Советской России с голоду умирают, а тут сволочь в Крыму сидит и мешается!

Красноармейцы заволновались и радостно загудели, хотя, по здравому смыслу, радоваться было нечему. Вышел еще один красноармеец и заявил:

— Правильно штаб сделал, что десант назначил. С Перекопа пусть Врангеля трахнут в морду, а мы разом в зад, — вот тогда он с корнем ляжет, и английские корабли ему спасенья не дадут!

Тут опять выходит комиссар:

— Товарищи красноармейцы! Мы в штабе так и знали! Мы ждали от вас той высокой сознательности в беззаветности революции, которую вы сейчас здесь проявили! От имени Реввоенсовета и командования армии выражаю вам благодарность и прошу считать те слова, которые я сказал, военной тайной. Вы знаете, что Новороссийск полон белогвардейскими шпионами, и мы будем обречены на гибель, если кто что узнает! Приказ о выступлении будет дан особо. Спасибо, товарищи!

Комиссар спешно ушел, а красноармейцы еще стояли. Пухов подошел к ним и начал слушать. В первый раз в жизни ему стало так стыдно за что-то, что кожа покраснела под щетиной.

Оказалось, что на свете жил хороший народ и лучшие люди не жалели себя.

Холодная ночь наливалась бурей, и одинокие люди чувствовали тоску и ожесточение. Но никто в ту ночь не показывался на улицах, и одинокие тоже сидели дома, слушая, как хлопают от ветра ворота. Если же кто шел к другу, спеша там растратить беспокойное время, то обратно домой не возвращался, а ночевал в гостях. Каждый знал, что его ждет на улице арест, ночной допрос, просмотр документов и долгое сидение в тухлом подвале, пока не установится, что сей человек всю жизнь побирался, или пока не будет одержана большевиками окончательная победа.

А меж тем крестьяне из северных мест, одевшись в шинели, вышли необыкновенными людьми, — без сожаления о жизни, без пощады к себе и к любимым родственникам, с прочной ненавистью к знакомому врагу. Эти вооруженные люди готовы дважды быть растерзанными, лишь бы и враг с ними погиб, и жизнь ему не досталась.

Ночью Пухов играл с красноармейцами в шашки и рассказывал им о командире,

которого никогда не видел.

Пухов, не видя удовольствия в жизни, привык украшать ее геройскими рассказами, и всем становилось от того веселей.

В отряде, назначенном в десант, было пятьсот человек, — и случилось, что все они из разных мест.

Поэтому на другой день пошло пятьсот писем в пятьсот русских деревень.

Целых полдня красноармейцы малевали и карякали бумагу, прощаясь с матерями, женами, отцами и более дальними родственниками.

Пухов тоже помогал, кто особо слаб был в буквах, и выдумывал такие письма, что красноармейцы одобряли:

— Складно ты пишешь, Фома Егорыч, — мои плакать будут!

— А то как же? — говорил Пухов, — хохотать тут нечего: дело не шуточное! Чудак ты человек!

После обеда Пухов пошел к комиссару:

— Товарищ комиссар, меня в десант возьмете?

— Возьмем, товарищ Пухов, затем тебя и звали вчера на собрание! — ответил комиссар.

— Только я прошу, товарищ комиссар, назначить меня механиком на «Шаню», — там, я слыхал, паровая машина, а на «Марсе» керосиновый мотор, он мне не сподручен: дюже мал!

— На «Шане» там есть свой механик — турок! — сказал комиссар. — Ну ладно: мы тебя в помощники назначим, а на «Марс» возьмем шофера! А ты что, не следишь с керосиновым мотором, что ли?

— Мотор — ерундовая вещь, паровая машина крепче берет. Неохота мне, товарищ комиссар, в геройском походе с таким дерьмом возиться! Это примус, а не машина, — сами видите!

— Ну ладно, — согласился комиссар, — поедешь на «Шане», раз так. В десанте люди едут добровольно и делают, что им способней! А уж в походе, брат, не мудри!

Пухов взял пропуск и пошел на «Шаню» — машину поглядеть. Ему лишь бы машина была, там он считал себя дома.

С турецким машинистом он сошелся скоро, сказав, что главное дело — смазка, тогда никакой работой машину не погубишь.

— Это справедливо, — хорошо по-русски сказал турок, — масло — доброта, оно машину бережет! Кто масла много дает, тот любит машину, тот есть механик!

— Ну, понятно, — обрадовался Пухов, — машина любит конюха, а не наездника: она живое существо!

На том они и подружили.

Ночью, против окрепшего ветра, отряд шел в порт на посадку. Пухов не знал, к кому ему притулиться, и шел сбоку, гремя полученным казенным чайником. Но красноармейцы сразу его одернули:

— Сказано — иди тайком, чего ты громыхаешь?

— А чего мне таиться-то: не на грабеж идем! — сказал Пухов.

— Приказано не шуметь, — тихо ответил красноармеец Баронов, — затем и людей в городе в губчок попрятали, чтобы шпионов не было!

Шли долго и бесшумно, еле хрустя влажным песком. Огромные порожние склады стояли в темноте, и в них бурчал ветер. Голодные крысы метались всюду, питаясь неизвестно чем.

Ночь была непроглядна, как могильная глубина, но люди шли возбужденно, с тревожным восторгом в сердце, похожие на древних потаенных охотников.

Глубокие времена дышали над этими горами — свидетели мужества природы, посредством которого она только и существовала. Эти вооруженные путники также были

полны мужества и последней смелости, какие имела природа, вздымая горы и роя водоемы.

Только потому красноармейцам, вооруженным иногда одними кулаками, и удавалось ловить в степях броневые автомобили врага и разоружать, окорачивая, воинские эшелоны белогвардейцев.

Молодые, они строили себе новую страну для долгой будущей жизни, в неистовстве истребляя все, что не ладилось с их мечтой о счастье бедных людей, которому они были научены политруком.

Они еще не знали ценности жизни, и поэтому им была неизвестна трусость — жалость потерять свое тело. Из детства они вышли в войну, не пережив ни любви, ни наслаждения мыслью, ни созерцания того неимоверного мира, где они находились. Они были неизвестны самим себе. Поэтому красноармейцы не имели в душе цепей, которые приковывали бы их внимание к своей личности. Поэтому они жили полной общей жизнью с природой и историей, — и история бежала в те годы, как паровоз, таща за собой на подъем всемирный груз нищеты, отчаяния и смиренной косности.

В мрачной темноте засияли перемежающимся светом огни судовых сигналов. Отряд вступил на помост пристани. Сейчас же началась посадка.

На «Шаню» посадили весь отряд, на катер «Марс» — двадцать человек разведки, а на истребитель — военморов.

Пухов влез в машинное отделение «Шани» и почувствовал себя очень хорошо. Близ машины он всегда был добродушен. Он закурил и прохаркнулся громким голосом, устав молчать и выдувая из легких спертые, застоявшиеся газы.

Часа два еще гремели красноармейские башмаки по палубе и по трапам.

Чувствуя достаточное удовольствие от этих беспокойных событий, Пухов не усидел внизу и выскочил на палубу.

Черные тела людей, трепещущие в неярком свете фонарей, тихо ползли по трапам, крепко прижав к себе винтовки и все походные принадлежности, чтобы ничто не стукнуло.

Ночь от фонарей стала еще огромней и темней — не верилось, что существует живой мир. В глубинах тьмы тонул небольшой ветер, шевеля какие-то вещи на пристани.

Кратко и предостерегающе гудели пароходы, что-то говоря друг другу, а на берегу лежала наблюдающая тьма и влекущая пустыня. Никакого звука не доходило до города, только с гор сквозило рокотанием далекой быстрой реки.

Неиспытанное чувство полного удовольствия, крепости и необходимости своей жизни охватило Пухова. Он стоял, упершись спиной в лебедку, и радовался этой таинственной ночной картине — как люди молча и тайком собирались на гибель.

В давнем детстве он удивлялся пасхальной заутрене, ощущая в детском сердце неизвестное и опасное чудо. Теперь Пухов снова пережил эту простую радость, как будто он стал нужен и дорог всем, — и за это всех хотел незаметно поцеловать. Похоже было на то, что всю жизнь Пухов злился и оскорблял людей, а потом увидел, какие они хорошие, и от этого стало стыдно, но чести своей уже не воротишь.

Море покойно шуршало за бортом, храня неизвестные предметы в своих недрах. Но Пухов не глядел на море, — он в первый раз увидел настоящих людей. Вся прочая природа также от него отдалилась и стала скучной.

К часу ночи посадка окончилась. С берега раздалось последнее приветствие от Реввоенсовета армии. Комиссар что-то рассеянно туда ответил, он был занят другим.

Раздалась морская резкая команда, — и сушь начала отдаляться.

Десантные суда отчалили в Крым.

Через десять минут последняя видимость берега растаяла. Пароходы шли в воде и в холодном мраке. Огни были потушены, людей разместили в трюме, — все сидели в темноте и духоте, но никто не засыпал.

Приказано было не курить, чтобы случайно не зажечь судна. Разговаривать тоже запретили, так как командир и комиссар старались придать «Шане» безлюдный вид мирного

торгового парохода.

Судно шло тайком, глухо отсекая пар. Где-то недалеко, затерянные в ночной гуще, ползли «Марс» и истребитель. Время от времени они давали о себе знать матросским длинным свистом. «Шаня» им отвечала коротким густым гудком.

Суда продирались в сплошной каше тьмы, напрягая свои небольшие машины.

Ночь проходила тихо. Красноармейцам она казалась долгой, как будущая жизнь. Возбуждение понемногу проходило, а длительная темнота постепенно напрягала душу тайной тревогой и ожиданием внезапных смертельных событий.

Море насторожилось и совсем примолкло. Винт греб невидимо что, какую-то тягучую влагу, и влага негромко мялась за бортом. Не спеша истекало томительное время. Горы бледно и застенчиво светились близким утром; но море уже было не то. Спокойное зеркало его, созданное для загляденья неба, в тихом исступлении смешало отраженные видения. Мелкие злобные волны изуродовали тишину моря и терлись от своего множества в тесноте, раскачивая водяные недра.

А вдали — в открытом море — уже шевелились грузные медленные горы, рыли пучины и сами в них рушились. И оттуда неслась по мелким гребням известковая пена, шипя, как ядовитое вещество.

Ветер твердел и громил огромное пространство, погасая где-то за сотни верст. Капли воды, выдернутые из моря, неслись в трясущемся воздухе и били в лицо, как камешки.

На горах, наверно, уже гоготала буря, и море свирепело ей навстречу.

«Шаня» начала метаться по расшевелившемуся морю, как сухой листок, и все ее некрепкое тело уныло поскрипывало.

Каменный, тяжелый норд-ост так раскачивал море, что «Шаня» то ползла в пропасти, окруженная валами воды, то взлетала на гору — и оттуда видны были на миг чьи-то далекие страны, где, казалось, стояла синяя тишина.

В воздухе чувствовалось тягостное раздражение, какое бывает перед грозой.

День давно наступил, но от норд-оста захолодало, и красноармейцы студились.

Родом из сухих степей, они почти все лежали в желудочном кошмаре; некоторые вылезали на палубу и, свесившись, блевали густой желчью. Отблевавшись, они на минуту успокаивались, но их снова раскачивало, соки в теле перемешивались и бурлили как попало, и красноармейцев опять тянуло на рвоту. Даже комиссар забеспокоился и неугомонно ходил по палубе, схватываясь при качке за трубу или за стойку. Блевать его не тянуло — он был из моряков.

«Шаня» приближалась к самому опасному месту — Керченскому проливу, а буря никак не укрощалась, силясь выхватить море из его глубокой обители.

«Марс» и истребитель давно пропали в пучинах урагана и на сигналы «Шани» перестали отвечать.

Командир «Шани» судном уже не управлял — кораблем правила трепещущая стихия.

Пухов от качки не страдал. Он объяснил машинисту, что это изжога ему помогает, которой он давно болеет.

С машиной тоже справиться было трудно: все время менялась нагрузка — винт то зарывался в воду, то выскакивал на воздух. От этого машина то визжала от скорости, трясясь всеми болтами, то затихала от перегрузки.

— Мажь, мажь ее, Фома, уснащивай ее погуще, а то враз запорешь на таких оборотах! — говорил машинист.

И Пухов обильно питал машину маслом, что он уважал делать, и приговаривал:

— А-а, стервозия, я ж тебя упокою! Я ж тебя угромощу!

Часа через полтора «Шаня» проскочила Керченский пролив.

Комиссар спустился на минуту в машинное отделение прикурить, так как у него взмокли спички.

— Ну, как она? — спросил его Пухов.

— Она-то ничего, да он-то плох! — пошутил комиссар, улыбаясь усталым,

изработавшимся лицом.

— А что так? — не понял Пухов.

— А ничего — все хорошо, — сказал комиссар. — Спасибо норд-осту, а то бы нас давно белые угомонили!

— Это как же так?

— А так, — объяснил комиссар. — Керченский пролив охраняется у белых военными крейсерами. А от бури они все укрылись в Керченскую гавань и поэтому нас не заметили! Понял?

— Ну, а прожекторами отчего нас не нащупывали? — допытывался Пухов.

— Ого! Вся атмосфера тряслась, какие тут прожектора!

В полдень «Шаня» шла уже в крымских водах, но море по-прежнему изнемогало в буре и устало билось в борт парохода.

Скоро на горизонте показался неизвестный дымок. Капитан судна, командир отряда и комиссар долго наблюдали за тем дымком. Потом «Шаня» взяла курс в открытое море — и дымок пропал.

Норд-ост не прекращался. Это несчастье радовало капитана и комиссара. Сторожевые белогвардейские суда считали бдительность в такой шторм излишней и сидели в береговых щелях.

Комиссар тем и объяснял, что «Шаня» цела, и надеялся на высадку десанта на берег, как только стихнет буря и наступит ночь.

Пухов не вылезал из машинного, обливаясь потом у бесившейся машины и стращая ее всякими словами.

В четвертом часу дня на горизонте сразу объявились четыре дымка. Они стали ходко приближаться, как бы обхватывая «Шаню». Одно судно совсем разглядело «Шаню» и стало давать сигналы об остановке.

Красноармейцы хоть и не догадывались — как и что, а тоже высыпали на палубу и заметались от любопытства.

Капитан «Шани» по дыму догадался, что одно из судов наверняка военный крейсер.

Выходило, что десанту пришло время добровольно пускать себя ко дну.

Капитан и комиссар не сходили с рубки, стараясь найти какой-нибудь исход для спасения. Всем красноармейцам приказано было уйти в трюм, чтобы судно противника не обнаружило военного значения «Шани».

Норд-ост ревел с неизбывной силой и сметал «Шаню» с ее курса. Четыре неизвестных корабля тоже с трудом удерживали курс и не могли принять направления на «Шаню».

Скоро три дымка исчезли из зрения, — их куда-то отшиб зверский норд-ост. Зато четвертое судно неотступно подбиралось к «Шане». Иногда уже явственно обнажался его корпус. Капитан разглядел, что это быстроходный и хорошо вооруженный торговый пароход и что он нагоняет «Шаню». Только шторм никак не допускает то судно подойти к «Шане» вплотную. Затем пароход стал допрашивать «Шаню», куда она идет. «Шаня», войдя в крымские воды, шла под врангелевским флагом. На вопрос белогвардейского парохода «Шаня» ответила, что идет из Керчи в Феодосию и везет рыбу.

На палубе оставалось только четверо турок в костюмах своей родины, а все военные люди вместе с комиссаром и командиром десанта сидели в трюме. Поэтому, когда белые купцы подошли к «Шане», то только поглядели в бинокли и пошли прочь. Буксировать «Шаню» они не захотели, — наверное, из-за опасного шторма.

Остальной день прошел спокойно. Иногда показывались какие-то пароходы, но сейчас же исчезали: они боялись «Шани» еще больше, чем она их.

Красноармейцы, замученные тошнотой и сырым холодом, старались нарочно быть веселыми и стыдились отчего-то морской болезни. Им надоело тоскливое плавание, и они даже обрадовались, что подходит белогвардейский пароход, вооруженный четырьмя пушками.

Красноармейцам море было незнакомо, и они не верили, что та стихия, от которой

только тошнит, таит в себе смерть кораблей.

— Пускай подходит! — сказал красноармеец-тамбовец. — Мы его смажем!

— Как же ты его смажешь? — спросил комиссар. — У него пушки на борту!

— А вот увидишь, — заявил тамбовец, — из винтовок так и смажем!

Привыкшие брать броневые автомобили на ходу, с одними винтовками в руках, красноармейцы и на море думали побеждать посредством винтовки.

Иногда мимо «Шани» проносились целые водяные столбы, объятые вихрем норд-оста. Вслед за собой они обнажали глубокие бездны, почти показывая дно моря.

Внезапно после такого морского столба показался пропавший ночью катер «Марс». Его совсем затрепало. Глыбы воды громили и рушили его оснастку и норовили совсем перекувырнуть. Но «Марс» упорно отфыркивался и метался по волнам, еле живой от своего упрямства. Он хотел пристать к «Шане», но волна откидывала его прочь в пучину.

Вся команда «Марса» и двадцать человек разведки, которую он вез, стояла на палубе, держась за снасти.

Люди что-то бешено кричали на «Шаню», но гром бури рвал их голоса, и ничего не было слышно. Лица людей затмились бессмысленностью, глаза выцвели от злобного отчаяния, и смертельная бледность на них лежала, как белая намазанная краска.

Казнь наступающей смерти терзала их еще больше от близости «Шани». Люди на «Марсе» рвали на себе последнюю казенную одежду и рычали по-звериному, показывая даже кулаки. Они вопили сильнее бури, а один толстый красноармеец сидел верхом на рее и ел хлеб, чтобы зря не пропал паек.

Глаза гибнущих людей торчали от выпученной ненависти, и ноги их неистово колотили в палубу, обращая на себя внимание.

Пухов стоял наверху и глядел на «Марс».

— Чего они там бесятся? — спросил он у комиссара. — Тонут, что ли, или испугались чего?

— Должно быть, течь у них, — ответил комиссар, — надо как-нибудь помочь!

Красноармейцев в трюме было не удержать. Они стояли на палубе и тоже что-то кричали на «Марс», позоря испуг несчастных.

Вся «Шаня» терзалась за отряд и команду «Марса»; командир в бешенстве кричал на капитана, комиссар тоже ему помогал, а капитан никак не мог подойти к «Марсу».

Когда «Шаню» подшвырнуло к «Марсу», то оттуда закричали, что вода уже в машинном отделении.

Еще послышалась с «Марса» гармоника — кто-то там наигрывал перед смертью, пугая все законы человеческого естества.

Пухов это как раз явственно услышал и чему-то обрадовался в такой неурочный час.

В затихшую секунду, когда «Марс» подскочил к «Шане», чистый голос, поверх криков, вторил чьей-то тамошней гармонике:

Мое яблочко
Несоленое,
В море Черное
Уроненное…

— Вот сволочь! — с удовольствием сказал Пухов про веселого человека на «Марсе» и плюнул от бессильного сочувствия.

— Спускай лодку! — крикнул капитан, потому что «Марс» торчал одной палубой, а корпус его уже утонул.

Лодка, еле опущенная на воду, сейчас же трижды перевернулась, и два матроса на ней исчезли невидимо куда.

Вдруг крутой взмах шквала схватил «Марс» и швырнул его так, что он очутился над «Шаней».

— Сигай вниз! — заорал усердней всех Пухов.

Люди на «Марсе» вздрогнули, помертвели до черноты лица и бросились как попало вниз — на палубу «Шани». Падая на «Шаню», они валились, как дохлые тела, и ломали руки ловившим их, а Пухова совсем сшибли с ног. Это ему не понравилось.

— Легче! — шумел он. — На Врангеля шли, черти, а чистой воды боятся!

Через несколько секунд весь «Марс» сгрузился на «Шаню», только двое пролетели мимо, промахнувшись, в морскую прорву.

На «Марсе» что-то гулко заныло, и он разлетелся от внутреннего взрыва в щепки и железки.

Пухов ходил среди спасенных людей и каждого спрашивал:

— Это не ты пел там?

— Нет, куды там петь! — отвечал красноармеец или матрос с «Марса».

— Да ты и не похож на того! — говорил недовольно Пухов и шел дальше.

Так ни одного и не нашлось — никто, оказывается, не пел и на гармонике не играл. А ведь слышался звук — и даже слова песни Пухов запомнил.

Вечерело уже, а шторм лютовал и не собирался отдыхать.

— И откуда он, дьявол, выходит, — посмотрел бы я то место! — говорил себе Пухов, качаясь вместе с машиной в трюме.

Вечером начальство на «Шане» долго совещалось. «Шаня» имела большую перегрузку и к крымскому берегу близко подойти не могла. К тому же норд-ост все время отжимал судно в открытое море, и десант высадить все равно нельзя. А долго задерживаться в море очень опасно — первый сторожевой крейсер белых пустит «Шаню» на дно.

Совещались долго. Матросы не сдавались и советовали переждать шторм, а там видно будет.

— Ну, вернемся в Новороссийск, — говорил командир разведки матрос Шариков, — а там что? Во-первых, жары нагонят, что самовольно вернулись, а во-вторых, что же, — все по-дурному пойдет: ведь Врангель цел останется!

— Ты, Шариков, забыл, — сказал ему военный комиссар, — что от «Марса» твоего одни щепки плавают, истребитель пропал, — тоже, должно, купается, — а «Шаня» кирпичом ворочается от нагрузки! Что ж, по-твоему, обязательно ему и «Шаню» на дно пустить?

— Ну, как хочешь! — сказал Шариков. — Только и ворочаться дюже срамно!

Однако к ночи порешили, что надо уходить обратно на Новороссийск.

К полуночи норд-ост начал слабеть, но море носилось по-прежнему. «Шаня» кое-как влекла себя домой.

В Керченском проливе ее нащупали береговые прожектора, но стрельбы из крепостных орудий белые не открыли. Может быть, потому, что на «Шане» еще болтался обрывок врангелевского флага.

Под утро «Шаня» выгружалась в Новороссийске.

— Срамота чертова! — обижались красноармейцы, собирая вещи.

— Чего ж срамота-то? — урезонивал их Пухов. — Природа, брат, погуще человека! Крейсера и то в береговых загогулинах стояли!

— Ничего, — говорил недовольный матрос Шариков, — вот Перекоп прошибут, тогда без нас, без сопливых, обойдутся!

Так оно и случилось: Шариков как в озеро глядел.

В тот же вечер Реввоенсовет приказал повторить десант.

Отряд в ночь снова погрузился, и «Шаня» подняла пары.

Шариков радостно метался по судну и каждому что-нибудь говорил. А военный комиссар чувствовал свою дурость, хотя в Реввоенсовете ему ничего плохого не сказали.

— Ты — рабочий? — спрашивал Шариков у Пухова.

— Был рабочий, а буду водолаз! — отвечал Пухов.

— Тогда почему ж ты не в авангарде революции? — совестил его Шариков. — Почему

ж ты ворчун и беспартиец, а не герой эпохи?..

— Да не верилось как-то, товарищ Шариков, — объяснил Пухов, — да и партком у нас в дореволюционном доме губернатора помещался!

— Чего там дореволюционный дом! — еще пуще убеждал Шариков. — Я вот родился до революции — и то терплю!

Перед самым отходом комиссар десанта отлучился: пошел депешу дать о благополучном отплытии.

Через полчаса он вернулся, но на судно не пошел, а остался на пристани, смеялся и кричал:

— Слазь!

— Что ты, голова, очумел, что ли? Чего — слазь? — допрашивал его с борта Шариков.

— Слазь, говорю! — шумел комиссар. — Перекоп взят, Врангель бежит! Вот приказ — десант отменяется!

Шариков и прочие поникли.

— Вот тебе раз! — сказал один красноармеец. — Тут бы Врангеля и крыть в зад — ведь он на корабли бежит, а тут — отменяется!..

— Я ж говорил, что в Крыму без сопливых обойдутся!.. — начал Шариков, а кончил по-своему.

— Будя тебе ерепениться! — увещал Шарикова Пухов. — Пускай Врангель плывет, — другого кого-нибудь избузуешь!

— Эх!.. — крикнул Шариков и треснул кулаком по стойке, добавив кой-какой словесный материал.

— Дуй вплавь через пролив! — посоветовал ему Пухов. — Ты вещь маленькая, тебя прожектор не ухватит! Высадишь себя — десант получится!

— И то, — сказал было Шариков, но потом одумался:

— Вода только холодна, да и волна большая — сразу захлебнешься!

— А ты обожди погодку! — рассказывал Пухов. — А воздух в подштанники надуешь, станешь захлебываться, пробей дырочку и вздохнешь!

— Нет, то чушь, то не морское дело! — отказывался Шариков.

Через два дня стало известным, что пропавший истребитель добрался до крымских берегов и высадил сто человек матросов.

— Я ж так и знал! — горевал Шариков. — На истребителе Кныш командовал, а я связался с сухопутной курицей!

3

— Пухов! Война кончается! — сказал однажды комиссар.

— Давно пора, — одними идеями одеваемся, а порток нету!

— Врангель ликвидируется! Красная Армия Симферополь взяла! — говорил комиссар.

— Чего не брать? — не удивлялся Пухов. — Там воздух хороший, солнцепек крутой, а советскую власть в спину вошь жжет, она и прет на белых!

— При чем тут вошь? — сердечно обижался комиссар. — Там сознательное геройство! Ты, Пухов, полный контр!

— А ты теории-практики не знаешь, товарищ комиссар! — сердито отвечал Пухов. — Привык лупить из винтовки, а по науке-технике контргайка необходима, иначе болт слетит на полном ходу! Понимаешь эту чушь?

— А ты знаешь приказ о трудовых армиях? — спросил комиссар.

— Это чтобы жлобы слесарями сразу стали и заводы пустили? Знаю! А давно ты их ноги вкрутую ставить научил?

— В Реввоенсовете не дураки сидят! — серьезно выразился комиссар. — Там взвесили «за» и «против»!

— Это я понимаю, — согласился Пухов. — Там — задумчивые люди, только жлоб

механики враз не поймет!

— Ну, а кто ж тогда все чудеса науки и ценности международного империализма произвел? — заспорил комиссар.

— А ты думал, паровоз жлоб сгондобил?

— А то кто ж?

— Машина — строгая вещь. Для нее ум и ученье нужны, а чернорабочий — одна сырая сила!

— Но ведь воевать-то мы научились? — сбивал Пухова комиссар.

— Шуровать мы горазды! — не сдавался Пухов. — А мастерство — нежное свойство!

По улице шла в баню рота красноармейцев и пела для бодрости:

Как родная меня мать
Провожа-ала,
На дорогу сухих корок
Собира-ала!

— Вот дьяволы! — заявил Пухов. — В приличном городе нищету проповедуют! Пели бы, что с пирогами провожала!

Время шло без тормозов. Пушки работали с постоянно уменьшающимся напряжением. Красноармейские резервы изучали от безделья природу и общество, готовясь прочно и долго жить.

Пухов посвежел лицом и лодырничал, называя отдых свойством рабочего человека.

— Пухов, ты бы хоть в кружок записался, ведь тебе скучно! — говорил ему кто-нибудь.

— Ученье мозги пачкает, а я хочу свежим жить! — иносказательно отговаривался Пухов, не то в самом деле, не то шутя.

— Оковалок ты, Пухов, а еще рабочий! — совестил его тот.

— Да что ты мне тень на плетень наводишь: я сам — квалифицированный человек! — заводил ссору Пухов, и она продолжалась вплоть до оскорбления революции и всех героев и угодников ее. Конечно, оскорблял Пухов, а собеседник, разыгранный вдрызг, в удручении оставлял Пухова.

В глупом городе, с неровным, порочным климатом, каким тогда был Новороссийск, Пухов прожил четыре месяца, считая с ночного десанта.

Числился он старшим монтером береговой базы Азово-Черноморского пароходства. Пароходство это учредила новороссийская власть, чтобы Северный Кавказ поскорей на мирную страну походил. Но пароходы не могли тронуться, по случаю разлаженных машин, — и Северный Кавказ совершенно напрасно считал себя мирной морской державой.

Одна аульская стенная газета даже назвала Северный Кавказ «восточной советской Англией», вследствие наличия одного морского берега и четырех пароходов, которые пока не плавали.

Пухов ежедневно осматривал пароходные машины и писал рапорты об их болезни: «Ввиду сломатия штока и дезорганизованности арматуры, ведущую машину парохода „Нежность“ пустить невозможно, и думать даже нечего. Пароход же по названию „Всемирный Совет“ болен взрывом котла и общим отсутствием топки, которая куда делась — нельзя теперь дознаться. Пароходы „Шаня“ и „Красный Всадник“ пустить в ход можно сразу, если сменить им размозженные цилиндры и сирены приделать, а цилиндры расточить теперь немыслимое дело, так как чугуна готового земля не рождает, а к руде никто от революции руками не касается. Что же до расточки цилиндров, то трудовые армии точить ничего не могут, потому что они скрытые хлебопашцы».

Иногда Пухова вызывал на личный доклад политком береговой базы. Пухов ему все рассказывал, как и что делается на базе.

— Чего ж твои монтеры делают? — спрашивал политком.

— Как что? Следят непрерывно за судовыми механизмами!

— Но ведь они не работают! — говорил политком.

— Что ж, что не работают! — сообщал Пухов. — А вредности атмосферы вы не учитываете: всякое железо — не говоря про медь — враз скиснет и опаршивеет, если за ним не последить!

— А ты бы там подумал и попробовал, может, сумеешь поправить пароходы! — советовал политком.

— Думать теперь нельзя, товарищ политком! — возражал Пухов.

— Это почему нельзя?

— Для силы мысли пищи не хватает: паек мал! — разъяснял Пухов.

— Ты, Пухов, настоящий очковтиратель! — кончал беседу комиссар и опускал глаза в текущие дела.

— Это вы очковтиратели, товарищ комиссар!

— Почему? — уже занятый делом, рассеянно спрашивал комиссар.

— Потому что вы делаете не вещь, а отношение! — говорил Пухов, смутно припоминая плакаты, где говорилось, что капитал не вещь, а отношение; отношение же Пухов понимал как ничто.

В один день, во время солнечного сияния, Пухов гулял в окрестностях города и думал — сколько порочной дурости в людях, сколько невнимательности к такому единственному занятию, как жизнь и вся природная обстановка.

Пухов шел, плотно ступая подошвами. Но через кожу он все-таки чувствовал землю всей голой ногой, тесно совокупляясь с ней при каждом шаге. Это даровое удовольствие, знакомое всем странникам, Пухов тоже ощущал не в первый раз. Поэтому движение по земле всегда доставляло ему телесную прелесть — он шагал почти со сладострастием и воображал, что от каждого нажатия ноги в почве образуется тесная дырка, и поэтому оглядывался: целы ли они?

Ветер тормошил Пухова, как живые руки большого неизвестного тела, открывающего страннику свою девственность и не дающего ее, и Пухов шумел своей кровью от такого счастья.

Эта супружеская любовь цельной непорченой земли возбуждала в Пухове хозяйские чувства. Он с домовитой нежностью оглядывал все принадлежности природы и находил все уместным и живущим по существу.

Садясь в бурьян, Пухов отдавался отчету о самом себе и растекался в отвлеченных мыслях, не имеющих никакого отношения к его квалификации и социальному происхождению.

Вспоминая усопшую жену, Пухов горевал о ней. Об этом он никогда никому не сообщал, поэтому все действительно думали, что Пухов корявый человек и вареную колбасу на гробе резал. Так оно и было, но Пухов делал это не из похабства, а от голода. Зато потом чувствительность начинала мучить его, хотя горестное событие уже кончилось. Конечно, Пухов принимал во внимание силу мировых законов вещества и даже в смерти жены увидел справедливость и примерную искренность. Его вполне радовала такая слаженность и гордая откровенность природы — и доставляла сознанию большое удивление. Но сердце его иногда тревожилось и трепетало от гибели родственного человека и хотело жаловаться всей круговой поруке людей на общую беззащитность. В эти минуты Пухов чувствовал свое отличие от природы и горевал, уткнувшись лицом в нагретую своим дыханьем землю, смачивая ее редкими неохотными каплями слез.

Все это было истинным, потому что нигде человеку конца не найдешь и масштабной карты души его составить нельзя. В каждом человеке есть обольщение собственной жизнью, и поэтому каждый день для него — сотворение мира. Этим люди и держатся.

В такие сосредоточенные часы даже далекий Зворычный был мил и дорог Пухову, и он думал — как бы хорошо встретиться с ним и побеседовать по душам.

Пухову казалось странным, что никто на него внимания не обращал: звали только по служебному делу.

Красноармейцы понемногу отпускались из армии по домам и навсегда пропадали в дальних, глухих деревнях, унося свежесть и тайну революции. Город без них оставался дореволюционной сиротой, надевал полежалый сюртук скуки и надлежаще копался по своему хозяйству.

— Ну, ладно — ухожу и я! — решил Пухов и со злобой степного человека поглядел на дикие горы, очертенело загромоздившие пешеходную землю.

О своем уходе Пухов начальству не сказал, чтобы никого не удручать и себя не обременять.

Тронулся Пухов одиноким, как и прибыл сюда. Тоска по родному месту взяла его за живое, и он не понимал, как можно среди людей учредить Интернационал, раз родина — сердечное дело и не вся земля.

Со станции Тихорецкой поезда на Ростов не шли, а ходили в обратную сторону — на Баку.

Из Баку Пухов собирался дойти до родины — вкось по берегу Каспийского моря и по Волге, не особенно разбираясь в географии. Он думал, что на этом маршруте пшеницы больше растет, а сытно питаться любил.

В дороге, на пустой нефтяной цистерне, Пухов устал и опал туловищем. Ел он один пайковый хлеб, что получил еще в Новороссийске, — и то не в полную досталь.

На дороге встречались худые деревья, горькая горелая трава и всякий другой живой и мертвый инвентарь природы, ветхий от климатического износа и топота походов войны.

Историческое время и злые силы свирепого мирового вещества совместно трепали и морили людей, а они, поев и отоспавшись, снова жили, розовели и верили в свое особое дело. Погибшие, посредством скорбной памяти, тоже подгоняли живых, чтобы оправдать свою гибель и зря не преть прахом.

Пухов глядел на встречные лощины, слушал звон поездного состава и воображал убитых — красных и белых, которые сейчас перерабатываются почвой в удобрительную тучность.

Он находил необходимым научное воскрешение мертвых, чтобы ничто напрасно не пропало и осуществилась кровная справедливость.

Когда умерла его жена — преждевременно, от голода, запущенных болезней и в безвестности, — Пухова сразу прожгла эта мрачная неправда и противозаконность события. Он тогда же почуял — куда и на какой конец света идут все революции и всякое людское беспокойство. Но знакомые коммунисты, прослушав мудрость Пухова, злостно улыбались и говорили:

— У тебя дюже масштаб велик, Пухов; наше дело мельче, но серьезней.

— Я вас не виню, — отвечал Пухов, — в шагу человека один аршин, больше не шагнешь; но если шагать долго подряд, можно далеко зайти, — я так понимаю; а, конечно, когда шагаешь, то думаешь об одном шаге, а не о версте, иначе бы шаг не получился.

— Ну, вот видишь, ты сам понимаешь, что надо соблюдать конкретность цели, — разъяснили коммунисты, и Пухов думал, что они ничего ребята, хотя напрасно Бога травят, — не потому, что Пухов был богомольцем, а потому, что в религию люди сердце помещать привыкли, а в революции такого места не нашли.

— А ты люби свой класс, — советовали коммунисты.

— К этому привыкнуть еще надо, — рассуждал Пухов, — а народу в пустоте трудно будет: он вам дров наворочает от своего неуместного сердца.

В Баку Пухова приняли хорошо, потому что Пухов встретился с матросом Шариковым.

— Ты зачем приехал? — спросил Шариков, ворочая большие бумаги на дорогом столе и разыскивая в них толк.

— Укреплять революцию! — сразу заявил Пухов.

— А я, брат, Каспийское пароходство налаживаю, — только ни хрена не выходит! — спроста объяснил Шариков.

— А ты чего писцом стал: бери молоток и латай корабли лично! — разрешил Пухов мучение Шарикова.

— Чудак ты, я ж всеобщий руководитель Каспийского моря! Кто ж тогда будет заправлять тут всей красной флотилией?

— А чего ей заправлять, раз люди сами работать будут? — разъяснял Пухов, ничего не думая.

Шариков, однако, скучал по корабельной жизни и тяжко вздыхал за писчим делом. Резолюции он клал лишь в двух смыслах: «пускай» и «не надо».

Ночевать и харчиться Пухов пошел к Шарикову. Шариков жил у одной вдовы по улице Шварца. В свободные вечера, когда не было собраний или еще чего необходимого, Шариков делал вдове табуретки, а читать ничего не мог. Говорил, что от чтения он с ума начинает сходить и сны по ночам видит.

— У тебя грузный корпус — кровей много! — открыл ему Пухов. — А для умственной работы ряжка толста. Тебе обязательно надо кровь слить!

— Куда ж ее слить? — искал спасения Шариков.

— Лей в ведро! — советовал Пухов. — Давай я тебя ножом полосну — паровоз тоже лишний пар спущает!

— Брось ты скрипеть! — отставлял Шариков. — Я теперь сам похудею — от одного покоя. Ты знаешь, я от боев и классовой солидарности всегда становлюсь гуще и комплектней телом, а как все пройдет — я сам усохну!

Пожил у Шарикова Пухов с неделю, поел весь запас пищи у вдовы и оправился собой.

— Что ты, едрена мать, как хворостина мотаешься, дай я тебя к делу пришью! — сказал однажды Шариков Пухову. Но Пухов не дался, хотя Шариков предлагал ему стать командиром нефтеналивной флотилии.

Баку Пухову не нравился. В другое время его бы не вытащить оттуда, а сейчас все машины стояли молча, и буровые вышки прели на солнце.

Песок несся ветром так, что жужжал и влеплялся во все скважины открытого лица, отчего Пухова разбирала тяжкая злоба. Жара тоже донимала, несмотря на неурочное время — октябрь.

Решил Пухов скрыться отсюда и сказал о том Шарикову, когда он пришел со своего служебного поста.

— Катись! — разрешил Шариков. — Я тебе путевку дам в любое место республики, хотя ты кустарь советской власти!

На третьи сутки Пухов тронулся. Шариков дал ему командировку в Царицын — для привлечения квалифицированного пролетариата в Баку и заказа заводам подводных лодок, на случай войны с английскими интервентами, засевшими в Персии.

— Устроишь? — спросил Шариков, вручая командировку.

— Ну вот еще, — обиделся Пухов. — Что там, подводных лодок, что ль, не видели? Там, брат, целая металлургия!

— Тогда — сыпь! — успокоился Шариков.

— Ладно! — сказал Пухов, скрываясь. — Зря ты мне особых полномочий не дал и поезд на сорока осях! Я б напугал весь Царицын и сразу все устроил!

— Катись в общем порядке — и так примут коллективно! — ответил на прощанье Шариков и написал на хлопчатобумажном отношении: «пускай». А в отношении рапортовалось о поглощении морской пучиной сторожевого катера.

4

Начался у Пухова звон в душе от смуты дорожных впечатлений. Как сквозь дым, пробивался Пухов в потоке несчастных людей на Царицын. С ним всегда так бывало — почти бессознательно он гнался жизнью по всяким ущельям земли, иногда в забвении самого себя.

Люди шумели, рельсы стонали под ударами насильно вращаемых колес, пустота круглого мира колебалась в смрадном кошмаре, облегая поезд верещащим воздухом, а Пухов внизывался в ветер вместе со всеми, влекомый и беспомощный, как косное тело.

Впечатления так густо затемняли сознание Пухова, что там не оставалось силы для собственного разумного размышления.

Пухов ехал с открытым ртом — до того удивительны были разные люди.

Какие-то бабы Тверской губернии теперь ехали из турецкой Анатолии, носимые по свету не любопытством, а нуждой. Их не интересовали ни горы, ни народы, ни созвездия, — и они ничего ниоткуда не помнили, а о государствах рассказывали, как про волостное село в базарные дни. Знали только цены на все продукты Анатолийского побережья, а мануфактурой не интересовались.

— Почем там веревка? — спросил одну такую бабу Пухов, замышляя что-то про себя.

— Там, милый, веревки и не увидишь — весь базар исходили! Там почки бараньи дешевы, что правда, то правда, врать тебе не хочу! — рассказывала тверская баба.

— А ты не видела там созвездия Креста? Матросы говорили, что видели? — допытывался Пухов, как будто ему нужно было непременно знать.

— Нет, милый, креста не видела, его и нету, — там дюже звезды падучие! Подымешь голову, а звезды так и летят, так и летят. Таково страховито, а прелестно! — расписывала баба, чего не видела.

— Что ж ты сменяла там? — спросил Пухов.

— Пуд кукурузы везу, за кусок холстины дали! — жалостно ответила баба и высморкалась, швырнув носовую очистку прямо на пол.

— Как же ты иноземную границу проходила? — допытывался Пухов. — Ведь для документов у тебя карманов нету!

— Да мы, милый, ученые, ай мы не знаем как! — кратко объяснила тверячка.

Один калека, у которого Пухов английским табаком угощался, ехал из Аргентины в Иваново-Вознесенск, везя пять пудов твердой чистосортной пшеницы.

Из дома он выехал полтора года назад здоровым человеком. Думал сменять ножики на муку и через две недели дома быть. А оказывается, вышло и обернулось так, что ближе Аргентины он хлеба не нашел, — может, жадность его взяла, думал, что в Аргентине ножиков нет. В Месопотамии его искалечило крушением в тоннеле — ногу отмяло. Ногу ему отрезали в багдадской больнице, и он вез ее тоже с собой, обернув в тряпки и закопав в пшеницу, чтобы она не воняла.

— Ну как, не пахнет? — спрашивал этот мешочник из Аргентины у Пухова, почувствовав в нем хорошего человека.

— Маленько! — говорил Пухов. — Да тут не дознаешься: от таких харчей каждое тело дымит.

Хромой тоже нигде не заметил земной красоты. Наоборот, он беседовал с Пуховым о какой-то речке Курсавке, где ловил рыбу, и о траве доннике, посыпаемой для вкуса в махорку. Курсавку он помнил, донник знал, а про Великий или Тихий океан забыл и ни в одну пальму не вгляделся задумчивыми глазами.

Так весь мир и пронесся мимо него, не задев никакого чувства.

— Что ж ты так? — спросил у хромого Пухов про это, любивший картинки с видами таинственной природы.

— В голове от забот кляп сидел! — отвечал хромой. — Плывешь по морю, глядишь на разные чучелы и богатые державы, — а скучно!

Голод до того заострил разум у простого народа, что он полз по всему миру, ища пропитания и перехитрив законы всех государств. Как по своему уезду, путешествовали тогда безыменные люди по земному шару и нигде не обнаружили ничего поразительного.

Кто странствовал только по России, тому не оказывали почтения и особо не расспрашивали. Это было так же легко, как пьяному ходить в своей хате. Силы были тогда могучие в любом человеке, никакой рожон не считался обидой. Никто не жаловался на

власть или на свое мучение — каждый ко всему притерпелся и вполне обжился.

На больших станциях поезд стоял по суткам, а на маленьких — по трое. Мужики-мешочники уходили в степь, косили чужую траву, чтобы мастерство не потерять, и возвращались на станцию, а поезд стоял и стоял, как приклеенный. Паровоз долго не мог скипятить воду, а скипятивши, дрова пожигал и снова ждал топлива. Но тогда вода в котле остывала.

Пухов загорюнился. В такие остановки он ходил по траве, ложился на живот в канаву и сосал какую-нибудь желчную траву, из которой не теплый сок, а яд источался. От этого яда или еще от чего-то Пухов весь запаршивел, оброс шерстью и забыл, откуда и куда ехал и кто он такой.

Время кругом него стояло, как светопреставление, где шевелилась людская живность и грузно ползли объемистые виды природы. А надо всем лежал чад смутного отчаяния и терпеливой грусти.

Хорошо, что люди ничего тогда не чуяли, а жили всему напротив.

В Царицыне Пухов не слез — там дождь шел и вьюжило какой-то гололедицей. Кроме того, над Волгой шелестели дикие ветры, и все пространство над домами угнеталось злобой и скукой.

Вышел на привокзальный рынок Пухов — воблы сменять на запасные кальсоны, и плохо ему стало. Где-то пели петухи — в четыре часа пополудни, — один мастеровой спорил с торговкой о точности безмена, а другой тянул волынку на ливенской гармонии, сидя на брошенной шпале. В глубине города кто-то стрелял, и неизвестные люди ехали на телегах.

— Где тут заводы подводные лодки делают? — спросил Пухов гармониста-мастерового.

— А ты кто такой? — поглядел на него мастеровой и спустил воздух из музыки.

— Охотник из Беловежской пущи! — нечаянно заявил Пухов, вспомнив какое-то старинное чтение.

— Знаю! — сказал мастеровой и заиграл унылую, но нахальную песню. — Вали прямо, потом вкось, выйдешь на буераки, свернешь на кузницу — там и спроси французский завод!

— Ладно! Дальше я без тебя знаю! — поблагодарил Пухов и побрел без всякого усердия.

Шел он часа три, на город не смотрел и чувствовал свою усталую, сырую кровь.

Какие-то люди ездили и ходили — вероятно, по важному революционному делу. Пухов не сосредоточивался на них, а шел молча, изредка соображая, что Шариков — это сволочь: заставил трудиться по ненужному делу.

Около конторы французского завода Пухов остановил какого-то механика, евшего на ходу белую булку.

— Вот — видишь! — подал ему Пухов мандат Шарикова.

Тот взял документ и вник в него. Читал он его долго, вдумчиво и ни слова не говоря. Пухов начал зябнуть, трепеща на воздухе оскуделым телом. А механик все читал и читал — не то он был неграмотный, не то очень интересующийся человек.

На заводе, за высоким старым забором, стояло заунывное молчание — там жило давно остывшее железо, съедаемое ленивой ржавчиной.

День скрывался в серой ветреной ночи. Город мерцал редкими огнями, мешавшимися со звездами на высоком берегу. Густой ветер шумела как вода, и Пухов почувствовал себя безродным… заблудившимся человеком.

Механик или тот, кто он был, прочитал весь мандат и даже осмотрел его с тыльной стороны, но там была голая чистота.

— Ну, как? — спросил Пухов и поглядел на небо. — Когда цеха управятся с заказом?

Механик помазал языком мандат и приложил его к забору, а сам пошел вдоль местоположения завода к себе на квартиру.

Пухов посмотрел на бумажку на заборе и, чтобы не сорвал ее ветер, надел на шляпку высунувшегося гвоздя.

Обратно на вокзал Пухов дошел скоро. Ночной ветер и какая-то дождливая мелюзга доконали его самочувствие, и он обрадовался дыму паровоза, как домашнему очагу, а вокзальный зал показался ему милой родиной.

В полночь тронулся поездной состав неизвестного маршрута и назначения.

Осенний холодный дождь порол землю, и страшно было за пути сообщения.

— Куда он едет? — спросил Пухов людей, когда уже влез в вагон.

— А мы знаем — куда? — сомнительно произнес кроткий голос невидного человека. — Едет, и мы с ним.

5

Всю ночь шел поезд — гремя, мучаясь и напуская кошмары в костяные головы забывшихся людей.

На глухих стоянках ветер шевелил железо на крыше вагона, и Пухов думал о тоскливой жизни этого ветра и жалел его. Он соображал еще о мельницах-ветрянках, о пустых деревенских сараях, где сейчас сквозит буря, и об общей беспризорности огромной порожней земли.

Поезд трогался куда-то дальше. От его хода Пухов успокаивался и засыпал, ощущая теплоту в ровно работающем сердце.

Паровоз подолгу гудел на полном ходу, пугая темноту и прося о безопасности. Выпущенный звук долго метался по равнинам, водоразделам и ущельям и ломался оврагами на другой страшный голос.

— Пухов! — тихо и гулко послышалось Пухову во сне.

Он сразу проснулся и сказал:

— А?

Весь вагон сопел в глубоком сне, а под полом бушевали колеса на большой скорости.

— Ты чего? — вновь спросил Пухов тихим голосом, но знал, что нет никого.

Давно забытое горе невнятно забормотало в его сердце и в сознании — и, прижукнувшись, Пухов застонал, стараясь поскорее утихнуть и забыться, потому что не было надежды ни на чье участие. Так он томился долгие часы и не интересовался несущимся мимо вагона пространством. Разжигая в себе отчаяние, он устал и пришел к своему утешению во сне.

Спал Пухов долго — до полного разгара дня. Солнце подсушило осенние кочки и сияло горящим золотом, ровной радостью и звенело высоким напряженным тоном.

По полю изредка и вразброд стояли худые смирные деревья. Они рассеянно помахивали ветками, бесстыдно оголенные перед смертью, — чтобы зря не пропадала их одежда.

В эти последние дни перед снегом вся живая зелень поверхности земли была поставлена под расстрел холода, заморозков и длинной ночной тьмы. Но — предварительно — скупая природа раздевала растения и разносила ветрами замерзшие, полуживые семена.

Листья утрамбовывались дождями в почву и прели там для удобрения, туда же укладывались для сохранности семена. Так жизнь скупо и прочно заготовляет впрок. От таких событий у очевидца Пухова слюни на губах показывались, что означало удовольствие.

Ездоки поездного состава неизвестного назначения проснулись на заре — от холода и потому, что прекратились сновидения. Пухов против всех опоздал и вскочил тогда, когда начала стрелять отлежанная нога.

Так как еды у него не было, то он закурил и уставился в пустую позднюю природу. Там ликовал прохладный свет низкого солнца и беззащитно трепетали придорожные кусты от плотного восточного утренника. Но дали на резком горизонте были чисты, прозрачны и привлекательны. Хотелось соскочить с поезда, прощупать ногами землю и полежать на ее верном теле.

Пухов удовлетворился своим созерцанием и крепко выразился обо всем:

— Гуманно!

— Сосна пошла! — сказал какой-то сведущий старичок, не евший три дня. — Должно, грунт тут песчаный!

— А какая это губерния? — спросил у него Пухов.

— А кто ж ее знает — какая! Так, какая-нибудь, — ответил равнодушно старичок.

— А тогда куда ж ты едешь? — рассерчал на него Пухов.

— В одно место с тобой! — сказал старичок. — Вместе вчерась сели — вместе и доедем.

— А ты не обознался — ты погляди на меня! — обратил на себя внимание Пухов.

— Зачем обознаться? Ты тут один рябой — у других кожа гладкая! — разъяснил старичок и стал расчесывать какую-то зуду на пояснице.

— А ты лаковый, что ль? — обиделся Пухов.

— Я не лаковый, мое лицо нормальное! — определил себя старичок и для поощрения погладил бурую щетину на своих щеках.

Пухов пристально оглядел старика в целом и плюнул рикошетом наружу, не обращая на него дальнейшего внимания.

Вдруг загремел мост, — и в вагон потянуло свежей проточной водой.

— Что это за река, ты не знаешь, как называется? — спросил Пухов одного черного мужика, похожего на колдуна.

— Нам неизвестно, — ответил мужик. — Как-нибудь называется!

Пухов вздохнул от голодного горя и после заметил, что это — родина. Речка называется Сухой Шошей, а деревня в сухой балке — Ясной Мечою; там жили староверы, под названием яйценосцы. От родины сразу понесло дымным запахом хлеба и нежной вонью остывающих трав.

Пухов погустел голосом и объявил от сердечной доброты:

— Это город Похаринск! Вон агрономический институт и кирпичный завод! За ночь мы верст четыреста угомонили!

— А тут — не знаешь, товарищ, — меняют аль нет? — спросил чуть дышавший старичок, хотя у него не было чего менять.

— Здесь, отец, не променяешь — у рабочих скулья жевать разучились! А рабочих тут пропасть! — сообщил Пухов и стал подтягивать ремешок на животе, как бы увязывая себя за отсутствием багажа.

Старый серый вокзал стоял таким же, как и в детстве Пухова, когда он тянул его на кругосветное путешествие. Пахло углем, жженой нефтью и тем запахом таинственного и тревожного пространства, какой всегда бывает на вокзалах.

Народ, обратившийся в нищих, лежал на асфальтовом перроне и с надеждой глядел на прибывший порожняк.

В депо сопели дремавшие паровозы, а на путях беспокойно трепалась маневровая кукушка, собирая вагоны в стада для угона в неизвестные края.

Пухов шел медленно по залам вокзала и с давним детским любопытством и каким-то грустным удовольствием читал старые объявления-рекламы, еще довоенного выпуска:

ПАРОВЫЕ МОЛОТИЛКИ «МАК-КОРМИК».
ЛОКОМОБИЛИ ВОЛЬФА С ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЕМ.
КОЛБАСНАЯ ДИЦ.
ВОЛЖСКОЕ ПАРОХОДСТВО «САМОЛЕТ».
ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ «ИОХИМ И Ко».
ВЕЛОСИПЕДЫ ПЕЖО.
БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОЖНЫЕ БРИТВЫ ГЕЙЛЬМАН и С-я,

— и много еще хороших объявлений.

Когда был Пухов мальчишкой, он нарочно приходил на вокзал читать объявления — и с завистью и тоской провожал поезда дальнего следования, но сам никуда не ездил. Тогда

как-то чисто жилось ему, но позднее ничего не повторилось.

Сойдя со ступенек вокзала на городскую улицу, Пухов набрал светлого воздуха в свое пустое голодное тело и исчез за угольным домом.

Прибывший поезд оставил в Похаринске много людей. И каждый тронулся в чужое место — погибать и спасаться.

6

— Зворычный! Петя! — глухо позвал слесарь Иконников.

— Ты что? — спросил Зворычный и остановился.

— Можно — я доски возьму?

— Какие доски?

— Вон те — шесть шелевок! — тихо сказал Иконников.

Дело было в колесном цехе Похаринских железнодорожных мастерских. Погребенный под пылью и железной стружкой, цех молчал. Редкие бригады возились у токарных станков и гидравлических прессов, налаживая их точить колесные бандажи и надевать оси. Старая грязь и копоть висела на балках махрами, пахло сыростью и мазутом, разреженный свет осени мертво сиял на механизмах.

Около мастерских росли купыри и лопухи, теперь одеревеневшие от старости. На всем пространстве двора лежали изувеченные неимоверной работой паровозы. Дикие горы железа, однако, не походили на природу, а говорили о погибшем техническом искусстве. Тонкая арматура, точные части ведущего механизма указывали на напряжение и энергию, трепетавшие когда-то в этих верных машинах. Эшелоны царской войны, железнодорожную гражданскую войну, степную скачку срочных продовольственных маршрутов — всё видели и вынесли паровозы, а теперь залегли в смертном обмороке в деревенские травы, неуместные рядом с машиной.

— А на что тебе доски? — спросил Зворычный Иконникова.

— Гроб сделать — сын помер!.. — ответил Иконников.

— Большой сын?

— Семнадцать лет!

— Что с ним?

— От тифа!

Иконников отвернулся и худой старой рукой закрыл лицо. Этого никогда Зворычный не видел, и ему стало стыдно, жалко и неловко. Вот — человек всю жизнь мучился, работал и молчал, а теперь жалостно и беззащитно закрыл свое лицо.

— Кормил-кормил, растил-растил, питал-питал! — шептал про себя Иконников, почти не плача.

Зворычный вышел из цеха и пошел в контору.

Контора была далеко — около электрической силовой станции. Зворычный прошел всю дорогу без всякого сознания, только шевеля ногами.

— Скоро пресс наладишь? — спросил его комиссар мастерских.

— Завтра к вечеру попробуем! — равнодушно доложил Зворычный.

— Как, слесаря не волнуются? — поинтересовался комиссар.

— Ничего. Двое с обеда ушли — кровь из носа пошла от слабости. Надо какие-нибудь завтраки, что ль, наладить, а то дома у каждого детишки — им все отдает, а сам голодный падает на работе!..

— Ни черта нету, Зворычный!.. Вчера я был в ревкоме — красноармейцам паек урезали… Я сам знаю, что надо хоть что-нибудь сделать!

Комиссар мрачно и утомленно засмотрелся в мутное, загаженное окно и ничего там не увидел.

— Сегодня ячейка, Афонин! Ты знаешь? — сказал Зворычный комиссару.

— Знаю! — ответил комиссар. — Ты в электрическом цехе не был?

— Нет! А что там?

— Вчера большой генератор ребята пробовали пускать — обмотку сожгли. А два месяца, черти, латали?

— Ничего — где-нибудь замыкание. Это оборудуют скоро! — решил Зворычный. — У нас вот ни угля, ни нефти нет, ты вот что скажи!

— Да, это хреновина бо́льшая! — неопределенно высказался комиссар и не сдержался — улыбнулся: наверно, на что-то надеялся, или так просто — от своего сильного нрава.

Вошел Иконников.

— Я те шелевки заберу!

— Бери, бери! — сказал ему Зворычный.

— Зачем ты доски-то раздаешь, голова? — недовольно спросил Афонин.

— Брось ты, он на гроб взял, сын умер!

— А, ну, я не знал! — смутился Афонин. — Тогда надо бы помочь человеку еще чем-нибудь!

— А чем? — спросил Зворычный. — Ну, чем помочь? Брехать только! Хлеба ему дать — так нам самим пайки в урез дают, — даже меньше против числа едоков! Ты же сам знаешь.

После разговора Зворычный пошел прямо домой. Уже темнело, и носились по пустырям грачи, подъедая там кое-что. По старой привычке Зворычному хотелось есть. Он знал, что дома есть горячая картошка, а про революционное беспокойство можно подумать потом.

Вытирая об дерюжку сапоги в сенцах, Зворычный услышал, что кто-то посторонний бурчит в комнате с его женой.

Зворычный подумал, что теперь горшка картошки не хватит, и вошел в комнату. Там сидел Пухов и похохатывал от своих рассказов жене Зворычного.

— Здорово, хозяин! — сказал Пухов первым.

— Здравствуй, Фома Егорыч! Ты откуда явился?

— С Каспийского моря, пришел к тебе курятины поесть! Ты любил петухов, — я тоже теперь во вкус вошел!

— У нас тут пост, Фома Егорыч, — кормимся спрохвала и не сдобно!..

— Губерния голодная! — заключил Пухов. — Почва есть, а хлеба нету, значит, — дураки живут!

— Жена, ставь ему пареную картошку! — сказал Зворычный. — А то он не утихнет!

Пухов разулся, развесил на печку сушить портянки, выгреб солому и крошки из волос и совсем водворился. Поев картошки и закусив шкурками, он воскрес духом.

— Зворычный! — заговорил Пухов. — Почему ты вооруженная сила? — и показал на винтовку у лежанки.

— Да я тут в отряде особого назначения состою, — пояснил Зворычный и вздохнул, потому что думал о другом.

— Какого значения? — спросил Пухов. — Хлеб у мужиков ходишь, что ль, отнимать?

— Особого назначения! На случай внезапных контрреволюционных выступлений противника! — внушительно пояснил Зворычный это темное дело.

— Ты кто ж такой теперь? — до всего дознавался Пухов.

— Да так, — революции помаленьку сочувствую!

— Как же ты сочувствуешь ей — хлеб, что ль, лишний получаешь или мануфактуру берешь? — догадывался Пухов.

Тут Зворычный сразу раздражился и осерчал. Пухов подумал, что теперь ему ужинать не дадут. Жена Зворычного скребла чего-то кочережкой в печке и тоже была женщина злая, скупая и до всего досужая.

Зворычный начал выпукло объяснять Пухову свое положение.

— Знаем мы эти мелкобуржуазные сплетни! Неужели ты не видишь, что революция — факт твердой воли — налицо!..

Пухов якобы слушал и почтительно глядел в рот Зворычному, но про себя думал, что он дурак.

А Зворычный перегрелся от возбуждения и подходил к цели мировой революции.

— Я сам теперь член партии и секретарь ячейки мастерских! Понял ты меня? — закончил Зворычный и пошел воду пить.

— Стало быть, ты теперь властишку имеешь? — высказался Пухов.

— Ну при чем тут власть! — еще не напившись, обернулся Зворычный. — Как ты ничего не понимаешь? Коммунизм — не власть, а святая обязанность.

На этом Пухов смирился, чтобы не злить хозяина и не потерять пристанища.

Вечером Зворычный ушел на ячейку, а Пухов лег полежать на сундуке. Керосиновая лампа горела и тихо пищала. Пухов слушал писк и не мог догадаться — отчего это такое. Он хотел есть, а попросить боялся — покуривал натощак.

Пухов помнил, что у Зворычного должен быть мальчишка — раньше был.

— Мальчугана-то отправили, что ль, куда, иль у родни ночует? — между прочим поинтересовался Пухов у хозяйки.

Та закачала головой и закрыла глаза фартуком — в знак своего горя.

Пухов примолк и задумался, хотя знал, что горе бабы неразумно.

«Оттого Петька и в партию залез, — сообразил Пухов. — Мальчонка умер — горе небольшое, а для родителя тоска. Деться ему некуда, баба у него — отрава, он и полез!»

Когда все забылось, хозяйка послала его дров поколоть. Пухов пошел и долго возился с суковатыми поленьями. Когда управился, он почувствовал слабость во всем корпусе и подумал — как он стал маломощен от недоедания.

На дворе дул такой же усердный ветер, что и в старое время. Никаких революционных событий для него, стервеца, не существовало. Но Пухов был уверен, что и ветер со временем укротят посредством науки и техники.

В одиннадцать часов возвратился Зворычный. Все попили тыквенного чаю без сахара, съели по две картофелины и собирались укладываться спать.

Пухов остался на ночь на сундуке, а Зворычный с женой полезли на печь. Пухов этому удивился — в былое время он не любил спать с женой: духота, теснота, клопы жрут, — а этот с осени на печь влез.

Однако дело его было постороннее, и он спросил Зворычного, когда все утихло:

— Петя! Ты не спишь?

— Нет, а что?

— Мне бы занятие надо! Что ж я у тебя нахлебником буду жить!

— Ладно, это устроим — завтра поговорим! — сказал сверху Зворычный и зевнул так, что кожа на лице полопалась.

«Зазнаваться начал, серый черт: в партию записался!» — подумал Пухов на сон грядущий и, слабея ото сна, открыл рот.

На другой день Пухова приняли слесарем на гидравлический пресс — он снова очутился за машиной, на родном месте.

Двое слесарей были старые знакомые, обоим им порознь Пухов рассказал свою историю — как раз то, что с ним не случилось, а что было — осталось неизвестным, и сам Пухов забывать начал.

— Ты бы теперь вождем стал, чего ж ты работаешь? — говорили слесаря Пухову.

— Вождей и так много, а паровозов нету! В дармоедах я состоять не буду! — сознательно ответил Пухов.

— Все равно, паровоз соберешь, а его из пушки расшибут! — сомневался в полезности труда один слесарь.

— Ну и пускай — все ж таки упор снаряду будет! — утверждал Пухов.

— Лучше в землю пусть стреляют: земля мягче и дешевле! — стоял на своем слесарь. — Зачем же зря технический продукт портить?

— А чтоб всему круговорот был! — разъяснял Пухов несведущему. — Паек берешь —

паровоз даешь, паровоз в расход — бери другой паек и все сначала делай! А так бы харчам некуда деваться было!

Прожил Пухов у Зворычного еще с неделю, а потом переехал на самостоятельную квартиру.

Очутившись дома, он обрадовался, но скоро заскучал и стал ежедневно ходить в гости к Зворычному.

— Чего ты? — спрашивал его Зворычный.

— Скучно там, не квартира, а полоса отчуждения! — ответил ему Пухов и что-нибудь рассказывал про Черное море, чтобы не задаром чай пить.

— Был у нас Шариков — чепуха человек, но матрос. Угля у меня не хватило, я и вернись из-под Крыма. А в Крыму тогда белые сидели, а чтоб они не убежали, их англичане сторожили на громадных боевых кораблях… Прибыл я в Новороссийск благополучно и даю сигналы, чтобы еду на лодке доставили — есть захотел. Хорошо, а только ерундово как-то. В городе стреляют день и ночь — не от опасности, а от хамства. Я все сижу, а есть охота, даже воображения в голове нету. Вдруг подплывает Шариков: ты зачем, говорит, безвременно прибыл? Я ему — проголодался, говорю, и уголь весь прогорел. Он — мужик сытый! — как схватил меня, так во всем облачении и сбросил в море. «Плыви, кричит, десантом на Врангеля — после расскажешь». Я сначала испугался, а потом обтерпелся в воде и поплыл с отдышкой. К ночи я добился до Крыма. Вылез на сушь противника и лег в кусты. А потом укрылся песком и заснул. Под утро меня пробрало, и я окоченел. А днем отогрелся на солнышке и поплыл обратно — на Новороссийск. Тут я форменно спешил, потому что есть захотел хуже вчерашнего…

— Доплыл? — спросил Зворычный.

— Уцелел! — заканчивал Пухов. — По морю плыть легко, лишь бы бури не оказалось — тогда жутко…

— А Шариков тебе что? — узнавал Зворычный.

— Шариков говорит: молодец, я тебя к Красному герою представляю! Видал, — спрашивает, — противника? А я ему: нет там никакого противника — в Симферополе Ревком, зря я там на песке сидел. — Не может, — говорит, — быть! — Ну вот — опять же — не может быть: плыви тогда сам на сверку! А извещения тогда шли тихо — телеграфной проволоки не хватало, матерьял ржавый. И верно, через день весь Крым советская власть взяла. Я так и знал, оказывается. Вот тогда Шариков и назначил меня начальником горных недр…

— А Красного героя ты получил? — удивился Зворычный.

— Получил, конечно. Ты слушай дальше. За самоотречение, вездесущность и предвидение — так и было отштамповано на медали. Но скоро на пшено пришлось ее сменить в Тихорецкой.

После чая Пухову никак не хотелось уходить. Но Зворычный начинал дремать, вздыхать — Пухов совестился и прощался, с порога договаривал последний рассказ.

Ночью, бредя на покой, Пухов оглядывал город свежими глазами и думал: какая масса имущества! Будто город он видел в первый раз в жизни. Каждый новый день ему казался утром небывалым, и он разглядывал его, как умное и редкое изобретение. К вечеру же он уставал на работе, сердце его дурнело и жизнь для него протухала.

Приходя от Зворычного, Пухов печку топить ленился и кутался сразу во все свои одежды. Дом был населен неплотно: жила где-то еще одна семья, а между нею и комнатой Пухова стояли пустые помещения. Если Пухову не спалось, он ставил лампу на табуретку у койки и принимался читать какую-нибудь агитпропаганду. Ею удружил его Зворычный.

Когда Пухов ничего не понимал, он думал, что писал дурак или бывший дьячок, и от отсутствия интереса сейчас же засыпал.

Снов он видеть не мог, потому что как только начинало ему что-нибудь сниться, он сейчас же догадывался об обмане и громко говорил: да ведь это же сон, дьяволы! — и

просыпался. А потом долго не мог заснуть, проклиная пережитки идеализма, который Пухов знал благодаря чтению.

Раз шли они с Зворычным после гудка с работы. Город потухал на медленной тьме, и дальние церковные колокола тихо причитали над погибающим миром.

Пухов чувствовал свою телесную нечистоту, думал о тоске, живущей на его квартире, и шел, препинаясь, тяжелыми ногами.

Зворычный махнул рукой на дома и смачно сказал:

— Общность! Теперь идешь по городу как по своему двору.

— Знаю, — не согласился Пухов, — твое — мое — богатство! Было у хозяина, а теперь ничье!

— Чудак ты! — посмеялся Зворычный. — Общее — значит, твое, но не хищнически, а благоразумно. Стоит дом — живи в нем и храни в целом, а не жги дверей по буржуазному самодурству. Революция, брат, забота!

— Какая там забота, когда все общее, а по-моему — чужое! Буржуй ближе крови дом свой чувствовал, а мы что?

— Буржуй потому и чувствовал, потому и жадно берег, что награбил: знал, что самому не сделать! А мы делаем и дома, и машины — кровью, можно сказать, лепим, — вот у нас-то и будет кровно бережливое отношение: мы знаем, чего это стоит! Но мы не скупимся над имуществом — другое сможем сделать. А буржуй весь трясся над своим хламом!

— Шарик у тебя работает, вижу! — непохоже на себя заявил Пухов. — Не то ты жрать разучился! Помнишь, как ты лопал на снегоочистителе?

— При чем тут жрать? — обиделся Зворычный. — Понятно, мозг любит плотную пищу, без нее тоже не задумаешься!

Здесь они расстались и скрылись друг от друга. Подходя к своему дому, Пухов вспомнил, что жилище называется очагом.

— Очаг, черт: ни бабы, ни костра!

7

На сладкой и влажной заре, когда Пухову тепла на койке не хватало, треснуло стекло в оконной раме. Гулко закатился над городом орудийный залп.

В голове Пухова это беспокойство пошло сонным воспоминанием о южной новороссийской войне. Но он сейчас же разоблачил свою фантазию: ты же сон, дьявол! — и открыл глаза. Залп повторился так, что дом заерзал на почве.

«Будет тебе бухтеть-то!» — не соглашался с действительностью Пухов и стал зажигать лампу для проверки законов природы. Лампа зажглась, но сейчас же потухла от третьего залпа — снаряд, наверно, разорвался на огороде.

Пухов одевался.

«Какой скот забрел с пушками по такой грязи?» — и не догадывался.

На улице Пухову показалось дымно и жарко. Явственно и близко рубцевал воздух пулемет. Пухов любил его: похож на машину и требует охлаждения.

В здание губпродкома ударила картечь, — и оттуда понесло гарью.

— У них нет снарядов, раз по городу картечью бьют, — сообразил Пухов: он знал, что сюда нужна граната.

Было безлюдно, тревожно и ничего не известно.

Вдруг на монастырской колокольне тихо зазвонили. Пухов вздрогнул и остановился, чутко слушая этот звон с перерывами.

Монастырь стоял на бугре и господствовал над городом и степями за речной долиной. В уличный просвет Пухов заметил раннее утро над тихим далеким лугом, заволоченным туманным газом.

От монастыря до мастерских лежала верста. Пухов покрыл ее срочным шагом, не обращая внимания на свирепеющий бой, к которому можно скоро привыкнуть.

В мастерских он не нашел никого. На вокзальных путях стоял броневой поезд и бил в направлении утренней зари, где был мост.

В проходной стоял комиссар Афонин и еще два человека. Афонин курил, а другие пробовали затворы винтовок и устанавливали их в ряд.

— Пухов, винтовку хочешь? — спросил Афонин.

— А то нет!

— Бери любую!

Пухов взял и освидетельствовал исправность механизма.

— А масла нет? Туго затвор ходит!

— Нет, нету — какое тебе масло тут? — отказал Афонин.

— Эх вы, воители! Давай патроны!

Получив патроны, Пухов спросил ручную гранату: невозможно, говорит, без нее: это бой сухопутный — когда я на Черном море бился, и то там гранаты давали.

Ему дали гранату.

— Зачем она тебе, их и так у нас мало! — заявил Афонин.

— Без нее нельзя. Матросы всегда этого ежика пущают, когда деться некуда!

— Ну, вали, вали!

— Куда идти-то?

— К мосту, за рощу — там наша цепь.

Нагруженный Пухов побрел по путям. Проходя мимо бронепоезда, он заметил там матросов.

Пухов залез на подножку и постучал в блиндированную дверцу. Дверца туго пошла по патентованному устройству, и в скважину просунулся матрос.

— Тебе чего, сыч?

— Шарикова тут нету?

— Нету.

— Распахни-ка мне ход, я приказ тебе дам.

— Ну, сыпь скорей.

В металлическом вагоне парилась тесная духота и веял промежуточный сквозняк. Замки трехдюймовых орудий воняли салом, но кругом было технически хорошо. Сидевший в башне за пулеметом матрос постреливал короткой частотой куда-то в поле, за кирпичные сараи, и пробовал рукою хоботок пулемета: не перегревается ли?

К Пухову подошел большой главный матрос.

— Ты что, братишка? Говори чаще.

— Вдарь-ка, друг, по монастырской колокольне. Там у них наблюдатель.

— Ладно, Федька! По колокольне: прицел сто десять, трубка девяносто — на снос!

Матрос взял бинокль и стал проверять действие снаряда.

Пухов ушел успокоенный. Идя по песчаному балласту железной дороги, он разговаривал в воздух. В синей лощине, закрытой укромным кустарником, шел бой. За железнодорожным мостом спешно работала артиллерия, сокрушая шрапнелью лощину. За мостом, наверное, стоял бронепоезд противника.

Тяжелая артиллерия — шестидюймовки — издалека била по городу. Город от нее давно и покорно горел.

Растопыренные умершие травы росли по откосу насыпи, но они тоже вздрагивали, когда недалекий бронепоезд из-за моста метал снаряд.

На вокзале работал бронепоезд красных, за мостом — белых, в пяти верстах друг от друга. Снаряды журчали в воздухе над головою Пухова, и он на них поглядывал. Одни летели за мост, другие обратно. Но вплотную не встречались.

В кустарнике лощины лежали рабочие — живые и мертвые. Живых было меньше, но они стреляли на ту сторону реки сдельно: за себя и за мертвых.

Пухов тоже прилег и пригляделся. Видны были товарные вагоны, маленький дом полустанка и какой-то железный барак на путях. Мастеровых от белых отделяли речка и

долина, всего полторы версты.

«В чего же мы стреляем? — соображал Пухов. — Пули из страха переводим!»

Сосед его, помощник машиниста Кваков, перестал стрелять и посмотрел на Пухова.

— Что ж ты? — спросил его Пухов и выстрелил в шевельнувшийся предмет у станционного домика.

— Живот заболел — часа два бузую с сырой земли.

— А в кого мы стреляем?

— В белых — не знаешь, что ль?

— В каких белых? А где же Красная Армия?

— Она на том конце города кавалерию сдерживает. Это генерал Любославский наскочил — у него конницы — тьма.

— А чего ж мы раньше ничего не знали?

— Как не знали? Это, брат, конница — сегодня она у нас, а завтра в Орле будет.

— Чудно! — сказал Пухов с досадой. — Лежим, стреляем, аж пузо болит, а ни в кого не попадаем. Ихний броневик давно прицел нашел — и крошит нас помаленьку.

— Что же будешь делать-то: надо отбиваться! — ответил Кваков.

— Чушь какая: смерть не защита! — окончательно выяснил Пухов и перестал стрелять.

Шрапнель визжала низко и, останавливаясь на лету, со злобой рвала себя на куски. Эти куски вонзались в головы и в тела рабочих, и они, повернувшись с живота навзничь, замирали навсегда. Смерть действовала с таким спокойствием, что вера в научное воскрешение мертвых, казалось, не имела ошибки. Тогда выходило, что люди умерли не навсегда, а лишь на долгое, глухое время.

Пухову это надоело. Он не верил, что если умрешь, то жизнь возвратится с процентами. А если и чувствовал что-нибудь такое, то знал, что нынче надо победить как раз рабочим, потому что они делают паровозы и другие научные предметы, а буржуи их только изнашивают.

Стрельба рабочих глохла и редела; над рекою стоял чад сгоревших снарядов. Кваков сел, не обращая внимания на войну, и собирал махорочную пыль по карманам. Пухов выжидал, пока он ее соберет, чтобы тоже попросить на цигарку.

— Ни санитаров, ни докторов у нас нет, ни лекарства — липовое хозяйство! — сказал Кваков, глядя на одного раненого, шевелившегося в бреду.

Раненый хотел подползти к Квакову и открывал глаза, но, не осилив с тяжестью век, снова закрывал их.

Кваков погладил его голову по редким старым волосам:

— Тебе чего, друг?

Раненый тихо гудел странным отвыкшим голосом, собираясь что-то сказать.

— Ну, чего? — говорил Кваков и сам мучился.

Раненый дополз до него и поднял грузную, мокрую голову, с которой капал крупный пот. Кваков приник к нему.

— Забей мне гвоздь в ухо поскорей… — сказал раненый и свалился от напряжения.

Кваков потер ему ухо и лег близко рядом, как бы защищая его от мучения и от новых ран.

Осколки шрапнели влеплялись в землю в сажени от Пухова и бросали ему в лицо гравий и рваную почву.

Сзади неожиданно подошел Афонин и тоже прилег.

— Ты тут, Пухов? На ихнем бронепоезде снарядов нету, скоро пойдем в атаку на станцию.

— Будя дурака валять, — кто это узнавал, что снарядов у них нет? Чего наш-то бронепоезд плохо бьет; ведь знает прицел, давно бы их сшибить можно…

Афонин не успел ответить и куда-то побежал, пригибаясь на открытых местах.

Через минуту весь отряд железнодорожников менял позицию — пробежал через овраг на молочную ферму и там залег за сараями.

Пухов снова увидел Афонина. Он стоял за каменным амбаром и договаривался о чем-то с двумя слесарями, державшими по буханке хлеба.

Пухов подошел к Афонину, чтобы сказать о необходимости пищи, но по дороге он обдумал другое. Из-за амбара были видны линия, мост и броневик белых. Линия шла с крутым уклоном из Похаринска на полустанок, где стоял белый бронепоезд.

Пухов подождал, пока кончил Афонин разговаривать со слесарями, и тогда разъяснил ему, что пора подумать, пора что-нибудь умственно схитрить, раз прямой силой белых не прогнать.

— Видишь, какой уклон из города на полустанок?

— Ну, вижу! — сказал Афонин.

— Ага, — вижу! Давно бы тебе надо его увидеть! — осерчал Пухов. — А где Зворычный?

— Тут. На что он тебе?

В городе загудел ураганный артиллерийский огонь, и послышался сплошной долгий крик большой массы людей.

— Что это? — обернулся туда Афонин. — Белые, что ль, ворвались? Должно, наших гонят.

Пухов прислушался. Голоса смолкли, а снаряды по-прежнему бурлили воздух над городом и, падая, крушили тяжелое, колкое вещество зданий.

Через пять минут Пухов и Зворычный ушли в город — на вокзал.

— А есть там груженый балласт? — спрашивал Зворычный.

— Есть — у литейного цеха десять платформ стоит! — говорил Пухов.

— Но ведь паровозов нет, — куда ж мы идем? — опять сомневался Зворычный.

— Да мы на руках их выкатим, голова! Потом заправим на главный путь, раскатим — и бросим. А за пять верст они сами разбегутся так, что от белого броневика одни шматки останутся!

— А рабочие где, — вдвоем на руках не выкатим!

— А мы матросов с нашего бронепоезда попросим. Мы по одному вагону будем выкатывать, а потом сцепим и бросим под уклон всем составом.

— Едва ли с броневика матросов дадут, — никак не соглашался Зворычный. — Броневик на два фронта бьет: и по кавалерии, и за мост…

— Дадут, там ходкие ребята! — уверял Пухов.

Афонин жалел, что согласился с Пуховым. Он думал, что Пухов просто сбежал из отряда и выдумал про балласт — никаких платформ с песком Афонин в мастерских не видал.

К обеду бой утих. Броневик белых изредка постреливал по речной долине, ища красных. Наш бронепоезд совсем молчал.

«Там матросня, — думал Афонин, — наморочит им голову этот Пухов».

Однако он не отрывался глазами от линии и сказал мастеровым о замысле Пухова.

— Ну как, десять груженых платформ сшибут белый броневик или нет? — спрашивал Афонин.

— Если скорости наберут, то сшибут — ясно! — говорил машинист Варежкин, водивший когда-то царский поезд.

Он же первый в половине второго расслышал бег колес на линии и крикнул Афонину:

— Гляди туда!

Афонин выбежал за амбар и присел на корточки, озирая весь путь. Из выемки с ветром и лихою игрою колес вылетел состав без паровоза и в момент вскочил на затрепетавший под такою скоростью мост.

Афонин забыл дышать и от какого-то восторга нечаянно взмок глазами. Состав скрылся на мгновенье в гуще вагонов полустанка, и сейчас же там поднялось облако песчаной пыли. Потом раздался резкий, краткий разлом стали, закончившийся раздраженным треском.

— Есть! — сказал сразу успокоившийся Афонин и побежал впереди всего отряда на

полустанок.

По песку и раскопанным грядкам картошек бежать было очень тяжело. Надо иметь большое очарование в сердце, чтобы так трудиться.

По мосту отряд пошел своим шагом — каждый считал белый бронепоезд разбитым и бессильным.

Отряд обошел пакгауз и тихо выбрался на чистую середину путей. На четвертом пути стоял чистый целый бронепоезд, а на главном — крошево фуража, песка и дребедень размятых, порванных вагонов.

Отряд бросился на бронепоезд, зачумленный последним страхом, превратившимся в безысходное геройство. Но железнодорожников начал резать пулемет, заработавший с молчка. И каждый лег на рельсы, на путевой балласт или на ржавый болт, некогда оторвавшийся с поезда на ходу. Ни у кого не успела замереть кровь, разогнанная напряженным сердцем, и тело долго тлело теплотой после смерти. Жизнь была не умерщвлена, а оторвана, как сброс с горы.

У Афонина три пули защемились сердцем, но он лежал живым и сознающим. Он видел синий воздух и тонкий поток пуль в нем. За каждой пулей он мог следить отдельно — с такой остротой и бдительностью он подразумевал совершающееся.

«Ведь я умираю — мои все умерли давно!» — подумал Афонин и пожелал отрезать себе голову от разрушенного пулями сердца — для дальнейшего сознания.

Мир тихо, как синий корабль, отходил от глаз Афонина: отнялось небо, исчез бронепоезд, потух светлый воздух, остался только рельс у головы. Сознание все больше средоточилось в точке, но точка сияла спрессованной ясностью. Чем больше сжималось сознание, тем ослепительней оно проницало в последние мгновенные явления. Наконец, сознание начало видеть только свои тающие края, подбираясь все более к узкому месту, и обратилось в свою противоположность.

В побелевших открытых глазах Афонина ходили тени текущего грязного воздуха — глаза, как куски прозрачной горной породы, отражали осиротевший одним человеком мир.

Рядом с Афониным успокоился Кваков, взмокнув кровью, как заржавленный.

На это место с бронепоезда сошел белый офицер, Леонид Маевский. Он был молод и умен, до войны писал стихи и изучал историю религий.

Он остановился у тела Афонина. Тот лежал огромным, грязным и сильным человеком.

Маевскому надоела война, он не верил в человеческое общество — и его тянуло к библиотекам.

«Неужели они правы? — спросил он себя и мертвых. — Нет, никто не прав: человечеству осталось одно одиночество. Века мы мучаем друг друга, — значит, надо разойтись и кончить историю».

До конца своего последнего дня Маевский не понял, что гораздо легче кончить себя, чем историю.

Поздно вечером бронепоезд матросов вскочил на полустанок и начал громить белых в упор. Беспамятная, неистовая сила матросов почти вся полегла трупами — поперек мертвого отряда железнодорожников, но из белых совсем никто не ушел. Маевский застрелился в поезде, и отчаяние его было так велико, что он умер раньше своего выстрела. Его последняя неверующая скорбь равнялась равнодушию пришедшего потом матроса, обменявшего свою обмундировку на его.

Ночью два поезда стояли рядом, наполненные спящими и мертвыми людьми. Усталость живых была больше чувства опасности — и ни один часовой не стоял на затихшем полустанке.

Утром два броневых поезда пошли в город и помогли сбить и расстрелять белую кавалерию, двое суток рвавшуюся на город и еле сдерживаемую слабыми отрядами молодых красноармейцев.

Пухов прошелся по городу. Пожары потухли, кое-какое недвижимое имущество погибло, но люди остались полностью.

Оглядев по-хозяйски город, вечером он сказал Зворычному:

— Война нам убыточна — пора ее кончить!

Зворычный чувствовал себя помощником убийцы и молча держал свой характер против Пухова. А Пухов знал себя за умного человека и говорил, что бронепоезд никогда не ставят на четвертый путь, а всегда на главный — это белые правил движения не знали.

— Все ж таки мы им дров наломали и жуть нагнали!

— Иди ты к черту! — ценил Пухова Зворычный. — У тебя всегда голова свербит без учета фактов — тебя бы к стенке надо!

— Опять же — к стенке! Тебе говорят, что война это ум, а не драка. Я Врангеля шпокал, англичан не боялся, а вы от конных наездников целый город перепугали.

— Каких наездников? — спрашивал злой и непокойный Зворычный. — Кавалерия — это тебе наездники?

— Никакой кавалерии и не было! А просто — верховые бандиты! Выдумали какого-то генерала Любославского, — а это атаман из Тамбовской губернии. А броневой поезд они захватили в Балашове — вот и вся музыка. Их и было-то человек пятьсот…

— А откуда же белые офицеры у них?

— Вот тебе раз — отчубучил! Так они ж теперь везде шляются — новую войну ищут! Что я их, не знаю, что ль? Это — люди идейные, вроде коммунистов.

— Значит, по-твоему, на нас налетела банда?

— Ну да, банда! А ты думал — целая армия? Армию на юге прочно угомонили.

— А артиллерия у них откуда? — не верил Пухову Зворычный.

— Чудак человек! Давай мне мандат с печатью — я тебе по деревням в неделю сто пушек наберу.

Дома Пухов не ел и не пил — нечего было — и томился одним размышлением. Природу хватал мороз, и она сдавалась на зиму.

Когда начали работать мастерские, Пухова не хотели брать на работу: ты — сукин сын, говорят, иди куда-нибудь в другое место! Пухов доказывал, что его несчастный десант против белых — дело ума, а не подлости, и пользовался пока что горячим завтраком в мастерских.

Потом ячейка решила, что Пухов — не предатель, а просто придурковатый мужик, и поставила его на прежнее место. Но с Пухова взяли подписку — пройти вечерние курсы политграмоты. Пухов подписался, хотя не верил в организацию мысли. Он так и сказал на ячейке: человек — сволочь, ты его хочешь от бывшего бога отучить, а он тебе Собор Революции построит!

— Ты своего добьешься, Пухов! Тебя где-нибудь шпокнут! — серьезно сказал ему секретарь ячейки.

— Ничего не шпокнут! — ответил Пухов. — Я всю тактику жизни чувствую.

Зимовал он один — и много горя хлебнул: не столько от работы, сколько от домоводства. К Зворычному Пухов ходить совсем перестал: глупый человек, схватился за революцию, как за бога, аж слюни текут от усердия веры! А вся революция — простота: перекрошил белых — делай разнообразные вещи.

А Зворычный мудрит: паровозное колесо согласовывал с Карлом Марксом, а сам сох от вечернего учения и комиссарства — и забыл, как делается это колесо. Но Пухов втайне подумывал, что нельзя жить зря и бестолково, как было раньше. Теперь наступила умственная жизнь, чтобы ничто ее не замусоривало. Теперь без вреда себе уцелеть трудно, зато человек стал нужен; а если сорвешься с общего такта — выпишут в издержки революции, как путевой балласт.

Но, ворочаясь головой на подушке, Пухов чувствовал свое бушующее сердце и не знал,

где этому сердцу место в уме.

Сквозь зиму Пухов жил медленно, как лез в скважину. Работа в цехе отягощала его — не тяжестью, а унынием.

Материалов не хватало, электрическая станция работала с перебоями — и были длинные мертвые простои.

Нашел Пухов одного друга себе — Афанасия Перевощикова, бригадира из сборочного цеха, но тот женился, занялся брачным делом, и Пухов остался опять один. Тогда он и понял, что женатый человек, то есть состоящий в браке, для друга и для общества — человек бракованный.

— Афанас, ты теперь не цельный человек, а бракованный! — говорил Пухов с сожалением.

— Э, Фома, и ты со щербиной: торец стоит и то не один, а рядышком с другим!

Но Пухов уже привык к своей комнате, ему казалось, что стены и вещи тоскуют по нем, когда он на работе.

Когда зима начала подогреваться, Пухов вспомнил про Шарикова: душевный парень — не то сделал он подводные лодки, не то нет?

Два вечера Пухов писал ему письмо. Написал про все: про песчаный десант, разбивший белый броненосец с одного удара, про Коммунистический Собор, назло всему народу построенный летом на Базарной площади, про свою скуку вдали от морской жизни и про все другое. Написал он также, что подводные лодки в Царицыне делать не взялись — мастера забыли, с чего их начинать, и не было кровельного железа. Теперь же Пухов решил выехать в Баку, как только получит от Шарикова мандат по почте. В Баку много стоячих машин по нефтяному делу, которые должны двинуться, так как в России есть дизеля, а на море моторы, зря пропадающие без работы. Сверх того, морское занятие серьезней сухопутного, а морские десанты искуснее песчаных.

У Пухова три раза стреляла рука, пока он карякал буквы: с самого новороссийского десанта ничего писаного не видал — отвык от чистописания.

«До чего ж письмо — тонкое дело!» — думал Пухов на передышке и писал, что в мозг попадало.

На конверте он обозначил:

«Адресату морскому матросу Шарикову.

В Баку — на Каспийскую флотилию».

Целую ночь от отдыхал от творчества, а утром пошел на почту сдавать письмо.

— Брось в ящик! — сказал ему чиновник. — У тебя простое письмо!

— Из ящиков писем не вынимают, я никогда не видел! Отправь из рук! — попросил Пухов.

— Как так не вынимают? — обиделся чиновник. — Ты по улице ходишь не вовремя, вот и не видишь!

Тогда Пухов просунул письмо в ящик и осмотрел его устройство.

— Не вынают, дьяволы, — ржавь кругом!

На политграмоту Пухов не ходил, хотя и подписал ячейкину бумажку.

— Что же ты не ходишь, товарищ? Приглашать тебя надо? — строго спросил его однажды Мокров, новый секретарь ячейки. (Зворычного сменили за помощь Пухову в песчаных платформах.)

— Чего мне ходить, — я и из книг все узнаю! — разъяснял Пухов и думал о далеком Баку.

Через месяц пришел ответ от Шарикова.

«Ехай скорее, — писал Шариков, — на нефтяных приисках делов много, а мозговитых людей мало. Сволочь живет всюду, а не хватает прилежности убрать ее внутрь Советской России. Все ждут англичан, — что они нам шкворень выдернут. Пускай дергают, мы тогда на передке поедем. А мандата тебе выслать не могу — их секретарь составляет, у него и печать, а я его арестовал. Но ты ехай — харчи будут».

Прочитав текст письма, Пухов изучил штемпеля: действительно Баку, и лег спать, осчастливленный другом.

Уволили Пухова охотно и быстро, тем более что он для рабочих смутный человек. Не враг, но какой-то ветер, дующий мимо паруса революции.

9

Не все так хорошо доезжают до Баку, но Пухов доехал: он попал на порожнюю цистерну, гонимую из Москвы прямым и скорым сообщением в Баку.

Виды природы Пухова не удивили: каждый год случается одно и то же, а чувство уже деревенеет от усталой старости и не видит остроты разнообразия. Как почтовый чиновник, он не принимал от природы писем в личные руки, а складывал их в темный ящик обросшего забвением сердца, который редко отворяют. А раньше вся природа была для него срочным известием.

За Ростовом летали ласточки — любимые птицы молодого Пухова, а теперь он думал: видел я вас, чертей, если бы иное что летало, а то старые птицы!

Так он и доехал до самого конца.

— Явился? — поднял глаза от служебных бумаг Шариков.

— Вот он! — обозначил себя Пухов и начал разговаривать по существу.

В тот год советский нефтяной промысел собирал к себе старых мастеровых, заблудившихся в темноте далеких родин и на проселках революции.

Каждый день приезжали буровые мастера, тартальщики, машинисты и прочий похожий друг на друга народ.

Несмотря на долгий голод, народ был свежий и окрепший, будто насыщенный прочной пищей.

Шариков теперь ведал нефтью — комиссар по вербовке рабочей силы. Вербовал он эту силу разумно и доверчиво. Приходил в канцелярию простой, сильный человек и обращался:

— Десять лет в Сураханах тарталил, теперь опять на свою работу хочу!

— А где ты был в революционное время? — допрашивал Шариков.

— Как где? Здесь делать нечего было!..

— А где ты ряжку налопал? Дезертиром в пещере жил, а баба тебе творог носила.

— Что ты, товарищ! Я — красный партизан, здоровье на воздухе нажил!

Шариков в него всматривался. Тот стоял и смущался.

— Ну, на́ тебе талон на вторую буровую, там спросишь Подшивалова, он все знает.

Пухов обсиживался в канцелярии и наблюдал. Его удивляло, отчего так много забот с этой нефтью, раз ее люди сами не делают, а берут готовой из грунта.

— Где насос, где черпак — вот и все дело! — рассказывал он Шарикову. — А ты тут целую подоплеку придумал!

— А как же иначе, чудак? Промысел — это, брат, надлежащее мероприятие, — ответил Шариков не своей речью.

«И этот, должно, на курсах обтесался, — подумал Пухов. — Не своим умом живет: скоро все на свете организовывать начнет. Беда».

Шариков поставил Пухова машинистом на нефтяной двигатель — перекачивать нефть из скважины в нефтехранилище. Для Пухова это было самое милое дело: день и ночь вращается машина — умная, как живая, неустанная и верная, как сердце. Среди работы Пухов выходил иногда из помещения и созерцал лихое южное солнце, сварившее когда-то нефть в недрах земли.

— Вари так и дальше! — сообщал вверх Пухов и слушал танцующую музыку своей напряженной машины.

Квартиры Пухов не имел, а спал на инструментальном ящике в машинном сарае. Шум машины ему совсем не мешал, когда ночью работал сменный машинист. Все равно на душе было тепло — от удобств душевного покоя не приобретешь; хорошие же мысли приходят не

в уюте, а от пересечки с людьми и событиями — и так дальше. Поэтому Пухов не нуждался в услугах для своей личности.

— Я — человек облегченного типа! — объяснял он тем, которые хотели его женить и водворить в брачную усадьбу.

А такие были: тогда социальная идеология была не развита и рабочий человек угощал себя выдумкой.

Иногда приезжал на автомобиле Шариков и глядел на буровые вышки, как на корабли. Кто из рабочих чего просил, он сейчас же давал.

— Товарищ Шариков, выпиши клок мануфактуры — баба приехала, оборвалась в деревне!

— На, черт! Если спекульнешь — на волю пущу! Пролетариат — честный предмет! — И выписывал бумажку, стараясь так знаменито и фигурно расписаться, чтобы потом читатель его фамилии сказал: товарищ Шариков — это интеллигентный человек!

Шли недели, пищи давали достаточно, и Пухов отъедался. Жалел он об одном, что немного постарел, нет чего-то нечаянного в душе, что бывало раньше.

Кругом шла, в сущности, хорошая, легкая жизнь, поэтому Пухов ее не замечал и не беспокоился. Кто такой Шариков? — Свой же друг. Чья нефть в земле и скважины? — Наши, мы их сделали. Что такое природа? — Добро для бедных людей. И так дальше. Больше не было тревоги и удручения от имущества и начальства.

Как-то приехал Шариков и говорил сразу Пухову, как будто всю дорогу думал об этом:

— Пухов, хочешь коммунистом сделаться?

— А что такое коммунист?

— Сволочь ты! Коммунист — это умный, научный человек, а буржуй — исторический дурак!

— Тогда не хочу.

— Почему не хочешь?

— Я — природный дурак! — объявил Пухов, потому что он знал особые ненарочные способы очаровывать и привлекать к себе людей и всегда производил ответ без всякого размышления.

— Вот гад! — засмеялся Шариков и поехал начальствовать дальше.

Со дня прибытия в Баку Пухову стало навсегда хорошо. Вставал он рано, осматривал зарю, вышки, слушал гудок парохода и думал кое о чем. Иногда он вспоминал свою умершую от преждевременного износа жену и немного грустил, но напрасно.

Однажды он шел из Баку на промысел. Он заночевал у Шарикова. К тому брат из плена вернулся, и было угощение. Ночь только что кончилась. Несмотря на бесконечное пространство, в мире было уютно в этот ранний чистый час, и Пухов шагал, наливаясь какой-то прелестью. Гулко и долго гудел дальний нефтеперегонный завод, распуская ночную смену.

Весь свет переживал утро, и каждый человек знал про это происшествие: кто явно торжествуя, кто бурча от смутного сновидения.

Нечаянное сочувствие к людям, одиноко работавшим против вещества всего мира, прояснялось в заросшей жизнью душе Пухова. Революция — как раз лучшая судьба для людей, верней ничего не придумаешь. Это было трудно, резко и сразу легко, как нарождение.

Во второй раз — после молодости — Пухов снова увидел роскошь жизни и неистовство смелой природы, неимоверной в тишине и в действии.

Пухов шел с удовольствием, чувствуя, как и давно, родственность всех тел к своему телу. Он постепенно догадывался о самом важном и мучительном. Он даже остановился, опустив глаза, — нечаянное в душе возвратилось к нему. Отчаянная природа перешла в людей и в смелость революции. Вот где таилось для него сомнение.

Душевная чужбина оставила Пухова на том месте, где он стоял, и он узнал теплоту

родины, будто вернулся к детской матери от ненужной жены. Он тронулся по своей линии к буровой скважине, легко превозмогая опустевшее счастливое тело.

Пухов сам не знал — не то он таял, не то рождался.

Свет и теплота утра напряглись над миром и постепенно превращались в силу человека.

В машинном сарае Пухова встретил машинист, ожидавший смены. Он слегка подремывал и каждую минуту терял себя в дебрях сна и возвращался оттуда.

Газ двигателя Пухов вобрал в себя, как благоухание, чувствуя свою жизнь во всю глубину — до сокровенного пульса.

— Хорошее утро! — сказал он машинисту.

Тот потянулся, вышел наружу и равнодушно освидетельствовал:

— Революционное вполне.

Ямская слобода

1

Уже пятьдесят лет в слободе находилась Миллионная улица. На ней стоял дом с деревянными ветхими воротами. Ворота были сделаны не из двух половин, а из одного дощатого настила, торцом навешенного на пару крюков. Давно умершее дерево от времени и забвения стало как бы почвой и занялось тихим мхом. Ворота открывались только водовозу — раз в неделю, — и то очень бережно, чем руководил сам хозяин. На левом столбовом упоре ворот — три железных заржавленных документа, одинаково древних:

«З. В. Астахов. № 192».

А сверху фамилии нарисованы в виде герба вилы и ведро; это означало, что домохозяин должен тащить на чей-нибудь пожар эти инструменты против огня. Другой документ гласил просто: *«Первое Российское Страховое Общество. 1827 г.».* Это указывало, что дом застрахован. А третья железка приглашала покупателей: *«Сей дом продается»,* — но ни один человек не заходил по этому делу к З. В. Астахову уже двадцать пятый год; поэтому железо успело померкнуть, а домовладелец забыл, зачем повесил его.

Прадед Захара Васильевича Астахова был царским ямщиком. Тогда правила царица Екатерина Вторая, а степные места стояли пустыми и страшными. В поселенцы сюда шел с севера на все согласный, норовистый, натерпевшийся народ. Люди думали найти здесь вольный хлеб, а встречали нужду, крутой труд и быстро дичали в дальней заброшенности. Но царица таких поселенцев редко трогала, хотя и были среди них люди преступного почина, немало вчинившие беды своим помещикам на северной родине. Царица рассматривала эту степную пустошь, залегшую меж южным морем и Москвой, как дорогу в теплую страну, которая ей зачем-то была необходима. Поэтому поселенцев она сочла дорожными жителями, нужными для прогона курьеров и чиновников по девственным степям. Редкий степной народ сразу приноровился к такой царской нужде — развел хороших худощавых лошадей, учредил кузницы и постоялые дворы, расставил по трактам трактиры — и начал возить всякую казенную службу.

Иные поселенцы, особо бедовые или богомольные, ушли глубже в степь, подальше от гонных трактов, и не стали причастными к казенному заработку. Там такие выходцы занялись глухой жизнью и годами ели свой хлеб, не видя казенного человека. Их-то и обделила впоследствии царица.

А кто пожадней и пояростней на легкую, веселую жизнь, тот остался на новых степных трактах, сел на облучок тарантаса, либо хлопотал в трактире и на постоялом дворе. А самые северные и западные уроженцы — из бесхлебных кустарных мест — устроили при дороге

горн и наковальню и стали кузнецами. Иногда по степи неслись большие царские люди — тем было лестно угодить.

В старинной Ямской слободе, когда она была только придорожным хутором ямщиков, жили трое особых мужиков — предки Астахова, Теслина и Щепетильникова. Они отличались от прочих поселенцев неистовой ревнивой любовью к лошадям, бабьим сладострастием и угодливой завистью к проезжим генералам и чиновникам. Они уже думали о своих конных заводах, только удобного случая разбогатеть не выходило.

Когда им приходилось спешно мчать какого-нибудь посланца из Петербурга, то они выпарывали из лошадей всю мочь: знали, что царский человек не обидит и даст ассигнаций на пару лошадей, когда одна упадет.

Купцы по этому направлению ездили редко — они больше почитали восточные или западные долгие реки: степную скачку они не уважали, а товары волокли навалом по дешевой воде.

Легкая жизнь шла недолго — года четыре. А потом чиновники сразу перестали густо платить. Если же даст, то такую малость, что на деготь не хватит.

— Мы, — говорят, — по казенной императорской цене вознаграждаем, а обиду императрице неси.

Ямщики притаили злобу и молчали. Вскоре же чиновники совсем перестали платить.

— На казенной земле, — говорят, — даром живете, — благодарите царицу, а то враз отсюда вон Потемкин погонит! Возить нас не труд, а развлечение и отечественная повинность! Поняли?

Ямщики понимали и уходили в темноту восточных степей — заниматься святым хлебопашеством. Так и погас степной ямщицкий промысел.

Но не все ямщики разбрелись — некоторые так втянулись в степную дорогу, что остались. Влекло их главным интересом то, что они надеялись на какую-нибудь награду от знатных ездоков и не верили, что всегда будет даровая гонка. Кроме того, они налегли на дорожные трактиры и постоялые дворы, где драли заграничные цены, как определил один проезжий.

Когда стало совсем мало степных ямщиков, то с государственными делами на юге России пошла неуправка: нужные чиновники задерживались в степи и не могли приехать в срок. Царице доложили, что степняки — бедный и своевольный народ, лучше пока их расположить чем-нибудь, — степной путь велик, и никакой злостной суеты на нем быть не должно. Царица определила по куску степи на каждого усердного и особо исполнительного ямщика. А заботу по поименному названию таких ямщиков — для следующего награждения их землей — возложила на ученого академика Бергравена, как сподручное ему дело в его странствии по южнорусской степи: Бергравен как раз в тот срок выезжал из Петербурга с научными изысканиями в русскую равнину и неоднократно должен пересечь ее во всех направлениях. Поэтому все ямщики ему будут налицо.

Бергравен был очень пожилой человек и весь расслабленный. Когда он попал к прадеду Астахова, то лег на полати и пролежал в полной слабости две недели, а ямщику Астахову сказал:

— Ты поезди-ка, дружок, один по степи да посмотри на высоких гладких местах: нет ли на земле завязи или скрепы какой, — вроде пуповины у тебя на животе: найдешь, тогда мне скажешь!

Сначала Астахов из страха ездил верхом по степи и искал земного пупка. Он даже удивлялся, почему раньше его не заметил. Но потом ездить перестал, а спал в дальней лощине целыми днями. Каждый вечер ученый его спрашивал:

— Ничего не обнаружил, дружок? Он ведь большой должен быть, вроде пня или кургана — весь в рубцах и расщелинах. А в щелях должна быть плутоническая твердая грязь! Ты не забудь пунктуально рассмотреть — тогда мне расскажешь!

— Ничего не заметил, ваше сиятельство, — одна ровная степь и ковыль! Где-нибудь пуп должен находиться; я догадываюсь, не в овраге ли он! Без пупа земля расползлась бы —

без шва нельзя!

— Ну вот, ну вот! — радовался чему-то ученый человек. — Конечно, земной замок имеется. Только где он, дружок?

— Может, в логу, ваше сиятельство? — покорно доводил до сведения ученого Астахов.

— Ну, чудачок, чудачок, что ты говоришь? Разве у тебя пуповина под мышками сидит? А? Ну что ты говоришь, ты подумай сам!

— Разыщу, ваше сиятельство, будьте покойны, отдыхайте! — говорил Астахов и шел на другой день с утра в лощину. Он уже у стариков спрашивал: где пупок на земном животе? Никто, оказывается, не видел.

— Может, и есть где в сердцевине степи, — ай туда доскачешь?

Астахов не хотел морить коня — сказал ученому, что уезжает на три дня в высокую Дальнюю степь, а сам ускакал к куму-казаку в гости, за сорок верст.

— Что скажешь, дружок? — спросил ученый через три дня. — Доехал до пуповины?

— Нашел, ваше сиятельство! — сказал Астахов, равнодушно вздохнув. — В бугристом месте посередине степи торцом стоит — весь червивый такой, в кровоточинах и шитый из кусков! А видать, старый такой, обветшалый и из живого тела сотворен!..

Ученый неделю пытал Астахова и исписал на псалтыре целую стопку бумаги. Уезжая, ученый дал бумагу Астахову на сорок десятин земли, какую он сам выберет в степи.

Другие ямщики тоже кое-что урвали от ученого. Но сами ямщики до земли и до труда были не усердны — и роздали ее за малую аренду новым поселенцам-хлебопашцам.

Потом и царица умерла, и тракты пошли скорые, и почта учредилась, а Ямская слобода осталась навсегда. Только от старых времен у слобожан сохранилась земля, которую они по-прежнему сдавали крестьянам, да звание ямщика, хотя давно ни у кого не было ни одной легкой лошади.

Слободские люди жили тем, что привозили им мужики за землю, а добавляли к этому подсобный заработок, иногда мастерство и собственную бережливость.

2

В нынешний июльский день Захар Васильевич Астахов со сподручным парнем филатом чинил в саду плетень. Про Филата слободские люди говорили:

Наш Филатка —
Всей слободе заплатка.

А девки лопотали в праздники:

Ах, Латушка, Филат —
Ни сопат, ни горбат.
Ничем не виноват.
Сам де́вицам рад.
А и вдовушкам не клад!

Это напрасно — Филат девицам не радовался; он — человек без памяти о своем родстве и жил разным слободским заработком: он мог чинить ведра и плетни, помогать в кузнице, замещал пастуха, оставался с грудным ребенком, когда какая-нибудь хозяйка уходила на базар, бегал в собор с поручением поставить свечку за болящего человека, караулил огороды, красил крыши суриком и рыл ямы в глухих лопухах, а потом носил туда вручную нечистоты из переполненных отхожих мест.

И еще кое-что мог делать Филат, но одного не мог — жениться. На это ему не раз указывали — летом кузнец, а зимой шорник Макар:

— Што ж ты, Филя, век свой зябнешь: в бабе — полжизни! Не раздражай себя, покуда

тебе тридцать лет, потом рад бы, да кровостой жидок будет!

Филат немного гундосил, что люди принимали за признак дурости, но никогда не сердился:

— Да я непосилен, Макар Митрофаныч! Мне абы б самому прокормиться да сторонкой прожить! Да в слободе и нету такой дурной девки, чтобы по мне пришлась!..

— Вот хреновина какая! — говорил Макар. — Да аль ты дурен? У мужика не облицовка дорога, а сок в теле! Про то все бабы знают, а ты нет!

— Какой во мне сок, Макар Митрофаныч? Меня на мочегон только чего-то часто тянет, а больше ничем не сочусь!

— Дурной ты, Филат!.. — скорбно кончал Макар и принимался трудиться.

Филат работал спешно во всяком деле, а в кузнице у Макара Митрофановича с особой бодростью. Макар Митрофанович все больше говорил с мужиками-заказчиками, а Филат один поспевал, как черт в старинной истории: «Дуй — бей — воды — песку — углей!»

Но в нынешний день Филат помогал Захару Васильевичу. Июль удался погожий и знойный: самая пора для хлеба и сена. Сад З. В. Астахова прилегал сзади к самому двору и тоже был окружен садами других домовладельцев. В саду росло всего деревьев сорок — яблони, груши и два клена. Промежду деревьев место заняли лопух, крапива, крыжовник, малина и прелестная мальва, которая ничем не пахла, несмотря на красоту цветов.

— Закуривай, Филат! — закричал Захар Васильевич. — Глянь, сегодня день какой благородный, как на троицу!

Филат покорно слез с плетня и подошел к Захару Васильевичу, хотя не курил. Захар Васильевич был глуховат и время от времени спрашивал: «А?» Но Филат ничего не произносил, и Захар Васильевич, поведя на него белыми глазами, успокаивался насчет необходимости ответа.

Захар Васильевич курил, а Филат так просто стоял. Филат никогда не имел надобности говорить с человеком, а только отвечал, Захар же Васильевич постоянно и неизбежно мог думать и беседовать только об одном — о своем цепком сладострастии, но это не трогало сердце Филата. Сейчас тоже Захар Васильевич попытал Филата по этому делу.

Филат прослушал и вспомнил Макара Митрофановича — тот каждое воскресенье читал вечером по складам книги своей семье, а домашние и Филат умильно слушали чужие слова.

— Макарий Митрофанович по-печатному читал, — что в женщине человеку откроется, то на белом свете закроется.

— Да ну, чушь какая! — удивлялся и отвергал Захар Васильевич.

— Я не знаю, Захар Васильевич, в книге по-печатному написано! — не сопротивлялся Филат, но сам тайно верил в справедливость книги.

Поработав на плетнях еще часа два, труженики шли обедать.

В той степной черноземной полосе, где навсегда расположилась Ямская слобода, лето было длинно и прекрасно, но не злило землю до бесплодия, а открывало всю ее благотворность и помогало до зимы вполне разродиться. Душащая сила черноземного плодородия исходила даже в излишних растениях — лопухах и репьях — и способствовала вечерней, гложущей мошкаре.

В тот июль было душно — людей тянуло на квас и на легкую жидкую пищу. Хозяйка Захара Васильевича поставила обед на дворе. Стол был накрыт под кущей сирени — в прохладной тени. Жадный, нетерпеливый Захар Васильевич сейчас же подошел к столу, не ожидая жены, а Филат совестливо остановился вдалеке.

Захар Васильевич, увидя в чашке молоко, подернутое пленкой, подумал, что оно — холодное. Он взял половник и без оглядки, наспех хватил его целиком внутрь. Вслед за этим первым принятием пищи он харкнул и неожиданно — с большой скоростью — перелез через забор к соседу. Филат смутился, как будто он был виноват, и отошел еще дальше от стола. Вышла хозяйка и спросила:

— А где же Захар-то?

— К соседу чего-то кинулся!

— А кто молочный кулеш расплескал? Ты, что ль, хватаешь, не дождешься никак, — ведь он вар!

— Я не брал, — сказал Филат, — это хозяин покушал.

Но хозяин пропал и пришел не так скоро. Он обошел длинную улицу с обеих сторон и тогда вошел в калитку на свой двор. Филата тяготила немощь от голода, но он терпел. Хозяйка поймала курицу, которая квохтала и хотела сесть наседкой, и окунула ее в кадку с водой, слегка попарывая хворостиной, чтобы курица бросила свою блажь и начала нести яйца.

Тогда вошел Захар Васильевич и, совсем успокоенный, кротко сказал:

— Давайте обедать — все нутро сжег!

Аккуратней и меньше всех ел Филат. Он знал, что он всем чужой и ему никто не простит лишней еды, а в будущий раз — откажут в работе.

За обедом Захар Васильевич по глухой привычке иногда спрашивал:

— А?

Но евшие молча чавкали, и разговор не начинался. Когда хозяйка дала говядину, то Филат присмотрелся к своему куску и начал копать его пальцами.

— Чего ты? — спросил Захар Васильевич.

— Волосья чьи-то запутались! — ответил Филат, стеснявшийся своей брезгливости.

— Пищей требуешь! — сказал хозяин. — А ты глотай ее — пущай она потом в пузе разбирается!

Здесь Захар Васильевич добродушно поглядел на жену: дескать, ничего, дело терпится!

Хозяйка разглядела волосок на мясе Филата и раздраженно заявила:

— Да ты небось сам его приволок своими погаными руками — у меня таких длинных и нету!

Захар Васильевич сейчас ел мягкую кашу, но спешил, как зверь, стараясь захватить побольше.

— Хо-Хо-хо! Да что ты, Филат, одного волоса испугался — у твоей присухи сколько их будет! Весь век во щах ловить будешь!..

Филат стеснительно улыбался и давно проглотил волос, чтобы не обижать хозяев.

— Захарушка, правда, нынче каша хорошо упарилась? — нарочно ласково спросила жена, чтобы муж забыл поскорее про нечистоплотный волос.

Хозяин тогда медленно начал жевать кашу, чтобы взять ее достоинство, и дал среднюю оценку:

— Каша — терпимая!

Тут отворилась калитка и вошел пожилой человек — с кнутом в руках, но без лошади.

Захар Васильевич, не ослабляя своей работы над обедом, дал человеку подойти к столу и потом спросил:

— Ты чего, Понтий?

Человек помолчал, снял зимнюю шапку, на кого-то перекрестился и степенно сказал:

— Ну, здравствуйте! Приятного вам аппетита! — и замолчал; а Филат ожидал, смотря на его приготовления, что он сейчас расскажет бог знает что.

— Здравствуй! — приветствовал гостя хозяин и, рыгнув, положил ложку — Будя, натрескался! Ты насчет ямы, Понтий? Теперча не нужно: Филат намедни горстями по лопухам все расплескал! Хо-хо, Филат жуток на Расправу!

Человек с кнутом еще постоял и ушел не сразу.

— Так, стало быть, теперча не нужно?

— Нет, Понтий, Филат живьем все унес! — ответил хозяин.

— Ну, а когда дело будет неминуемо — нас не забывайте, Захар Васильевич!

— Ну еще бы, Понтий! Только бочку полней наливай и черпак возьми не худой, а что тебе Макар заново справил!

— Да уж чего там, Захар Васильевич! Возкой не обижу! Прощевайте пока!

— С богом, Понтий! По улицам добро не проливай — вонь от тебя с малолетства помню!

Но Понтий не услышал последнего напутствия: его кнут раздражал собак — и дворовый Волчок моментально начал лаять, как только Понтий отошел от стола.

Это был Пантелеймон Гаврилович — хозяин слободского ассенизационного обоза, самый богатый и самый скромный человек во всей слободе. Для простоты и из уважения к нему люди его звали Понтием. Работал Понтий с семи лет на одном и том же деле, ел с рабочими один хлеб и много лет не спал ночей, подремывая лишь на передке дрог с бочкой, когда обоз выезжал из слободы в глухой дальний лог.

— Вот тебе бы золотарем стать — хлебное дело! — говорил после обеда Захар Васильевич Филату и задумывался — как будто и сам не прочь стать им. Но Филат и раньше думал про это занятие, только выходило, что ему нужно сто рублей на лошадь и дроги с бочкой. Если бы рубашки и штаны не носились, тогда через пятнадцать лет у Филата очутились бы эти сто рублей, а иначе не будет денег.

Макар два вечера в прошлом году при лампе считал и говорил Филату:

— Нет, брат, капитал нужен велик; если бы ты харчи не натурой получал, а деньгами… то и тогда, скажем, тебе полтора года следует не есть либо пять лет голодать — выбирай сам! Вот тебе и будет лошадь при дрогах!

До позднего вечера, пока комары силу не взяли, Захар Васильевич с Филатом кончали задний плетень. Пахло навозом и кислотой давно обжитой почвы, но и этот воздух казался благоуханием после духоты низких жилищ — и в Захаре Васильевиче он разжигал аппетит на ужин.

Ужинали они под той же сиренью. Чуткий вечер во всеуслышание разносил голоса соседей и отпирал все тайные запахи дворов. Захар Васильевич пил парное молоко и наслаждался мирной жизнью и грядущим сном. А Филат обошелся без молока — поел только хлеба с огурцами — и слушал голос соседа Теслина, что заклинал доску под живопись на завтра. Это случалось каждый вечер — все знали и уже не слушали, но хозяйка Захара Васильевича сказала:

— Вон Василь Прохорыч опять забубнил! Ты где ляжешь — со мной или в сенцах?..

Захар Васильевич ответил, что в сенцах — от жары чего-то мочи нет.

Теслин писал церковные иконы, но, веря в бога, он не верил в животворящую силу своего таланта. Поэтому готовую доску — для божественного изображения — он не сразу пускал под кисть, а сначала троекратно прикладывал к животу своей жены и троекратно же произносил нараспев:

Пропа́хни жизнью.
Пропа́хни древом.
Пропа́хни девой…

Делал это Теслин почему-то обязательно в погожий вечер, а в ненастье копил доски до освящения их на жене, но кистью ранее того не малевал. Ни одной иконы никто из соседей никогда не видел: через знакомого в монастырской ризнице Теслин сбывал их в дальние села и в северные скиты. Это и хорошо, потому что слободские богомольцы не стали бы молиться на такие святотатственные иконы — с живота бабы.

После ужина все жители обязательно выходили на улицу и садились на лавочки у домов — посидеть. Вышел и Филат с хозяином и хозяйкой. У хозяйки рос живот, и Захар Васильевич ждал к ноябрю мальчишку: говорил, что дом поручить после смерти некому и что фамилию Астаховых учредила Екатерина Великая — проездом по этим местам. Захар Васильевич два года боялся, что ему от царя достанется, если потомства не будет — пока жена не почала: тогда утихнул совестью и повеселел на дому. Филат не знал — не то это правда, не то Захар Васильевич зазнался от своего положения, — но ничего не спрашивал.

На лавочке уже сидел какой-то молодой, но толстый мальчик. Его знали немного: Володька, сын железнодорожного жандарма с другого конца улицы.

— Подвинься-ка, барчук, — сказал Захар Васильевич.

Тот не подвинулся, а встал, оскорбил и ушел:

— Налопались, уроды, да вышли!

Тогда все трое сели, и Захар Васильевич громко заикал, но ничуть не беспокоился об этом, а заговорил с женой о ягодах на варенье:

— Ты, Насть, вишню теперь волоком волоки, иначе не уцепишь — цена на ее пойдет! Она долго не держится!

— Я бы малинки хотела маленько прикупить — маловато сварили, на зиму не хватит — ты пить здоров, тебе только подавай!

— С малиной время терпит — ты смородину не упусти!

— Знаю, знаю, заказала одному мужику — в пятницу привезет.

— Ты молоко-то отнесла в погреб? Скиснет!..

— Не скиснет, — сейчас пойдем ложиться — отнесу!

— Завтра керосину купи полфунта — опять клопы в койке…

Филат сидел и дышал — у него ничего не готовилось впрок, — и он мог свободно умереть, если работа перемежится недели на две. Но он никогда не помнил об этом, а прожил нечаянно почти тридцать лет.

У Теслиных тоже сидели, только на завалинке: у них не было скамейки.

Завечерело совсем — и не было видно лица у старушки, которая только что вышла из дома Теслиных. Напротив дома Теслиных также сидели люди и что-то бормотали в темноте. Старушка от Теслиных ласково сказала туда:

— Никитишна, здравствуй!

С лавочки напротив раздался певучий ответ из щербатого рта:

— Здравствуй, здравствуй, Пелагей И ванна!

И обе старушки смолкли, потому что все было заранее переговорено: сорок лет знакомы, тридцать лет соседями живут.

Сверчки напевали свою вечернюю песню, отчего на улице становилось Уютней, а на душе покойней. Вдалеке иногда шумели поезда железной дороги, но ни в ком не вызывали ни чувств, ни воспоминаний, потому что никто не ездил по железной дороге. Ежегодное путешествие, совершаемое половиной людей из слободы, было пешим: сопровождение крестного хода из ближнего Иоакимовского монастыря до раки преподобного Вараввы — восемьдесят верст по степному тракту. Еще бывали путешествия на подводах — в ближние деревни на престольные праздники, где гости объедались грубой громадной пищей и иногда кончались.

В садах слободы что-то тихо брюзжало и наводило жуть. Ночные сады — страшное видение, и никто из жителей слободы там летом не спал, несмотря на свежесть воздуха. Днем деревья стояли зелеными и кроткими, а ночью ужасали трепетом своих фантастических кущ.

— На покой пора! — объявил Захар Васильевич и поднялся, чтобы закончить сегодняшний день.

Филат лег на дворе у сарая — на куче травы, которую он заготовил впрок на все ночи у Захара Васильевича.

Ни одна слободская усадьба уже не жила наяву — все почивали или, шепча молитвы, укладывались.

Филат до тех пор смотрел на непонятные звезды, пока не подумал, что они ближе не подойдут и ему ничем не помогут, — тогда он покорно заснул до нового, лучшего дня.

3

Там, где Ямская слобода кончалась порожним местом, на которое валили без спросу

всякую житейскую чушь, стояла старая хата вольного мастерового Игната Княгина, по-уличному — Сват. Хата имела одну комнату и одного жильца.

— Женись! — приставала многосемейная слобода к каждому холостому человеку — и к Свату. — Не торчи перстом!

— Я те женюсь! — отсекал подстрекателю Сват. — Я сам человек со значением — на что мне бабье потомство!

Сват был пришедший человек, а не здешний. Поэтому ему досталась нежилая хата на слободской свалке, где до него жили женатые нищие; но Сват их живо выселил, и побирушки рассеялись неизвестно куда, а в слободе сразу извелось нищенство.

Такой энергией Сват сразу привлек к себе добродетельных домовладельцев из слободы, и те больше не боялись ставить молоко в сенцах. А раньше, бывало, нищие ходили и самовольно выпивали это молоко, поставленное к обеду, и еще многое подъедали, не для них приготовленное. Понятно — это нехороший порядок, и хозяева развели собак на каждом дворе, но собаки постепенно привыкли к нищим и не лаяли на них.

Тогда явился Сват и лишил главных нищих жилого призора, отчего они, не ожидая зимы, выехали в дальнейшие южные города.

Слободская свалка, составлявшая как бы усадьбу дома Свата, была знаменитым местом. Сам дом Свата был тоже когда-то свалочным жильем без оконных рам, без печки и без потолка: одни стены и редкая железная крыша. Дом некогда принадлежал неизвестному бобылю, теперь давно умершему. Слободской староста определил цену этому беспризорному недвижимому имуществу в восемь рублей сорок три копейки, но в казну поступают имения лишь дороже десяти рублей — так дом и остался ничьим, а впоследствии им овладели нищие. Сват хотя и изгнал нищих, но уважал их за одно, что они привели дом в жилой и гожий вид.

— Да это делалось не от ума, а от зимней вьюги! — объяснял он себе домовитость нищих.

Однако выселенные люди ушли не сразу, а месяца два громили по ночам окна камнями и поджигали деревянную дверь. Но Сват одиноко выдерживал осаду, а на заре, когда нищие уставали от штурма и засыпали на близлежащих кучах мусора, Сват делал вылазку. Он не мстил обездоленным, а только заставлял их исправлять ошибки неразумного поведения.

— Клюшник! — подходил Сват к которому-нибудь сонному нищему: он их всех изучил поименно. — Расшивай рублевку — ты оконную раму повредил!

Клюшник сразу догадывался, в чем дело, и поэтому никак не мог проснуться. Баба его давно проснулась и хлопала глазами от ужаса, а муж ее лежал и притворялся, изредка бормоча не относящиеся к делу слова. Сват стоял и терпеливо предлагал Клюшнику уплатить рубль. А нищий то откроет глаза, то закроет — и ничего будто не понимает. Тогда Сват брал где-нибудь строительный кирпич и швырял им молча в голову нищего, но так ловко, что кирпич только обжигал воздухом ухо, а в голову не попадал.

— Расшивай рубль, сатана! — грозно гремел огромный Сват.

Жена нищего, визжа и приговаривая, вскакивала и расшивала из захолустий юбки рубль. Сват, получив причитающееся, отставал и уходил разыскивать в кучах следующего должника.

Наверно, Сват был раньше метким солдатом или фокусником на деревенских ярмарках, что так ловко и безвредно мог бить в опасные места.

Отучив нищих, Сват занялся беспримерным делом: отысканием в свалочных кучах драгоценных вещей. Только чужому, приблудному человеку могло прийти в голову такое соображение. Ямская слобода жила так бережливо, что стаканы оставались целыми от деда и завещались будущим людям. Детей же били исключительно за порчу имущества, и притом били зверски, трепеща от умопомрачительной злобы, что с порчей вещей погибает собственная жизнь. Так, на потомственном накоплении — только и держалась слобода. Но Сват не знал, что в слободе люди живут не заработком, а жадностью, и надеялся сыскать на свалке кое-что общеполезное, чтобы сбывать и кормиться.

Прокопавшись с неделю, Сват догадался, что ему надо или бежать отсюда, или умирать с голоду — в отбросах скупости не попадалось драгоценных потерь. Все-таки Сват надеялся хоть на что-нибудь и рыл руками кучи, изучая в точности каждый предмет. Но кости были обглоданы так чисто, словно обожженные, и так тонки, точно принадлежали курице, поэтому их не брали сборщики костей и тряпок; несомненно, что и эти кости предъявлялись сборщикам и пошли на свалку только после неоднократных отказов их.

Тряпичная ветошь дымилась на пальцах и явно не годилась больше ни в какую отделку. Неведомый прах сыпался в горстях Свата, тоже ничем его не привлекая.

В ветренные дни все это забвенное дерьмо пылило и осаждалось где-нибудь по ту сторону хозяйственной жизни человека. Но Сват не успокоился: он выпросил у одной вдовы огромное прямоугольное сито — принадлежность веялки — и начал сквозь него просыпать все кучи по очереди. Оставшиеся сверх сита предметы он, не изучая, относил в домашний угол, а по вечерам рассматривал добычу. Первый вечер не принес ему никакого утешения: в добыче значились куски твердого закоснелого кала, изжившие себя мочалки четверть подошвы от валенка, какая-то жестяная зазубринка в два зуба, махор с чепца или камилавки, два камушка, веточка с сухими ягодами — «бесево» крошево бутылочного стекла, окамелок веника, птичье гнездо и многое иное но равно дешевое.

Сват в задумчивости сидел до полуночи, а к заре окончательно поник от беспросветной нужды.

— Буду шапки делать — скоро осень! — сказал он себе утром. — Может, что выйдет! В слободе шапок не готовят, а в городе они дороги, а я по дешевке их буду шить из старых валенок, абы голову человеку грело!

Днем Сват ходил в город — продал сапоги и зипун, — а под вечерний благовест уже был в слободе. За плечами у него держался мешок, в руках палка от собак, а в кармане четыре рубля и два гривенника.

— Валушки ношеные, старые, чиненые здесь покупа-аю! — кричал Сват чужим голосом и озирался на окна и калитки.

Часа два ходил Сват с одной и той же песней — и все зря: ничего не купил. Только раз высунулась из ворот баба в нижней юбке и с намыленными руками:

— А расколотые утюги не берешь?

— Нет! — сказал Сват.

— А чего же ты берешь?

— Валенки!

— Так кто ж тебе их продаст, на зиму-то глядя! У-у, бестолковый пралич! Ты б утюги брал аль вьюшки печные чинил!..

— Того не надо мне! — говорил Сват. — Иди стирай подштанники, а меня не учи: я сам ученый, сученый, крученый, моченый, печеный, драченый… Валушки ношеные, старые, чиненые — здесь покупа-аю!

Баба пучила на проходимца одеревенелые, напуганные глаза, а потом в сердцах хлопала калиткой.

«Хлеб только собрали — какая же зима? — думал Сват. — До чего ж тут народ заботлив — вперед времени идет!»

Филат с Захаром Васильевичем в это время закончили плетень. Но чтобы работнику вышел полный день и оправдать его ужин, Захар Васильевич нашел дело:

— Филат, прочеши плетень, чтобы он не пушился, а потом к Макару сбегаешь за ведром — он ушко приделал!

Филат пошел вдоль плетня, чтобы вправить внутрь торчащие хворостины, а иные лишние изъять прочь. Плетень от такой правки получался ровный и плавный, а каждый свиток прутьев лежал уместно. После такого дела Филат надел валенки, чтобы не бередить израненных плетнем ног, и тронулся к Макару.

Сват к этому часу купил пару валеных опорок и шел знатной походкой.

К такой походке его располагало плотное, стройное тело и выправка прежней,

неизвестной жизни. От радости первой удачи Сват неугомонно орал свой призыв к продаже валенок.

Филат шел навстречу ему враскорячку — он никогда не служил в солдатах и не видел в жизни ничего строгого, точного и мощного.

— Скидай валенки, Филат! — сразу предложил Сват и стал в уме определять цену.

— Для чего, Игнат Порфирыч? У меня ноги в ссадинах, а от худобы желваки пошли!

— Что ж ты худой такой? — серьезно спросил Сват и положил наземь мешок. — Некормленный, что ль, живешь или сам больной?

— Да я, Игнат Порфирыч, к вечеру слабну, а по утрам встать не могу…

— Говядину-то часто ешь, сны по ночам видишь? — снова спросил Сват и с мрачной задумчивостью оглядел всего Филата.

— Снов я не вижу, Игнат Порфирыч, мне думать не о чем, а говядину хозяева сами едят — ее не укупишь, говорят, — а мне овощ порцией дают!

— Ишь сволочь какая! — не со злобой, а с горем проговорил Сват. — От овоща в человеке упора нет!.. А там, черти-дураки, кровь проливают…

— Где? — спросил Филат, и глаза его засочились от чужого участия.

— Где — не на бабьей бороде: на войне! Слыхал ты что-нибудь про войну иль тут анчутки живут?

— Слыхал, Игнат Порфирыч! У меня в теле недомерок есть — бумагу на руки дали, так и хожу с ней — боюсь заховать куда-нибудь. А по нашей слободе мужиков мало забрали: кто на железную дорогу учетником стал, а кто белобилетник.

— Знаю, тут ямщики живут — екатерининские помещики! Им что: мужик к зиме всего доставит!

— Это правильно, Игнат Порфирыч, осенью обозами прут!

— Ну, ладно, черт с ними! — закончил беседу Сват и после молчания кратко определил население Ямской слободы: — Глисты в мужицких кишках — вот, кто твои хозяева!

Филат не сообразил, но согласился: он не считал себя умным человеком.

— Ты кроток, но глуп — не особенно! — успокаивал Филата Сват.

— Да мне что, Игнат Порфирыч, весь век одними руками работаю — голова всегда на отдыхе, вот она и завяла! — сознался Филат.

— Ничего, Филат, пущай голова отдохнет, когда-нибудь и она задумается! — говорил Сват и шумно выдыхал воздух, скорбя всею грудью. — Ты у кого работаешь-то сейчас?

— Да у Захара Васильевича нынче плетни кончили в саду, а завтра пойду по дворам напрашиваться!

— Ты вот что — приходи ко мне шапки шить, а там видно будет!

— Аль ты умеешь? — усомнился чего-то Филат.

— Можем. А ты поймешь?

— И я справлюсь! — подобрел Филат и пошел наконец к Макару за ведром. А Сват тронулся дальше опрашивать слободу насчет валенок.

Два человека сидели на земляном полу в хате Свата и ладили из стволов валенок зимние шапки. Работали они уже целую неделю, а сделали всего четыре шапки. На обед им шли хлеб, огурцы и капуста, но они были довольны; только от скуки дикого ландшафта свалочной пустоши и какой-то тесной темноты в сердце Свату иногда казалось, что солнце навсегда померкло и он проверял его взором в окно, а солнце заходило за облачко, освобождалось — и вновь светило.

— Перетерпело, сволочь! — говорил о солнце Сват. — Вот, подлюка, над всякой жизнью светит — ничего не ценит: хуже скота!

Вечерами они не отдыхали — Сват спешил к Успенской ярмарке, чтобы хоть немного выручить денег и облагородить себя и Филата в одежде.

Когда становилось по-ночному темно, Сват кончал первым и говорил:

— Будя, Филат, — ноги свело, в душе морщины пошли! Достань из мешка хлебца — пожуем, и аминь!

В слободе шел густой сон, даже пар над домами поднимался, но это часто и тихо дышала земля, выгоняя дневные человеческие яды.

Сват любил перед сном постоять на крыльце и поглядеть ночной мир. Он видел, как внутрь огромного туловища земли уходило ее гремящее, бушующее сердце и там во тьме продолжало трепетать до утреннего освобождения. Свату нравилось это ежедневное событие, а ничего удивительного не было.

Спали они жутко — от усталости и общей тяжести жизни.

4

Подружился Филат со Сватом теплее кровного родства и думал навек остаться у него шапочным сподручным, если Сват преждевременно не прогонит.

Зато без Филата на слободе многие дела пришли в запустение: поздно обнаружилось, что Филат был единственным и необходимым мастером, способным пользовать всякое дворовое хозяйство. Другого такого кроткого, способного и дешевого человека не было. Иные хозяйки приходили к Филату на свалку и стучали в окошко.

— Филатушка, ты бы зашел: крыша мочится, в самоваре решетка провалилась!

По доброте сердца Филат никому не мог отказать.

— Как управлюсь — зайду, Митревна! В воскресенье жди обязательно.

Сват обижался на сговорчивость Филата:

— Чего ты этих юбошниц приучаешь? Мало они тебя порцией овощи кормили! Дурной идол!

Раз зашел Захар Васильевич, оглядел шапочное занятие и попросил.

— Зайди, Филат, жена двоих снесла — не знаю, куда деваться! — И ушел, не услышав по глухоте ответа Филата.

— К этому сходи! — сам сказал Сват. — Человеку действительно трудно!

В воскресенье Филат явился к Захару Васильевичу. Бледная, омертвевшая хозяйка лежала на деревянной кровати, на которой от клопов в обыкновенное время не спали. Филату стало жалко хозяйку, и он молча глядел в ее тонкое, благородное лицо.

— Ты что, Филат? — мучительным шепотом спросила хозяйка. — Пришел?..

— Пришел, Настасья Семеновна… Может, вам помочь нужно…

— Ах, мне ничего не надо, Филат. Спроси у Захара!

Филат почувствовал стеснительную неловкость от своего бесполезного участия и ушел из горницы. Ему было чего-то жалко и совестно, как будто он повинен в мучении Настасьи Семеновны. Тело его ломило от нервной боли, и он горел от непонятного тягостного стыда, какой случался с ним в ранней молодости. Он никогда не искал женщины, но полюбил бы страшно, верно и горячо, если бы хоть одна рябая девка пожалела его и привлекла к себе с материнской кротостью и нежностью. Он бы потерял себя под ее защищающей лаской и до смерти не утомился бы любить ее. Но такого не случилось ни разу — и Филат волновался и трепетал сейчас от чужой брачной тайны.

Захар Васильевич ходил добрым и негромко указывал:

— Филат, наноси воды на ночь!.. Курам не забудь пашенца дать к вечеру!

Филат и сам следил за всем в такой день. В неугомонной суете ему всегда жилось легче: что-то свое, сердечное и трудное, в работе забывалось. Про это и Сват однажды сказал:

— Работа для нашего брата — милосердие! Дело не в харчах — они надобны, но человека не покрывают! В работе, брат, душа засыпает и нечаянно утешается!

И Филат нынче с яростью мел двор, сделав все остальное, о чем мог догадаться. Захар Васильевич выходил редко — все сидел в горнице около жены. Это тоже почему-то радовало Филата. «Сиди, брат, — думал он, пыля метлой, — я уж тут сам управлюсь, я один, а вы — двое: не обижай жену!»

До полночи бродил по двору Филат, следя за тишиной и порядком, но все давно

замерло, только одна наседка квохтала на яйцах в сарае.

Что-то тревожило Филата и настораживало на бдительность, но из дома ничего не слышалось, — наверно, Настасья Семеновна уснула и восстанавливала свои силы, истекшие с родовыми кровями.

Утомившись, Филат постелил под дворовой сиренью свой старый пиджачок и склонился ко сну, но спал так чутко, что слышал над головой ход и дрожание ночи. Где-то на слободских пустырях неугомонно брехала собака, ей издалека и одиноко отвечала другая — и лай их жалобно и безответно тонул в густоте тьмы. Филат слышал лай сквозь толщину померкшего медленного сознания, но звук был такой тонкий и грустный, будто шел из неизвестного потерянного мира, — это успокаивало Филата, и он не просыпался. Сиреневая ветка шевелилась над самыми глазами Филата, но ночь лежала плотно и не трогала спертый воздух: ветка колебалась сама — от Древесной жизни и внутреннего беспокойства.

Проснулся Филат на ранней крепкой заре — через сени было слышно, как в горнице судорожно плакал ребенок Настасьи Семеновны, в первый раз от рождения. Филат сейчас же поднялся на ноги и пошел по двору, прислушиваясь к странному, жалобному крику.

Скоро ребенок плакать перестал — Настасья Семеновна чем-то материнским ублаготворила его, — и наружу вышел Захар Васильевич с равнодушным, измученным лицом.

— Филат! — сказал он. — Ставь самовар — теплая вода нужна, а позже на базар сходишь и в аптеку!

Филат с особой цопкой ловкостью начал щеплять лучинки, радуясь своей полезной работе для Настасьи Семеновны и цветущему будущему дню.

Слободские жители тоже поднялись и бродили по дворам в поисках разных житейских вещей. Они еще зевали, чесали глаза и жмурились от настигавшего их расцветающего солнца. В этот ранний прозрачный час у каждого человека в груди томится восторг, но позже — часам к десяти — у радости вышибается дух домашним остервенением и злобой всяких забот. На третий день Захар Васильевич назначил крестины, но с полудня отказал Филату в работе, так как пришли две кумы, которые одни смогут управиться в хозяйстве.

Филат взял пиджак, подвязал веревочкой подошву к валенку и пошел на свалку к Свату. Настасья Семеновна сидела в горнице и тюлюлюкала своих двоешек, а около окон с улицы стояли озабоченные бабы и шептались о таком событии.

Для Свата и Филата зима бы прошла плохо, если бы они не были так дружны. А для слободы она тянулась долго и худо: война звала мужчин, а жены вдовели и тосковали. Но пропадало народу не так много: вблизи слободы уже лет десять строилась и чинилась какая-то железная дорога — и там укрывались люди от военной службы.

Захар Васильевич тоже поступил кровельщиком на железную дорогу и с утра уходил на работу, набирая в мешок харчей. Труд, видимо, томил его, и он жил с осунувшимся, оскорбленным лицом.

— Игнат Порфирыч, а почему вы не на войне? Вон малый у Гладких — такая худоба, и то забрали! — спросил однажды днем Филат у Свата.

— Э, куда ты вдарил, браток! — хитро засмеялся Сват. — Я человек на исходе: у меня контузия в голову — помаленьку с ума схожу!

Филат открыл рот и сказал:

— А-а! А с виду вы человек умный, Игнат Порфирыч!

— То-то я и шапки с тобой из ветошек леплю — вошь на чужой башке утепляем! А был бы дурак — я бы в окопах под царем и отечеством лежал.

Филат опять открыл рот, но не сообразил, что дальше спросить.

Вечером, укладываясь спать. Сват сам сказал с попонки:

— Я, Филат, ушел с войны по своему желанию! Дюже там скорбно, и своя жизнь делается ни к чему. Только ты никому зря не сказывай!

— Да мне что, Игнат Порфирыч! — испуганно и поспешно ответил Филат. — Ай мне

нужно? Только вы сами напрасно кому не скажите, что мне открылись! А то мне первому достанется!

— Что ж я, сам на себя буду, что ль, наговаривать, курья твоя башка? — зычно обиделся Сват и разжег потухшую цигарку.

И весь разговор забылся.

5

Рано смеркались серединные дни зимы, бесшумно и забыто лежал снег на равнине. Ямская слобода жила — не дышала, а Сват и Филат с прежней неукротимостью шили шапки, хотя чувствовали, что скоро шапкам конец и чем тогда заниматься — неизвестно.

— Пойдемте, Игнат Порфирыч, в ночные сторожа — в колотушечники! Милое дело — ночью караулить, а днем отдыхать! Только пока Прохор с Савелием не помрут, нас не возьмут — они давно живут в колотушечниках и их слободской староста любит!

— Нет, Филат! — заявил Сват. — Я в твои колотушечники не пойду. Лучше я буду днем в пустую бочку суковатой палкой задаром колотить, з в сторожа не пойду! Я еще свежий мужик, что ты меня в старики сдаешь? Мы еще обождем!

Шапочная работа еще кое-как шла, и сбыт был. Обыкновенно покупали шапки дальние мужики, но дело уже клонилось к весне, и шапки можно было брать только в солку, впрок, до будущего года. Несмотря на усердие в работе и экономную пищу, Сват и Филат ничего не заработали в запас, так что после шапок хоть дворы иди громить.

Заходит раз к шапочникам незнакомый мужик и спрашивает с порога:

— А картузы вы делать можете?

— Можем! — ответил Сват, чтобы завлечь человека.

— И козырек с глянцем сумеете сообразить?

— Можем и глянцу достать, если сто картузов себе купишь у нас! — сообщил Сват.

Мужик ехидно засмеялся и сел на лавку, опытно поглядев на шапочных мастеров. Он снял картуз, на котором был козырек без глянца, и сведущим голосом упрекнул:

— Черти-чудаки! Да разве глянцевого лаку теперь достанешь где — он из Германии раньше вагонами шел! Кого вы учите-то, вошебойщики? Я сам весь век картузник! А теперь будя дурака гладить, я и под картузом знаю, что находится!..

Загадочный мужик так чего-то разобиделся, что не мог смирно сидеть, и начал рассматривать самый материал, из которого Сват и Филат делали свои незавидные шапки.

— Да разве это матерьял? Это — злодейство! Чем вы мысль-то, чем вы голову-то человека защищаете? Ведь это же валенок — он же пот копит и когти прячет, а вы самую голову задумали им украшать! Черти, холуйщики!

Сват живо раскусил гостя:

— Слушай, друг, а ты не с фронта, — в голову не контужен?

Мужик немного смирился:

— Оттуда… Газом в ум шибануло! Отпущен околевать домой. Все равно я без глянца работать не могу — туманный козырек ореола голове человека не дает! Как же можно?

— Мы сейчас есть собирались! — сказал Сват. — Садись, солдат, покушать!

— Давай, если угощаешь! — согласился гость. — Только достань мне молочка — хлеб макать; я тюрю такую дома едал и страсть соскучился по ней…

— Достанем и молочка тебе! — добрым голосом угощал Сват. — Чего-чего, а молочко есть! От станции-то пешком домой прешь?

— Конечно, пешком! — без обиды и тихо сказал гость. — У солдат, откуда деньги? А даром кто меня повезет?

Прошел день, ночь, и новый день уже постарел, а гость обжился и позабыл уйти, хотя башмаков не снимал. Он присел к Филату и умело кроил валяный материал. Сват не препятствовал хорошему человеку, только окорачивал его в еде. Действительно, гость кушал

очень лихо и терял рассудок от аппетита, так что Филату мало доставалось.

— Уйми жвало, едок! — говорил Сват гостю. — Тут не ты один кормишься! Ишь, всю кашу в один мах пробузовал!

Гость немного укрощал себя, а потом снова забывался и потел от напряжения скул.

— Ты, должно быть, в работе горазд, раз есть так можешь? — спросил Сват.

— Ну, еще бы! — подтвердил гость. — Весь на мускуле стою — по семь дней на фронте черепа, не спавши, крушил! Меру картох с товарищем в присест съедал!

— А на шитье-то ты усидчив? — любопытствовал Сват.

— Это для меня пустота! — заявил гость. — Это я могу неотлучно неделями сидеть, лишь бы, хлеб рядом лежал!..

В слободе кротко звонили к вечерне, а три друга утомлялись за работой. Чтобы перебивать усталость, Сват время от времени пытал гостя:

— Ну а что ж ты у нас обосновался? Аль у тебя родных нет?

Гость спохватывался и сообщал:

— Была жена да теща: жена ребенка заспала и сама удушилась на полотенце, а теща теперь на паперти с рукой стоит! Вот я теперь и тоскую сам с собой: сын бы нужон мне, да жены сразу не сыщешь.

— Зачем тебе сын? — удивился Сват. — Ты сам хлеба не ешь — мученика хочешь родить?

— Ну а то как же? — ничего не понимал гость. — Мне теперь не жить, и никому не цвесть — то война, то забота, — нет ничего задушевного. А сын малолетства не запомнит, а вырастет — тогда будет хорошо…

Сват сомневался:

— То никому не известно! Может, тогда еще больше увечья будет!

— Нельзя, я тебе говорю! — злобно заспорил гость и встал с пола. — Немыслимое дело! Я только молчу, а у меня с горя сердце кровью мокнет! Я весь заржавел от скорби — не знаю, куда мне деться! Ты думаешь — я с радости у тебя на пол сел за твои шапки, дырявая голова!.. Я на фронте был — там народ поголовно погибает, а ты говоришь, что сын мой еще больше увечиться будет! Да разве я дам его какой сволочи! Разве я пущу его на такое мученье, хамское ты отродье, дурак заштопанный? Да я горло гнилыми зубами по швам распущу за такое дело — любому сукину сыну в полмомента!..

Сват сидел и улыбался, довольный, что задел гостя за живое нутро. А гость подышал немного, собрал разбежавшиеся от возбуждения слова и снова принялся бить:

— Бабьи ублюдки, недоноски чертовы! Выдумали царя, веру, запечатали сверху отечеством и бьют народ, чтоб верность такой выдумки доказать! Явится еще кто-нибудь — расчешет в культяпой голове иную выдумку и почнет дальше народ замертво класть! А это все чтоб одной правде все поверили! Да будь вы прокляты, триединые стервы!

Гость плюнул жидкими слюнями и треснул по плевку австрийским опорком.

Сват тянул дым из цигарки и весь светлел от удовольствия:

— Верно, друг, правильно! Живи у нас теперь задаром — я не знал, что ты такой!

Филат тоже радовался новому человеку и заговорил от себя:

— У кого есть родня дома, тот скучает на войне… А жена с сыном жальчей всех ему…

Загостивший солдат обратил внимание на Филата и, заметя его слова, открыл свою новую мысль:

— Царь и богатые люди не знают, что сплошного народу на свете нету, а живут кучками сыновья, матери, и один дороже другому. И так цопко кровями все ухвачены, что расцепить — хуже, чем убить… А сверху глядеть — один ровный народ, и никто никому не дорог! Сукины они дети, да разве же допустимо любовь у человека отнимать? Чем потом отплачивать будут?

Гость говорил и жадно шевелил пальцами, как будто лепил руками теплые семьи и сплачивал родственников густой нераздельной кровью. Под конец он успокоился и тихо сообщил:

— Дюже много люди умственно соображают — это всем бедам беда…

— Да что ты, друг! — чуть ухмыльнулся Сват. — А я думал, ум нам в нужде помощник!

Гость подумал дальше:

— Когда помощник, то хорошо, а то его на жадность тянет — вот где горе! Человек бросится, а поперек дороги сердечное чувство лежит, его и потопчут! А после вернутся и плачут…

— Оставайся! — окончательно сказал Сват. — Проживем и втроем — не объешь!

Гость сейчас же стал разуваться и протяжно вздохнул, как дома. В первый раз он оглядел все жилище и нашел его удобным, потому что почувствовал такую усталость, которую не выспать за многие ночи подряд.

— Ишь! — сказал Сват ночью, когда гость спал. — Благородные люди Думают, что мы рожаемся да жрем, а он вон живет и мучается, и в голове У него бурчит…

Филат дремал и думал о госте, что тяжко ему было сына и жену хоронить, — хорошо — у него нет никого, — и, не осилив себя, заснул.

Ночи понемногу кратчали, а нужда шапочников длиннела — товар перестали брать. Снег начал отапливаться солнцем и желтел от проступавшего прошлогоднего навоза. Иногда дни сверкали лучше летних — белизна замороженного снега в упор сопротивлялась солнечному огню — и чистый воздух остро мерцал от колкого холода и тягучего тепла.

Слобода жила зажмурившись — война подсушила благополучие ямщиков, и люди не хотели в такое время замечать роскошь новой весны.

Захар Васильевич тщательно работал на железной дороге и боялся одного — снятия с учета и отправки на фронт. Два мальчика его росли но отец любил их грубо, ничем не баловал и не ласкал.

А Настасья Семеновна обмирала о детях и так боялась за своих первенцев что постоянно мучила их лекарствами, трепеща до ужаса от детского поноса.

Макар шорничал и любовно готовился к летнему кузнечному ремеслу заранее вкушая прелесть открытых летних дней. Прочие люди также жили толково, каждый надеясь на что-нибудь лучшее и легкое.

Сват радовался увеличению света и тепла на дворе, но немного кручинился и завидовал мертвым неподвижным вещам: им незнакома была забота о еде и благополучии, они жили в каком-то покое и полном отдании себя.

— Летом с голоду и нарочно не умрешь! — говорил гость Миша, узнав про заботу Свата. — Можно голубей бить, рыбки сходим наловим, зелени съедобной надергаем — вот и суп и уха, а на второе блюдо — гуща!

Однако Сват загодя отправил Филата на его прежний заработок в слободу.

— Хоть и жалко тебя, кроткий человек, и сдружились мы с тобой, но сам видишь — втроем невтерпеж, а Мише некуда деваться!

Второй день мастера уже ничего не делали, а нынче Миша сходил за хлебом на последний пятак и то не мог донести хлеб в целости до дома — весь по дороге исковырял и выел мякушко.

— Ну-к что ж! — сказал Филат. — Пойду по дворам наведываться — где-нибудь останусь! А к вам, Игнат Порфирыч, в другой раз буду побалакать приходить!..

6

Весна негромко проступала сонной мокрой землей на всяких вздутиях почвы. Филат шел и радовался, что у него есть знакомый — Игнат Порфирыч, и дом на свалках, куда можно всегда пойти.

Устроился он у Макара — доделывать четыре хомута и караулить кузницу, а сам Макар поехал по железной дороге наменять угля для горна. Многие люди в слободе говорили, что

нельзя достать необходимых вещей, но ни Сват, ни Филат, ни Миша ни разу не имели нужды в таком предмете, который бы пропал из продажи. Поэтому только в слободе Филат понял, что такое война и ее сосущая, обездоливающая сила.

Слобода от сырости и отсутствия ремонта вся побурела и скорбно глядела запавшими окнами, как человек впроголодь. Собаки похудели и ночью молчали. И все шло в какую-то прорву; даже Филату жалко стало, и он готов был работать за самую плохую еду. Но Макар оставил ему пищи достаточно, потому что зимой занимался нужным ремеслом, работал на мужиков и в пище себе не отказывал.

Макар не возвращался долго, и Филат скучал без дела — хомуты он давно пошил. Каждый день он ходил к Свату и Мише: тем совсем было худо, и они существовали только тем, что Филат приносил из своих остатков.

А Филат приносил не остатки, а почти все, что ему полагалось есть у Макара, а себе оставлял одну хлебную горбушку и четыре картошки.

— Да ты сам-то сыт? — спрашивал Сват. — Гляди, съесть нам немудрено, а ты ослабнешь!

— Не ослабну! — стеснялся Филат. — Работы сейчас нету, а на одно дыханье много есть не надо.

Сват обижался:

— Сообразил — дыханье! Ты погляди на Мишу: он тоже одним дыханьем занимается, а может сейчас любого зверя съесть!

— Могу! — лежа подтвердил Миша и вздохнул от аппетита.

Однажды Филат испуганно проснулся. В закоулке кузницы, где он спал, было так темно, что Филат чувствовал себя безопасно. Ночь за бревенчатой стеной укрыла слободу тихой чернотою и спрятала ее из мира до утра. Ничто внятно не тревожилось. Сонные ямщики, должно быть, не раз меняли отлежанные бока. Захар Васильевич говорил Филату, при починке плетня, что Настасья Семеновна как повернется ночью, так он летит на пол.

— Да Настя моя еще не так толста, а у кого баба толстая — вот кому горячка! — рассуждал и смеялся Захар Васильевич.

Но сейчас — совсем тихо; на улице нельзя услышать, как падают на пол мужья от ворочающихся, разопревших жен.

Вдруг Филат вздрогнул и приподнялся, а потом услышал — раз за разом — резкую, скорую стрельбу и смутный шум далекого страха.

Забывший сам себя, Филат никогда не видел окрестностей за околицей слободы, только помнил свою детскую деревню, где рос с матерью. Филату от работы некогда было опомниться и подумать головой о постороннем, — и так постепенно и нечаянно он отвык от размышления; а потом, — когда захотел, — уже нечем было: голова от бездействия ослабла навсегда.

Поэтому Филат сейчас задрожал и испугался от непонимания стрельбы. Про войну он знал, но вообразить ее не мог ни по каким рассказам Миши.

Стрельба утихла, зато явственно кричали люди. Филат догадался, что это на вокзале, и вышел наружу.

Небо вызвездило, и Филат внимательно оглядел его. В таком внимании к ночному небу жила старая мечта Филата — заметить звезду в то время, когда она отрывается с места и летит. Падающие звезды с детства волновали его, но он ни разу за всю жизнь не мог увидеть звезду, когда она трогается с неба.

Утром приехал Макар, — без угля и задумчивый:

— Царя давно нету — на железной дороге дезертиры бунтуют… А мы сидим — ничего не знаем: народ шпалы со станции тащит, паровозы, говорят, артелям будут раздавать.

Филату эта весть была такой чужедальней, что он не очумел от нее, как Макар, а только молчал от небольшого любопытства. Он смутно чувствовал, что плетни, ведра, хомуты и другие вещи навсегда останутся в слободе и какой-нибудь человек их будет чинить.

К вечеру, как управился, Филат пошел к Свату, но встретил его с Мишей по дороге. Миша-гость шел весело и нес целый хлеб, а Сват глядел сам не свой от скрытого душевного движения.

— Уходим, Филат! — печально сказал Сват. — Теперь прощай, раз слободе мы не надобны.

— Да — ишь сукины дети! — угрожал Миша. — Хамье чертово: завзяли землю, живут на покое, а ты никому не нужен — ходи, блуждай!

Проводил их Филат до вокзала и попрощался:

— Может, придете когда, Игнат Порфирыч, слободу проведать?

Филат глядел на отбывающих с покорным горем и не знал, чем помочь себе в тоске расставания.

Сват тоже растрогался и смутился. У конца пути он обнял Филата и поцеловал его колючими усами в шершавые засохшие губы, которые целовала только мать, когда они были младенческими. Филат испугался поцелуя и жалобно сморщился от нечаянных, непривычных слез.

— Но, обмокла баба, а то мужиком бы была! — уныло сказал Миша и потянул Свата: — Ну чего ты расстраиваешь человека, — он других людей найдет! Просто он блажной такой!

Филат не сразу пошел к Макару, а дал круг и в тоске добрел до свалки. Хата Игната Порфирыча стояла теперь порожняя и смирная, но Филату казалось, что и стены и окна скучали по ушедшим — и скорбели от одиночества. Живой, милой и дорогой осталась опустелая хата, пропахшая людьми, бросившими ее. Филат постоял, потрогал дверь за ручку — ее каждый день брал Сват; поглядел в поле — его видел Игнат Порфирыч; прилег на пол — здесь спали они всю мрачную зиму, — и отвернулся от душного отчаяния, которое нельзя было заместить никаким утешением.

Ежедневно ходил Филат к своей хате на свалке и издали смотрел на нее привязанными, нежными глазами. Он безрассудно ждал, что дверь отворится, выйдет Игнат Порфирыч с цигаркой и скажет:

— Заходи, Филат, чего ж ты на ветру стоишь! Я всегда тебе рад, кроткий человек!

По ночам на станции иногда стреляли, иногда нет. А слобода запасалась продовольствием, срочно стягивая все недоимки с мужиков за прошлогодний урожай. Захар Васильевич лично ездил в деревню к своему арендатору и наказывал:

— Время, Прохор, мутное, а ты мне пшена должен сорок пудов, вези, пока дорога заквокла, а то скоро распустит, тогда до самой фоминой недели не просохнет!

— Да я уж не знаю, Захар Васильевич, как и быть? — сомневался Прохор, не теряя учтивости в словах. — Говорят, будто земля теперь даром мужику отойдет и с недоимками дело терпится!

Захар Васильевич моргал от сердечного остервенения и слушал клекот своей разгневанной крови. Но говорил спокойно, чтобы осмеять мужика.

— Новая власть не дурей старой, Прохор! Ты не думай, — там дураков сменили, а помещиков поставили — теперь еще крепче земля в их руках жмется! Оно и верно: ты свой надел тоже даром соседу не откажешь! Революция — это одна свобода, а собственность тут ни при чем, — как была, так и останется!

— Надел — дело малое! — отвечал и раздумывал Прохор. — Не о нем теперча речь. А один солдат меня страшил, чтоб никак не сметь аренду платить, а то новая власть провалится и война вся сначала пойдет…

— Война не перестанет! — заявлял Захар Васильевич. — Война до конца германца будет идти! А о земле новых правое нету, Прохор, ты и думать забудь! А с пшеном не копайся, а то на будущий год на хутора землю отдам, — там народ посходней…

— Да это дело ваше, Захар Васильевич! А с пшеном не задержу; как телегу на ход поставлю, так и буду в слободе… Зря болтают люди, а мы подхватываем, а кто же его

знает, — как будет, никому не известно! Завтра на станцию пешим схожу — солдат поспрошаю!

— Вали, Прохор, поспрошай, ноги у тебя не казенные и башка своя — никому не жалко! — сердился под конец Захар Васильевич и прощался.

Ямщики в слободе загудели. Староста через день созывал сходы и направлял недовольство в законное русло:

— С фронта дезертирии окаянной прет видимо-невидимо: врага отечества свободно пускают внутрь православной земли! Что же теперь делать, православные, когда и мужик даже обнаглел и чужую землю самовольно хочет от владельцев отнять! Таких уставов, по-моему, в законе нету! Но чтоб усечь нахальное самоуправство, нам нынче же надоть всем чином послать бумагу в губернию, чтобы там знали, что делается, и всем под той бумагой полностью и понятно расписаться!..

Филат жил без охоты и усердия — без Игната Порфирыча у него не было никакого интереса. У Макара от смутного времени притихла всякая работа, и он скоро отказал Филату: сам, говорит, видишь — делать нечего, а вдвоем сидеть неважно — ступай по дворам!

7

Посреди слободы стоял двухэтажный старый дом. Около него колодезь, а у колодца круглый сарай — темница для лошади. В той темнице целый день лошадь кружилась на узком месте, таская деревянное водило. На водиле закручивались и раскручивались веревки, которые таскали бадьями воду из колодца. Вода сливалась в большой чан, а из чана напускалась в корыта. Из корыта крестьяне, приезжавшие в слободу на базар, поили лошадей по копейке с головы, а люди пили бесплатно.

В двухэтажном доме жил владелец колодца Спиридон Матвеич Сухоруков с женой Марфой Алексеевной и двумя детьми — мальчиками.

Филата Макар на прощанье сытно покормил, поэтому Филат зашел на колодезь воды испить. Но вода из чана не текла, а у двери темного сарая стоял Спиридон Матвеич и злобно глядел на прохожего.

— Колодца не копал, а пить хочешь, бродяжий сын! Подойди-ка сюда!

Филат подошел.

— Куда идешь? — спросил Спиридон Матвеич.

— Вышел работенки поспросить! — ответил Филат.

Спиридон Матвеич отошел сердцем:

— Бродите вы тут, материны дети, только землю зря ногами карябаете! Иди, я тебя к коню поставлю — мой холуй на деревню бунтовать ушел!

Филат очутился в темном сарае, где, зажмурившись, стояла худая лошадь.

— Чмокай на нее, чтоб она ходила! — сказал Спиридон Матвеич. — А сам наружу поглядывай: даром народ не пои — бери по копейке с воза, а с иного две!

Лошадь побрела по кругу, от натуги наливая кровью тощие жилы. Изредка она замирала и становилась: тогда Филат на нее чмокал — и лошадь дергала водило.

Шли темные часы, и Филата начала морить тесная и безответная тоска Он выходил наружу, слушал, как хлопают и опрокидываются в чан полные бадьи, и осматривал пустоту глухой улицы. Видно было просторное поле где светилась весна, но там ни один человек не шел. Филат грустно вспоминал Игната Порфирыча, но участь лошади, таскающей воду из колодца, была еще беспросветней — и Филату делалось от этого легче.

По ночам Филата клали в чулане, через стенку со спальней хозяев. Отвыкший спать в помещениях, Филат мучился от духоты и пугался потолка — ему казалось, что потолок снижается, как только он закрывает глаза.

Постепенно — навстречу лету — всходила трава и наряжалась в свои цветы молодости. Сады вдруг застеснялись и наскоро укрылись листвой. Почва запахла тревожным

возбуждением, будто хотела родить особенную вечную жизнь, и луна сияла, как огонь на могиле любимых мертвецов, как фонарь над всеми дорогами, на которых встречаются и расстаются люди.

Филат с жалостью гонял свою лошадь и задумывался в темном сарае. Лошадь к нему привыкла и ходила без понуканий, поэтому Филат целые дни сидел самостоятельно — без всякого дела, лишь иногда принимая копейки от мужиков-водопойщиков. В ленивом или бездельном человеке всегда вырастают скорби и мысли, как сорная трава по бросовой непаханой почве. Так случилось и с Филатом; но голова его, заросшая покойным салом бездействия, воображала и вспоминала смутно, огромно и страшно — как первое движение гор, заледеневших в кристаллы от давления и девственного забвения. Так что, когда шевелилась у Филата мысль, он слышал ее гул в своем сердце.

Иногда Филату казалось, что если бы он мог хорошо и гладко думать, как другие люди, то ему было бы легче одолеть сердечный гнет от неясного тоскующего зова. Этот зов звучал и вечерами превращался в явственный голос, говоривший малопонятные глухие слова. Но мозг не думал, а скрежетал — источник ясного сознания в нем был забит навсегда и не поддавался напору смутного чувства. Тогда Филат шел к лошади и помогал ей тащить водило, упирая сзади. Сделав кругов десять, он чувствовал качающую тошноту и пил холодную воду. Воду он любил пить помногу, она почему-то хорошо действовала на душевный покой — свежесть и чистота. Душу же свою Филат ощущал, как бугорок в горле, и иногда гладил горло, когда было жутко от одиночества и от памяти по Игнате Порфирыче.

В сарай часто забегал Васька — восьмилетний сын Спиридона Матвеича, охальный и умный мальчик. Филат его ласкал по голове и что-нибудь рассказывал. Васька тоже рассказывал, но особенное:

— Филат, мамка опять на горшок садится, а отец ругается…

— Ну, пускай, Вась, садится, она, может, больная и ветра на дворе боится! — объяснял Филат.

— Нет, Филат, она нарочно делает, чтоб отцу не продыхнуть: она такая блажная, — правда!

Филат начинал про другое — про Свата и Мишу-солдата. Но мальчик, послушав, опять вспоминал:

— Мать вчера чугунок со щами пролила, а отец ей как дернул рогачом по пузу… А мать кричит, что у ней краски тронулись, правда! Отец говорит: «Крась крышу, шлюха», — а мать не полезла на чердак, а легла на койку и плачет! Она всегда у нас притворяется!..

Филат мучился от слов мальчика и думал про себя: «Вот нас теперь трое — лошадь, я и мать мальчика». Тоскливое горе раскололось на три части — и на каждого пришлось меньше.

Однажды Васька прибежал рано утром и закричал:

— Филат! Иди погляди — мамка в сенцах опять села, а отец на дворе кулеш поел, нам ничего не оставил!

Филат успокаивал мальчика, но самому было нехорошо.

После обеда Филат пошел в дом — ему нужно было взять денег у Спиридона Матвеича на новую веревку для бадьи.

Из сеней он услышал дикий издевленный крик Васьки и шепчущий голос его матери, которая хотела, наверно, ублаготворить ребенка и не могла.

— Дай свечку, зараза! — кричал Васька грозные слова, как большой. — Кому я говорю?! Дашь или нет — долго мне дожидаться? А то сейчас самовар на пол свалю, подлая тварь!

Мать ему быстро и испуганно шептала:

— Вась, ну не надо, Вась! Я сейчас найду тебе свечку — ты же сам ее вчера всю сжег… Я пойду за хлебом — куплю тебе новую…

— А я тебе говорю — ты спрятала свечку, проклятая сатана! — хрипел Васька и шевелил что-то гремящее, должно быть самовар.

— Ну, Вась, у меня же нету свечки — я куплю тебе ее…

— А я говорю — дай сейчас же! А то — вот тебе…

За этим загремела медь, и полилась шипящая вода: Васька сволок на пол самовар.

— Я же тебе говорил, чтоб дала, а ты все не давала! — уже спокойно объяснил Васька происшествие.

Филат осторожно открыл дверь и вошел в кухню, чувствуя свое бьющееся сердце и срам на щеках.

На табуретке сидела молодая женщина и плакала, прижав к глазам конец кофты.

Васька сердито глядел на живой кипяток и не сразу заметил Филата, а когда увидел, то сказал матери:

— Ага! Ты что наделала? Я вот отцу скажу — самовар полудили, а ты его на пол! Пусть только отец придет — он тебе покажет!

Женщина молча плакала. Филат испугался больше сына и матери и забыл, зачем он пришел. Женщина торопливо взглянула на него одичалыми черными глазами и вновь спрятала их под веки. Она была худа и очень красива — смуглая, измученная, с лицом, на котором глаза, рот, нос и уши хранились, точно украшения. Неизвестно, как это все уцелело после родов, детей, мужа и такой губительной судьбы.

Другой мальчик, поменьше Васьки, сидел в углу и неслышно плакал вместе с матерью. Филат заметил, что он больше похож на мать — черный, с мягким настороженным лицом, будто постоянно ожидающим удара.

Спиридона Матвеича, очевидно, дома не было — и Филат без слов ушел.

В большие праздники Филат ходил либо к Макару, либо так просто в поле Макар говорил, что революция, как дождь, стороной где-то прошла, а Ямской слободы не тронула, и больше что-то ничего не видать и не слыхать: не то все кончилось, не то ливнем льет над другими местами.

— Да нам все равно! — беседовал Макар. — На всех богатства недостанет, а вот хлеба скоро не будет, тогда все само укротится!

— А на станции народ все едет? — спрашивал Филат.

— Едет, Филат! Дуром прет — вся война в хаты бежит! Да что ж, не без конца воевать — народ наболелся, теперь его не трожь!

Филат подолгу засиживался у Макара и все интересовался, пока тот не начинал зевать и указывать:

— Ты бы шел, Филат, нам с тобой сегодня отдых полагается, а то меня чего-то на немощь тянет!

Филат уходил и замолкал до будущего праздничного дня.

Зеленый свет лета уже смеркался и переходил в синий — свет зрелости и плодородного торжества. Филат наблюдал и думал о том, что скоро начнут снижаться такие высокие полдни, а лето постареет и станет коричневым, а потом желтым и золотым — таков цвет седой природы. Тогда слобода опять сожмется в домах и в четыре часа дня будет запирать свои ставни и зажигать керосиновый свет.

Слобода считала дни до уборки урожая и гадала — привезут аренду мужики или нет. Спиридон Матвеич был злой человек, изверг для домашней жены, но имел проницательный ум, когда беседовал с соседями у колодца.

Ямщики приходили к нему даже нарочно — спросить, что он думает о своей земле.

— Теперь земли у меня нет! — отвечал Спиридон Матвеич. — Мужики отъемом взяли — в расплату за войну…

— Да ведь правое-то новых еще не вышло, Спиридон Матвеич! — убеждал себя и собеседника ямщик. — Они хамством взяли, а не по закону!

Спиридон Матвеич мрачно осматривал голову говорившего, на которой остался лишь ободок волос. Он всегда наливался тяжелым гневом против глупости человека.

— Ты волос, должно быть, не от ума терял, а от греха, Ириней Фролыч! Хамство прячется тогда, когда сила царства его пугает, а теперь какое, к черту, у нас царство?

Паровозы и то хотели по деревням растащить, а то земля-земля — первая вещь!

— Значит, ямщикам смерть приходит? — смирно спрашивал Ирине Фролыч.

Спиридон Матвеич делался серьезным до печали.

— Умирать еще погодим, Ириней. Я думаю, расправа будет наша, а ихняя.

— А аренду-то ждать в нынешнем году аль в будущем?

— Совсем не жди! — говорил Спиридон Матвеич. — И думать забудь — ни с какой арендой мужик теперь не явится, сам чем-нибудь промышляй!

Филат слушал и начинал понимать простоту революции — отъем земли. В ямщиках он давно заметил злую скрытую обиду и большой тревожный страх. Но страх в них день ото дня рос, а злоба таяла и превращалась в смирное огорчение, потому что в мужиках происходило наоборот: обида выросла в злую волю, а воля вела войну с помещиками — пожаром и разгромом.

Ямщики думали, что и слободе несдобровать, но потом поняли, что они — мелкие землевладельцы, а у мужиков и без них много хлопот.

Филат стал сосредоточенней глядеть по сторонам, хотя ничего легкого для себя не ждал. Он знал, что ворота для него нигде сами не откроются и зимой опять придется лютовать — еще хуже прошлогоднего: тогда хоть Игнат Порфирыч был. Но втайне Филат чувствовал какую-то влекущую мысль: он надеялся, что если выйдет из слободы, то с голоду не пропадет, а раньше бы пропал. Постоянный скрытый страх за жизнь, с годами превратившийся в кротость, рассасывался внутри сам по себе, а сердце все больше разогревалось волнующими первыми желаниями. Чего он желал — Филат не знал. Иногда ему хотелось очутиться среди множества людей и заговорить о всем мире, как он одиноко догадывался о нем. Иногда — выйти на дорогу и навсегда забыть Ямскую слободу, тридцать лет дремучей жизни и то невыразимое сердечное тяготение, которое владеет, наверное, всеми людьми и увлекает их в темноту судьбы.

Филат не мог, как все много работавшие люди, думать сразу — ни с того ни с сего, он сначала что-нибудь чувствовал, а потом его чувство забиралось в голову, громя и изменяя ее нежное устройство. И на первых порах чувство так грубо встряхивало мысль, что она рождалась чудовищем и ее нельзя было гладко выговорить. Голова все еще не отвечала на смутное чувство, от этого Филат терял равновесие жизни.

В дом Игната Порфирыча Филат ходил редко: там вновь поселились нищие и беженцы, которые даже свалочную площадь сумели загадить. Но тоска по утрате друга у Филата теперь заросла грустным воспоминанием, почти не мучительным. Дом же привлекал не одной памятью о прошлом, но и звал уйти за теми, кто ушел из него. Этот дом как-то обнадеживал и радовал Филата и облегчал его время в слободе, будто то были последние дни, которые можно прожить как попало.

8

Осень вступила по мягким осыпавшимся листьям и долго хранила землю сухой, а небо ясным. Очищенные от хлеба поля казались прохладной пустотой, и над ними реяли невидимые волосы паутины. Небо сияло голубым дном, как чаша, выпитая жадными устами. И шли те трогательные и потрясающие события, на которых существует мир, никогда не повторяясь и всегда поражая. Ежедневно человек из глубины и низов земли заново открывал белый свет над головой и питался кровью удивительных надежд.

Филат любил осень — в противоположность страху рассудка перед зимой. Ему казалось, что небо выше, воздуха больше и дышится легче. И в этом году он созерцал знакомую и новую осень, чуть прислушиваясь к заботам ямщиков. А ямщики не столько заботились, сколько слушали, что делается на свете и передавали друг другу. Они еще верили, что революция — дурацкая сказка, и не боялись ее.

Сначала говорили, что земля обратно отходит к ямщикам — вышел новый крепкий закон, — и германца начали бить снова. Потом это забылось, и мир где-то бушевал молча, не

доходя до слободы своим голосом.

Ямщики целой толпой ходили на станцию и спрашивали у стрелочника — не пора ли разбирать пути и все вокзальное имущество делить по народу. Стрелочник сказал, что пока надо погодить, но того не миновать — когда выйдет срок, он прибежит на слободу и скажет. Ямщики взяли из штабеля по шпале на двоих и пришли домой, немного обрадовав жен таким приобретением. Они особенно бывали довольны, когда удавалось что-нибудь получить задаром хотя бы даровые предметы и не приходились к хозяйству. Покупать же ничего не любили — им всегда казалось, что цена дорога. Это вышло исстари и уложилось в характере. Ведь вся годовая пища привозилась ямщику бесплатно мужиком, как аренда за землю, а дома были собственные; зато одежда служила причиной горя и семейных разладов, потому что она по необходимости, хотя и изредка, покупалась за деньги.

Старушки в одно воскресенье собрались после обедни на паперти храма и тронулись за околицу. Они заранее запаслись мешочками с постной пищей, уговорились с батюшкой и вышли шествием на Иоакимовский монастырь. Филат ходил на край слободы — получать с одного ямщика долг за хозяина, но не получил — ямщик был одинокий вдовец и ушел в монахи, отказав усадьбу теще. Филат увидел толпу бредущих старух и испугался их, как своей беды. Старухи шли с шепотом, распустив жидкие мертвые волосы. Их ноги скорбели в густом песке, и они поднимали юбки, чтобы не пылить, показывая худую остроту холодных ног. Священник шел впереди и отвлекал лицо от спутниц: он был еще не стар, но жизнь его запугала. Старухи спустились в слободской лог и скрылись за кустарником. Филат поглядел на следы самодельных мягких туфлей и вспомнил почему-то гробы на чердаках, которые очень старые ямщики всегда готовили себе впрок и бережно хранили. Зато женщины, несмотря на старость, никогда преждевременно гробов не заказывали и погибали в старых подвенечных платьях.

Ямщики-солдаты, которые остались живы, все вернулись домой и по-разному рассказывали о революции: кто объяснял, что это — евреи восстали и громят все народы, чтобы остаться одним на земле и целиком завладеть ею, а кто говорил, что просто босота режет богачей и надо бросить слободу и бежать грабить имения и города, пока там осталось кое-что.

Пожилые ямщики увещевали людей молиться и ссылались на Библию, где нынешнее время до точности предсказано, и — надо только молиться с таким усердием, пока кровь не пойдет вместо пота, — тогда человек обратится в дух.

— А ты попробуй — помолись до крови! — говорил такому проповеднику Спиридон Матвеич, хитро подразумевая что-то про себя. — А мы поглядим, лучше ли станет твоему духу, когда жизнь пропадет!

— И попробую, и облегчусь! — исступленно отвечал пожилой ямщик. — А ты посмотри себе в сердце — ай тебе люба нынешняя жизнь: ни сыт, ни голоден, народ поедом ест друг дружку, царя испоганили, самого бога колышут… Ты погляди — ведь над тобой твердь дрожит!..

Спиридон Матвеич смотрел на твердь:

— Твердь ничего не дрожит: ты думаешь, есть когда богу такой суетой заниматься? Ишь ты, важный какой — бог только и следит за тобой!

— Я — не важный собой, да душа во мне есть — господнее имущество! — серчал и волновался старик.

— Не показывай тогда этого имущества никому — придет мужик или босяк и отымет: ты знаешь нынешнее время?

Спиридон Матвеич уже бедствовал с семьей — это видел Филат. Но он был самый умный в слободе и без раздражения терпел, раз не было спасения. До войны он держал большую лавку и прочно богател, но лавка сгорела вместе с домом. Спиридон Матвеич выдержал нужду, продал половину земли — спешно отстроился заново и купил колодезь. Говорят, на пожаре у него задохнулась дочка от первой жены и он сам преждевременно

бросил тушить двор, не видя смысла в имуществе без дочери. С того же года у него затмилось сердце — к людям он стал относиться резко и невнимательно, как к личным врагам.

Теперешнюю жену Спиридон Матвеич любил — Филат видел его скрытые заботы о ней, — но никогда не мог сдержать безумного нрава и бил ее неожиданно и чем попало, мучаясь и сжигая себя. Причина этого лежала не в виновности жены, а в глубоком затаенном горе, превратившемся в болезнь. Сам Спиридон Матвеич знал, что жена его добрая и красивая, и после избиения ее он иногда приходил в сарай и гладил лошадь, капая слезами на землю. Если Филат был близко, Спиридон Матвеич гнал его:

— Ты — выйди, Филат, там мужики понаехали, а ты деньги упускаешь!

Филат выходил и видел бедного человека в солдатской одежде, горстью утолявшего жажду из лошадиного лотка.

Скоро лето смерклось окончательно, и небо потухло за глухими тучами.

В одну пропащую ночь, когда земля, казалось, затонула в темном колодце, на том краю степи загудели пушки. Слобода одновременно проснулась, зажгла лампадки, и каждый домохозяин сплотил вокруг себя присмиревшую семью.

Под утро стрельба смолкла, и неизвестная степь покрылась поздними туманами. В этот день слобода ела только раз, потому что будущее стало страшным, а дождаться его хотелось всем безрассудно, и продовольствие тратилось экономно.

Вечером через слободу без остановки проехал конный отряд казаков, волоча четыре пушки. Некоторые казаки попоили лошадей у Филата на колодце. Спиридон Матвеич им продал табаку и узнал, что казаки ехали домой, но Совет города Луневецка их с оружием не пропустил и приказал разоружиться. Казаки отказались; тогда Совет выслал отряд, и казаки приняли бой. Теперь казаки идут на Дон обходным путем — через суходолы и водоразделы, бросив населенные речные долины, где завелись Советы.

— А из кого эти Советы набраны? — спросил Спиридон Матвеич.

— Кто их смотрел! — равнодушно ответил казак и сел на коня. — Говорят, там батраки и иногородние — всякая такая чужая сволочь!

— Вроде него, что ль? — указал Спиридон Матвеич на Филата, на котором от ветхости разверзалась одежда.

Казак тронул коня и оглянулся:

— Да — подобная голь.

Попозднее долго звонил колокол церкви, собирая ко всенощной всех опечаленных, всех износивших жизнь, всех, в ком смыкаются вежды над безнадежным сердцем. От свечей и скорбных вздохов через паперть шел дым и восходил вверх вянущим седым потоком. Нищие стояли двумя рядами и ссорились от своего множества, считая молитвы до конца службы. Грустное пение хора слепых выплывало наружу и смешивалось с тихим шелестом умерших деревьев. Иногда слепая солистка пела одна — и покорность молитвы превращалась в неутешимое отчаяние, даже нищие переставали браниться и умильно молчали.

А после службы люди сразу забывались и переходили к едким заботам. Одна умная женщина, покинув паперть, уже совестила мужа:

— Эх вы, мужики, — только ноете с бабами! Взяли бы ружья, отесали колья — да и пошли бы на деревню мужиков к закону приучать! А то у вас и хатенки поотберут, а вы все будете богу молиться да у чугуна толпиться: бабьи побздики, пра-аво!

Но муж ее молчал и сопел, раздражая этим жену.

— Ух, идол ненаглядный! — свирепела жена и с неотлегнувшим сердцем шла до самого двора. Дома ямщик скорее ложился спать и отворачивался к стенке, считая бегущих клопов.

Спиридон Матвеич ходил в церковь очень редко, и то из любви к пению. А Филат совсем не ходил — объяснял, что одежды нет.

На дворе стало уже холодать — Филату трудно терпелось в сарае, пока ходила лошадь: никакая ушивка больше не держалась на прозрачных, сгоревших от пота штанах, а пиджак истерся в холодный лепесток. Но Филат видел, что за день хозяин от колодца выручает копеек тридцать — мужики совсем перестали ездить в слободу, — и попросить на починку одежды стеснялся. Он знал, что если его Спиридон Матвеич прогонит — ему конец: теперь никто не возьмет работника — все ямщики с потерей земли заплошали.

В одно утро Филат встал, вышел из кухни на двор — и весь свет для него переменился: выпал первый мохнатый снег. Вся земля затихла под снегом и лежала в мирной мертвой чистоте. Надолго смирившиеся деревья опустили ветки и бережно держали снег, гулкий воздух стоял на месте и ничего не трогал. Филат сделал отметку подошвой на снегу и вернулся на кухню.

Было рано, хорошо и прозрачно. В такой час можно чувствовать, как кровь трется в жилах, и особо остро переживаются те заглохшие воспоминания, где сам был виноват и губил людей. Тогда стыд поджигает кожу, несмотря на то что человек сидит один и нет его судьи.

Филат вспомнил мать, забытую в деревне, умершую на дороге, когда она шла спасаться к сыну. Но сын ничем не мог помочь матери — он тогда пас в ночном слободских лошадей и питался поочередно у хозяев. А жалованье — десять рублей в лето — приходилось на осень. Мать увезли с дороги обратно в деревню и там без гроба закопали добрые люди. После того Филат ни разу не был в своей деревне — за пятнадцать лет он не имел трех свободных дней подряд и крепкой одежды, чтоб не стыдно было показаться на селе. Теперь его на родине забыли окончательно, и больше не было места, куда бы добровольно тянуло Филата, не считая дома Игната Порфирыча.

В этот первый снежный день Спиридон Матвеич сказал, что лошадь надо продать — выручки с колодца нет, а сено дорого. Филат же должен искать себе новое место, а пока может жить на кухне, но харчей не будет — не те времена.

Филат притих. Когда ушел хозяин, он потрогал свое тело, которое доставляло ему постоянную беду от желания жить, и не мог никак очнуться.

Лошадь хозяин повел в деревню сам — и к вечеру вернулся один. Филат обошел круг, по которому топталась лошадь, и почти то же чувство тронуло его, что и в пустой хате на свалке, после ухода Игната Порфирыча.

Филат, ничего не евши, переночевал еще одну ночь, а утром пошел напрашиваться к Макару. Кузница стояла холодная, и дверь ее наполовину утонула в снегу. Макар сучил веревку в сарае и разговаривал сам с собою. Филат расслышал, что: веревка не верба — и зимой растет…

Когда Макар увидел Филата, он и слушать его не стал:

— Хорошим людям погибель приходит, а таким маломощным, как ты, надо прямо ложиться в снег и считать конец света!

Филат повернулся к воротам и, неожиданно обидевшись, сказал на ходу:

— Для кого в снегу смерть, а для меня он — дорога.

— Ну и вали по нем — ешь его и грейся! — с досадой закончил разговор Макар и перевел зло на веревку: — Сучья ты вещь, рваться горазда, а груз тащить тебя нету!..

Филат почувствовал такую крепость в себе, как будто у него был дом, а в доме обед и жена. Он уже больше не боялся голода и шел без стыда за свою одежду. «Я ни при чем, что мне так худо, — думал Филат. — Я не нарочно на свет родился, а нечаянно, пускай теперь все меня терпят за это, а я мучиться не буду».

Дойдя до дома З. В. Астахова, Филат разыскал хозяина и сказал ему о своей нужде. Захар Васильевич слушал обоими глухими ушами и понял Филата:

— Вчерась, говорят, сторож на кладбище умер — сегодня к обедне звонить некому было: ты бы наведался!

Жена Захара Васильевича мыла посуду и услышала совет мужа:

— Да сиди уж со своим сторожем — дьякон сам лазил звонить, — ты с глуху-то ничего не слышишь! Да и сторожа, Никитишна говорила, взяли — Пашку-сапожника.

— А? Какого Пашку? — спрашивал Захар Васильевич и моргал от внимания.

— Да Пашку-то! Сестра у него — Липка! — кричала жена Настасья Семеновна. — Мать-то он в прошлом году из могилы раскапывал — волоса да кости нашел! Вспомнил теперь?

— А! — сказал Захар Васильевич. — Пашку? Филат бы громче звонил!..

День еще не кончился, а от туч потемнело, и начал реять легкий, редкий снег. Заунывно поскрипывала где-то ставня от местного дворового сквозняка, и Филат думал, что этой ставне тоже нехорошо живется.

Больше нигде Филата не ждали, и следовало только возвратиться к Спиридону Матвеичу на кухню и натощак переночевать.

Филат подумал, что еще рано: ляжешь — не уснешь, и пошел на свалку.

Дом Игната Порфирыча стоял одиноко, как и в прошлый год. Только много дорожек к нему по снегу протоптано: то бродили нищие к обедне и к вечерне.

Филат остановился невдалеке: внутрь дома его не пустили бы нищие. Под снежной пеленою ясно вздувались кучи слободского добра, а за ними лежала угасшая смутная степь.

Вдалеке — в розвальнях, по следам старого степного тракта — ехал одинокий мужичок в свою деревню, и его заволакивала ранняя тьма. И Филат бы сел к нему в сани, доехал до дымной теплой деревни, поел бы щей и уснул на душных полатях, позабыв вчерашний день. Но мужичок уже скрылся далеко и видел свет в окне своей избы.

Филат заметил, что в доме кто-то хочет зажечь огонь и не может — наверно, деревянное масло все вышло, а керосина тогда нигде не продавали. Дверь дома отворилась, изнутри раздался гортанный гул беспокойных нищих, и вышел человек с пылавшей пламенем цигаркой. Это он закуривал и освечивал окно. Человек с трудом неволил больные ноги по снегу и припадал всем туловищем. Дойдя до Филата, он вздохнул и сказал:

— Человек, сбегай за хлебцем в слободу — я тебе дам шматок, — ноги не идут!

Филат оживел и помчался, а нищий присел на корточки, чтобы не мучить ног, и стал ждать его.

Когда Филат вернулся с хлебом, нищий позвал его в хату:

— Пойдем погреться. Я тебе ножиком хлеб поровней отрежу, что ж ты тут один стоишь!

В хате было темней, чем снаружи, и воняло ветхой одеждой, преюшей не нечистом теле. Филат никого не мог разглядеть — сидело и лежало на полу и на скамейке человек десять, и все говорили на разные голоса.

Нищие уличали друг друга в скрытности и считали, кто сколько сегодня добыл.

— Ты мне не рассказывай, шлюха, я сама видела, как она тебе пятак подавала!..

— А я сдачи дала четыре, плоскомордая квакалка!

— А вот и нет, уж не бреши, — женщина повернулась и ушла…

— Ах ты, рыжая рвота, да у меня ни одного пятака нету — вот поди сыщи!

— А зачем ты бублик жевала, сладкоежка? Вот пятака-то и нету, матушка!

— Молчи, вошь сырая! А то как цокну в пасть, так причастие и выйдет наружу!..

И одна женщина поднялась, судя по голосу, — молодая и здоровая. Но тут зычно треснул чей-то мужской голос:

— Эй вы, черти-судари, опять хлестаться? Уймись! Свету дождемся, тогда я вас сам стравлю!

— Это все Фимка, Михал Фролыч! Она меня сладкоежкой ругает, что я бублик за год съела! — жаловался тот же свежий голос.

— Фимка! — гудел Михаил Фролыч. — Не трожь Варю: она не сладкоежка: сходит на двор — не увезешь на тележке!

Нищие захохотали, как счастливые люди.

Филат стоял у порога и слушал голос того, кого Варя назвала Михаилом Фролычем. Но больше Михаил Фролыч ничего не говорил.

Вдруг у Филата вспыхнула вся душа, и он без памяти крикнул:

— Игнат Порфирыч!

Нищие сразу замолкли.

— Это что за новый опо́рошник явился? — спросил в тишине голос Михаила Фролыча.

— Миша, это я! — сказал Филат. — А где тут Игнат Порфирыч?

Миша подошел к Филату и засветил спичку:

— А, это ты, Филат? Какой Игнат Порфирыч?

Филат ослабел ногами и слышал работу огромного сердца в своем пустом теле. Он прислонился к стене и тихо сказал:

— А помните, мы жили тут втроем зимой?

— Ага, ты про Игнатия спрашиваешь? — вспомнил Миша. — Был такой, да куда-то заховался — со мной его нету.

— А живой он теперь? — покорно спросил Филат.

— Если не лег где-нибудь, то живой стоит. Что он за особенный?

Миша отвечал скупо на вопросы, и Филат начал стесняться спрашивать больше. Скоро Миша лег на пол в углу, подложил под голову локоть и задремал. Филат не знал, что ему делать, и жевал хлеб старого нищего.

— Ложись с нами, молодой человек! — пригласила Варя. — На дворе стыдь наступила. Прихлопни дверь — и ложись. Завтра опять нам ручкой прясть и лицом срамиться. Ох ты жизнь — мамкина дура…

Варя еще побранилась немного и затихла. Филат прилег боком около Миши и омертвел до белого утра.

Миша поднялся рано — прежде нищих. Но Филат уже не спал.

— Ты куда, Миша?

— Да ведь я по делу, Филат. Вчера пришел — ночевать негде, вот и стал на старом месте. А сегодня я далеко должен быть.

— А где? — спросил Филат.

— До Луневецка должен бы дойти. Там Игнат Порфирыч меня дожидается… Кадеты поперли насмерть — насилу допросился в губернии подмоги.

Миша внимательно запаковал сумку, запахнул шинель и сказал Филату:

— Ну, ты пойдешь, что ли? Игнат Порфирыч поминал тебя… Успеем ли их целыми застать — казаки всю степь забрали. Хоть бы отряд не застрял — в губернии обещали сегодня послать. Набрешут, идолы, — у самих крутовня идет…

Миша подошел к Филату, одернул на нем измятый пиджак и вспомнил:

— Вчерась я тебе ничего не хотел говорить: думаю, на что ты нам нужен. Да проснулся ночью, поглядел, как ты спишь, — и жалко тебя стало: пусть, думаю, идет — пропадает человек.

Оглядев место ночлега, чтобы ничего не забыть, Миша тронулся. Филат — за ним и забыл про дверь.

Варя сразу почувствовала холод и от досады проснулась:

— Дверь оставили — чертовы меренья!

Впрок
(Бедняцкая хроника)

В марте месяце 1930 года некий душевный бедняк, измученный заботой за всеобщую действительность, сел в поезд дальнего следования на московском Казанском вокзале и выбыл прочь из верховного руководящего города.

Кто был этот только что выехавший человек, который в дальнейшем будет свидетелем героических, трогательных и печальных событий? Он не имел чудовищного, в смысле

размеров и силы, сердца и резкого, глубокого разума, способного прорывать колеблющуюся пленку явлений, чтобы овладеть их сущностью.

Путник сам сознавал, что сделан он из телячьего материала мелкого настороженного мужика, вышел из капитализма и не имел благодаря этому правильному сознанию ни эгоизма, ни самоуважения. Он походил на полевого паука, из которого вынута индивидуальная, хищная душа, когда это ветхое животное несется сквозь пространство лишь ветром, а не волей жизни. И, однако, были моменты времени в существовании этого человека, когда в нем вдруг дрожало сердце, и он со слезами на глазах, с искренностью и слабохарактерностью выступал на защиту партии и революции в глухих деревнях республики, где еще жил и косвенно ел бедноту кулак.

У такого странника по колхозной земле было одно драгоценное свойство, ради которого мы выбрали его глаза для наблюдения, именно: он способен был ошибиться, но не мог солгать и ко всему громадному обстоятельству социалистической революции относился настолько бережно и целомудренно, что всю жизнь не умел найти слов для изъяснения коммунизма в собственном уме. Но польза его для социализма была от этого не велика, а ничтожна, потому что сущность такого человека состояла, приблизительно говоря, из сахара, разведенного в моче, тогда как настоящий пролетарский человек должен иметь в своем составе серную кислоту, дабы он мог сжечь всю капиталистическую стерву, занимающую землю.

Если мы в дальнейшем называем путника как самого себя («я»), то это — для краткости речи, а не из признания, что безвольное созерцание важнее напряжения и борьбы. Наоборот, в наше время бредущий созерцатель — это, самое меньшее, полугад, поскольку он не прямой участник дела, создающего коммунизм. И далее — даже настоящим созерцателем, видящим истинные вещи, в наше время быть нельзя, находясь вне труда и строя пролетариата, ибо ценное наблюдение может произойти только из чувства кровной работы по устройству социализма.

Итак, этот человек поехал в отдаленные черноземные равнины, где у открытых водоемов стоят, обдуваемые ветром, глиносоломенные избы мелкоимущественных бедняков.

Езда в вагоне изменилась. Ранее в окно можно было наблюдать лишь пустынность страны, лишь разрозненность редких деревень, расположенных так робко и временно, будто они были сиротами в чужой земле и постоянно готовы исчезнуть. Некогда это были лишь постои бредущего народа, не верующего в свою местную судьбу, ожидающего, когда ему повелят стронуться дальше, где еще хуже.

Теперь же по бокам железной дороги строились различные пункты, предприятия, конторы, башни, а ярославские и амовские автомобили усердно возили материалы по губительной немощеной земле. Люди стояли на кирпичных кладках и заботливо старались трудиться, уже навсегда осваивая эти порожние убыточные пространства.

На многие сотни километров строящаяся республика не меняла своего беспокойного лица, сияющего свежим тесом на вечернем солнце. Везде можно было видеть железные и кирпичные приспособления для деревенского общественного хозяйства или целые корпуса благодетельных заводов.

— Сколько травы навсегда скроется, — сказал один добровольно живущий старичок, ехавший попутно со мной, — сколько угодий пропадет под кирпичной тяжестью!

— Порядочно, — ответил ему другой человек, имеющий среднее тамбовское лицо, может быть, житель бывшего Шацкого уезда. Он тоже пристально наблюдал всякое строительство в оконное стекло и шептал что-то с усмешкой гада, швыряя между тем какие-то кусочки из своего пищевого мешка в рот. Этот житель старой глухой земли не признавал, наверно, научного социализма, он бы охотно положил пятак в кружку сборщика на построение храма и вместо радио всю жизнь слушал бы благовест. Он верил, судя по покойному счастью на его лице, что древние вещества мира уничтожат революцию, — поэтому он глядел не только на новостроящуюся республику, но также на овраги, на могучие обнажения глины, на встречных нищих, на растущие деревья, на ветер на небе — на весь

мертвый порожняк природы, потому что этого дела слишком много и оно, дескать, не может быть истреблено революцией, как она ни старайся. Ветхое лежачее вещество все равно, мол, задавит советский едкий поток своим навалом и прахом. Имея такое духовное предвидение, тамбовский человек скушал еще немного кое-чего и от внутренней покойной расположенности чувств вздохнул, как будущий праведник.

— Бывало, едет воз с молоком, — произнес попутный старичок, — телега вся скрипит, сам хозяин пешком идет, а на возу его баба разгнездилась. А теперь только холодный инвентарь перебрасывают!

— Тракторы горячие, а жизнь прохладная, — сказал тамбовский по лицу человек.

— Вот то-то и горе, — враз согласился старичок.

— Не горюйте, — посоветовал сверху неизвестный человек, лежавший там на голых досках. — Оставьте горе нам.

— Да как хочешь, я ничего! — испугался старичок.

— Да и я тоже ничего не говорил, — предупредил тамбовский житель.

— Бери молоко, — сказал верхний человек и опустил в красноармейской фляжке этот напиток. — Пей и не скули!

— Да мы сыты, кушай сам, ради бога, — отказался старичок.

— Пей, — говорит, — пока я не слез! Я же слышал, ты по молоку скучал.

Старичок в страхе попил молочка и передал фляжку тамбовцу — тот тоже напился.

Вскоре с верхней полки слез сам хозяин молока; он был в старом красноармейском обмундировании, доставшемся ему по демобилизации, и обладал молодым нежным лицом, хотя уже утомленным от ума и деятельности. Он сел на край лавки и закурил.

— Люди говорят, на табак скоро нехватка будет, — высказался старичок. — Семашка не велел больше желчное семя разводить, чтобы пролетариат жил чистым воздухом.

— На — закуривай! — дал бывший красноармеец папиросу старику.

— Я, товарищ, не занимаюсь.

— Кури, тебе говорят!

Старичок закурил из уваженья, не желая иметь опасности от встречного человека. Красноармеец заговорил со мной.

— С ними едешь?

— Нет, я один.

— А сам-то кто будешь?

— Электротехник.

— Ну, здравствуй, — обрадовался красноармеец и дал мне свою руку.

Я для него был полезный кадр, и сам тоже обрадовался, что я нужный человек.

— А ты утром не соскочишь со мной? Ты бы в нашем колхозе дорог был: у нас там солнце не горит.

— Соскочу, — ответил я.

— Постой, а куда ж ты тогда едешь?

— Да мне хоть некуда — где понадоблюсь, там и выйду из вагона.

— Это хорошо, это нам полезно. А то все, понимаешь, заняты! Да еще смеются, гады, когда скажешь, что над нашим колхозом солнце не горит! А отчего ты не смеешься?

— А, может, мы зажжем ваше солнце? Там увидим — плакать или смеяться.

— Ну, раз ты так говоришь, то зажгем! — радостно воскликнул мой новый товарищ. — Хочешь, я за кипятком сбегаю? Сейчас Рязань будет.

— Мы вместе пойдем.

— Ты бы ярлык носил на картузе, что электротехник. А то я думал — ты подкулачник: у тебя вид скверный.

Утром мы сошли с ним на маленькой станции. Внутри станции был бедный пассажирский зал, от одного вида которого, от скуки и общей невзрачности у всякого человека заболевал живот. По стенам висели роскошные плакаты, изображающие пароходы, самолеты и курьерские поезда, плакаты призывали к далеким благополучным путешествиям

и показывали задумчивых, сытых женщин, любующихся синей волжской водой, а также обильной природой на берегах.

В этом пассажирском зале присутствовал единственный человек, жевавший хлеб из сумки.

— Сидишь? — спросил его дежурный по станции, возвращаясь от ушедшего поезда. — Когда ж ты тронешься? Уже третья неделя пошла, как ты приехал.

— Ай я тебе мешаю, что ль? — ответил этот оседлый пассажир. — Чего тебе надо? Пол я тебе мету, окна протираю; намедни ты заснул, а ядепешу принял и вышел, без шапки постоял, пока поезд промчался. Я живу у тебя нормально.

Дежурный больше не обижал пожилого человека.

— Ну живи дальше. Я только боюсь, ты пробудешь здесь еще месяца четыре, а потом потребуешь штата.

— Штат мне не нужен, — отказался пассажир. — С документами скорее пропадешь, а без бумажки я всегда проживу на самую слабую статью, потому что обо мне ничего не известно.

Мой спутник, демобилизованный красноармеец товарищ Кондров остановился от такого разговора.

— Имей в виду, — сказал он дежурному, — ты работаешь, как стервец; теперь у меня будет забота о тебе.

С этим мы вышли на полевую колесную дорогу. Голая природа весны окружила нас, сопротивляясь ветром в лицо, но нам было это не трудно.

Через несколько часов пешеходной работы мы остановились у входных ворот деревни, устроенных в виде триумфальной дуги, на которых было написано: «С.-х. коллектив „Доброе начало“». Сам колхоз расположился по склону большой балки, внизу же ее протекал ручей, работавший круглый год. Избы колхоза были обыкновенно деревенскими, всё имущественное оборудование было давним и знакомым, только люди показались мне неизвестными. Они ходили во множественном числе по всем местам деревни, щупали разные предметы, подвинчивали гайки на плугах, дельно ссорились и серьезно размышляли. Общим чувством всего населения колхоза была тревога и забота, и колхозники старались уменьшить свою тревогу перед севом рачительной подготовкой. Каждый считал для пользы дела другого дураком и поэтому проверял гайки на всех плугах, только своею собственной рукой. Я слышал краткие собеседования.

— Ты смотрел спицы на сеялках?

— Смотрел.

— Ну и что ж?

— Кои шатались, те починил.

— Починил? Знаю я, как ты починишь! Надел с утра рубаху-баян и ходит! Дай-ка я сам схожу — сызнова починю.

Тот, на котором была рубаха-баян (о сорока пуговицах, напоминающих кнопки гармонии), ничего не возразил, а лишь вздохнул, что никак не мог угодить на колхозных членов.

— Васьк, ты бы сбегал лошадей посмотреть!

— А чего их глядеть? Я глядел: стоят, овес жуют, который день, аж салом подернулись.

— А ты все-таки сбегай их проведать!

— Да чего бегать-то, лысый человек? Чего зря колхозные ноги бить?

— Ну, так: поглядишь на их настроенье, прибежишь — скажешь.

— Вот дьявол жадный, — обиделся моложавый Васька. — Ведь я все кулачество по найму прошел, а так сроду не мотался.

— Чудак: у кулака было грабленое, а у нас кровное.

В конце концов Васька пошел все-таки глядеть на настроенье общественных лошадей.

— Граждане, — сказал подошедший человек с ведром олеонафта; из этого ведра он мазал все железные движущиеся и неподвижные части по колхозу, страшась, что они

погибнут от ржави и трения. — Граждане, вчерашний день Серега опять цигарки с огнем швырял куда попало. Сообщаю это, а то будет пожар!

— Брешешь, смазчик, — возразил присутствовавший здесь же громадный Серега. — Я их заплевывал.

— Заплевывал, да мимо, — спорил смазчик, — а огонь сухим улетал.

— Ну ладно, будет зудеть, — смирился Серега. — Ты сам ходишь олеонафтом наземь капаешь, а он ведь на общие средства куплен.

— Граждане, он нагло и по-кулацки врет. Пускай хоть одну каплю где-нибудь сыщет. Что он меня мучает!

— Будя вам, — сказал Кондров, — не пересобачивайте общие заботы. Ты, Серега, кури скромней, а ты — капать капай, — колхозу капля не ужасна, а вот мажь — где нужно, а не где сухо. Зачем ты шины-то на телегах мажешь?

— Ржави боюсь, товарищ Кондров, — ответил смазчик. — Я прочитал, что ржавь — это тихий огонь, а товарищ Куйбышев по радио говорил — у нас голод на железо: я и скуплюсь на него.

— Соображай до конца, — объяснил смазчику Кондров, — олеонафт тоже железными машинами добывается. А раз ты зря его тратишь, то в Баку машины напрасно идут.

— Ну? — испугался смазчик и сел в удивлении на свое ведро: он думал, что олеонафт — это просто себе густая жидкость.

— Петька, — сказал малому лысый мужичок, тот, что услал Ваську к лошадям. — Пойди, ради бога, все избы обежи — пускай бабы вьюшки закроют, а то тепло улетучится.

— Да теперь не холодно, — сообщил Серега.

— Все равно: пусть бабы привыкают беречь сгоревшее добро, им эта наука на зиму годится.

Петька безмолвно побежал приказывать бабам про вьюшки.

— Слухай, дядя Семен! Ты чего ж вчера сено от моей кобылы отложил, а к своему мерину подсунул? Ишь ты, средний дьявол какой, — знать, колхоз тебе не по диаметру!

Дядя Семен стоял, помутившись лицом.

— Привык к мерину, — сказал он, — впоследствии войду — он сопит на меня и глазами моргает, а кругом норма — скотину нечем поласкать, вот и положил твое сено.

— А ты теперь к человеку привыкай, тогда тебя все меренья уважать будут!..

— Буду привыкать, — грустно пообещал дядя Семен.

— Не то пойти крышку на колодезь сделать? — произнес Серега, стоявший без занятия.

— Пойди, дорогой, пойди. С малолетства с мелкими животными воду пьем. Может, при хорошей воде харчей есть меньше станем.

Отошедши с Кондровым в глубь колхоза, я обнаружил, что вправо от деревни, на незасеянной высоте склона стоит новая деревянная каланча, метров в десять-двенадцать. Наверху каланчи блестело жестяное устройство, бывшее, судя по форме, рефлектором; причем оно было поставлено так, что должно направлять лучи неизвестного источника света целиком в сторону колхоза.

— Вон наше солнце, которое не горит, — сказал мне Кондров, указав на каланчу. — Ты есть хочешь?

— Хочу. А у вас есть запасы?

— Хватит. Прошлый год осень была большевицкая — все родилось.

Поев разного добра в попутной избе, в которой висела электрическая лампочка, мы пошли с Кондровым не на каланчу, а к ручью. На ручье, около кустарной запруды, помещался дубовый амбар с сильным мельничным пошвенным колесом; запруда служила, очевидно, для сбора запаса воды.

— Наливное колесо у вас работало бы полезней! — сказал я.

— Ну что ж, ты только скажи, как нужно сделать, а мы будем его делать, — ответил мне Кондров.

Мне стало печально и тревожно близ такого человека: ведь он за маленькое знание отдаст что угодно; а с другой стороны, его всякая вредительская стерва может легко обмануть и повести на гибель, доказав предварительно, что она знает в своей голове алгебру и механику.

Кондров отомкнул амбар. Никакой мельницы в амбаре не было, там стояла небольшая динамо-машина, и больше ничего. На валу водяного колеса имелся деревянный шкив, с которого посредством ремня снималась сила на динамо-машину. Обследование установило, что водяное колесо способно было дать через динамо-машину мощность, достаточную, чтобы в колхозе горело двадцать тысяч экономических электрических свечей, или сорок тысяч тех же свечей в полуваттных лампах. При переделке водяного колеса с пошвенного на наличное мощность всей установки можно было повысить по крайней мере на одну треть; динамо-машина же была рассчитана на сорок лошадиных сил и могла терпеть много нагрузки.

— А наше солнце, понимаешь, не горит! — горестно проговорил надо мною Кондров. — Оно потухло.

Провода из амбара тянулись по ракитам, по плетням, по стенам изб и, ответвляясь на попутный колхоз, отправлялись к солнцу. Мы тоже пошли на солнце. Провода всюду были достаточно исправны, на самом солнце я тоже не мог заметить чего-либо порочного. Особенно меня удовлетворил жестяной рефлектор: его отражающие поверхности имели такую хорошо сосчитанную кривизну, что всю светосилу отправляли ровно на колхоз и на его огородные угодья, ничего не упуская вверх или в бесполезные стороны. Источник света представлял из себя деревянный диск, на котором было укреплено сто стосвечных полуваттных ламп, то есть общая светлая мощность солнца равнялась десяти тысячам свечей. Кондров говорил, что этого все же мало — немедленно нужно добиться света по крайней мере в сорок тысяч свечей; особенно удобен был бы, конечно, прожектор, но его невозможно приобрести.

— Сейчас я схожу пущу колесо и динамо, и ты увидишь, что наше солнце не горит! — огорченно сказал мне Кондров.

Он сходил и пустил — и солнце действительно не загорелось. Я стоял на каланче в недоумении. Ток в главных проводах был, колхозники собрались под каланчой и обсуждали доносившийся до меня вопрос.

— Власть у нас вся научная, а солнце не светит!

— Вредительство, пожалуй что!

— Сколько строили, думали — у нас пасмурности не будет, букеты распустятся, а оно стоит холодное!

— Это же горе! Как встанешь, глянешь, что оно не светит, так и загорюешь весь от головы вниз!

— Вон старики наши перестали верить в бога, а как солнце не загорелось, то они опять начали креститься.

— Дедушка Павлик обещал ликвидировать бога как веру, если огонь вспыхнет на каланче. Он тогда в электричество как вбога обещал поверить.

— А горело это солнце хоть раз? — спросил я у народа.

— Горело почти что с полчаса! — сказал народ и заотвечал дальше, споря сам с собой.

— Больше горело: не бреши!

— Меньше — я обрадоваться не успел!

— Как же меньше, когда у меня слезы от яркости потекли?!

— Они у тебя и от лампадки текут.

— Ярко горело? — спросил я.

— Роскошно, — закричали некоторые.

— У нас раздался было научный свет, да жалко, что кончился, — сказал знакомый мне смазчик.

— А нужно вам электрическое солнце? — поинтересовался я.

— Нам оно впрок; ты прочитай формальность около тебя.

Я оглянулся и увидел бумажную рукопись, прибитую гвоздями к специальной доске. Вот этот смысл на той бумаге:

«Устав для действия электросолнца в колхозе „Доброе начало“:

1. Солнце организуется для покрытия темного и пасмурного дефицита небесного светила того же названия.

2. Колхозное солнце соблюдает свет над колхозом с шести часов утра до шести часов вечера каждый день и круглый год. При наличии стойкого света природы колхозное солнце выключается, при отсутствии его включается вновь.

3. Целью колхозного солнца является спускание света для жизни, труда и культработы колхозников, полезных животных и огородов, захватываемых лучами света.

4. В ближайшее время простое стекло на солнце надо заменить научным, ультрафиолетовым, которое развивает в освещенных людях здоровье и загар. Озаботиться товарищу Кондрову.

5. Колхозное электросолнце в то же время культурная сила, поскольку некоторые старые члены нашего колхоза и разные верующие остатки соседних колхозов и деревень дали письменное обязательство — перестать держаться за религию при наличии местного солнца. Электросолнце также имеет то прекрасное значение, что держит на земле постоянно яркий день и не позволяет скучиваться в настроеньях колебанию, невежеству, сомнению, тоске, унылости и прочим предрассудкам и тянет всякого бедняка и середняка к познанию происхождения всякой силы света на земле.

6. Наше электросолнце должно доказать городам, что советская деревня желает их дружелюбно догнать и перегнать в технике, науке и культуре, и выявить, что и в городах необходимо устроить районное общественное солнце, дабы техника всюду горела и гремела по нашей стране.

7. Да здравствует ежедневное солнце на советской земле!»

Все это было совершенно правильно и хорошо, и я обрадовался этому действительному строительству новой жизни. Правда, было в таком явлении что-то трогательное и смешное, но это была трогательная неуверенность детства, опережающего тебя, а не падающая ирония гибели. Если бы таких обстоятельств не встречалось, мы бы никогда не устроили человечества и не почувствовали человечности, ибо нам смешон новый человек, как Робинзон для обезьяны; нам кажутся наивными его занятия, и мы втайне хотим, чтобы он не покинул умирать нас одних и возвратился к нам. Но он не вернется, и всякий душевный бедняк, единственное имущество которого — сомнение, погибнет в выморочной стране прошлого.

Кондров вернулся.

— Ты, наверно, в Москву ездил за ультрафиолетовыми лампами? — спросил я его.

— За ними, — ответил он, — сказали, что еще не продаются, все только собираются делать их, чешутся чего-то!

— Ты где был, когда начало гореть солнце и потухло?

— Здесь же, на солнце.

— Жарко было около диска?

— Ужасно!

Я зашел за диск и начал проверять всю проводку, но проверять ее было нечего: вся изоляция на проводах сотлела, все провода покоились на коротком замыкании, а входные предохранители, конечно, перегорели. Всю эту оснастку делал, оказывается, кузнец из другой деревни, соответственно одной лишь своей сообразительности.

По общему решению, с Кондровым мы сделали полный анализ негорению солнца, а затем сообщили свое мнение присутствовавшим близ нас членам колхоза. Наше мнение было таково: солнце потухло от страшной световой жары, которая испортила провода, стало

быть, нужно реже посадить лампы на диске.

— Не нужно! — отверг задний середняк. — Вы не понимаете. Вы поставьте на жесть какие-либо сосуды с водой, вода будет остужать жару, а нам для желудка придется кипяченая вода.

Слово середняка, стоявшего позади, было разумно приемлемо для дела; если на рефлекторе устроить водяную рубашку, то жесть будет холодитъ провода, кроме того, каждый час можно получать по ведру кипятку.

— Ну как? — спросил меня Кондров среди общего задумавшегося молчания.

— Так будет верно, — ответил я.

— Крутильно-молотильную бригаду прошу подойти комне! — громко произнес Кондров.

Эта бригада была наиболее упорной в любом тяжком, срочном или малоизвестном труде. Вчера она только что закончила сплошную очистку семян и, проспав двадцать часов, теперь постепенно подошла к Кондрову.

Под солнечной каланчей мы устроили производственное совещание, на котором выяснили все части и материалы для рационализации солнца, а также способ переделки повешенного водобойного колеса на наличное сверху.

После того мне дали освобождение, и я заинтересовался здешней классовой борьбой. За этим я пошел в избу-читальню, зная, что культурная революция у нас часто идет по раскулаченным местам. Так и оказалось: изба-читальня занимала дом старинного, векового кулака Семена Верещагина, до своей ликвидации единолично и зажиточно хозяйствовавшего на хуторе Перепальном сорок лет (в ожидании того, как назваться колхозом «Доброе начало», деревня называлась хутором Перепальным). Верещагин и ему подобный его сосед Ревушкин жили не столько за счет своих трудов, сколько за счет своей особой мудрости.

С самого начала советской власти Верещагин выписывал четыре газеты и читал в них все законы и мероприятия с целью пролезть между ними в какое-либо узкое и полезное место. И так долго и прочно существовал Семен Верещагин, притаясь и мудрствуя. Однако его привела в смущение в последнее время дешивизна скота, а Верещагин исстари занимался негромкими барышами на скупке и перепродаже чужой скотины. Долго искал Верещагин каких-либо законов на этот счет, но газеты говорили лишь что-то косвенное. Тогда Верещагин решил использовать и самую косвенность. Он вспомнил в уме, что его лошадь стоит нынче на базаре рублей тридцать, а застрахована за сто семнадцать. А тут еще колхоз вот-вот грянет, и тогда лошадь станет вовсе как бы не скот и не предмет. Целыми длинными днями сидел Верещагин на лавке и грустно думал, хитря одним желтым глазом.

«Главное, чтобы государство меня же услышало, — соображал он. — Что-то я нигде не читал, чтобы лошадей мучить нельзя было: значит — можно. Как бы только Осоавиахим не встрял; да нет, его дело аэропланы!»

И Верещагин сознательно перестал давать пищу лошади. Он ее привязал намертво к стойлу веревками и давал только воду, чтобы животное не кричало и не привлекало бдительного слуха соседей.

Так прошла неделя. Лошадь исчахла и глядела почти что по-человечьи. А когда приходил к ней Верещагин, то она даже открывала рот, как бы желая произнести томящее ее слово.

И еще прошла неделя или десятидневка. Верещагин — для ускорения кончины лошади — перестал ей давать и воду. Животное поникло головой и беспрерывно хрипело от своей тоски.

— Кончайся, — приказывал коню Верещагин. — А то советская власть ухватлива. Того и гляди о тебе вспомнит.

А лошадь жила и жила, точно в ней была какая-то идейная устойчивость.

На двадцатый день, когда у коня уже закрылись глаза, но еще билось сердце, Верещагин обнял свою лошадь за шею и по истечении часа задушил ее. Лошадь через два часа остыла.

Верещагин тихо улыбнулся над побежденным государством и пошел в избу — отдохнуть от волнения нервов.

Дней через десять он отправился получить за павшую лошадь страховку, как только сельсовет дал ему справку, что конь погиб от желудочного томления.

За вырученные сто рублей Верещагин купил на базаре три лошади и, как сознательный гражданин, застраховал это поголовье в окружной конторе Госстраха.

Пропустив месяц и не услышав, чтобы государство зашумело на него, Верещагин перестал кормить и новых трех лошадей. Через месяц он теперь будет иметь двести рублей чистого дохода, а тамо еще, и так далее — до бесконечности избытка.

Прикрутив лошадей веревками к стойлам, Верещагин стал ждать их смерти и своего дохода.

Однако дворовая собака Верещагина тоже не сидела с убытками — она начала отрывать от омертвелых лошадей задние куски, так что лошади пытались шагать от боли, и таскала мясные куски по чужим дворам, чтобы прятать. Собаку крестьяне заметили, и вскоре сельсовет во всем составе, во главе с Кондровым, пришел к Верещагину, чтобы обнаружить у него склад говядины. Склада сельсовет никакого не нашел, а ночью прибежала во двор Верещагиных целая стая чужих собак, и, присев, эти дворовые животные стали выть.

На другой день левый бедняцкий сосед Верещагина перелез через плетень и увидел трех изодранных собаками умирающих лошадей.

Верещагин тоже не спал, а думал. Он уже с утра пошел взять справку о трех своих павших лошадях, которых он купил, дескать, лишь для того, чтобы отдать в организующуюся лошадиную колонну, но вышла одна божья воля. Кондров поглядел на Верещагина и сказал:

— Не пройдет, Верещагин, твое мероприятие, мы от собак обо всем твоем способе жизни узнали. Иди в чулан пока, а мы будем заседать про твою судьбу: сегодня газета «Беднота» пришла, там написано про тебя и про всех таковых личностей.

— Почта у нас работает никуда, товарищ председатель, — сказал Верещагин. — Я ведь думал, что теперь машины пойдут, а лошадь — вредное существо, оттого я и не лечил такую отсталую скотину.

— Ага, ты умней всего государства думал, — произнес тогда Кондров. — Ну ничего, ты теперь на ять попадешь под новый закон о сбережении скота.

— Пусть попадаю, — с хитростью смирился Верещагин. — Зато я за полную индустриализацию стоял, а лошадь есть животное-оппортун!

— Вот именно! — воскликнул в то время Кондров. — Оппортун всегда кричит «за», когда от него чашку со щами отодвинут! Иди в чулан и жди нашего суждения, пока у меня нервы держатся, враг всего человечества!

Через месяц или два Верещагина и аналогичного Ревушкина бывшие ихние батраки — Серега, смазчик и другие — прогнали пешим ходом в район и там оставили навеки.

Ни один середняк в Перепальном при раскулачивании обижен не был — наоборот, середняк Евсеев, которому поручили с точностью записать каждую мелочь в кулацких дворах, чтобы занести ее в колхозный доход, сам обидел советскую власть. А именно, когда Евсеев увидел горку каких-то бабье-дамских драгоценных предметов в доме Ревушкина, то у Евсеева раздвоилось от жадной радости в глазах, и он взял себе лишнюю половину, по его мнению, лишь вторившую предметы, — таким образом от женского инвентаря ничего не осталось, а государство было обездолено на сумму в сто или двести рублей.

Такое единичное явление в районе обозначили впоследствии разгибом, а Евсеев прославился как разгибщик — вопреки перегибщику. Здесь я пользуюсь обстоятельствами, чтобы объявить истинное положение: перегибы при коллективизации не были сплошным явлением, были места, свободные от головокружительных ошибок, и там линия партии не прерывалась и не заезжала в кривой уклон. Но, к сожалению, таких мест было не слишком много. В чем же причина такого бесперебойного проведения генеральной линии?

По-моему, в самостоятельно размышляющей голове Кондрова. Многих директив

района он просто не выполнял.

— Это писал хвастун, — говорил он, читая особо напорные директивы, вроде «даешь сплошь в десятидневку» и т. п. — Он желает прославиться, как автор такой, я, мол, первый социализм бумажкой достал, сволочь такая!

Другие директивы, наоборот, Кондров исполнял со строгой тщательностью.

— А вот это верно и революционно! — сообщил он про дельную бумагу. — Всякое слово хрустит в уме, читаешь — и как будто свежую воду пьешь: только товарищ Сталин может так сообщить! Наверно, районные черти просто себе списали эту директиву с центральной, а ту, которую я бросил, сами выдумали, чтобы умнее разума быть!

Действовал Кондров без всякого страха и оглядки, несмотря на постоянно грозящий ему палец из района:

— Гляди, Кондров, не задерживай рвущуюся в будущее бедноту! — заводи темп на всю историческую скорость, невер несчастный!

Но Кондров знал, что темп нужно развить в бедняцком классе, а не только в своем настроении; районные же люди приняли свое единоличное настроение за всеобщее воодушевление и рванулись так далеко вперед, что давно скрылись от малоимущего крестьянства за полевым горизонтом.

Все же Кондров совершил недостойный его факт: в день получения статьи Сталина о головокружении к Кондрову по текущему делу заехал предрика. Кондров сидел в тот час на срубе колодца и торжествовал от настоящей радости, не зная, что ему сделать сначала — броситься в снег или сразу приняться за строительство солнца, — но надо было обязательно и немедленно утомиться от своего сбывшегося счастья.

— Ты что гудишь? — спросил его неосведомленный предрика. — Сделай мне сводочку…

И тут Кондров обернул «Правдой» кулак и сделал им удар в ухо предрика.

До самого захода небесного солнца я находился в колхозе и, облюбовав все достойное в нем, вышел из него прочь. Колхозное солнце еще не было готово, но я надеялся увидеть его с какого-нибудь придорожного дерева изночной тьмы.

Отойдя верст за десять, я встретил подходящее дерево и влез на него в ожидании. Половина района была подвержена моему наблюдению в ту начинавшуюся весеннюю ночь. В далеких колхозах горели огни. Слышен был работающий где-то триер, и отовсюду раздавался знакомый, как колокольный звон, стерегущий голос собак, работающих на коммунизм с тем же усердием, что и на кулацкий капитализм. Я нашел место, где было расположено «Доброе начало», но там горело всего огня два, и оттуда не доносилось собачьего лая.

Я пропустил долгое время, поместившись на боковой отрасли дерева, и все глядел в окружающую, постепенно молкнущую даль. Множество прохладных звезд светило с неба в земную тьму, в которой неустанно работали люди, чтобы впоследствии задуматься и над судьбой посторонних планет, поэтому колхоз более приемлем для небесной звезды, чем единоличная деревня. Утомившись, я нечаянно задремал и так пробыл неопределенное время, пока не упал от испуга, но не убился. Неизвестный человек отстранился от дерева, давая мне свободное место падать, — от голоса этого человека я и проснулся наверху.

Разговорившись с человеком, я пошел за ним вслед подороге, ведущей дальше от «Доброго начала». Иногда я оглядывался назад, ожидая света колхозного солнца, но все напрасно. Человек мне сказал, что он *борец с неглавной опасностью* и идет сквозь округ по командировке.

— Прощай, Кондров! — в последний раз обернулся я на «Доброе начало».

Навстречу нам часто попадались какие-то одинокие и групповые люди — видно, в колхозное время и пустое поле имеет свою плотность населения.

— А какая опасность неглавная? — спросил я того, с кем шел. — Ты бы лучше с главной боролся!

— Неглавная кормит главную, — ответил мне дорожный друг. — Кроме того, я

слабосердечен, и мне дали левачество, как подсобный для правых районов! Главная опасность — вот та хороша: там пожилые почетные бюрократы, там разные акционерные либералы — тех крутить надо вдосталь — и для самообразования будет полезно: кто ее знает, может быть, правые уже последние ошибочники, последние вышибленные души кулаков!

Ах, как жалко, что у меня сердце слабое, а то бы мне главную дала: ах, и пожил бы я в такое сокрушающее время! До чего ж приятно и полезно сшибить правых и левых, чтобы у здешнего кулачества не осталось ни души, ни ума!

Я смотрел на говорящего человека. Лета его были еще не старые, настолько его туловище глядело измученным существом.

Он дышал неравномерно и редко, все время забывался во внутренних мыслях и едва ли достаточно ел пищи.

Переваливая за горизонт, мы заметили по бледному свету на земле, что сзади нас взошла луна. Мы оглянулись.

Я увидел среди дальнего мрака слабое круглое светило, все же боровшее сплошную тьму.

— Это солнце зажгли в колхозе! — сказал я.

— Да, возможно, — безразлично согласился борец с неглавной опасностью. — Для луны — для последователя солнца — это слишком неважный огонь. И последователем надо быть уметь.

Ночевали мы с ним в неопределенной избушке, которую увидели в стороне от тракта.

— Пункт бы здесь устроить какой-нибудь, — сказал мне на утренней заре прохожий товарищ. — Зачем стоит эта хатка пустой, когда основной золотой миллиард, нашу идеологию, не каждый имеет в душе!

— Это правда, — сказал я, — на свете много душевных бедняков.

В течение первой половины дня мы шли дальше. По сырым полям кое-где уже ходили всем составом колхозы и щупали руками землю, определяя ее весеннюю спелость.

Затем мы дошли до деревни Понизовка, расположенной действительно по низу земли. Это объясняется недостатком воды или трудностью ее добычи на верхних почвах.

Вообще колхозное и совхозное водоснабжение должно стать большим предметом нашей пятилетки, ибо, как я заметил, степень обработки и освоенности земель обратно пропорциональна водоснабжению.

Это значит, что высокие водораздельные земли, обычно самые ценные по качеству, самые структурные по составу, хуже обрабатываются, и за такими полями бывает меньше ухода.

Оно и понятно, потому что водоразделы лежат далеко от хозяйственной базы, всегда прижатой к естественному открытому водоему или к неглубокой грунтовой воде.

Я видел в зерновых районах не меньше ста громадных сел, и все они согнаны на водопой и низы — в долины речек, в балки и прочие провалы рельефа.

Высокие же, самые тучные земли — далеки и пустынны.

Это означает громадные, вероятно, в несколько сот миллионов рублей ежегодно, потери для нашего хозяйства, благодаря недобору урожая с водораздельных почв.

В чем же заключается решение задачи? В том, чтобы селить колхозы и основывать совхозные усадьбы прямо на водоразделах, в центре плодородия почв. А водоснабжение для них следует устраивать посредством глубоких трубчатых колодцев. Добавочное значение тут будет еще в резком оздоровлении деревни. Та заразная жижа открытых водоемов, которой утоляют свою жажду многие деревенские районы СССР, потеряет тогда свой смысл как источник водоснабжения. Артезианская же глубокая вода трубчатых колодцев безвредней, вкуснее и чище, чем хлорированная водопроводная.

Сейчас, когда идешь по дальним частям СССР, то видишь как бы пустую незаселенную страну. Это потому, что все поселения спрятались в низовые ущелья, иначе говоря — гидрологические условия определили собой способ заселения нашей земли. Соображая же

несколько глубже, можно сказать, что феодально-капиталистические производственные отношения держали деревню у ручьев и болот, оставляя в полном или частичном запустении самые лучшие по плодородию суходолы. Отсюда ясно, что для многих наших южных, юго-восточных и центрально-черноземных районов социализм должен явиться, в числе прочих своих элементов, также и в качестве воды на водоразделах.

Вот отчего деревня, встреченная нами, называлась Понизовкой — именем, которое подходяще и для тысячи других деревень.

Борец с неглавной опасностью пошел непосредственно в сельсовет, и здесь я был свидетелем действий его опытного ума, умевшего всякую бюрократическую сложность обращать в попятную простоту истины.

— Что же ничего нам не сообщили? — спросил моего дорожного товарища секретарь сельсовета. — Мы бы вам тарантас послали навстречу!

— Не указывай! — ответил борец. — Береги лошадей для сева, а не для меня.

На стене совета висели многие схемы и плакаты, и в числе их один крупный план, сразу привлекший зоркий ум борца с опасностью. План изображал закрепленные сроки и название боевых кампаний: сортировочной, землеуказательной, разъяснительной, супряжно-организационной, пробно-посевной, проверочной к готовности, посевной, контрольной, прополочной, уборочной, учетно-урожайной, хлебозаготовительной, транспортно-тарочной и едоцкой.

Глубоко оглядевшись, борец сел против пожилого, несколько угрюмого председателя. Ему было интересно, почему сельсовет заботится и о том, чтобы люди ели хлеб, — разве они сами непосильны для этого. Или настолько отстали, что откажутся от современной пищи!

— А кто его знает? — ответил председатель. — Может, обозлятся на что-нибудь, либо кулаков послушают, и станут не есть! А мы не можем допустить ослабления населения!

Секретарь дал со своего места дополнительное доказательство необходимости жесткого проведения едоцкой кампании.

— Если так считать, — сказал секретарь, — тогда и прополочная кампания не нужна: ведь ходили же раньше бабы сами полоть просо, а почему же мы их сейчас мобилизуем?

— Потому что, молодой человек, вы только приказываете верить, что общественное хозяйство лучше единоличного, а почему лучше — не показываете, — ответил мой дорожный товарищ.

— Нам показывать некогда, социализм не ждет! — возразил секретарь.

— Ну, конечно, — заключил борец. — Вы строить и достраивать ничего не хотите, вам охота поскорее как-нибудь отстроиться и лечь на отдых среди счастья… Вот она — левая бегущая юность! — уже ко мне обратился командированный.

Настроение председателя было иным. Он угрюмо предвидел, что дальше жизнь пойдет еще хуже. По его выходило, что людей придется административно кормить из ложек, будить по утрам и уговаривать прожить очередную обыденку. Секретарь же с ним постоянно ссорился и считал его правым трусом, сам в то же время яростно и директивно натягивая группу бедняков-активистов, не давая им ни понять, ни почувствовать, вперед, бегом через колхоз, на коммуну.

Спустя немного времени окружной товарищ сильно смеялся такому четкому обстоятельству, когда левый и правый сидят в одной комнате и все время как бы производят один другого из единой кулацкой бездны.

— Едоцкая кампания была ниточкой, на которую я сразу поймал и левацкого карася и правую щуку, — объяснил мне окружной спутник. — Придется мне в этом селе посидеть и кой-кого обидеть из этих дрессировщиков масс.

— Да ты слишком примиренчески с ними говоришь, — сказал я. — При чем тут юность, нежность, когда левый правит на катастрофу? Крой безупречно и правых, и левых!

— Это верно, — вдумчиво согласился борец. — Случись что тяжелое, левый ведь побежит к правому — боюсь, скажет, дяденька! А этот дяденька зарычит своим басом и угробит все на свете, кулацкий кум!

Окружной человек еще немного подумал среди тишины кончающегося степного дня.

— Правильно, правильно: у левых дискант, у правых бас, а у настоящей революции баритон, звук гения и точного мотора.

И здесь борец с неглавной опасностью отошел от меня, я же направился из Понизовки дальше по своему маршруту, несмотря на вечернее время.

Идти мне пришлось недолго: два неизвестных инженера ехали с шофером на автомобиле и взялись меня подвезти до ближайшего места. С полчаса мы ехали спокойно, потом в моторе что-то жестко и часто забилось, словно в камеры цилиндров попалось металлическое трепещущее существо. Конус, тормоз — и шофер вышел смотреть повреждение. Отняв гайки, мы общими усилиями попробовали поднять блок цилиндров, но силы у нас оказалось меньше тяжести, а энтузиазма не было. Прохожий человек стоял и судил нас:

— Вы маломочны и беретесь не так. Лучше ступайте на Самодельные хутора — отсюда версты две будет, и того нет. Возьмите оттуда Гришку — он вам один машину зарядит. А так вы замучитесь: вы люди не те.

Мы помолчали из уважения к себе перед прохожим, но затем сообразили, что без этого Григория с хутора и без лошадей нам не обойтись, темнело уже.

Я пошел на хутор. В лощине существовали четыре закопченных двора, из каждой трубы шел какой-то нефтяной дым, авсюду в этом поселении гремели молотки. Хутор был похож не на деревню, а на группу придорожных кузниц; самые же дома, когда я подошел ближе, были вовсе не жилищами, а мастерскими, и там горел огонь труда над металлом. Опустелые поля окружали эту индустрию, видно, что хуторяне не пахали и не сеяли, а занимались железным делом какого-то постоянного машинного мастерства. Вдруг резкая воздушная волна ударила мне в глаза горячим песком, снесенным с почвы, и вслед за этим раздался пушечный удар. От неожиданного страха я присел на лопух и слегка обождал. Голый человек, черный и обгорелый — не на солнце, а близ огня — вышел из хаты-мастерской и поднял позади меня огромный деревянный кляп.

Этот человек оказался необходимым нам Григорием. Он только что испробовал прочность железной трубы посредством выстрела из нее деревянной пробкой: железная труба лежала в горне, имея воду внутри, и работала, как паровой котел, — на давление, пока не вышибла кляпа из отверстия.

Григорий пошел со мной и поступил с автомобилем очень просто: он выбрал начинку из двух цилиндров, в виде рассыпавшихся вкладышей, и запустил мотор на двух цилиндрах.

— Ехать можно, — сказал нам Григорий. — Только в двух холостых цилиндрах теперь живот болит — там газ и масло гоняются непостижимо как.

Мы поехали на его хутор. Хутор этот живет уже лет двести, и всегда в нем было не более четырех дворов. В свое отошедшее в древность время хутор был ремонтной мастерской чумачьих телег, арб и чиновничьих экипажей, а теперь на хуторе поселились бывшие партизаны и демобилизованные красноармейцы, происхождением из шахтеров, московских холодных сапожников и деревенских часовых мастеров, делавших в свое время, за недостатком заказов, девичьи бусы.

— Вы ездили на автомобиле? — спросил Григория один основной пассажир-инженер.

— Кто мне давал его?! — с вопросительной обидой произнес Григорий, правивший машиной.

— А как же вы едете так прилично?

— А я же еду и думаю, — объяснил Григорий. — Машина же сама говорит, что ей симпатично, а я ее слушаю и норовлю.

На этом хуторе мы ночевали, потому что Григорий обещал поделать вкладыши из металла, который никогда не лопнет и не раскрошится.

Мы легли на ночлег в солому близ сарая, в котором хранился уголь и брак продукции. Едва только мы углубились в прохладу сна на свежем воздухе, как нас разбудил гром аплодисментов и длительные овации. Вокруг ничего не существовало, кроме тихой и

порожней степи, а в одном строении хутора гремел восторг масс и трезво дребезжало стекло открытого окна. Я встал в раздражении испорченного сна, но со счастьем любопытства.

— Неопределенных возгласов не хватает! — услышал я рассуждение Григория в тишине кончившейся овации. — Люди всегда работают сразу — и в ладоши и в голос крика! Иначе не бывает. Когда рад, то все члены организма начинают передачу.

Я не понимал и пошел внутрь мастерской. На полу жилья стоял станок, похожий на тот, что точит ножи и всякие лезвия, но с особым значительным ящиком и разными мелкими деталями. Привод станка в действие явно был ножной. Весь этот аплодирующий автомат был изготовлен полевыми мастеровыми для Петропавловского драмкружка, которому нужны были, по ходу одной пьесы, приветствующие массы за сценой.

Здесь пришел другой мастеровой — Павел, по прозванию Прынцып; он принес кусок блестящего металла в руке.

— Что это? — спросил я у Григория.

— Это мы детекторы из него крошим.

— И много вам заказывают?

— Тыщи. Наши деревни музыку обожают, а слободы еще более. Я думаю, что дальше в степь радио и не проходит: у нас в округе антенн гуще, чем деревьев, вся волна тут оседает.

Затем мастеровые сели ужинать; их было семь человек, и все они слегка походили друг на друга. Стол находился под кущей закоптевшего единственного дерева — в конце двора; над столом, подвешенная к дереву, горела чугунная люстра из десяти пятисвечных электрических лампочек, а самое электрическое питание лампам подавал аккумулятор с чердака. На столе имелись для аппетита полевые жестяные цветы в банке и две стальные гравюры, изображающие любовь.

После сытного ужина, рассчитанного на утоление мощных туловищ степных мастеровых, состоялось чтение газеты вслух. Читал Григорий, а остальные серьезно слушали и отвечали искренними чувствами.

— «Нашей погранохраной задержан польский шпион Злучковский!» — читал Григорий.

— К ногтю! — решили слушатели про того шпиона.

— «В Баку открыт новый мощный завод смазочных масел».

— Машинам необходимы жиры. Это первейшая нужда, — одобряли такое дело мастеровые, сочувствуя машинам.

— «Камчатская пушная экспедиция Госторга шлет приветствие пролетариату Советского Союза».

И все слушатели молча наклоняли головы в ответном приветствии.

— «Близ Ашхабада наблюдались слабые толчки почвы. В деревне Исмидие разрушен один дом».

— Зря: люди работают, а посторонняя сила лезет.

Это были очень серьезные люди. Было заметно, что они не слушают происшествия, а чувствуют их, не созерцают, а изучают и в легкой работе ума отдыхают тяжелым телом.

После ужина Григорий принялся за изделие вкладышей для автомобильного мотора. По его системе вкладыши должны получиться прочнее, чем были, потому что он собирался их делать не из целого куска бронзы, а из частей.

— Ты видел дома из одного цельного камня? — спросил Григорий у меня.

— Нет, — по справедливости сообщил я.

— Оттого они и стоят по сто лет, оттого и держат бури, жару, дожди и сотрясения! Я тебе вкладыши сварю из крупинок и частей, как кирпичный дом. Будешь ездить сильно. Митрий, порть мне бронзу на мелочь.

Дмитрий начал рубить кусок бронзы.

— Брось, — догадался Григорий. — Бронза стоит государству средств и организации. Руби мне ее из старых вкладышей.

И так было поступлено.

Еще не успел сварить и отформовать Григорий вкладыши, как из степной ночи предстал перед мастерской таинственный, озадаченный всадник. То был друг Григория — комсомолец из далекой слободы.

— Гриша, к нам бог вступает, поп и бабы ему иже херуим хором поют, на голове у него свет горит!.. Едем со мной на лошадином заду!

— Заводи машину, — сказал Григорий мне. — Буди шофера!

Шофера я разбудил, а инженеры от усталости ехать не захотели.

Через минуту мы помчались с хутора на паре цилиндров — бороться с пришествием бога в слободу, а позади нас поспевал комсомолец на коне.

Мы приехали быстрее бога: он еще не дошел до слободы, а медленно двигался по горизонту, окруженный старым народом, и над головой его действительно светился нимб беловатого огня. Мы дали газ в мотор и, с перебоями в цилиндрах, достигли бога и верующих в него.

Шел старик по земле, одетый в рядно, босой и торжественный. Борода, ясные очи и благодушие пожилого лица служили как бы определенными признаками бога-отца. Вокруг косматых головных волос светилось ровное озарение. Увидев автомобиль, бог-отец выпустил из рук чернохвостого голубя, означавшего духа святого; голубь не хотел было улетать от кормильца, но Григорий дал воющий сигнал — и птица понеслась боком вдаль.

За это мы получили из толпы камень, разбивший стекло в правой фаре.

Григорий тогда встал на шоферское сиденье:

— Господа старики и старухи! (В южных слободах любят это почтительно-отжившее обращение). Господь устал от тягости грехов народа и пешего хода по земному пространству. Мы приехали сюда на машине, чтобы заставить дьявола послужить господу… Садись, бог!

— Охотно, голубчик! — согласился близко созерцавший нас бог-отец.

Он был усажен в пассажирское заднее сиденье, и рядом с ним сел Григорий, а шофер повел машину с такой скоростью, чтобы старики и старухи поспевали сзади бежать.

Ночь продолжалась над нами; глубокая звездная природа существовала вокруг нас, не замечая местного людского происшествия. В слободе заметили приближение того, кто явился во второй раз в мир человечества, и сторож зазвонил в главный колокол с малыми подголосками, произнося на них пасхальную службу.

Шоферское боковое зеркало все время отражало свет заднего бога, и вдруг оно погасло; я не мог обернуться, потому что по указанию шофера качал воздух в бензиновый бак, но зеркало опять заблестело божьим сиянием, и я успокоился.

У входа в храм лежал ниц поп и так же повалены были все те, кто раньше ходил под богом. В стороне стояла группа комсомольцев, трактористов и молодых слобожан, они бесстрашно улыбались накануне светопреставления. Один крестьянин, уже положительного возраста, подошел ко мне в сомнении:

— Либо, товарищ, правда — бог где-то был, а теперь явился, когда не нужен.

Я не разубеждал его словами, поскольку бог-отец почти фактически был. Здесь божий свет снова потух. Поп поднял очи.

— Где же свет господень, что я видел во мгновении времени?

— Сейчас, — ответил бог. Но свет вокруг его головы не происходил.

— Давай я зажгу! — предложил Григорий. — Ты будешь копаться — должность потеряешь.

Он заголил богу рядно, как юбку, пошарил на его груди, и свет засиял.

— У тебя зажимы на батарее ослабли, — тихо сообщил Григорий богу.

— Знаю! — согласно сказал господь. — Туда бы нужно болтики и гаечки, а разве их обнаружишь где в степи.

После посещения храма мы повезли бога в избу-читальню. Так пожелал Григорий, а бог согласился. У Григория был замысел: в этой зажиточной слободе почти никто не верил в радио, а считали его граммофоном. — Григорий вез бога в техническое доказательство. В

избе-читальне собралось народу порядочно, тем более что прибывал бог.

В громкоговорителе же ослаб аккумулятор, и про то знал Григорий, а у бога висела вокруг груди свежая батарея элементов. Григорий поставил бога вблизи громкоговорителя и прицепил его проводами к аппарату. Радио, получив усиленное питание, зазвучало четким басом, но зато свет вокруг головы бога потух.

— Верите ли вы теперь в радио? — спросил Григорий собрание, во время перерыва для подготовки оркестра в Москве.

— Верим, — ответило собрание. — Верим господу и в шумную машину.

— А во что не верите? — испытывал Григорий.

— В граммофон теперь не верим, — сообщило собрание.

— Вот тебе раз! — раздражился Григорий. — А если мы вам граммофон сделаем, тогда поверите?

— Послухаем. Слухать будем, а верить обождем.

— А если я вас бога сейчас лишу?

Собрание и тому не особенно удивилось.

— Ну что ж, — ответил за всех неимущий мужик Евсей, читатель центральных газет. — Вместо одного бога за нами десять безбожников ухажорствовать будут. Чем, Гриш, меньше веришь, тем оно к тебе внимания и доходу больше.

В полночь настала пора расходиться. Но вышло горе: никто не брал бога ужинать и ночевать в свою хату. Слобожане требовали, чтобы сельсовет назначил подворную очередь на содержание бога, а неорганизованно иметь бога не желали.

— Да возьми хоть ты его, Степан, — сказал Евсей соседу. — У тебя новая хата порожняя, как-нибудь уляжешься.

— Чего ты? — обиделся Степан. — Я третьего дня бревна на мост по самообложению возил.

Бог уже захотел есть и озяб от свежей ночи, проникавшей в окна избы-читальни.

Наконец над ним сжалился комсомолец, который приезжал за нами на хутор, и позвал старика в свою хату, где существовала одна его бедная мать.

Григорий озлобился на такую религию и увез бога на хутор как старика. Там бог поел, выспался и наутро остался трудиться второстепенным кузнецом. Он оказался кочегаром-летуном астраханской электростанции, тронувшимся в путь в виде бога-отца для проповеди святой коллективной жизни и для подыскания себе почетного счастья в колхозе.

— Я тебя еще раз поймаю — ушибу! — пообещал Григорий. — Живи здесь и работай на производстве. Проповедуй молотком, а не ртом.

Довольный бог остался: все же в нем жила душа кочегара и пролетария, жила и думала: кулак или другой буржуй не сумел бы стать богом, — он, невежда, не знает электротехники.

С теми техническими способностями, какие были у Григория Михайловича Скрынко, сидеть ему на хуторе и стрелять из труб деревянными пробками — не к чему и вредно для государства. Наутро я сказал Григорию об этом. Он послушал и показал мне на окружные бумаги, в силу которых он назначался директором машинно-тракторной станции из шестидесяти тяжелых тракторов; начальной базой для этой станции предназначался тот самый механический хутор, где жил сейчас Григорий. Машины и оборудование для МТС должны были прибыть в течение одной-двух недель.

Это было прекрасно. Лучшего вождя и друга машин, чем Григорий Михайлович, найти в этой местности нельзя. Кроме того, только в случае внезапной смерти Григория Михайловича посевной план МТС мог бы быть не выполнен, а при его жизни этот план наверняка будет превышен процентов на сто, ибо у него трактора не остановятся никогда и он заставит машину работать даже на одном цилиндре, лишь бы сберечь весеннюю минуту.

— А я недоволен, — сказал мне в последующей беседе Григорий Скрынко. — Вот проверну здесь генеральную линию, покажу всей средноте, что такое колхоз в натуре, что такое весна на тракторном руле, а потом учиться уеду, — больше не могу терпеть!

— Чего вы не можете терпеть?

— Отсталости. Зачем нам нужны трактора в каких-то двенадцать, двадцать или шестьдесят сил. Это капиталистические слабосильные марки! Нам годится машина в двести сил, чтоб она катилась на шести широких колесах, чтоб на ней не аэроплан трещал, а дышал бы спокойный нефтяной дизель либо газогенератор. Вот что такое советский трактор, а не фордовская горелка!

— Это, пожалуй, верно. Но как того добиться?

— Стану сам профессором тяги, вот и добьюсь.

Наверное, так и случится, что года через три-четыре или пять у нас начнут пропадать фордзоновские царапалки и появятся мощные двухсотсильные пахари конструкции профессора Г. М. Скрынко.

— Что будет дальше на моем пути? — спросил я у Григория.

— Колхоз «Без кулака», — сказал Григорий. — Там председателем мой двоюродный брат, Сенька Кучум, скажи ему, что ты был у меня. А еще далее у тебя будет 2-е Отрадное, там тоже меня знают, и ты кланяйся кому-нибудь!

Я направился в этот указанный колхоз, но ввиду ночной тьмы не успел достигнуть места назначения и явился туда наутро нового дня.

При входе в колхоз висела вывеска с названием этого общественного сельского хозяйства, а под вывеской план работ на текущий год, изображенный по железу, и классовый состав колхоза:

48 бедняков, 11 батраков, 73 середняка, 2 учителя, прочая женщина с детьми-сиротами.

Колхоз «Без кулака» существует с августа 1929 г., причем в 1928 г. при единоличном ведении хозяйства нынешними участниками колхоза засеяно озимыми всего 182 гектара, колхоз же посеял озимых 232 гектара, по яровым колхоз наметил увеличить площадь посева в полтора раза против того, что сеяли нынешние члены, будучи единоличниками. За счет какой же конкретной силы произошло увеличение производительности сложенных бедняцко-середняцких хозяйств?

Не зная этого, я пошел к Семену Кучуму, чтобы спросить. Семен, по прозванию Кучум, удивил меня мрачностью лица и резким голосом, раздающимся из глубины его постоянно скорбящего сердца.

— Я не могу тебе ответить, — сказал он мне, — потому что для нас нет такого вопроса, для нас это понятно без всякого ума.

— У вас, наверное, тракторы есть или вам МТС работала?

— Нет еще ни трактора, ни МТС.

— А что же есть?

— Чего в тебе нет: в нас нет вопроса.

— А отчего же мужики больше сеять начали?

— А для чего же они колхоз организовали — для бурьяна, что ли?

— Ты обходишь мой вопрос, — я же с добром спрашиваю.

— Не обхожу, — сообщил Кучум. — По-твоему, все наше дело должно выйти так: собрались люди в кучу с одним планом и желанием, стали работать, и вдруг ничего у них не вышло. Это же страшно, и так быть не может! Так думает безумный или ненавистный.

— И я так думаю иногда.

— Понятно: в тебе нет колхозного чувства и классовой нужды, не все поспевают за революцией. Кто имеет чувство иль хотя бы вашу классовость, у того и ум, а чувства — остаются одни вопросы и злоба.

Я поник. Это была приблизительная правда. Я остался в колхозе на несколько дней, не особо все же доверяя Семену Кучуму. Больше Кучум уже ни разу не говорил со мной, потому что вообще не произносил слов без нужды, хотя был вежливым и спокойным от какого-то равномерного делового уныния человеком. Дальше я существовал лишь свидетелем некоторых событий.

В этой деревне около четверти населения было в колхозе. Остальные же крестьяне все время мучились душой: входить им или обождать. Работал Кучум непостижимо, я больше

никогда не видел такого колхозного организатора.

Однажды подходят к нему четыре бедняка — у всех одно заявление: бери их и зачисляй в колхоз. Бедняки эти были общеизвестными, но в смысле качества — люди не вполне усердные, так как давно уже отчаялись найти дорогу к облегчению своей жизни. Это их усердие, вероятно, и озлобило Кучума, поскольку дорога для жизни бедноты была уже открытой.

— Чего еще! — с грубым недружелюбием сказал им Кучум. — Вы что, очертенели, что ль? Вы думаете, в колхозе легко вам будет?

— Да, может, Семен Ефимыч, и легче, — ответили бедняки.

— Это вам люди набрехали, — угрюмо объяснил Кучум. — В колхозе же труд, забота, обязанности, дисциплина, — куда вы лезете?

— А как же нам быть-то, Семен Ефимыч?

— Да будьте на своих дворах, охота вам горе добывать!

Бедняки в раздумчивости уходили от Кучума; некоторые же считали шепотом, что Кучум — тайный подкулачник.

Середняки обычно приходили в колхоз писаться поодиночке. Они подавали бумагу с молчанием и с морщинкой на лбу, въевшейся в их головы еще с зимы.

— Пиши и нас, Семен Ефимыч, я человек не каменный.

— А какой же ты? — спрашивал Кучум.

— Я трогательный. Я же вижу ваши обстоятельства, а у себя не вижу ничего, — живу неподвижно, как вечный какой!

— Истомиться у нас пожелал, — уныло-недоуменно ставит вопрос Кучум. — Другую морщину нажить на лоб хочешь?

— Да хоть бы и так, Семен Ефимыч!

— Хоть бы и так? Нет, ты уже иди назад — нам мучеников не нужно. Помучайся лучше на своей усадьбе — отмучаешься, тогда придешь.

Я решил, что Кучум нарочно не принимал единоличников, чтобы поднять колхоз изолированным способом на высоту благосостояния. Но большинство единоличников-крестьян чувствовали другое: они глубоко чтили Кучума.

— Сначала мы тоже думали, что он пьяный или дурной, а потом узнали, что он настоящий, — объяснил мне многократно не принятый в колхоз бедняк Астапов.

Оказывается, и в прошлом году Кучум тоже создавал колхоз крайне неохотно, с отсрочкой и с оттяжкой, страшно поднимая этой истомой чувство бедноты, положившей уже уйти в колхоз. Такими непонятными действиями Кучум устроил не просто поток бедноты в колхоз, а целый напор, давку у его дверей, ибо сумел организовать какую-то высокую загадочность колхоза и дал в массу чувство недостойности быть его членами. Но в то же время Кучум не хитрил, не казался политиком. Он никогда не обещал ничего хорошего вперед, не давал никаких обязательств и поручательств на светлую жизнь, и первый, среди всех известных мне колхозных активистов, имел мужество угрюмо сказать колхозникам, что их вначале ожидает горе неладов, неумелости, непорядка и нужды; причем нужда эта будет еще горче, чем бывает она на одном дворе, и побороть ее тоже будет трудней, чем одинокому хозяину, но зато, когда колхоз окрепнет, нужда сделается невозможной и безвозвратной. Эту мысль Кучум, однако, не выговаривал, а лишь думал ее молча, — говорил же он другое.

— Но, может, потом нам будет хорошо? — робко спрашивали его первые колхозники.

— Не знаю, — искренне отвечал Кучум, — это зависит от вас, а не от меня. Помогать я вам буду, кулака в колхоз не пущу, но кормиться и добиваться лучшего вы должны сами. Вы не думайте, что только советской власти необходим ваш колхоз, — советская власть и без хлеба жила, — колхоз нужен вам, а не ей.

— Да ну?! — пугались первые колхозники. — А мы слышали, что колхоз советской власти по душе!

— Ну что ж, что по душе! У советской власти душа же бедняцкая — стало быть, что

вам хорошо, то и ей впрок.

Так еле-еле, под напором нескольких неимущих был устроен колхоз «Без кулака».

И действительно, Семен Кучум никого не обманул — тяжело пришлось колхозникам в первое смутное время организационности. А Семен ходил среди всех в такие дни тужести и говорил:

— Ну, кого выписывать прочь? — Но никто не пожелал выписаться.

Только много позже, уже зимой, один человек, хвастающий тем, что он официальный батрак, выписался из колхоза.

— Не могу, — сказал он, — харчи дают без гущи, работай от сна до сна, все помнить велят, лучше я батрацкой льготой буду жить.

— Вали, — ответил ему Кучум. — Кулак ведь не одних большевиков из нашего брата делал, а и вечных рабов еще вроде тебя. Вали к чертовой матери!

После осеннего сева Кучум, однако, принял в колхоз дворов, кажется, десять, и то с серьезным разговором. Я написал «принял», но это не значит, что Кучум решал все дела колхоза в одиночку, наоборот, он отказывался ото всех дел, кроме прямой работы вроде пахоты. Но сами колхозники так относились к Кучуму, что ничего не совершали без его слова. Если же он молчал, тогда коллективисты чувствовали его настроение и по его настроению делали свои постановления. После сортировки зерна и подготовки к севу Кучум принял еще дворов пять. Такими способами приема Кучум так настроил всю единоличную часть деревни, что большая часть единоличников уже напирала в ворота колхоза. Но Кучум не совершал приема без показательных фактов колхоза, без достижений таких образцов работ, которые служат ясным и простым доказательством выгодности общественного трудового хозяйства. Поэтому он и принял десять дворов только после осеннего сева, произведенного, говорят, так, что единоличники стояли по сторонам колхозного поля и плакали, точно видели что-то трогательное.

После подготовки к севу также состоялся прием новых членов, и после весны, надо думать, Кучум отойдет сердцем и даст вход беднякам и середнякам. Правило Кучума, очевидно, было такое: чем больше колхоз доказывает самсебя (доказывает фактически — на ощупь населению), тем больше он пополняется новыми членами. Кучум не разрешал обманываться людям.

Такая политика, в сущности, лишала возможности бедноту и лучшую часть середняков проявить свою активность. Такая политика, похожая отчасти на безвольный самотек, могла разоружить революционные сады деревни, и впоследствии район серьезно и резко указал Кучуму, что хотя сам он, Кучум, человек милый и геройский, но политика его почти кулацкая, и Кучум, обидевшись, все-таки согласился с районом, потому что ума и дисциплины в нем было больше, чем однодворного эгоизма.

Но в это время мне странно было видеть и слышать, как единоличники, не принятые еще в колхоз, любили этот колхоз и заботились о нем. Один средний крестьянин, по уличному прозванию Пупс, хотел, например, организовать группу колхозных кандидатов, дабы обеспечить себе первоочередное проникновение в колхоз, но Кучум запретил такое неопределенное дело и разрешил Пупсу создать лишь товарищество общественной обработки земли. Пупс такое товарищество (ТОЗ) учредил, но остался все же в большой обиде на Кучума и выпивши ходил по деревне с песней:

Эх, в колхозе вольно жить,
Вольно жить, не тужить.
Выпьешь бутылку-другую кваску
И побежишь погулять по леску.

Дойдя до правления колхоза, Пупс долго требовал, чтобы к нему вышел Кучум, — он хотел еще раз поглядеть на великого человека.

В разных частях быта и хозяйственной сноровки единоличников сказывалось влияние

колхоза. Каждый личный хозяин норовил суетиться на своем дворе по звонкам колхоза, раздававшимся на всю деревню. Ему было теперь неудобно лежать дома на лавке, зная, что в колхозе трудятся. Особенно же доставалось женской части единоличников. Насмотревшись порядков в колхозе, мужики ходили теперь по своим домашним угодьям с презрением:

— Марфуш! А Марфуш! — терпя свое сердце, обращался супруг к жене, а жена его доила корову. — Ты бы хвостяную конечность к коровьей ножке привязала: чего ж тебя хвостом животное по морде бьет! Ты бы хоть раз на колхозные дворы сходила, поглядела бы, как там членки доют!

Другой хозяин всю ночь спал с открытым окном избы, потому что в колхозе люди спали с воздушным сообщением. Третий человек выписывал сразу две газеты на одного себя, поскольку в колхозе приходилось по газете на каждую взрослую душу.

И еще я заметил, что колхозные девицы были самыми модными барышнями среди юношей единоличных дворов. Они им казались вкусней и сознательней, и гораздо изящней, точно социалистические парижанки среди феодального строя.

Единоличные девки, глядя на молодых колхозниц, единодушно бросили белиться, перестав тереться щеками о белые стены, ибо ни одна колхозница не украшала свое лицо красками.

Таково было великое томление единоличников по колхозу, устроенному Кучумом без большого восторга. Мало того, я наблюдал людей, прибывших из окрестных деревень и, видимо, надеявшихся, что можно будет скустоваться своей деревней с колхозом Кучума.

— Действуйте себе на горе, если вам жизнь не дорога, — сообщал Кучум таким гостям, — а жаловаться потом ко мне не приходите.

— Ишь ты какой! — обижались пришельцы. — У тебя, стало быть, и колхоз, и весь свет жизни, а мы сиди под собственным плетнем и жуй житное с солью.

— Я же вам говорю, чтобы вы организовались, раз вы беды не боитесь!

— А у вас-то в колхозе аль беда какая?

Беды в колхозе, пожалуй, не было, но и покоя жизни тоже никто не знал. Но все же единоличники верили, что в колхозе с каждым днем прибавляется по одной капле лучшей жизни, а у них эта влага стоит в срезе, на одном уровне.

Кучум подсчитал, что о союзе с окрестными колхозами он будет говорить во время самой нужды в этом союзе, например, во время появления МТС, при землеустройстве, при организации борьбы с несознательными полезными вредителями и в других больших хозяйственных случаях.

Мне было очень интересно, как сумел этот мрачный вождь бедняцкого движения к хлебу и свету организовать труд в колхозе и распределение продуктов.

В этом деле он оказался скупым рыцарем. Весь состав колхоза он разбил на две половины: люди до 20 лет (юноши и девушки) и люди старше 20 лет.

При этом молодое поколение (до двадцати лет) разбивается еще на ряд групп: младенчество, детство, отрочество, рабочая молодежь в 15–20 лет. Для всей этой молодежной части колхоза снабжение было установлено, как в коммуне, без всякой разницы и поправки на общественную трудовую полезность (принималась во внимание только возрастная разница: например, младенец и уже работающий юноша в 17 лет и т. п.). Даже членов старше 20 лет натуральное и денежное снабжение происходило сдельным способом. В хозяйственном плане колхоза было записано и утверждено следующее: «Весь доход колхоза „Без кулака“, за отчислением от него амортизации, налога, расходов по скоту, страховки и пр., делится на число душ-едоков; души-едоки до 20 лет получают свою долю дохода полностью, а более старшие лишь половину своей доли, и из расчета этой половины душевого дохода составляется сдельный расценок каждого члена старше 20 лет. Другая половина душевого дохода старшего члена за минувший хозгод делится так: четверть ее идет на усиление пищи и одежды молодого поколения, т. е. не свыше 20 лет, две четверти на хозяйственное развитие коллектива и последняя четверть в запасный, неприкосновенный фонд, а также на помощь индустриализации государства».

Ясно, что Кучум имел на свежее поколение великую надежду и впряг всех взрослых людей, уже испорченных бывшим империализмом, работать на это живое будущее.

Кучум знал, что нынешнее юношество уже будет жить в коммуне и не станет нуждаться в сдельщине. Впрочем, молодежь не нуждалась в сдельщине и сейчас: я узнал, что колхозники в возрасте 15–20 лет работали с предельным напряжением сил и не имели надобности в каком-либо подгоняющем принуждении, — им было необходимо лишь обучение. Эта картина трудового усердия молодежи стала обычной в нашей стране, потому что советская юность не знает причин для избежания труда, разве что лишь когда переутомится или влюбится.

Рабочие планы составлялись в этом колхозе на каждые 10 дней. Согласно такому общему декадному плану, всякому члену колхоза выдавался на руки личный план-талон, в котором обозначались объем работ, число часов для ее исполнения и расценок. Такие индивидуальные планы-талоны указывали обязанности каждого члена в течение одного, двух, а иногда и трех дней.

Весь плановый и операционный штат колхоза состоял из Кучума и его помощника, бывшего батрака Силайлова; но и эти двое также получали личные планы-талоны на обычную работу, общей же плановой и руководящей деятельностью они занимались по вечерам или рано утром.

Из новых учреждений в колхозе был детский сад с яслями и Дом коллективиста, работавший под заботой двух учителей-колхозников, — причем эти учителя были освобождены от всякой сельскохозяйственной работы и снабжались так, как если бы им было меньше двадцати лет. Последнее обстоятельство указывало на глубокий расчетливый такт Кучума; в остальном же он был скупец и безжалостный хозяин. Это его свойство сказалось и в плане колхоза, и во внешнем виде колхозников — одевались они плохо и имели худой, изработанный вид.

Зато молодая часть колхоза была совсем другая — не только пригожа и сыта на лицо, но и одета вполне прилично: недаром колхозные девушки были парижанками для всех единоличных девок. В эту сторону Кучум уже ничего не жалел и лично ездил в город закупать мануфактурный материал для молодежи, беря для консультации парня и девицу.

В мою бытность в этом колхозе Кучум совершил одно замечательно правильное начинание: он от имени колхоза вызвал на соревнование весь местный состав единоличников, желавших быть колхозниками. Предметом соревнования были все обычные статьи весеннего сева: семзерно, площадь засева на лошадь-человека, срок и т. д. Призом же соревнования было следующее: если единоличники выиграют у колхоза или хотя бы близко сравняются с ним, то всех соревнующихся единоличников Кучум принимает в колхоз; если проиграют — пусть с приемом подождут до осени.

Единоличники вызов Кучума приняли.

— Мы ему, черту, покажем, кто мы такие! — ожесточаясь для неимоверного труда, говорили некоторые единоличники.

— Попробуем. Может, и сладим.

— С ним попробуешь! Он, гляди, вот-вот и спать перестанет.

— Это бы ничего. Плохо то, что и другие все запляшут скоро под его шаг.

— На лицо-то он вялый, а как почнет рвать и метать, как только почва его носит!

— Ну, ведь и мы из костяного материала сделаны!

— Замучил он нас. Если бы он бабой был, то мы бы думали, что он присушку знает, а раз он мужик, то непонятно. При нем, говорят, и дети в яслях не плачут.

— А что же они делают?

— Кто ее знает! Наверно, сознавать начинают.

— Вот крест-то нам господь послал! От него, как от бабы, и отвязаться нельзя.

— Даже странно! — почти научно выразился какой-то единоличный малый.

Мне неизвестно, чем закончилось это редкое соревнование. Если даже колхоз и не выиграл, что при Кучуме недопустимо, то выиграло государство, ибо в той деревне засеяны,

наверно, не только все порожние земли, но даже и овражные косогоры, ибо ярость мужиков была велика, да и у кучумовцев она не маленькая, хотя и другого качества.

Теперь задумаемся над тем, правильна ли работа Кучума во всех частях, нет ли в его работе скрытой установки на самотек, на этого врага бедноты и средних мужиков? Колхозы, конечно, есть судьба всемирного трудящегося крестьянства, но если авангард того же крестьянства и пролетариата не разбудит сознания в массах, не создаст тяги в колхозы, то судьба эта опоздает, а замедленное движение всегда чревато риском и падением.

Да, в работе Кучума есть и была бессознательная установка на самотек, на политику прижатых тормозов, но я считаю, что напирающая беднота украдет вскоре у Кучума эту установку, и тогда, потерпев самотек, он приобретет полный дар вождя.

В день своего отхода из колхоза я увидел, наконец, как уныло-равнодушный Кучум был краткое время бешеным. К нему явился снятый с должности председатель колхозного куста, расположенного отсюда километров за двадцать. Он с Кучумом был хорошо знаком и почти что приходился ему другом, что замечалось по искренности отношения илегкой радости на обоих лицах. Прибывший кустовой председатель начал жаловаться на неправильности: его прогнали за перегибы, за то, что он раскулачил будто бы сорок человек середняков и закрыл церковь без либерального подхода к массам; но ведь те середняки завтра могли бы стать кулаками, и он лишь пресек их растущую тенденцию. А что касается церкви, то народ, сам не сознавая, давно потерял надежду в наличие бога, и он только фиксировал этот факт путем запрещения религии, — за что же, спрашивается, его ликвидировали как председателя?

Здесь бывший председатель сообщил следующее свое мнение: собаке рубят хвост для того, чтобы она поумнела, потому что на другом конце хвоста находится голова. Тут он явно намекал на то, что, дескать, райисполком — голова, а он — хвост, точно рик и вправду приказывал ему в течение недели учредить коммунизм. Даже мне было глубоко грустно слушать такую отъявленную негодяйскую речь.

Чем больше слушал Кучум эти слова своего друга, тем все значительней серело его лицо. Затем он стал бордовый, равнодушные его глаза осветились мгновенной энергией, и, слегка приподнявшись, Кучум молча совершил, резкий, хрустящий удар в грудь противосидящего друга. Друг без дыхания повалился навзничь. Но Кучум не чувствовал еще удовлетворения. Он вышел из-за стола, поднял упавшего за куртку и дал ему свежий, сокрушительный удар в скулу — так что бывший председатель прошиб затылком оконную раму и вывалился из помещения на улицу, осыпанный мелочью стекла. После этого акта Кучум вновь приобрел унылое выражение своего лица, я же почувствовал значение партии для сердца этих угрюмых непобедимых людей, способных годами томить в себе безмолвную любовь и расходовать ее только в измождающий, счастливый труд социализма.

— До свидания! — сказал я Кучуму.

— Прощай, — товарищески мягко произнес он, зная, что, куда бы я ни делся, я все же всюду останусь в строительстве социализма, и какой-нибудь прок от меня будет.

Наевшись в колхозе мяса, я пошел из общего хозяйства по прямому направлению и часов через шесть дошел до большого селения под названием Гущевка. Я стал в крайней избе на ночлег и долго лежал на лавке без сна, а в полночь в это же место пришел ночевать товарищ Упоев, главарь района сплошной коллективизации, не имевший постоянного местопребывания.

К утру я уже коренным образом познакомился с товарищем Упоевым и узнал мужественную, необоримую жизнь этого простого человека.

Раньше любая кулацкая сила постоянно говорила бедняку Упоеву: «Ты отсталый, ты человек напрасный на этом свете, ты псих, большевиком ты состоять не годишься — большевики люди проворные».

Но Упоев не верил ни кулаку, ни событию — он был неудержим в своей активности и ежедневно тратил тело для революции.

Семья Упоева постепенно вымерла от голода и халатного отношения к ней самого Упоева, потому что все свои силы и желания он направлял на заботу о бедных массах. И когда ему сказали: «Упоев, обратись на твой двор, пожалей свою жену — она тоже была когда-то изящной середнячкой», то Упоев глянул на говорящих своим активно-мыслящим лицом и сказал им евангельским слогом, потому что марксистского он еще не знал, указывая на весь бедный окружающий его мир: «Вот мои жены, отцы, дети и матери, — нет у меня никого, кроме неимущих масс! Отойдите от меня, кулацкие эгоисты, не останавливайте хода революционности! Вперед — в социализм!»

И все зажиточные, наблюдая энергичное бешенство Упоева, молчали вокруг этого полуголого, еле живого от своей едкой идеи человека.

По ночам же Упоев лежал где-нибудь в траве, рядом с прохожим бедняком, и плакал, орошая слезами терпеливую землю: он плакал, потому что нет еще нигде полного, героического социализма, когда каждый несчастный и угнетенный очутится на высоте всего мира. Однажды в полночь Упоев заметил в своем сновидении Ленина и утром, не оборачиваясь, пошел, как был, на Москву.

В Москве он явился в Кремль и постучал рукой в какую-то дверь. Ему открыл красноармеец и спросил: «Что надо?»

— О Ленине тоскую, — отвечал Упоев, — хочу свою политику рассказать.

Постепенно Упоева допустили к Владимиру Ильичу.

Маленький человек сидел за столом, выставив вперед большую голову, похожую на смертоносное ядро для буржуазии.

— Чего, товарищ? — спросил Ленин. — Говорите мне, как умеете, и буду вас слушать и делать другое дело — я так могу.

Упоев, увидев Ленина, заскрипел зубами от радости и, не сдержавшись, закапал слезами вниз. Он готов был размолоть себя под жерновом, лишь бы этот небольшой человек, думающий две мысли враз, сидел за своим столом и чертил для вечности, для всех безрадостных и погибающих свои скрижали на бумаге.

— Владимир Ильич, товарищ Ленин, — обратился Упоев, стараясь быть мужественным и железным, а не оловянным. — Дозволь мне совершить коммунизм в своей местности! Ведь зажиточный гад опять хочет бушевать, а по дорогам снова объявились люди, которые не только что имущества, а и пачпорта не имеют! Дозволь мне опереться на пешеходные нищие массы!..

Ленин поднял свое лицо на Упоева, и здесь между двумя людьми произошло собеседование, оставшееся навсегда в классовой тайне, ибо Упоев договаривал только до этого места, а дальше плакал и стонал от тоски по скончавшемуся.

— Поезжай в деревню, — произнес Владимир Ильич на прощанье, — мы тебя снарядим — дадим одежду и пищу на дорогу, а ты объединяй бедноту и пиши мне письма: как у тебя выходит.

— Ладно, Владимир Ильич, через неделю все бедные и средние будут чтить тебя и коммунизм!

— Живи, товарищ, — сказал Ленин еще один раз. — Будем тратить свою жизнь для счастья работающих и погибающих: ведьцелые десятки и сотни миллионов умерли напрасно!

Упоев взял руку Владимира Ильича, рука была горячая, и тягость трудовой жизни желтела на задумавшемся лице Ленина.

— Ты гляди, Владимир Ильич, — сказал Упоев, — не скончайся нечаянно. Тебе-то станет все равно, а как же нам-то.

Ленин засмеялся — и это радостное давление жизни уничтожило с лица Ленина все смертные пятна мысли и утомления.

— Ты, Владимир Ильич, главное, не забудь оставить нам кого-нибудь вроде себя — на всякий случай.

По возвращении в деревню Упоев стал действовать хладнокровнее. Когда же в нем

начинало бушевать излишнее революционное чувство, то Упоев бил себя по животу и кричал:

«Исчезни, стихия!»

Однако не всегда Упоев мог помнить про то, что он отсталый и что ему надо думать: в одну душную ночь он сжег кулацкий хутор, чтобы кулаки чувствовали — чья власть.

Упоева тогда арестовали за классовое самоуправство, и он безмолвно сел в тюрьму.

В тюрьме он сидел целую зиму, и среди зимы увидел сон, что Ленин мертв, и проснулся в слезах.

Действительно, тюремный надзиратель стоял в дверях и говорил, что Ленин мертв, и плакал слезами на свечку в руке.

Когда под утро народ утих, Упоев сказал самому себе:

— Ленин умер, чего же ради такая сволочь, как я, будет жить! — и повесился на поясном ремне, прицепив его к коечному кольцу. Но неспавший бродяга освободил его от смерти и, выслушав объяснения Упоева, веско возразил:

— Ты действительно — сволочь! Ведь Ленин всю жизнь жил для нас таковых, а если и ты кончишься, то, спрашивается, для кого ж он старался?

— Тебе хорошо говорить, — сказал Упоев. — А я лично видел Ленина и не могу теперь почувствовать, зачем я остался на свете!

Бродяга оглядел Упоева нравоучительным взглядом:

— Дурак: как же ты не постигаешь, что ведь Ленин-то — умнее всех, и если он умер, то нас без призору не покинул!

— Пожалуй что, и верно, — согласился Упоев и стал обсыхать лицом.

И теперь, когда прошли годы с тех пор, когда Упоев стоит во главе района сплошной коллективизации и сметает кулака со своей революционной суши, — он вполне чувствует и понимает, что Ленин действительно позаботился и его сиротой не оставил.

И каждый год, зимой, Упоев думает о том бродяге, который вытащил его в тюрьме из петли, который понимал Ленина, никогда не видя его, лучше Упоева.

В общем же Упоев был почти что счастлив, если не считать выговора от Окрзу, который он получил за посев крапивы на десяти гектарах. И то он был не виноват, так как прочел в газете лозунг: «Даешь крапиву на фронт социалистического строительства!» — и начал размножать этот предмет для отправки его за границу целыми эшелонами.

Упоев радостно думал, что вопрос стоит о крапивочной порке капиталистов руками заграничных, маловооруженных товарищей.

Бродя в последующие дни по усадьбам и угодьям колхоза, я убедился, что мнение о зажиме колхозной массы со стороны колхозных руководителей неверно.

От Упоева колхозники чувствовали не зажим, а отжим, который заключался в том, что Упоев немедленно отжимал прочь всякого нерачительного или ленивого работника и лично совершал всю работу на его глазах.

Мне пришлось наблюдать, как он согнал рулевого с трактора, потому что тот жег керосин с черным дымом, и сам сел править, а рулевой шел сзади пешком и смотрел, как надо работать. Так же внезапно и показательно Упоев внизывался в среду сортировщиков зерна и порочил их невнимательный труд посредством показа своего умения. Он даже нарочно садился обедать среди отсталых девок и показывал им, как надо медленно и продуктивно жевать пищу, дабы от нее получилась польза и не было бы желудочного завала. Девки действительно, из страха ли сознания — не могу сказать точно, от чего, — перестали глотать говядину целыми кусками. Раньше же у них постоянно бурчало в желудке от несварения. Подобным же способом показа образца Упоев приучил всех колхозников хорошо умываться по утрам, для чего вначале ему пришлось мыться на трибуне посреди деревни, а колхозники стояли кругом и изучали его правильные приемы.

С этой же трибуны Упоев всенародно чистил зубы и показывал три глубоких вдоха, которые надо делать на утренней заре каждому сознательному человеку.

Не имея квартиры, ночуя в той избе, какая ему только предстанет в ночной темноте, Упоев считал своей горницей все колхозное тело и, томимый великим душевным чувством, выходил иногда на деревянную трибуну и говорил доклады на закате солнца. Эти его речи содержали больше волненья, чем слов, и призывали к прекрасной обоюдной жизни на тучной земле. Он поднимал к себе на трибуну какую-нибудь пригожую девушку, гладил ее волосы, целовал в губы, плакал и бушевал грудным чувством.

— Товарищи! Вечно идет время на свете — из нас уж душа вон выходит, а в детях зато волосы растут. Вы поглядите своими глазами кругом, насколько с летами расцветает советская власть и хорошеет молодое поколение! Это ж ужасно прелестно, от этого сердце день и ночь стучит в мою кость, и я скорблю, что уходит план моей жизни, что он выполняется на все сто процентов, и скоро я скроюсь в землю под ноги будущего всего человечества… Кто сказал, что я тужу о своей жизни?

— Ты сам сказал, — говорила Упоеву рядом стоящая девушка.

— Ага, я сказал! Так позор мне, позор такой нелепой сволочи! Бояться гибнуть — это буржуазный дух, это индивидуальная роскошь… Скажите мне громко, зачем я нужен, о чем мне горевать, когда уже присутствует большевицкая юность и новый шикарный человек стал на учет революции?! Вы гляньте, как солнце заходит над нашими полями — это ж всемирная слава колхозному движению! Пусть теперь глядит на нас любая звезда ночи — нам не стыдно существовать, мы задаром организуем все бедное человечество, мы трудимся навстречу далеким планетам, а не живем как гады! Скажи и ты что-нибудь или спой сразу песню! — .обращался к девушке Упоев.

Девушка стеснялась.

— Скажи хоть приблизительно! — упрашивал ее Упоев в волнении.

— Что же я тебе скажу, когда мне и так хорошо! — сообщала девица.

— Дядя Упоев, дай я тебе куплет спою! — предложил один юноша из рядов колхоза.

— Ну спой, сукин сын! — согласился Упоев.

Парень тронул на гармонике мотив и спел задушевным тоном:

Эх, любят девки, как одна,
Любят Ваньку-пер…на!

— Раскулачу за хулиганство, стервец! — выслушав хороший голос, воскликнул Упоев и бросился было с трибуны к гармонисту. Но его остановили активисты:

— Брось, Упоев, у него голос хороший, а у нас культработа слаба!

Позже Упоев спрашивал у меня о происхождении человека: его в избе-читальне тоже однажды спросили об этом, а он точно не знал и сказал только, что, наверно, и самом начале человечества был актив, который и организовал людей из животных. Но слушатели спросили и про актив — откуда же он взялся?

Я ответил, что, по-моему, вначале тоже был вождевой актив, но в точности не мог объяснить всей картины происхождения человека из обезьяны.

— Отчего обезьяна-то стала человеком, или ей плохо было? — допытывался Упоев. — Отчего она вдруг поумнела?

Здесь я вспомнил про Кучума и про того, кого он расшиб на месте.

— Самый главный стержень у животного и человека, товарищ Упоев, — это позвоночный столб с жидкостью внутри. Один конец позвоночника — это голова, а другой — хвост.

— Понимаю, — размышлял Упоев. — Позвоночник в человеке вроде бревна, в нем упор жизни.

— Может быть, какие-нибудь звери отгрызли обезьяньи хвосты, и сила, какая в хвост шла, вдарилась в другой конец — в голову, и обезьяны поумнели!

— А, может быть! — радостно удивился Упоев. — Стало быть, нам тоже звери-кулаки и подкулачники должны что-нибудь отъесть, чтобы мы поумнели.

— Они уже отгрызли, — сказал я.
— Как так отгрызли? Что же мне больно не было?
— А перегибщик линии — это тебе не подкулачник?
— Он, стерва.
— А он больно сделал коллективизации или не больно?
— Факт — больно, гада такая!
На том мы и расстались, чтобы сжать. Но после полуночи Упоев постучал мне в голову, и я проснулся.
— Слушай, ты ведь мне ложь набрехал! — произнес Упоев. — Я лег спать и одумался: это ведь не кулаки нам хвост отгрызли, а мы им классовую голову оторвали! Ты кто? Покажи документы!
Документов я с собой не носил. Однако Упоев простил мне это обстоятельство и экстренно проводил ночью за черту колхоза.
— Я Полное собрание сочинений Владимира Ильича ежедневно читаю, я к товарищу Сталину скоро на беседу пойду, — чего ты мне голову морочишь?
— Я слышал, что один перегибщик так говорил, — слабо ответил я.
— Перегибщик или головокруженец есть подкулачник: кого же ты слушаешь? Эх, гадина! Пойдем назад ночевать.
Я отказался. Упоев посмотрел на меня странно беззащитными глазами, какие бывают у мучающихся и сомневающихся людей.
— По-твоему, наверное, тоже Ленин умер, а один дух его живет? — вдруг спросил он.
Я не мог уследить за тайной его мысли и за поворотами настроения.
— И дух и дело, — сказал я. — А что?
— А то, что ошибка. Дух и дело для жизни масс — это верно, а для дружелюбного чувства нам нужно иметь конкретную личность среди земли.
Я шел молча, ничего не понимая… Упоев вздохнул и дополнительно сообщил:
— Нам нужен живой — и такой же, как Ленин… Засею землю — пойду Сталина глядеть: чувствую в нем свой источник. Вернусь, на всю жизнь покоен буду.
Мы попрощались.
— Вертайся, черт с тобой! — попросил меня Упоев.
Из предрассудка я не согласился и ушел во тьму. Шаги Упоева смолкли на обратном пути. Я пошел неуверенно, не зная, куда мне идти и где осталась позади железная дорога. Глушь глубокой страны окружала меня, я уже забыл, в какой области и районе я нахожусь, я почти потерялся в несметном пространстве.
Но Упоев бы и здесь никогда не утратил стойкости души, потому что у него есть на свете центральная дорога и любимые им люди идут впереди него, чтобы он не заблудился.
Все более уважая Упоева, я шел постепенно вперед своим средним шагом и вскоре встретил степной рассвет утра. Дороги подо мной не было; я спустился в сухую балку и пошел по ее дну к устью, зная, что чем ближе вода к поверхности, тем скорее найдешь деревню.
Так и было. Я заметил дым ранней печки и через краткое время вошел на глинистую, природную улицу неизвестного селения. С востока, как из отверстия, дуло холодом и сонливой сыростью зари. Мне захотелось отдохнуть, я свернул в междуусадебный проезд, нашел тихое место в одном плетневом закоулке и улегся для сна.

Проснулся я уже при высоком солнцестоянии — наверно, в полдень. Невдалеке от меня, среди улицы, топтался народ, и посреди него сидел человек без шапки, верхом на коне. Я подошел к общему месту и спросил у ближнего человека: кто этот измученный на сильной лошади?
— Это воинствующий безбожник — только сейчас прибыл. Он давно нашу местность обслуживает, — объяснил мне сельский гражданин.
Действительно, товарища Щекотулова, активно отрицавшего бога и небо, знали уже

довольно подробно. Он уже года два как ездил по деревням верхом на коне и сокрушал бога в умах и сердцах отсталых верующих масс.

Действовал товарищ Щекотулов убежденно и просто. Приезжает он в любую деревню, останавливается среди людного кооперативного места и восклицает:

— Граждане, кто не верит в бога, тот пускай остается дома, а кто верит — выходи и становись передо мной организованной массой!

Верующие с испугу выходили и становились перед глазами товарища Щекотулова.

— Бога нет! — громко произносил Щекотулов, выждав народ.

— А кто ж главный? — вопрошал какой-нибудь темный пожилой мужик.

— Главный у нас — класс! — объяснял Щекотулов и говорил дальше. — Чтоб ни одного хотя бы слабоверующего человека больше у вас не было! Верующий в гада-бога есть расстройщик социалистического строительства, он портит, безумный член, настроение масс, идущих вперед темпом! Немедленно прекратите религию, повысьте уровень ума и двиньте бывшую церковь в орудие культурной революции! Устройте в церкви радио, и пусть оно загремит взрывами классовой победы и счастьем достижений!..

Передние женщины, видевшие возбуждение товарища Щекотулова, начинали утирать глаза от сочувствия кричащему проповеднику.

— Вот, — обращался товарищ Щекотулов. — Сознательные женщины плачут передо мной, стало быть, они сознают, что бога нет.

— Нету, милый, — говорили женщины. — Где же ему быть, когда ты явился.

— Вот именно, — соглашался товарищ Щекотулов. — Если бы он даже и явился, то я б его уничтожил ради бедноты и середнячества.

— Вот он и скрылся, милый, — горевали бабы. — А как ты уедешь, то он и явится.

— Откуда явится? — удивлялся Щекотулов. — Тогда я его покараулю.

— Чего ж тебе караулить: бога нету, — с хитростью сообщали бабы.

— Ага! — сказал Щекотулов. — Я так и знал, что убедил вас. Теперь я поеду дальше.

И товарищ Щекотулов, довольный своей победой над отсталостью, ехал проповедовать отсутствие бога дальше. А женщины и все верующие оставались в деревне и начинали верить в бога против товарища Щекотулова.

В другой деревне товарищ Щекотулов поступал так же: собирал народ и говорил:

— Бога нет!

— Ну-к что ж, — отвечали ему верующие. — Нет и нет, стало быть, тебе нечего воевать против него, раз Иисуса Христа нет.

Щекотулов становился своим умом в тупик.

— В природе-то нет, — объяснял Щекотулов, — но в вашем теле он есть.

— Тогда залезь в наше тело!

— Вы, граждане, обладаете идиотизмом деревенской жизни. Вас еще Маркс Карл предвидел.

— Так как же нам делать?

— Думайте что-нибудь научное!

— А про что думать-то?

— Думайте, как, например, земля сама по себе сотворилась.

— У нас ум слаб: нас Карл Маркс предвидел, что мы — идиотизм!

— А раз вы думать не можете, — заключал Щекотулов, — то лучше в меня верьте, лишь бы не в бога.

— Нет, товарищ оратор, ты хуже бога. Бог хотя невидим, и за то ему спасибо, а ты тут — от тебя покоя не будет.

Последний резон был произнесен при мне. Он заставил Щекотулова обомлеть на одно мгновение, — видимо, мысль его несколько устала. Но он живо опомнился и мужественно накричал на всех:

— Это контрреволюция! Я разрушу ваш подкулацкий Карфаген!

— Стоп, товарищ, сильно шуметь! — сказал с места невидимый мне человек.

И я услышал голос, говорящий о Щекотулове как о помощнике религии и кулацком сподручном. Человек говорил, что религия — тончайшее дело, ее ликвидировать можно только посредством силы коллективного хозяйства и с помощью высшей и героической социальной культуры. Такие же, как Щекотулов, лишь пугают народ и еще больше обращают его лицо к православию. — Щекотуловым не место в рядах районных культработников.

Вторым выступил я, потому что почувствовал ярость против Щекотулова и революционную страсть перед массами; я тщательно старался объяснить религию, как средство доведения народа капиталистами до потери сознания, а также рассказал, насколько мог, правильные способы ликвидации этого безумия; при этом я опорочил Щекотулова, борющегося с безумием темными средствами, потому что Щекотулов есть тот левый прыгун, с которым партия сейчас воюет.

Щекотулов, дав мне закончить, быстро повернул лошадь и решительно поскакал вон из деревни, имея такой вид, будто он поехал вести на нас войска.

— Ишь, гадюка; в колхозы он небось ездить перестал! — сказал кто-то ему вслед. — Там враз бы ему в разум иголку через ухо вдели! Маркс-Энгельс какой!

Деревня, где я теперь присутствовал, называлась 2-м Отрадным, 1-е же находилось еще где-нибудь. 2-е Отрадное до сих пор еще не было колхозом, и даже ТОЗа в нем не существовало, точно здесь жили какие-то особо искренние единоличники или непоколебимые подкулачники. Со вниманием, как за границей, я шел по этой многодворной деревне, желая понять по наглядным фактам и источникам уцелевший здесь капитализм.

На завалинке одной полуистлевшей избы сидел пожилой крестьянин и, видимо, горевал.

— О чем ты скучаешь? — спросил я его.

— Да все об колхозе! — сказал крестьянин.

— А чего же о нем скучать-то?

— Да как же не горевать, когда у всех есть, а у нас нету! Все уж давно организованы, а мы живем как анчутки! Нам так убыточно!

— А тебе очень в колхоз охота?

— Страсть! — искренно ответил крестьянин.

Либо он обманывал меня, либо я был дурак новой жизни. Я постоял в неизвестности и отошел посмотреть на местный капитализм. Он заключался в дворах, непримиримо желавших стать поместьями, и в слабых по виду людях, только устно тосковавших по колхозу, а на самом деле, может быть, мечтавших о ночной чуме для всех своих соседей, дабы наутро каждому стать единственным хозяином всего выморочного имущества. Но, с другой стороны, на завалинках сидели горюны о колхозном строительстве, а самого колхоза не было. Стало быть, здесь существовала какая-то серьезная загадка. Поэтому я ходил и исследовал, будучи весь начеку.

Вечером я попал и избу-читальню, узнав за весь день лишь одно — что все хотят в колхоз, а колхоз не учреждается. В избе-читальне стояло пять столов, за которыми заседали пять комиссий по организации колхоза. На стенах висели названия комиссий: «уставная», «классово-отборочная», «инвентарная», «ликвидационно-кулацкая» и, наконец, — «разъяснительно-добровольческая».

Послушав непрерывную работу этих комиссий, я понял, что такого большого количества глупых людей, собранных в одном месте, быть не может. Стало быть, в комиссиях сидели подкулацкие деятели, желавшие умертвить колхозное живое начало в бесконечных, якобы подготовительных, бюрократических хлопотах. Я поговорил с председателем «разъяснительно-добровольческой» комиссии — мне хотелось узнать, в чем заключается его работа.

— Боимся, чтобы принуждения не было: развиваем добровольчество! — сообщил председатель.

— Развили уже, или не удается? — спросил я.

— Как вам сказать? Конечно, знамя массовой разъяснительной работы мы держим высоко, но кто его знает, а вдруг единоличники еще не убедились! Перегнуть ведь теперь никак нельзя, приходится держать курс на святое чувство убедительности.

Мне показалось, что председатель несколько скрытный человек.

— Давно работают ваши комиссии?

— Да уж четвертый месяц. Зимой-то мы не управились организоваться, а теперь ведем массовую кампанию.

Окружающие комиссии что-то тихо писали, а мужики заунывно ожидали колхоза на завалинах. Один из таких ожидальцев пришел потом к председателю комиссии для дачи сведений. Его спросили:

— Чувствуешь желание коллективизации?

— Еще бы! — ответил крестьянин.

— А отчего же ты чувствуешь?

— От безлошадности. Ты ведь, — обратился он к председателю, — мне исполу пашешь, а вон лошадиная бригада исполу и пашет, и сеет, и зерно на двор везет. Только та лошадиная колонна на колхозы работает, а на нас не управляется.

— Так это же твое рваческое настроение, а не колхозное чувство! — даже удивился председатель. — Ты, значит, еще не убежден в колхозе!

— Да как тут понять, — выразился безлошадный. — Колхоза мы почти что и не чувствуем — чувствуем, что нашему брату жить там барыш!

— Барыш — рвачество, а не сознание, — ответил председатель. — Придется нам еще шире повести разъяснительную кампанию!..

— Веди ее бессрочно, — сказал безлошадный, — тебе ведь колхоз — убыток…

Председатель терпеливо промолчал.

Легко было догадаться, что здешние зажиточные и подкулачники стали чиновниками и глубоко эксплуатировали принцип добровольности, откладывая организацию колхоза в далекое время кякой-то высшей и всеобщей убежденности. Неизвестно, насколько здесь имелось потворство со стороны района, только вся кулацкая норма населения деревни (около пяти процентов) сидела в комиссиях, а бедняки и средние, видя в окружающих колхозах развитие усердного труда и жизненного довольства, считали свое единоличие убытком, упущением и даже грехом, кто еще остаточно верил в бога. Но зажиточные, ставшие бюрократическим активом села, так официально-косноязычно приучили народ думать и говорить, что иная фраза бедняка, выражающая искреннее чувство, звучала почти иронически. Слушая, можно было подумать, что деревня населена издевающимися подкулачниками, а на самом деле это были бедняки, завтрашние строители новой великой истории, говорящие свои мысли на чужом двусмысленном, кулацко-бюрократическом языке. Бедняцкие бабы выходили под вечер из ворот и, пригорюнившись, начинали голосить по колхозу. Для них отсутствие колхоза означало переплату лошадным за пахоту, побирушничество за хлебом до новины по зажиточным дворам, дальнейшая жизнь без ситца и всяких обновок и скудное сиротство в голой избе, тогда как колхозные бабы уже теперь гуляют по полости в новых платках и хвалятся, что говядину порциями едят. Одной завистью, одним обычным житейским чувством бедняцкие бабы вполне точно понимали, где лежит их высшая жизнь.

Но внутри самой ихней деревни сидел кулацкий змей, а единоличные бедняки ходили в гунях, никогда не пробуя колхозного мяса.

Удивительно еще то, что колхозные комиссии ни разу не собирали во 2-м Отрадном бедняцко-середняцкого пленума, откладывая такое дело вплоть до неимоверной проработки всей гущи оргвопросов, которые ежедневно выдумывали сами же члены-подкулачники.

Посоветовавшись с некоторыми энергичными бедняками, я написал письмо товарищу Г. М. Скрынко на Самодельный хутор, поскольку он был наиболее разумным активистом прилегающего района.

«Товарищ Григорий! Во 2-м Отрадном колхозное строительство подпольно захвачено

зажиточно-подкулацкими людьми, женская беднота заявляет свое страдание непосредственно песнями на улицах. А твой район и возглавляемая тобой МТС почти что рядом. Советую тебе заехать прежде в районную власть и, узнав, нет ли там корней каких-либо, расцветших целыми ветвями во 2-м Отрадном, прибыть сюда для ликвидации бюрократического очага».

Один бедняк взялся свезти письмо товарищу Г. М. Скрынко, я же, убежденный, что Скрынко явится во 2-е Отрадное и ликвидирует бюрократическое кулачество, пошел дальше из этого места.

Погода разведрилась, в природе стало довольно хорошо, и я шел со спокойной за колхозы душою. Озимые поколения хлебов широко росли вокруг, и ветер делал бредущие волны по их задумчивой зеленой гуще — это лучшее зрелище на всей земле. Мне захотелось уйти сегодня подальше, минуя милые колхозы, дабы найти вдали что-нибудь более выдающееся.

Вечером солнце застало меня вблизи какого-то парка: от проезжей дороги внутрь парка вела очищенная аллея, а у начала аллеи находилась арка с надписью: «С.-х. артель имени Награжден-ных героев, учрежденная в 1923 г.». Здесь, наверное, общественное производство достигло высокого совершенства. Люди, может быть, уже работали с такой же согласованной легкостью, как дышали сердцем. С этой ясной надеждой я свернул со своего пути и вступил на землю коммуны. Пройдя парк, я увидел громадную и вместе с тем уютную усадьбу артели героев. Десятки новых и отремонтированных хозяйственных помещений в плановом разумном порядке были расположены по усадьбе; три больших жилых дома находились несколько в стороне от служб, вероятно, для лучших санитарно-гигиенических условий. Если раньше эта усадьба была приютом помещику, то теперь не осталось от прошлого никакого следа. Не желая быть ни гостем, ни нахлебником, я пошел в контору артели и, сказав, что я колодезный и черепичный мастер, был вскоре принят на должность временного техника по ремонту водоснабжения и по организации правильного водопользования. Втот же час мне была отведена отдельная комната, предоставлена постель, и меня, как служебное лицо, зачислили на паек. С давно исчезнувшим сознанием своей общественной полезности я лег в кровать и предался отдыху авансом за будущий труд по водоснабжению.

Поздно вечером я посетил клуб артели, интересуясь ее членским составом. В клубе шла пьеса «На командных высотах», содержащая изложение умиления пролетариата от собственной власти, то есть чувство, совершенно чуждое пролетариату. Но эта правая благонамеренность у нас идет как массовое искусство, потому что первосортные люди заняты непосредственным строительством социализма, а второстепенные усердствуют в искусстве.

Члены артели героев, устроенной по образцу якобы коммуны, имели спокойный чистоплотный вид и глядели на героев действия пьесы как на самих себя, отчего еще более успокаивались и удовлетворялись. Четыре девочки-дочки стояли по углам сцены и держали десятилинейные лампы; одеты девочки были в белые платья, на головах их лежали густые прически, и весь их вид напоминал старинных гимназисток.

Кроме нормальной сытости лиц, ничего в тот вечер я заметить в артельщиках не успел.

Проработав же несколько дней на ремонте трубчатого колодца, я узнал достаточно многое и неутешительное для себя. Своими глазами я, пожалуй, не сумел бы все разглядеть, но со мной на колодце работали два члена артели, и они мне объяснили некоторые обстоятельства про тех, кто тщетно хотел бы уподобиться действительным героям жизни.

Эти два члена, оказывается, были в артели недавно и ненавидели почти всех другие артельщиков; причиной такого безумного явления было следующее: рик и сельские партячейки вели политику на пополнение артели «Награжденные герои» бедняками-активистами; правление же артели не хотело принимать никаких новых членов, ибо для правления хороши были только старые, сжившиеся между собой люди. Но кто же были эти

старые члены артели, ее основатели? Может быть, тайные кулаки?

— Что ты?! — удивились два человека, поставленные со мной на ремонт колодца. — Это сплошное геройство гражданской войны! Их партия на все зубы пробовала, ничего не выходит: вполне наши люди!

— А отчего же они никого в свою артель пускать не хотят?

Бедняки несколько подумали.

— Видишь ты, в семнадцатом году и они бедняками были — стало быть, не было у них ничего, кроме своего класса, а теперь накопали бугор имущества, а класс оставили в покое…

Однако невозможно было, чтобы все герои битв с белогвардейцами стали хозяйственными рачителями и врагами окрестной бедноты: куда же могла исчезнуть их основная беззаветная натура? И я узнал, что действительно иные основатели артели уже давно умерши от болезней и плохо залеченных ран, другие жебросили артель и ушли безвозвратно в города, третьи же остались в артели навеки. Эти третьи были героями не от классовых органических свойств, а от каких-то мгновенных условий фронта, то есть не помня себя, а теперь они эксплуатировали свои нечаянные подвиги со всей ухваткой буржуазной мелочи.

Председатель артели товарищ Мчалов пришел на нашу работу в конце четвертого дня. Я увидел полнотелого пожилого человека с горюющей заботой на лице, но со старым красноармейским шлемом на голове.

— Озимые-то, говорят, все в черноземной области померзли, — сказал он мне. — Чего только кушать будем в будущем операционном году?.. И сейчас тоже — нужен бы дождь под овсы, а его нет и нет!..

— Ты бы лучше кулацкий картуз надел в голову, — сказал я ему. — А красноармейский убор лучше бы снял! Кто тебе врет и кого ты слушаешь!..

— Да, кажется мне так, а люди сообщают, — произнес председатель. — Ведь сердце-то болит!.. Слушай, ты как колодезь исправишь, так уходи, а то за тебя в соцстрах придется платить, прозодежду покупать, ты ведь не член, от тебя заботы не оберешься, а воды мы и без тебя напьемся!..

Обедать мне полагалось в общей столовой, обед был плохой, и я голодал, не понимая, почему члены артели так упитаны в теле. Потом все то же оппозиционно настроенные бедняки-новочленцы показали мне, что артельщики обедают еще вторично по своим комнатам. Обед же в столовой совершался как можно беднее, дабы постоянно торчащим на усадьбе артели окрестным беднякам не казалось, что в артели сладко едят.

Чем больше я жил в этой артели, тем больше убеждался, что ее идеология — ханжество, несмотря на значительное общее достояние, несмотря на крупные производственные успехи. Артельщики-герои, особенно перед посторонними мужиками, постоянно ныли о плохом урожае прошлого года и о том, что жизнь в артели убыточна и придется, видно, скоро на дворы разделяться и уходить в старину.

Все это было, конечно, лицемерие. Годовой доход на каждого члена артели по крайней мере вдвое превышал таковой же доход на местную душу середняка-единоличника, а доля основного капитала, падающая на каждого артельщика, приближалась к тысяче рублей.

Но откуда же это ханжество, эта хитрая скрытая борьба с партией и бедняками за сохранение только для себя своего удела?

Сама артель находилась островком среди довольно пространного если не моря, то озера единоличников. Бедняцкий актив ближайших деревень, а также советско-партийные организации давно имели желание сделать эту артель центром, источником опыта общественно-классового хозяйства для большого колхоза-комбината. Но артель, состоявшая из бывших героев, геройски сопротивлялась, — разрушать же высокое в производственном смысле хозяйство ни активисты-бедняки, ни партийцы не хотели. Наоборот, все их попытки поставить артель во главе колхозного движения основывались на добровольном соглашении с правлением артели. Но соглашение это не удавалось. Больше того, за последние 4 года

артель приняла в новые члены только 10 человек бедняков, и то под большим давлением всех организаций. Причем двое из этих 10 обжились в артели, прониклись ее скопческим духом делячества, трое вышли назад, променяв сундуки артели на воздух большевистского ветра, пятеро же составляли в артели настоящую большевистскую оппозицию сектантскому правлению; с двоими из них я был знаком. Понятно, эти пятеро не имели решающего значения в артели, их даже при первом случае могли вычистить из членства. Но они-то, по-моему, и есть действительный зародыш будущего, большевистского правления артели, которое и должно сменить бывших героев и нынешних ханжей и сладкоежек.

Во всем районе, где находилась артель имени Награжденных героев, в колхозах было лишь процентов двадцать бедняков и середняков; больших колхозных массивов не существовало еще вовсе, и все маленькие точечные колхозы, как и артель, варились в своем деляческом соку. Отсутствие массовости колхозного движения, святое ханжеское соблюдение принципа добровольности (по существу же развитие пассивности в лучших людях бедноты), какая-то безветренность всей обстановки и создала, вместо колхозной нарастающей реки, лужицы-колхозики и целое болото такой артели.

Доделав порученную мне колодезную работу, я получил десять рублей и должен был уходить. Но оставлять такую роскошно-производственную артель новорастущим феодалам было весьма жалко. Ведь артель в прошлом, средне благоприятном году дала урожая пшеницы почти по две тонны с гектара, одних фруктов было отпущено кооперации на двадцать пять тысяч рублей. Было ясно, что это хозяйственное место может объединить, поставить на ноги и двинуть вперед несколько сот бедняцких хозяйств. Так зачем же тут содержать несколько десятков неподвижно жиреющих «героев»?

Интересно еще сообщить, что в артели было всего два трактора. Все работы совершались вековыми старинными способами; хорошие же результаты объяснялись крайним трудолюбием, дружной организацией и скупостью к своей продукции артельщиков; в этих качествах им нельзя отказать, и эти качества должны остаться и тогда, когда эта ханжеско-деляческая артель станет большевистской. Что же будет в артели, если снабдить ее тракторами, удобрениями, приложить к ее угодьям вместо сухого рачительства ударный труд, сменить имущественного скопца на большевика и агронома и, главное, сделать артель действительно трудовым товариществом крестьян-бедняков?

Двое оппозиционно настроенных членов артели и я долго обсуждали болезненные предметы артели, не видя, как найти способ их уничтожения.

Один член в конце беседы спросил меня:

— А что у нас сильнее и лучше всего?

Я ему сказал, что это диктатура пролетариата.

— Пойду в Окрисполком, пойду в окружной комитет партии, попрошу сменить наше правление артели посредством диктатуры пролетариата, — сказал товарищ. — Везде коммуны и старые артели ведут колхозы, а у нас одна мертвая пробка.

— Наверное, наша артельная коммуна — это не коммунизм, — произнес другой артельщик.

— Наша артель вроде кулацкого товарищества на трудовых паях и на государственном имуществе, — сообщил я некоторое определение.

— А ведь учредители — герои гражданской войны! — с жалостью сказал один из присутствующих членов.

— Но время побеждает героев и делает из них одну смехотворность!

Это сказал я, но коммунары тут же меня опровергли.

— Ты ложь говоришь: есть такие герои, которые никогда не опаздывают против времени, они его ведут позади себя!

Ввиду очевидности я, конечно, согласился. После этого мы собрали одному артельщику общие средства, и он пошел призывать сюда в помощь пролетарскую диктатуру.

Человек ушел и через два дня вернулся. Во 2-м Отрадном, оказывается, уже сидела какая-то комиссия из областного города, которая установила существенную связь между

правлением артели пожилых героев и пятью колхозными комиссиями 2-го Отрадного.

Таким образом, было установлено еще до прибытия товарища Скрынко, что артель «Награжденные герои» была лишь агентурой подкулацкой стихии, действовавшей во 2-м Отрадном, и — обратно, артель была крепостью зажиточных групп единоличников. Связь эта, в сущности, была известна давно: она выражалась в брачных узах между членами артели и подкулачницами и наоборот. То, что было связано по классу, то затем было укреплено плотью.

Ввиду этого тайной деревенской буржуазии приходил конец, и я с удовлетворением отправился отсюда в очередную даль, какая была мне видна из усадьбы артели.

Под религиозный праздник пасхи я пошел в небольшой колхоз «Сильный поток» и был здесь свидетелем конца жизни Филата-батрака, историю которого я постараюсь сейчас неприкосновенно изложить.

Филата приняли в колхоз самым последним, когда уже все середняки успели записаться.

— Ты всегда управишься войти в членство, — говорили Филату руководящие лица. — Ты же человек в классовом размере абсолютный!

И Филат ждал, не зная, чему ему радоваться, поскольку он еще не член колхоза. Со скучным выражением лица он ходил по колхозу и устранял прочь всякие неполадки. Была ли открыта дверь в избу, покачнулся ли плетень, иль просто петух ходил отдельно от кур — Филатпритворял дверь, устанавливал плетень и подгонял к курам петуха.

Во время ветра Филат выходил на тот край колхозной деревни, куда направлялся ветер, и глядел, чтобы ветер не выдул из деревни чего-либо полезного. А если что полезное ветер уносил, то Филат подхватывал ту полезную вещь и возвращал ее обратно в обобществленный фонд.

И так жил Филат в усиленных заботах о колхозном добре и порядке, не будучи членом артельного хозяйства.

К Филату давно все привыкли, и он был необходим в колхозе. Когда у кого рожала баба — звали Филата вести хозяйство и смотреть за малыми детьми; кроме того, Филат мог чистить трубы, умел отучивать кур от желания быть наседками и рубил хвосты собакам для злобы.

Такого человека правление колхоза решило принять напервый день пасхи, дабы вместо воскресенья Христа устроить воскресенье бедняка в колхозе.

Накануне пасхи Филата одели в роскошную чистоплотную одежду, взяв ее из колхозного кооператива, а старую одежду Филата повесили в особый амбар, который назывался «музеем бедняка и батрака, жившего в эпоху кулачества как класса».

Избу-читальню загодя украсили флагом и лозунгами, а утром на пасхальный день Филата вывели на крыльцо, около которого стояла, собравшись, вся колхозная масса. Филат, увидев солнце на небе и организованный народ внизу, обрадовался всеми силами своего тела и захотел жить в будущем еще более преданно и трудоспособно, чем он жил дотоле.

— Вот, — сказал активный председатель всему колхозу, — вот нам новый член нашего колхоза — товарищ Филат. Но колокол звучит над унылыми хатами, не поп поет загробные песни, не кулак, наконец, сало жует, а наоборот, Филат стоит, улыбается, трудящееся солнце сияет над нашим колхозом и всем мировым интернационалом, и мы сами чувствуем непонятную радость в своем туловище! Но отчего же, непонятно, наша радость? Оттого что Филат самый был гонимый, самый молчаливый и самый мало кушавший человек на свете! Он никогда не говорил слов, а всегда двигался в труде — и вот теперь он воскрес, последний бедняк, посредством организации колхоза!.. Скажи же, Филат, нам, что теперь ты, грустный труженик, должен сиять на свете вместо кулацкого Христа…

Филат улыбнулся ближнему народу и всей окрестной цветущей природе.

— Я, товарищи, говорю тихо, потому что меня никогда не спрашивали. Я думал только, чтоб было счастье когда-нибудь в батрацком котле, но боюсь хлебать то счастье — пусть уж

лучше другим достается…

Здесь Филат побелел лицом и прислонился к телу председателя колхоза.

— Что ты, Филат?! — закричал весь колхоз. — Живи смелей, робкая душа, ты теперь членом будешь! Проповедуй нам труд и усердие, последний человек!

— Могу, — тихо сказал Филат, — только сердце мое привыкло к горю и обману, а вы мне даете счастье — грудь не выдержит.

— Ничего, обтерпишься! — крикнули колхозники. — Глянь на солнце, дайте ему воздуху…

Но Филат настолько ослаб от счастья, что опустился на траву и стал умирать от излишнего биения сердца.

Филата вынесли на траву и положили лицом к небесному свету солнца. Все замолкли и стояли неподвижно.

И вдруг раздался голос какого-то притаившегося подкулачника:

— Значит, есть Иисус Христос, раз он покарал Филата-батрака!

Филат услышал то слово сквозь тьму своего потухающего ума и встал на ноги, потому что если он сумел вытерпеть 37 лет жизни, то мог стерпеть и превозмочь смерть, хотя бы на последнюю минуту.

— Врешь, тайный гад! Вот он я, живой — ты видишь, солнце горит над рожью и надо мной! Меня кулаки тридцать лет томили, и вот меня уже нет.

Вслед за тем Филат шагнул два шага, открыл глаза и умер с побелевшим взором.

— Прощай, Филат! — сказал за всех председатель, — Велик твой труд, безвестный знаменитый человек.

И каждый колхозник снял шапку и широко открыл глаза, чтобы они сохли, а не плакали.

Невдалеке от колхоза «Сильный поток» я встретил железнодорожную насыпь и, отойдя вдоль нее, достиг станции и поехал поездом.

В течение одних суток я уехал далеко, что сошел с поезда уже в Острогожском округе, на родине ценнейшей во всем СССР Михновской овцы. Однако Острогожский округ не имеет возможности всерьез и планово заняться разведением последней, ввиду того что сухих здоровых для овец пастбищ в округе нет, а сырые подлунные и заболоченные пастбища страшно заражены всевозможными инфекциями и в особенности почечной двуусткой овец.

Селения Острогожского района — Ольшаны, Гумны, Писаревка, Осиповка, Гнилое, Средне-Воскресенское, Рыбенское, Луки, Александровка — и других районов совершенно отказались от разведения и выращивания овец, так как последние, поголовно пораженные фациолезом, гибнут тысячами на заболоченных пастбищах.

Далеко не полный учет говорит о гибели в течение двух последних лет до 40000 пораженных почечно-глистной болезнью овец — на общую сумму за округлением 500000 рублей.

Все препараты, применяемые при медикаментном методе лечения, не достигают желаемых результатов, и население и ветперсонал убедились в совершенной бесцельности всякого лечения при наличии заболоченных пастбищ, так как овцы каждую минуту, с каждым стеблем болотной травы получают все новую и новую порцию глистов.

С ветеринарно-санитарной точки зрения, опасно и экономически невыгодно отдать заболоченные места микробам-бактериям и глистам для их пышной жизни и лишить скот здоровых кормов, которыми так беден Острогожский округ.

Исходя из вышесказанного, Окрветотдел в своих докладах и планах считает мелиорацию — осушение болот и заболоченных пастбищ — единственным средством избавить овцеводство от постоянной угрозы гибели и находит существенно необходимым немедленную организацию работ по осушке заболоченных пастбищ, в первую очередь по течению реки Тихой Сосны с ее притоками, как прорезывающую весь округ, пойма которой (массив поймы 30000 гектаров) после осушения станет экономической базой округа, а также

будет разрешена проблема разведения Михновской овцы во всем округе.

Но когда-то во всем Острогожском округе были девственные пастбища, хотя это было не только до появления здесь овцы, но и до человека — еще прежде оседания первых поселений людей по берегам Тихой Сосны, — ибо именно к тому начальному времени относится зарождение оврагов в меловых отложениях в связи с хозяйственной деятельностью человека. Овраги же, выходя своими устьями в пойму реки, выносили в нее почвенный материал и тем создавали затухание речного потока, начиная долгую эпоху заболачивания.

Если посмотреть на всю площадь Острогожского округа, то можно увидеть великое народнохозяйственное бедствие от быстрого роста болот.

Но со смертью рек не только дохнут овцы и падает животноводство — начинает умирать и человек. Злокачественная хроническая малярия сильно распространена среди жителей долины Тихой Сосны.

И было бы, конечно, малодушием, установив такое грозное бедствие, не попытаться вступить с природой в сражение для отвоевывания у нее громадных бросовых площадей, чтобы дать скоту питательный, безболезненный корм, а трудящимся людям продукцию и здоровье.

Эта борьба с природой за десятки тысяч гектаров заболоченных площадей началась в 1925 году. Проект регулировочно-осушительных работ по реке Тихая Сосна охватывает пойменный массив протяжением в 40 километров и на площади в 80 квадратных километров. Примерно треть всего объема работ уже выполнена; сами работы с 1927 года механизированы, то есть чистит и углубляет реку не человек, стоящий с лопатой в воде, а плавучий экскаватор — причем эта затерянная в болотах машина может служить некоторой общей гордостью советской землечерпательной техники, ибо машина оригинальной конструкции и впервые сделана в Советском Союзе (ни до войны, ни после в России подобные машины не делались, их покупали обычно в Америке). Но советские инженеры применяют для борьбы с болотами не только машины, а и взрывную технику, разрушая слежавшиеся насосы и карчу, душащие реку, динамитом.

Насколько население заинтересовано в успехе работ, видно из того, что участие населения в затратах, преимущественно натуральным трудом, составляет 52% исполнительной сметы. Но эти данные относятся к зпохе мелиоративных товариществ, то есть ко времени простейших целевых объединений крестьянства; теперь же, когда в долине Тихой Сосны есть мощные колхозы, надо ожидать гораздо более высокого темпа осушительных работ и еще более энергичного участия в них населения.

Придолинное крестьянство еще в 1924 году, когда я был на Тихой Сосне, уже знало, что вести пойменное хозяйство, тем более создать из болота луга одним напряжением единоличного хозяйства нельзя — и в 1925 году, к моменту начала работ, все заинтересованное обедневшее крестьянство объединилось в мелиоративные товарищества, то есть в зачаточную форму производственного кооператива.

Таковы богатые факты на этой бедной долине, где и посейчас идет тяжелая борьба за создание девственной, погибшей родины Михновской овцы.

Выбравшись из этой дружно трудящейся долины на суходолы, я вошел в колхозную деревню «Утро человечества», прельщенный как хорошим названием, так и добавочным лозунгом на вывеске колхоза, взятым из метрической системы:

«Всем угнетенным народам — на долгие времена». Ясно, что это относилось к колхозной организации жизни и труда.

У заставы колхоза стоял некий, старый уже, человек, с милым, но грозным лицом, и смотрел на меня.

— Ты кто? — спросил он.

Я ему приблизительно ответил, так как вопрос, в сущности, не очень прост.

— А ты не кадр?

— Кадр.

— Где служишь?

— В уме.

— Ну, входи, пожалуйста, — это хорошее учреждение. Пойдем, я тебя яичницей покормлю. А я, знаешь, кто?

— Кто?

— Да председатель всей бузы новой жизни, товарищ Пашка. Здравствуй!

— Здравствуй!

Раньше я боялся, гожусь ли я в новую жизнь, а теперь видел, что чем жизнь новее, тем люди ко мне проще и родней.

Веселая жена Пашки живо и прилежно сделала нам яичницу, а мы стали ее есть. Во время пищи я загляделся на супругу Пашки — она была красива до прелести, хотя в общем уже пожилая; но не в этом заключалась ее привилегия, а в том, что она веселая и уверенная в своей жизни и, кроме того, мудрая и передовая, как я узнал впоследствии.

Мне уже приходилось встречать ряд колхозниц, подобных этой женщине, и я обращал свое внимание на их повеселевший нрав. Отчего это получалось, трудно сформулировать, поскольку на колхозницах лежит сейчас больше забот и тревог, чем на единоличницах; однако же единоличницы в большинстве своем лишь традиционно-унылые, беспросветные бабы.

— Так, стало быть, ты кадр! — поев, высказался Пашка (отчества его я еще не знал) и тронул меня в грудь.

— Кадр, — подтвердил я.

— Ну а вдруг ты ложный! — догадливо испугался Пашка. — Ответь мне на общий вопрос: сколько нужно кирпичей, чтоб построить научную избушку-читальню?

Второй проверочный вопрос Пашки был из трудной области:

— Говорят, что мир бесконечен и звездам нет счета! Неверно, товарищ! Это буржуазная идеология: буржуям выгодно, чтоб мир был такой широкий, дабы гадам не тесно жилось и было куда бежать от пролетариата. А по-моему, мир имеет конец и звездам есть окончательный счет.

Я подтвердил, что Пашка говорит вполне справедливо: вселенная не может быть неопределенно бесконечной.

— А отчего электричество железо любит, а стекло не уважает?

— Есть ли в веществе какие законы или там одни только тенденции? Вот, говорят, что можно оделять две палки, равные друг другу! Чушь! Я четыре недели стругал две линейки, и все же на полволоска они никак не сходились! Где же законы равенства? Одни только тенденции и более нет ничего!

По возможности, я отвечал на все его вопросы.

— Ну, достаточно! — определил часа через два Пашка. — Оставайся у нас колхозным техником — решай великую задачу, чтобы нам догнать и перегнать и не умориться. Можешь? А мы хотим сделать тут такой колхоз, чтоб он был, как автомобиль «форд», годен по организационной форме и мужику-африканцу и бедняку-индейцу. Ясно тебе?

— Ясно-то ясно, только это не нужно: африканский мужик и сам не дурак.

— Он-то нет, а ты-то дурак! Ведь СССР — самая передняя до революции держава! Отчего же нам не делать для всего отсталого света социальные заготовки?! А уж по нашим заготовкам пускай потом всемирная беднота пригоняет себе жизнь в меру и впрок!..

Пожив и потрудившись в «Утре человечества», я узнал про товарища Пашку все подробности его истекшей жизни. Эти подробности обозначали Пашку как великого человека, выросшего из мелкого дурака — пусть даже некоторые его действия покажутся неловкими и смешными: ведь мы имеем перед собой только начало будущего человека.

Всем своим воспитанием и просвещением он был обязан исключительно своей жене, которая его довела до ума и активности. Вот как дело было.

В старину, до революции, Павла Егоровича никто не звал полностью, хотя он жил уже в полном возрасте, — все его называли Пашкой, потому что он был глуп, как грунт или

малолетний. В то прошедшее время он скупал в земельных обществах овраги и старые колодцы — ему хотелось иметь хоть какое-нибудь имущество, чтобы сознавать свой смысл жизни в государстве. На приобретение истинных домов и форменной скотины у Пашки не хватало средств, поэтому ему приходилось считать своими усадьбами овраги. Такие места ему доставались дешево: однажды за полведра водки он скупил в волости все болота и песчаные угодья.

— Бери — владей, — выпив и утерев рты, сказали волостные мужики. Какая-нибудь мелочь вырастет. Хозяином себя будешь считать.

После того Пашка проводил свою жизнь в оврагах и на поверхности заросших мокрых пучин. Там ему было уютно, кругом его простиралась собственность, и он мог видеть насекомых, всецело принадлежавших ему.

В другой раз Пашка приобрел фруктовое дерево. Шел он мимо помещичьего сада и видит: ползет по дереву черный червь. Пашка испугался, что тот червь съест сначала одно дерево, а потом и весь благоухающий сад. А когда начнут пропадать сады, то государство ослабнет, а затем нагрянет какая-нибудь босая команда и отнимет у Пашки овраги и мочежинные владения.

Тогда Пашка пришел к помещику:

— Стефан Еремеевич! У тебя там на дереве черный червь явился: он тебе все фруктовые стволы сгложет — ты гляди!

— Ты говоришь, черный червь! — с задумчивым умом произносил Стефан Еремеевич. — Что это: флора или фауна? Черный червь! Так что же мне делать с ним? А вот что, Пашка, ты возьми то дерево, вырви его с корнем и тащи вон с поместья, а дома то дерево сожгешь. Но не смей червей ронять, смотри себе в след и подбирай червей в шапку!

Пашка изъял из сада вредное дерево и перенес его к себе в овраг, где и вонзил в глину, желая, чтобы вырос собственный сад.

Но дерево умерло, и наступила революция. Неимущие стали мучить Пашку, как врага народа. Из оврага его сразу выгнали, чтобы он там не был.

И отправился тогда Пашка вдоль страны, дабы найти себе неизвестное место. По дороге он содрал с себя одежду, изранил тело и специально не ел: он уже заметил, будучи отсталым хищником, что для значения в Советском государстве надо стать худшим на вид человеком.

И действительно, его уважали сельсоветы.

— Вот, — говорили сельсоветы на Пашку, — идет наш сподвижник, угнетенный человек. Где ты, товарищ, существовал?

— В овраге, — отвечал Пашка.

Предсельсовета смотрел на Пашку со слезами на глазах.

— Поешь молочка с хлебцем, мы тебя в актив привлечем: нам весьма нужны подобные люди.

Пашка напивался, наедался и оставался.

В одной деревне его оставили заведовать кооперативом. Пашка увидел товары и пожалел их продавать: население все может поесть и уничтожить, а что толку? Имущество всегда нужно поберечь: людей хватает, а материализма мало.

Из кооператива Пашку удалили. А он почел себя от этого происшествия недостаточно бедным, чтобы быть достойным Советского государства, и обратился в нищего. Больше всего он боялся остаться без звания гражданина, без смысла жизни в сердце.

Однако Пашку привлекли к суду, как бродягу и непроизводительного труженика, тратящего бесплатно пролетарскую еду. На суде Пашка сказал, что он ищет самого низшего места в жизни, дабы революция его признала своей необходимостью. Теперь он хочет умереть, чтобы избавить государство от своего присутствия и тем облегчить его положение, тем более, что беднее мертвеца нет на свете пролетария.

Рабочий судья выслушал Пашку и сказал ему:

— Капитализм рожал бедных наравне с глупыми. С беднотою мы справимся, но куда

нам девать дураков? И тут мы, товарищи, подходим к культурной революция. А отсюда я полагаю, что этого товарища, по названию Пашка, надо бросить в котел культурной революции, сжечь на нем кожу невежества, добраться до самых костей рабства, влезть под череп психологии и налить ему во все дырья наше идеологическое вещество…

Здесь Пашка вскрикнул от ужаса казни и лег на пол, чтобы загодя скончаться. Но за него вступилась дамочка, помощница судьи:

— Так нельзя пугать бессознательного. Следует его сначала пожалеть, а уж потом учить. Вставай на ноги, товарищ Пашка, мы тебя отдадим в мужья одной сознательной бабочке, она тебя с жалостью будет учить быть товарищем и светлым гражданином, потому что ты рожден капиталистическим мраком.

С тех пор Пашку отдали бабе в мужья, и он, из страха перед ней, стал жить сознательным тружеником, благодаря свою судьбу и советскую власть, в руках которой эта судьба находится.

Начиная с того светлого судебного момента и доныне Пашка все время лез в гору и дошел до поста председателя колхоза — настолько в нем увеличилось количество ума благодаря воздействию сознательной супруги.

И в районе Пашку тоже высоко ценили, как низовую пружину, жмущую бедные и средние массы вперед; он же сам все более тосковал, что не знает всей научности на свете, и собирался поехать учиться после пятилетки.

Я прожил в колхозе «Утро человечества» очень долго: я был свидетелем ярового сева на 140% от плана и участником трех строительств — прудовой плотины, семенного амбара и силосной башни.

После каждого очередного успеха Пашка выступал на собрании колхоза и провозглашал приблизительно одну и ту же тему:

— Я — товарищ Пашка — со всеми вами, бедняками и товарищами, добьюсь того, чтобы в СССР никогда не смолкал рев гудков индустриализации, как над британским империализмом никогда не заходит солнце. И дальше того: мы добьемся, чтобы дым наших заводов застил солнце над Британией!. Мы должны в будущем году взять какой-нибудь героический завод, дабы полностью снабжать его из нашего колхоза пшеничным зерном, — пусть наш рабочий товарищ оставит черный кислый хлеб и кушает наш первый первач! Это говорю я — товарищ Пашка!..

Дожив близ Пашки до начала осени, полюбив его до глубокой дружбы, ибо он был живым доказательством, что глупость есть лишь преходящее социальное условие, я все же в один светлый день подал ему руку на прощание и поехал в уральские степи.

— Езжай куда хочешь, — сказал мне Павел Егорович. — Все мы кипим в одном классовом котле, и сок твоей жизни дойдет до меня.

Расставаясь с товарищами и врагами, я надеюсь, что коммунизм наступит скорее, чем пройдет наша жизнь, что на могилах всех врагов, нынешних и будущих, мы встретимся с товарищами еще раз и тогда поговорим обо всем окончательно.

Ювенильное море (Море юности)

День за днем шел человек в глубину юго-восточной степи Советского Союза. Он воображал себя паровозным машинистом, летчиком воздухофлота, геологом-разведчиком, исследующим впервые безвестную землю, и всяким другим организованным профессиональным существом — лишь бы занять голову бесперебойной мыслью и отвлечь тоску от сердца.

Он управился — уже на ходу — открыть первую причину землетрясений, вулканов и векового переустройства земного шара. Эта причина, благодаря сообразительности пешехода, заключалась в переменном астрономическом движении земного тела по опасному пространству космоса; а именно как только, хотя бы на мгновенье, земля уравновесится

среди разнообразия звездных влияний и приведет в гармонию все свое сложное колебательно-поступательное движение, так встречает незнакомое условие в кипящей вселенной, и тогда движение земли изменяется, а погашаемая инерция разогнанной планеты приводит земное тело в содрогание, в медленную переделку всей массы, начиная от центра и кончая, быть может, перистыми облаками. Такое размышление пешеход почел не чем иным, как началом собственной космогонии, и нашел в том свое удовлетворение.

В конце пятого дня этот человек увидел вдалеке, в плоскости утомительного пространства несколько черных земляночных жилищ, беззащитно расположенных в пустом месте.

Пока пешеход спешил к тому поселению, наступил сумрак и в одном жилище зажгли свет.

Поселение оказалось усадьбой: вокруг большого двора стояли четыре землебитных дома и один большой бревенчатый сарай, обваленный по низу землей, в которых разные животные подавали свои голоса. Около сарая бегала на рыскале и бушевала от злобы собака.

На дворе повсюду пахло теплом животной жизни, Вокруг лежала смирная смутная степь, нагретая дневным солнцем, и пришедший человек почувствовал добро здешней жизни и захотел спать. В одном окне землебитного жилища горел огонь. Прибывший подошел к окну и увидел пожилого человека, который сидел около лампы и читал через очки старинную книгу в заржавленном, железном переплете. Он медленно шептал что-то тонкими усохшими губами и тяжко вздыхал, когда переворачивал страницу, видимо, томясь своим впечатлением от чтения.

Пешеход вошел в низкую комнату и поздоровался со старым чтецом.

— Здравствуй, — не спеша ответил пожилой человек. — Соваться пришел?

— Нет, — сказал пришедший и спросил: — Что здесь такое?

— Здесь мясосовхоз нумер сто один, — сказал читавший книгу и, поглядев в страницу, прочитал оттуда какое-то очередное старое слово. — А тебе что нужно? Ты здесь, братец, со своими вопросами не суйся!

— А можно мне увидеть директора? — спросил прибывший.

— Можно, — ответил без охоты пожилой человек. — Гляди на меня — это я вот директор. А ты думал: директор здесь кто-то особенный — это же я!

Пешеход вынул бумагу и дал ее директору. В бумаге сообщалось, что в систему мясосовхозов командируется инженер-электрик сильных токов товарищ Николай Вермо, который окончил, кроме того, музтехникум по классу народных инструментов, дотоле же он был ряд лет слесарем, часовым механиком, шофером и еще кое-чем, в порядке опробования профессий, что указывало на безысходную энергию тела этого человека, а теперь он мчится в действительность, заряженный природным талантом и политехническим образованием. Такова была приблизительная тема отношения, препровождавшего инженера Вермо в совхоз.

Прочитав документ, директор вдруг обрадовался и стал говорить с гостем на историческую, мировоззренческую и литературоведческую тему. Он любил все темы, кроме скотоводства, и охотно отдавал мысль любой далекой перспективе, лишь бы она находилась на сто лет впереди или на столько же назад.

Директор почувствовал теперь даже небольшое уважение к культурному служащему ввиду того, что он не суется с мнениями, а сидит молча и слушает.

Животные давно перестали подавать голоса и задремали до рассвета в своих скотоместах. В землебитном домике, где сидели два человека, от лампы и высказанных слов стало душно, скучно, и Николай Вермо уснул на стуле против директора. Собака тоже умолкла к тому времени, не получая из степи отзвука на свою злобу, видимо, она смирилась с отсутствием врага и заснула в пустой тыкве, заменяющей ей будку. Эту тыкву совхоз вырастил год тому назад, чтобы показать ее на районной выставке как экспонат агрономического усердия. И действительно, тыква получила премию, а затем из той тыквы выбрали внутренность и сделали из нее собачью будку, поскольку кухарки совхоза

отказались обрабатывать для пищи такие слишком мощные овощи.

— Ты не видел нашей тыквы? — спросил директор у Вермо; но Вермо спал. — Ты бы глянул: великое растение! Полезная площадь нашей тыквы — половина квадратной сажени. У нас на дальнем гурте целых сто штук таких выдолбленных тыкв: в них спят доярки и гуртоправы. Я целый жилкризис этими тыквами решил… Ах, ты спишь уже? Ну спи, бедный человек, а я еще почитаю…

И директор снова углубился вниманием в старинную железную книгу, излагавшую историю Иоанна Грозного, приложив к задумавшейся, грустящей голове несколько пальцев правой руки.

Через полчаса прибывший молодой человек проснулся от неудобства и засмотрелся в лицо директора.

— Что вы такое? — спросил Вермо. — Я ведь, может быть, сумею отобразить вас в звуке: я музыке учился.

— Отобрази, — с польщением согласился директор. — Я Адриан Умрищев: я должен у тебя звучать мощно. Я ведь предполагаю попасть в вечный штатный список истории как нравственная и разумно-культурная личность переходной эпохи. Поэтому ты сочини меня как можно гуще и веди по музыке басом. Я люблю оркестры! Ты что думаешь, — переменил голос Умрищев, — иль мне сподручно здесь сидеть среди животных?

— А разве нет? — удивился Вермо.

— Нет, — вздохнул Умрищев. — Я здесь очутился как «Невыясненный». Как выяснюсь, так исчезну отсюда навсегда. Ты можешь или нет сочинить в виде какого-либо гула тоску неясности?

— Могу, наверно, — пообещал Вермо, чувствуя бред жизни от своей усталости и от этого человека.

Умрищев стал высказываться, как он долгое время служил по разным постам в дальних областях Союза Советов и Союза потребительских обществ, а затем возвратился в центр. Однако в центре уже успели забыть его значение и характеристику, так что Умрищев стал как бы неясен, нечеток, персонально чужд и даже несколько опасен. К тому же новая обстановка, сложившаяся за время отсутствия того же Умрищева, образовала в системе такое соотношение сил и людей, что Умрищев очутился круглой сиротой среди этого течения новых условий. Он увидел по возвращении незнакомый мир секторов, секретариатов, групп ответственных исполнителей, единоначалия и сдельщины, — тогда как, уезжая, он видел мир отделов, подотделов широкой коллегиальности, мир совещаний, планирования безвестных времен на тридцать лет вперед, мир натопленных канцелярских коридоров и учреждений такого глубокого и всестороннего продумывания вопросов, что для решения их требуется вечность — навсегда забытую теперь старину, в которой зрел некогда оппортунизм. Втуне вздохнув, Умрищев пошел в секторную сеть своего ведомства и стал выясняться; его слушали, осматривали лицо, читали шепотом документы и списки стажа, а затем делали озадаченные, напряженные выражения в глазах и говорили: «Нам все же что-то не очень ясно, необходимо кое-что дополнительно выяснить, и тогда уже мы попытаемся вынести какое-либо более или менее определенное решение». Умрищев ответил, что он вполне ясный ответработник и все достоверные документы при нем налицо. «Все же достаточной ясности о вас для нас пока не существует, будем пробовать пытаться выяснить ваше состояние», — отвечало Умрищеву учреждение. Таким способом Умрищев был как бы демобилизован из действующего советского аппарата и попал в специальный состав невыясненных. В том учреждении, которое заведовало Умрищевым, невыясненных людей скопилось уже целых четыреста единиц, и все они были зачислены в резерв, приведены в боевую готовность и поставлены на приличные оклады. Раза два-три в месяц невыясненные приходили в учреждение, получали жалование и спрашивали: «Ну как, я не выяснен еще?» — «Нет, — отвечали им выясненные, — все еще пока что нет о вас достаточных данных, чтобы дать вам какое-либо назначение, — будем пробовать выяснять!» Выслушав, невыясненные уходили на волю, посещали пивные, пели песни и бушевали свободными,

отдохнувшими силами; затем они, собранные из разнообразных городов республики и даже из заграничной службы, шли в гости друг к другу, читали стихотворения, провозглашали лозунги, запевали любимые романсы, и Умрищев, вспомнив сейчас то невозвратное время невыясненности, спел во весь голос романс в тишине мясного совхоза:

В жизни все неверно и капризно,
Дни бегут, никто их не вернет.
Нынче праздник — завтра будет тризна,
Незаметно старость подойдет.

Когда-то невыясненные громадным хором пели этот романс в буднее время и вытирали глаза от слез и тоски бездеятельности. Именно этот романс они сердечно любили и гремели его во все голоса где-нибудь среди рабочего дня. После сборища невыясненные расходились кто куда мог: кто уже имел комнату, кто жил где-нибудь из милости, а наибольшее количество расходилось по отраслевым учреждениям своего ведомства; в этих учреждениях невыясненные ночевали и принимали любовниц, — один невыясненный успел уже настолько влюбиться в какую-то сотрудницу, что от ревности ранил ее после занятий чернильницей месткома. Кроме того, невыясненные звонили по казенным телефонам между собой, играли в шашки с ночными сторожами, читали от скорби архивы и писали письма родственникам на бланках отношений. По ночам невыясненные падали со столов, потому что видели страшные сны, а утром одевались поскорее до прихода служащих, выметали мусор и шли в буфет есть первые бутерброды. Когда же, бывало, вовсе ободняется, невыясненные шли в секторы кадров, к которым они были приписаны, и спрашивали замедленными голосами, уже боясь втайне, что их наконец выяснили и предпишут назначение: «Ну как?» — «Да пока еще никак, — отвечает, бывало, сектор. — Вот у вас есть в деле справочка, что вы один месяц болели — надо выяснить, нет ли тут чего более серьезного, чем болезнь». Невыясненный уходил прочь и, чтобы прожить поскорее служебное время, когда его ночлежное учреждение заселено штатами, заходил во все уборные и не спешил оставлять их; выйдя же оттуда, читал сплошь попутные стенгазеты, придумывал свои мнения по затронутым вопросам, а иногда давал даже свою собственную заметку о каком-либо замеченном непорядке как единичном явлении. Некоторые невыясненные состояли в своем положении по году; таким говорили, что вот уже скоро они поедут на работу: осталось только выяснить, почему они не сигнализировали своевременно о какой-либо опасности отставания, когда еще были в прошлом на постах, или — почему ниоткуда не видно, что он не подвергался каким-либо местным взысканиям по соответствующим линиям, — нет ли здесь скрытых признаков кумовства: именно в том, что послужной список слишком непорочный. Невыясненный начинал уже серьезно и, главное, тоскливо сознавать, что он ведь действительно смутный, невыясненный и определенно пагубный человек: что-то в нем есть такое скрытое и вредное, объективно очевидное, а лично неизвестное. Он шел тогда с горя в бухгалтерию доказывать, что два месяца не пользовался выходными днями и, получив за них содержание, направлялся к друзьям и товарищам пить пиво и петь романсы среди дня. Один из невыясненных уже настолько полюбил свою волю и безответственность, что когда его действительно куда-то назначили — сурово отказался. Он тихо сообщил про свою глубоко скрытую болезнь, которую он даже сам не чувствует, но которая, однако, в нем находится. Ему ответили, что скрывание болезни есть та же симуляция, а за симуляцию — суд; и этот невыясненный как бы сошел впоследствии немного с ума.

Сам Умрищев опростался от невыясненности лишь случайно: он вышел однажды в скучный день из учреждения и заметил, что некий человек звал взмахом руки машину. Машина к нему подъехала, и человек сел в нее для поездки. «Слушай, — сказал тогда Умрищев, — подбрось-ка и меня куда-нибудь». — «Почему?» — озадачился из машины человек. «Потому что я член союза и ты член: мы же товарищи!» Человек в автомобиле

вначале задумался, а потом сказал: «Садись»; в дороге же он задумался еще более, точно вспомнил нечто простое и влекущее, как печной дым над теплым колхозом зимой.

Незнакомый человек привез Умрищева к себе в гости: жена-комсомолка дала обоим прибывшим обед и чай, а затем муж-начальник выслушал на полный желудок и сонную голову беду Умрищева. Жена при этом начала кустарно точить мужа, что он есть худший вид оппортуниста, что он потворщик рвачества и заражен гнилым либерализмом, — если так будет продолжаться, она не сможет с ним жить. Муж поник от чувствительного стыда, потому что в словах жены была существенная правда, а наутро он дал Умрищеву назначение в мясосовхоз, чтобы человек довыяснился на практической работе. Заодно муж комсомолки разверстал весь резерв невыясненных и предал суду десять служащих своего ведомства, дабы они имели случай опомниться от своих дел. Вечером же, доложив жене, муж получил от последней тот ударный поцелуй, который он всегда предпочитал иметь.

Чем больше объяснял Умрищев свое течение жизни, тем грустнее становился Вермо; даже изо рта старика, благодаря его уставшему дыханию, выходила скука старости и сомнении. Светлые глаза Вермо, темневшие от счастья и бледневшие от печали, сейчас стали видными насквозь и пустыми, как несуществующие. Прибывший пешеход участвовал в пролетарском воодушевлении жизни и вместе с лучшими друзьями скапливал посредством творчества и строительства вещество для той радости, которая стоит в высотах нашей истории. Он уже имел, как миллионы прочих, предчувствие всеобщего будущего, предчувствие, наполнявшее его сердце избыточной силой, — он мог чувствовать даже мертвое, даже основную причину землетрясения и вулканических сил, но вот сидел перед ним старый человек, который не производил на него никакого ощущения, точно живший ранее начала летосчисления. Быть может, поэтому Умрищев с такой охотностью читал Иоанна Грозного, потому что ясно сознавал невзгоду своей жизни — ведь все враги сейчас сознательны — и глубоко, хотя и чисто исторически, уважал целесообразность татарского ига и разумно не хотел соваться в железный самотек истории, где ему непременно будет отхвачена голова.

Ночь, теряя свой смысл, заканчивалась; за окном землебитного жилища уже начал прозябать день, и небо покрылось бледностью рассвета: сырая и изможденная, всюду лежала еще ничем не выдающаяся земля, и лишь кое-где на ней стала шевелиться и вскрикивать разнохарактерная живность.

Вермо сидел неподвижно: он видел раннюю бледность мира в окне и слушал начинающееся смятение жизни. Однако это не был тот напев будущего, в который он беспрерывно и тщетно вникал, — это был обычный веков ой шум, счастливый на заре, но равнодушный и безотрадный впоследствии.

Умрищев, потеряв интерес к гостю, снова приступил к своему медленному чтению старины, иногда улыбаясь какой-нибудь ветхой шутке, а иногда вытирая слезы сочувственной печали, тем более что он встретил описание того грустного факта, как однажды, при воцарении Грозного с неба пошел каменный и мелкозернистый дождь, отчего немало случилось повреждения тогдашнему историческому населению.

— Вот были люди и происшествия, — сказал Умрищев, утешаясь книгой, и стал читать вслух: — «Царь Иван захотел однажды на святки, имея доброе самочувствие, установить в Китай-городе баловство пищей. Для чего он указал боярину Щекотову привесть откуда ни на есть в тот Китай-город до 70 сбитеньщиков, 45 харчевников, 30 крупенников, 14 обжарщиков и прочую пищевую силу по одному либо по два человека на каждую сортовую еду. Но люди торговые и промысловые откупились от той милости, дабы не соваться в неиспытанное, а сговорились меж собой есть до смерти добрые домашние щи либо тюрю». — Умрищев здесь отринулся от чтения и довольно улыбнулся:

— Да у нас в один районный центр требуется больше пищевиков, чем во весь Китай-город: минималисты были, черти, одну тюрю любили!

Николай Вермо уже давно соскучился с этим неясным человеком и встал, чтоб уйти прочь, тем более что на дворе уже разгорался новый день, а здесь горела лампа.

— Ну, я пойду, — стеснительно сказал Вермо. — До свиданья.

— Ступай и не суйся, — ответил директор. — Чем старина сама себя пережила: она не совалась!.. Ступай, а то мне тоже вскоре надо поехать кой-куда: окоротить сующихся…

После ухода инженера Умрищев взял из-под стола следующую книгу и заинтересовался ею. Это была «Торговля пенькою в Шацкой провинции — в 17 веке». Он и пеньку любил, и шерсть, и пшено, и быт мещерских и мордовских племен в моршанском крае, и черное дерево в речных глубинах, и томленье старинных девушек перед свадьбой — все это полностью озадачивало и волновало душу Умрищева; он старался постигнуть тайну и скуку исторического времени, все более доказывал самому себе, что вековечные страсти-страдания происходят оттого, что люди ведут себя малолетним образом и всюду неустанно суются, нарушая размеры спокойствия.

* * *

Вермо вышел на солнце и не спеша отправился через центральную усадьбу на дальние гурты. Босые доярки уже несли ведра с молоком, шагая по земле толстыми ногами; на пороге ночлежной горницы сидел пожилой пастух, — он ел что-то из чашки на коленях и посматривал на доярок, на незнакомого человека и на отдаленные пастбища, где ему придется пробыть весь день и много воображать, вследствие того что пастуху на целине мало работы и все время думается разное в голову.

Вместе с ним из совхоза вышла молодая женщина и пошла с ним нечаянно рядом. Она была немного привлекательна, но, видимо, проста и доверчива, так как шла и рассматривала человека объективно, как вещь, еще не чувствуя к нему ни вражды, ни любезности. А Вермо уже стеснялся ее как человек, у которого сердце всегда живет под напором скопившейся любви и который, не испытав еще, быть может, женщины, уже боится исчезнуть в неизвестном направлении собственной страсти, невнимательно храня себя для высшей доли. Но втайне, стесненным сердцем, Николай Вермо мог любить людей сразу, потому что тело его было уже заранее переполнено безысходной жизнью. Он осмотрел в последний раз женщину — она действительно сейчас добра и хороша: черные волосы, созревшие в жаркой степи, покрывали ее голову и приближались к глазам, блестевшим уверенным светом своего чувства существования; ее скромный рот, немного открытый (от внимания к постороннему), показывал прочные зубы, которые потемнели без порошка, и грудь дышала просторно и терпеливо, готовая кормить детей, прижать их к себе и любить, чтобы они выросли. Вермо возмужал от волнения, его стеснительность прошла, и он сказал женщине хриплым, не своим голосом:

— Как скучно бывает жить на свете!

— Отчего скучно? — произнесла женщина. — Нам тоже еще невесело, но уже нескучно давно…

Инженер остановился; спутница его также дальше не пошла, и он снова неподвижно рассматривал ее — уже всю, потому что и туловище человека содержит его сущность. Глаза этой женщины были сейчас ясны и осторожны: безлюдье лежало позади ее тела — светлый и пустой мир, все качество которого хранилось теперь в этом небольшом человеке с черными волосами. Женщина молча стояла перед своим дорожным товарищем, не понимая или из хитрости.

— Скучно оттого, что не сбываются наши чувства, — глухо проговорил Вермо в громадном и солнечном пространстве, покрытом дымом пастушьих костров. — Смотришь на какое-нибудь лицо, даже неизвестное, и думаешь: товарищ, дай я тебя поцелую. Но он отвернется — не кончилась, говорит, классовая борьба, кулак мешает коснуться нашим устам…

— Но он не отвернется, — ответила женщина.

— Вы, например? — спросил Вермо.

— Я, например, — сказала женщина из совхоза.

Вермо обнял ее и долго держал при себе, ощущая теплоту, слушая шум работающего тела и подтверждая самому себе, что мир его воображения похож на действительность и горе жизни ничтожно. Тщательно все сознавая, Вермо близко поглядел в лицо женщины, она закрыла глаза, и он поцеловал ее в рот. Затем Вермо убедился еще раз в истинности своего состояния и, сжав слегка человека, уже хотел отойти в сторону, сохраняя приобретенное счастье, но здесь женщина сама придержала его и вторично поцеловала.

— Суешься уже? — сказал огорченный и забытый голос со стороны.

Пока двое людей глядели друг в друга, подъехал верхом третий человек — Умрищев и загодя засмеялся такому явлению — поцелую в степи.

— Она мне очень понравилась! — ответил Вермо, и ему опять стало скучно от лица Умрищева.

— Ну и пускай понравилась, а ты не суйся! — посоветовал Умрищев. — Тебе нравится, а ты в сторону отойди — так твое же добро целей-то будет: ты подумай…

— Проезжай, Умрищев, — сказала женщина. — На гурте доярка удавилась: я с тобой считаться иду!

— Ну-ну, приходи, — охотно согласился Умрищев. — Только в женскую психиатрию я соваться не буду.

— Я тебя сама туда всуну — обратно не вылезешь, — сказала женщина обещающим голосом.

— Не сунусь, женщина! — ответил Умрищев. — Пять лет в партии без заметки просостоял оттого, что не совался в инородные дела и чуждые размышления, еще двадцать просостою — до самого коммунизма — без одной родинки проживу: успокойся, Босталоева Надежда!

Умрищев тут же уехал, а женщина, Надежда Босталоева, еще постояла, думая уже не о своем ближайшем товарище, а о мертвой доярке, но глаза ее были все такими же, как и во время дружбы с Вермо.

По дороге до гурта инженер узнал, что его попутная подруга работает секретарем гуртовой партячейки и ей здесь тяжело, иногда мучительно, зачастую страшно, но она не может сейчас жить какой-либо легкой жизнью в нашей стране трудного счастья.

Босталоева шла впервые на этот гурт; до того она работала на другом гурте, но теперь здесь стало слишком тяжко и сложно

— прежний секретарь на здешнем гурте пал духом, и комитет партии послал сюда — в «Родительские Дворики» — Надежду Босталоеву, чтобы разбить и довести до гробовой доски действующего классового врага.

— Гурт «Родительские Дворики» находился в русле древней речки, высохшей лет тысяча тому назад. Два землебитных жилища составляли убежище гуртовщиков на зимнее время, а для укрытия от летнего ненастья лежали по окрестной степи громадные выдолбленные тыквы.

Судя по ландшафту, насколько хватало зрения, гуртовая база была расположена разумно и удобно: ровно и спокойно лежала земля на десятки видимых верст, как уснувшая навеки, беззащитная и открытая зимнему холоду и всем безлюдным ветрам; лишь по одному месту та земля имела впалое положение, и там было слабое затишье от вихрей непогоды — это был след, прорытый древней и бедной рекой, теперь задутой суховеями, погребенной наносами до последнего ослабевшего источника, умолкшей навсегда. Но памятники реки, в виде песчаных выносов, еще лежали на гуртовой усадьбе, и для их зарощения в песок были посажены прутья шелюги и чернотала, а между теми прутьями и самородными лопухами лежали ночлежные пустые тыквы великого размера.

Посреди гуртового места находился срубовый колодезь, и две женщины непрерывно вытаскивали ручною силой воду из глубины земли и относили ее в бак — для питья людям и животным.

Те «Родительские Дворики» имели списочное число коров — четыре тысячи, не считая быков, лошадей, волов и разной мелкой подспорной живности в форме кроликов, овец, кур и

прочих существ. Стало быть, сам тот гурт составлял из себя уже мощный мясосовхоз и являлся надежным источником мясной пищи для пролетариата.

Когда Вермо и Босталоева только пришли на гурт, Умрищев там уже господствовал и проверял все элементы хозяйства, какие попадались ему навстречу. По сторонам Умрищева ходили два человека — заведующий гуртом зоотехник Високовский и старший гуртоправ Афанасий Божев.

— Вы должны вести себя, как две мои частности, — говорил им Умрищев на ходу, — и бездирективно никуда не соваться.

— Нам это, Адриан Филиппович, понятно: обстановочка ведь суетливая! — охотно и даже счастливо отвечал Божев, а сам улыбался всем своим чистым и честным лицом, на котором приятно находились два благожелательных глаза степного светлого цвета.

Високовский молчал. Он любил скотину саму по себе и давно собирался уйти работать в область племенного животноводства, дабы воспитывать скот для рождения потомства, а не для убийства; он был худой по телу, может быть, потому что больше ел молоко, прудовую рыбу, кашу и редко брал говядину, и знал свою науку с угрюмой точностью — видел в любом животном не только вес и продуктивность, но одновременно и субъективное настроение. За это его любили в скотоводческом объединении и платили ему большие средства, которые он, не имея родных, тратил на баловство любимой скотины; например, он приобретал шерстяной материал и сам шил чулки на зиму для кроликов, угощал быков солеными пышками, построил стеклянную теплицу печного отопления, с тем чтобы там росла зимой свежая кормовая трава для мужающих телят, которым уже надоело молоко, — и еще многое другое совершил Високовский ради любви своей к делу.

Меж тем Умрищев совершал свои замечания по гурту. Выйдя в пекарню, он отпробовал хлеба и сказал ближним подчиненным: «Печь более вкусный хлеб». Все согласились. Выйдя наружу, он вдруг задумался и указал Високовскому и Божеву: «Серьезно продумать все формы и недостатки». Божев сейчас же записал эти слова в свою книжку. Увидя какого-то человека, тихо шедшего стороною, Умрищев произнес: «Усилить трудовую дисциплину». Здесь что-то помешало Умрищеву идти дальше, он стал на месте и показал в землю: «Сорвать былинку на пешеходной тропинке, а то бьет по ногам и мешает сосредоточиться». Божев наклонился было, чтобы сразу уничтожить былинку, но Умрищев остановил его: «Ты сразу в дело не суйся, ты сначала запиши его, а потом изучи, — я же говорю принципиально: не только про эту былинку, а вообще, про все былинки в мире». Божев спешно записал, а Високовский шел рядом, ничего не говоря и не делая. Вскоре на тропинку выбежал кролик и от внезапного ужаса не мог бежать и стал на задние ноги, обратив лицо прямо к людям.

— Хорошее животное! — оценил Умрищев кролика.

— Да, оно ничего: оно милое, Адриан Филиппович! — согласился Божев.

Невдалеке показалась свинья; она подошла к Умрищеву и покрутила около него хвостом, что также понравилось Умрищеву, и он одобрил это животное.

Но зато, придя в служебный кабинет Високовского, Умрищев сразу почувствовал ярость. В самом деле — в кабинете было кругом нечисто, имелись следы и остатки каких-то огромных животных, точно сюда приходили по делам быки, пригибаясь в дверях; бумаги лежали под бутылками с мочой больных коров, стены не имели убранства и были покрыты рваными итоговыми данными, и на стуле у стола сидел, как посетитель, подсвинок.

— Это ж государственная измена! — воскликнул Умрищев в кабинете. — Вы весь авторитет нашего руководства роняете вниз! — закричал он по направлению к Високовскому. — Вас скотина здесь не уважает, а вы целым штатом хотите руководить! За такие кабинеты надо вон с отметкой увольнять!

— Тише, начальник, — попросил Високовский, — говорите негромко; я вас услышу все равно.

— Вас бы надо гидрометеором по голове, — потише сказал Умрищев, — чтоб вы почувствовали что-то.

— Гидрометеор — это дождь, товарищ Умрищев, — равнодушно заявил Високовский.

— Я имею в виду тот дождь, — объяснил Умрищев, — который шел при Иоанне Грозном — каменный, исторический дождь!

Вслед за тем Умрищев велел Божеву позвать гуртового кузнеца Кемаля, убогого глухонемого счетовода Тишкина, профуполномоченного, старушку Федератовну, а заодно и Босталоеву с явившимся зачем-то инженер-музыкантом. Умрищев любил иногда собрать, как родню, подчиненный аппарат в кучу и поговорить с ним по душам, не составляя повестки дня.

* * *

Босталоева вошла в свое новое жилище, а Вермо остановился у входа. Это было временное общежитие, построенное из земли и покрытое для крепости дерном.

На правой половине земляной горницы лежали во сне усталые доярки и телятницы, а налево храпели пастухи, водоносы, колодезники, случники, студенты-ветеринары и прочие профессии; некоторые же сидели на земляном полу и писали письма далеким товарищам или читали книги, чертили изображения и думали, облокотившись на руку.

Тут же, в сенях общежития, на большом столе для кружковых занятий лежал мертвый человек. Он был покрыт красным сукном, но одна небольшая старая женщина приоткрыла сукно у изголовья мертвеца и гладила свободной рукой чье-то остывшее лицо.

— Это Айна? — спросила Босталоева у той устарелой женщины.

— Да — то кто же! — раздражительно ответила бочонковидная старушка и обернулась своим лицом, похожим на блюдцеобразное озеро.

Вермо подошел со стороны и загляделся на покойницу. Смуглая девушка, наверно киргизка, лежала навзничь с постаревшим грустным лицом и открыла рот от последней слабости. Босталоева приподняла покрывало на покойнице и стала ощупывать своей рукой тело Айны, будто разыскивая следы смерти и тайное место гибели человека. Инженер так же близко наклонился над скончавшейся; он увидел опухшее от женственности тело, уже копившее запасы для будущего материнства, и терпеливые рабочие руки, без силы сложенные на животе; Вермо разглядел полотно рубашки, которое повсеместно выдавали ударницам, и почувствовал запах еще сохранившегося пота и прочих отходов уже умолкшей, трудной жизни; но смерти нигде не было заметно.

Тогда Босталоева отвернула ворот на горле Айны, и все увидели темный запекшийся рубец вокруг шеи — след от бечевы, которая перерезала гортань и сожгла дыханье этой девушки.

Здесь пришел Афанасий Божев и позвал Босталоеву с инженером на совещание.

— Ведь миллиарды разных людей умерли бесполезно, сказал Божев. — Что же вы одну-то стоите жалеете! Мало ли на свете жителей осталось!.. Жалейте хоть меня, если в вас гнилой либерализм бушует!

— Всех жалеть не нужно, — заявила старушка, бывшая тут, — многих нужно убить…

Сказав это, пожилая рабочая отвернула от горя свое лицо, и все промолчали, не понимая значения ее речи, а потом ушли на гуртовое совещание.

Когда Божев привел Босталоеву и Вермо, Умрищев уже давно говорил, сам не понимая о чем, а только чувствуя что-то доброе. Он развивал перед присутствующими различные картины мероприятий, например, предлагал так организовать все гуртовые работы, чтобы каждый уж молчал постоянно, делал по раз запущенному порядку свое узкое, мирное дело и ни во что не совался.

— Каждому трудящемуся надо дать в его собственность небольшое царство труда — пусть он копается в нем непрерывно и будет вечно счастлив, — развивал Умрищев вслух свое воображение. — Один, например, чистит скотоместа, другой чинит по степи срубовые колодцы, третий пробует просто молоко — какое скисло, какое нет, — каждый делает планово свое дело, и некуда ему больше соваться. Я считаю, что такая установка даст

возможность опомниться мне и всему руководящему персоналу от текущих дел, которые перестанут к тому времени течь. Пора, товарищи, социализм сделать не суетой, а заботой миллионов.

Собрание молчало; старушка Федератовна уже загорюнилась, облокотившись на коричневую руку; она знала, что ей думать, и глядела на Умрищева, как на подлого.

— Что здесь такое? — спросила Босталоева. — Что мы обсуждаем и какая повестка дня?

— Я ничего не понимаю, — со сдержанной враждебностью объяснил Високовский, — обратитесь к товарищу директору: он должен знать.

Високовский, презирая Умрищева, начинал распространять свое холодное чувство уже гораздо шире, может быть, на весь руководящий персонал советского скотоводства, Босталоева это поняла.

— А теперь слушайте меня дальше, — говорил Умрищев. — Есть еще разные неопределенные вопросы, изученные мною по старинной и по советской печати. У грабарей дети рожаются весной, у вальщиков — среди лета, у гуртоправов — к осени, у шоферов — зимой, монтажницы отделываются к марту месяцу, а доярки в марте только починают; поздно-поздно, голубушки, починаете — летом носить ведь жарко будет!..

— Да что ты скучаешь-то все, батюшка: то жарко, то тяжко, — осерчала старушка, — да мы вытерпим!

Умрищев только теперь обратил свой взгляд на ту старушку, и вдруг все его задумчивое лицо сделалось ласковым и снисходительным.

— Стару-у-шка! — сказал он с глубоким сочувствием.

— Старичок! — настолько же ласково произнесла старушка.

— Ты что ж — существуешь?

— А что ж мне больше делать-то, батюшка? — подробно говорила старушка. — Привыкла и живу себе.

— А тебе ничего, не странно жить-то?

— Да мне ничего… Я только интервенции боюсь, а больше ничего… Бессонница еще мучает меня — по всей республике громовень, стуковень идет, разве тут уснешь!

Здесь Умрищев даже удивился:

— Интервенция?! А ты знаешь это понятие? Что ты во все слова суешься?..

— Знаю, батюшка. Я все знаю — я культурная старушка.

— Ты, наверно, Кузьминишна?! — догадывался Умрищев.

— Нет, батюшка, — ответила старушка, — я Федератовна. Кузьминишной я уже была.

— Так ты, может, формально только культурной стала? — несколько сомневался Умрищев.

— Нет, батюшка, я по совести, — ответила Федератовна.

Умрищев встал на ноги и сердечно растрогался.

— Дай я тебя поцелую! Нежная моя, научная старушка! — говорил Умрищев, целуя Федератовну несколько раз. — Никуда ты не совалась, дожила до старости лет и стала ты, как боец, против всех стихий природы!

— И против классового врага, батюшка! — поправила Федератовна. — Против тебя, против Божева Афанаса и против еще каких-нибудь, кто появится… Я ведь все кругом вижу, я во все суюсь, я всем здесь мешаю!..

— Говори, бабушка, — обрадованно попросила Босталоева. — У нас повестки дня нету, а ты факты знаешь!

— Да то ништ я фактов не знаю! — медлила Федератовна. — Я всю республику люблю, я день и ночь хожу и щупаю, где что есть и где чего нету… Да без меня б тут давно мужики-единоличники всех коров своих гнусных на наших обменяли, и не узнал бы никто, а кто и проведал бы, так молчал уж: ай ему жалко нашу федеративную республику?! Ему себя жалко!

Босталоева в тот час глядела на Николая Вермо; инженер все более бледнел и хмурился

— он боролся со своим отчаянием, что жизнь скучна и люди не могут побороть своего ничтожного безумия, чтобы создать будущее время. Когда начал говорить Божев задушенно, с открытым и правдивым лицом и с милыми глазами, светящимися пролетарской ясностью, — Вермо заслушался одних звуков его голоса и был доволен, но потом, когда почувствовал весь смысл хитрости Божева, то отвернулся и заплакал. Федератовна, бывшая близко, подошла к инженеру и вытерла ему глаза своей сухой ладонью.

— Будет тебе, — сказала старушка, — иль уж капитализм наступает: душа с советской властью расстается. Мы их кокнем: высохни глазами-то.

Собрание сидело в озадаченном виде. Одна Босталоева улыбнулась и захотела узнать, в чем Умрищев и Божев каются: ведь обвинение их бабушкой Федератовной голословно, она, может быть, недовольна не классовыми фактами, а лишь старостью своих лет.

Божев в молчаливом обозлении сжал зубы во рту: он сразу понял, какую мучительную ошибку он совершил, испугавшись обвинения старухи из ее щербатого рта — ведь действительности никто здесь не знает. Умрищев же думал безмолвно для самого себя: «Всю жизнь учился не соваться, а тут вот сунулся с покаянием — и пропал! Ну кто тебе директиву соваться дал

— скажи, пожалуйста: кто? Жил бы себе молча и убого, как остальные два миллиарда живут!»

Божев, засмеявшись, предложил всем перейти к текущим делам, поскольку бабушка Федератовна отлично понимает, что единственным желанием его и Умрищева было доставить удовольствие заслуженной совхозной бабушке и, стало быть, не прекословить ей. Это же ясно — это ведь было предпринято ради уважения к трудовому стажу Федератовны, но вовсе не ради какой-либо идейной серьезности.

Умрищев же уныло промолвил, что ошибиться он давно не может, поскольку для оперативного свершения ошибки надо все же сунуться куда-то или во что-то, а он давно уж ни до чего не касается, особенно до вопросов мировоззренчества.

— Товарищи, на дворе, пока мы сидим, наступил тем временем вечер, — сказал в заключение Умрищев. — Посмотрите, как это довольно хорошо. Посмотрите затем на эту советскую старушку (он показал на Федератовну), разве это не вечер капитализма, слившийся на севере с зарей социализма? И разве не приятно сказать нашей Федератовне, этой доброй тетушке всего будущего и теще всего прошлого, словесную милость? Пусть она утешается по-пустому на старости лет!

Здесь Федератовна как была, так и схватила Умрищева за отросшую бороду, на что Умрищев даже не вскрикнул, решив уже претерпеть все это, как самую дешевую муку, а Божев моментально обнял всю старушку — с одной стороны, для ласкового успокоения, с другой — для защиты Умрищева. Но Федератовна, обернувшись, хлестнула ладонью по лицу Божева, а он не посмел обидеться. Ночью же, учтя эпоху, Божев уничтожил все ночлежные тыквы, чтобы улучшить тем самым свое политическое положение и ослабить очередную невзгоду жизни.

* * *

На следующий день доярку Айну понесли в гробу два выходных пастуха. За ее гробом шла подруга — профуполномоченная, провожавшая тело, несмотря на неплатеж Айной членских взносов; тут же находился кузнец Кемаль, вздыхавший все время от какой-то нечленораздельной силы; затем двигался Умрищев с Божевым, и в стороне ото всех шла Надежда Босталоева, держа за руки Мемеда, малолетнего брата Айны. Впереди гроба шел Вермо. Один скотник имел хроматичесхую гармонию и дал ее Вермо, чтобы музыка сопровождала погибшую.

До могилы было далеко — версты две. Друг Айны, кузнец Кемаль, выбрал для погребения сухое песчаное место и вырыл там могилу, чтобы девушка побольше пролежала целой.

Когда вышли подальше, Николай Вермо сыграл по слуху «Аппассионату» Бетховена; в течение игры он чувствовал радость и победу и желал отомстить всему миру за беззащитность человека, которого несли мертвым следом за ним. Существо жизни, беспощадное и нежное, волновалось в музыке, оттого что оно еще не достигло своей цели в действительности, и Вермо, сознавая, что это тайное напряженное существо и есть большевизм, шел сейчас счастливым. Музыка исполнялась теперь не только в искусстве, но даже на этом гурте — трудом бедняков, собранных изо всех безнадежных пространств земли.

С пустого неба солнце освещало землю и шествие людей; белая пыль эоловых песков неслась в атмосферной высоте вихрем, которого внизу было не слышно, — и солнечный свет доходил до земной поверхности смутным и утомленным, как сквозь молоко. Жара и скука лежали на этой арало-каспийской степи; даже коровы, вышедшие кормиться, стояли в отчаянии среди такого тоскливого действия природы, и неизвестный бред совершался в их уме. Вермо, мгновенно превращавший внешние факты в свое внутреннее чувство, подумал, что мир надо изменять как можно скорей, потому что и животные уже сходят с ума. В этом удручении Вермо спросил у Босталоевой, что ей представлялось, когда он играл.

— Мне представлялась какая-то битва, — как мы с кулацким классом, и музыка была за нас! — ответила Босталоева.

Вермо сыграл далее свое сочинение, заключавшее надежду на приближающийся день жизни, когда последний стервец будет убит на земле. Вермо всегда не столько хотел радостной участи человечеству — он не старался ее воображать, — сколько убийства всех врагов творящих и трудящихся людей.

Поэтому его музыка была проста и мучительна, близкая по выразительности к произношению яростных слов. Одна пьеса Вермо такой и была, и он сыграл ее, когда гроб поднесли к степной песчаной могиле. Умрищев и Божев не понимали музыки Вермо; они думали, что эти звуки имеют горестное значение, и понемногу плакали из приличия.

Около открытой могилы уже сидела Федератовна и смотрела внутрь земли. Она смерти не боялась, ей только было удивительно — куда же денется ее активная сила, если придется умереть, и кто будет болеть тогда старой грудью за совхозное дело.

— А ты что ж мало плачешь-то? — спросила она у Божева. — Ишь какой сухой весь пришел!

— Ветер слезы сдувает, Мавра Федератовна, — объяснил Божев.

— Ветер? — удивилась Федератовна. — А ты отвернись от него на тихую сторонку и плачь!..

Божев отвернулся и посилился добавочно поплакать, гладя свое лицо со лба вниз, — но Федератовна, обождав, подошла к нему, провела рукой по лицу, попробовала слезную влагу Божева на язык и обнаружила:

— Разве это слезы? Они же не соленые! Ты пот со лба на глаза себе сгоняешь — ты вон что надумал, кулацкий послед!

— Ей-богу, это слезы, Мавра Федератовна, — увещевал Божев, — у тебя язык не чует.

— У меня-то не чует? — допытывалась Федератовна. — А если б и чуял, так я своему языку не поверю, я только уму своему верю да партии большевиков!..

Айну в тот момент положили на край могилы. Все прибывшие люди стояли вокруг покойной и смотрели в ее лицо, уже снедаемое ветхими силами смерти, старое, как у Федератовны.

— Прощай, дочка! — сказала Федератовна и, согнувшись, поцеловала Айну, и видно было, как тело старухи стало изнемогать от немощи, от забот и от злости к действующему, живому врагу.

Надежда Босталоева расцеловала девушку-киргизку страстно и несколько раз, а Умрищев только коснулся рукой ее лба и произнес:

— Что ж тут горевать или поражаться: смерть всегда присутствует в текущих делах истории!

Вермо попрощался с Айной предпоследним; целуясь с умершей, он подумал, что если б она осталась жива, он мог бы жениться на ней. Афанасий же Божев припал к Айне в последнюю очередь и зарыдал над ней искренним голосом.

— Это он от страха старается: горя в нем нету! — определила Федератовна страдание Божева.

Но Божев поднял лицо кверху, и все увидели на нем открытую печаль. Кузнец Кемаль спустился в могилу, и ему подали гроб; Кемаль уложил получше гроб в земле и прибил крышку, навеки отделив умершую от ее врагов и товарищей, от всей будущей жизни, которую Айна хотела как девушка и комсомолка.

Брат Айны, Мемед, не горевавший по сестре, потому что она стала для него страшная и чужая, подошел к Божеву и сказал ему:

— Дядь, на ней твоя веревка осталась. Она кругом пуза завязана. Ты ее лучше возьми.

Кемаль сейчас же вскрыл гроб и развязал у покойной пояс. Это была крученая бечева, какие применяют для кнутов. Кемаль тут же отдал эту бечеву Божеву и закрыл гроб вторично.

— Ей больно было, а ты ее бил! — равнодушно сказал Мемед Божеву, глядя на крученую бечеву. — Она взяла и умерла, а ты с веревкой остался!

* * *

На гурт «Родительские Дворики» прибыло много народа. Москвич, член правления Скотоводобъединения, и худой секретарь недалекого райкома партии повели так называемое глубокое обследование всего мясосовхоза; Умрищев же был на воле и давал начальству такие объяснения, которыми старался поставить всех в тупик.

— Был ли на совхозе распространен ваш лозунг «А ты не суйся!»? — спрашивал Умрищева секретарь райкома.

— Был, конечно, — охотно отвечал Умрищев; чем вопрос был опасней, тем Умрищев добрее и подробней отвечал на него. — Вот Божев сунулся к Айне — ее погубил и сам пропал. Этот лозунг, дорогой товарищ, идет по всему свету еще от Иоанна Грозного, а Грозный ведь был глубокий человек: ты возьми данные истории! Желаешь, я тебе предложу кое-что для чтения?

— Не желаю, — говорил секретарь. — Вы мне скажите другое: сколько ежедневно пропадало молока в совхозе? Сколько у вас выдаивалось из совхозных коров молока — руками окрестных кулаков и зажиточных единоличников? Можете ответить?

— Ну, еще бы! — сообщил Умрищев. — Наша старушка Федератовна совалась, вот, повсюду и говорила мне, что ведер тысячу. А если б она не совалась, то и до тебя бы дело не дошло и вопроса такого бы не стояло.

— Хорошо, — спокойно произносил секретарь, безмолвно борясь со своим сердцем. — Сколько племенных совхозных коров кулаки обменяли на свой беспородный скот? При содействии Божева, конечно!

— Я в этот счет не вмешивался, — с точностью отвечал Умрищев. — Я вел глубокую тактику и довольно принципиальную политику. А именно: пускай хоть кулаки, хоть бедняки, хоть кто, поменяют немножко своего скота на наш. Кулака раскулачат, бедняк войдет в колхоз — и все совхозное племя попозже или пораньше все равно очутится в обобществленном секторе. А вот в этом-то и скажется доброе, хозяйственное и ведущее влияние совхоза на колхозную прицепку. Тебе теперь понятно?

— Вы подлец и дурак, — тихо сказал секретарь, бледнея от сдерживаемого страдания. — Кулак порежет наш племенной скот, а ваш беспородный скот принесет нам одни убытки и повальные болезни.

— Какой это ваш и какой это мой скот? — спросил Умрищев. — Я имею собственность только в виде идейных мыслей, а не коров, я ношу при себе билет члена партии! Ты, брат, особо-то не суйся!

— Вы правы, — говорил секретарь, — билет члена партии вы носите при себе. Но я не прав, что сволочь его носит!

Умрищев вскочил во весь рост, желая как можно мужественней возмутиться, но вдруг икнул два раза подряд от нервного страха и заикал далее беспрерывно.

— Это я… книг начитался. Это я… исторически хочу… Ты гляди на меня, как…

— Как на икающего оппортуниста, — сказал секретарь.

— Хоть бы… так, — икая, соглашался Умрищев.

— Как на второго убийцу киргизской девушки и как на кулацкого мерзавца!

Здесь Умрищев позабыл икнуть очередной раз и вовсе освободился от икоты.

Секретарь райкома отвел глаза на маленькое окно гуртовой избы и что-то подумал о летнем дне, блестевшем за стеклом. Он вообразил красоту всего освещенного мира, которая тяжко добывается из резкого противоречия, из мучительного содрогания материи, в ослепшей борьбе, и единственная надежда для всей изможденной косности — это пробиться в будущее через истину человеческого сознания — через большевизм, потому что большевизм идет впереди всей мучительной природы и поэтому ближе всех к ее радости; горестное напряжение будет на земле недолго. Секретарь райкома вспомнил затем Надежду Босталоеву, чьи черные таинственные волосы, скромный рот и глаза, в которых постоянно стоит нетерпеливое искреннее чувство, создавали в секретаре странное и неосновательное убеждение, что эта женщина одним своим существованием показывает верность линии партии, и вся голова, туловище, всякое движение Босталоевой соответствуют коммунизму и обеспечивают его близкую необходимость; Босталоева бы умерла при торжестве кулачества или мелкой буржуазии. Но секретарь был приучен большевизмом к беспощадному разложению действительности, и он сказал самому себе, не обращая внимания на Умрищева: «Я, наверно, субъективно люблю Босталоеву и наряжаю ее в идеологическое подвенечное платье… Я опоздал — ее надо давно назначить на гурт, пусть она покажет себя в действии, и я полюблю ее сильнее или разлюблю совсем…»

Умрищев тем временем настолько обозлился на все сущее, что решил уехать в дальний сибирский район, сделаться там секретарем и основать районное негласное оппортунистическое царство, в форме Руси Иоанна Грозного или мещерского племени: все равно ничего не будет, пускай хоть покой обоснуется в отдаленном месте, а прожить можно одним пеньковым промыслом или даже не евши, чем так теоретически мучиться.

— Как теперь партия? — спросил Умрищев. — Наверно, разлюбит меня?

— Очевидно, — сказал секретарь и послал его к прокурору, который уже давно ожидал Умрищева где-то на завалинках гурта.

— Ну, тогда я соваться начну! — пообещал Умрищев. — Как-нибудь она меня полюбит! — И ушел.

Как только завечерело, секретарь начал пить чай и позвал к себе Босталоеву с мальчиком Мемедом, чтобы угостить их чем-нибудь сладким. Федератовна же пришла по своей доброй воле и начала причитать беспрерывно, что районная контора задерживает контингенты стройматериалов для совхоза, что переводы кредитных лимитов опаздывают, что среди пастухов слаба культработа и мало заметно самозакрепление. При этом она плакала горючими слезами, так как у нее серьезно болело сердце, и запивала чаем потерю своих сил. Вспомнив об Айне, она уж не могла нагореваться: ведь было же четко и ясно, что Божев — классовый враг, отчего она не поверила своему предчувствию, своему ноющему сердцу, а ждала фактов, либеральничала и объективно помогала совершиться смерти.

— Бабка-дура, — сказал Мемед. — Всегда плачет и всегда живет. Сестра не плакала, а умерла…

— Я тебя в ясли завтра отдам: у подкулачников брехать научился? — сказала старуха.

— Там страшно, — произнес мальчик.

— А чего тебе страшно там? — спросила Босталоева.

— Там старик с бородой как картина висит, — сказал Мемед

— Бабкин жених…

Секретарь и Босталоева поняли мысль ребенка и засмеялись, а Федератовна обиделась за Карла Маркса, хотя секретарь уверял ее, что и Маркс бы улыбнулся сейчас.

— Ты знаешь, отчего умерла твоя сестра? — спросил секретарь у Мемеда.

— Бабка говорила — от нее, — ответил Мемед, — у бабки бдительность пропала. А сестру Афанас измучил, не бабка.

Мальчик представлял сестру с живостью всех фактов ее мучения. Она жила тогда за десять верст от гурта, в землянке у дальнего пастбища. Божев приезжал туда верхом на лошади и с кнутом, а доярки и Айна с ними в бане не мылись, горячего к обеду не варили и спали от работы мало. Но Айна не горевала, потому что хотела сделать социализм, только чесала под рубашкой ногтями. Божев приезжал на коне, ел пышки из своего мешка и забирал с собою пастухов — оставил только одного на пятьсот коров с быками. На ночь стадо расходилось без пути, пастух засыпал, а утром плакал нарочно, как будто от страха и горя, потому что в стаде начали пропадать полные красные коровы и являлись худые или мелкие, которые жрали и не росли, — молока же давали по четыре кружки. Именные быки тоже скрылись куда-то, а пришли незнакомые — они ходили скучные и худые, и совхозные коровы их били, а неизвестные быки молчали. Айна не стала спать, вышла на ночь пасти стадо, ходила в темноте и узнала, что приезжали верховые мужики, пригоняли своих коров с быками и угоняли совхозных. Айна ходила за чужими людьми следом, дошла до степных хуторов и возвратилась. Потом она пошла на гурт за людьми и ружьями, но ее встретил Божев и вернул обратно: «Ты, — говорит, — бежать от стада хочешь, ты летунья, ты врешь, я сам считаю коров по списочному числу». Когда сосчитал, оказалось верно. Божев изругал Айну: «Тебе замуж надо, ты бесишься — все коровы целы, разве ты помнишь все пятьсот коров в морду?» — «Помню», — сказала Айна и побежала из стада на гурт. Божев дал ей время побежать, а потом нагнал и бил кнутом, как летунью, которая срывает планы прокормления рабочих и служащих.

Айна упала, Божев ее взял и привез. Скоро Божев прислал нового пастуха, потому что старый пастух пропал вместе с десятью коровами и маточным быком; новый пастух угонял стадо далеко и приводил его к вечеру без молока. Айна была умная и узнала, что кулацкие и зажиточные жены выдаивают коров вдалеке. Она тайно добежала до директора Умрищева, но Умрищев сказал ей: «Не суйся, работай под выменем, чего ты все бесишься!»

Айна не вернулась в стадо, а пошла в районный комитет партии. К ней пристали еще две подруги-доярки, которые бежали навсегда от жизни в степи, Айна же шла по делу. Божев скакал за ними полдня; доярки прятались, но Божев разглядел их с лошади и опять бил Айну кнутом, как кулацкую девку, которая срывает дисциплину и уводит рабочую силу. Айна говорила ему, что идет выходить замуж за тракториста, Божев же спросил у нее отпускной талон и снова рубцевал, что не было талона. Однако двух других доярок Божев не задержал, и они убежали, довольные, что спаслись, и пропали бесследно. Когда Божев остался с Айной один в пустых местах, он вдруг весь осознался и стал напуганным. От страха смерти, которая достанется ему за порчу батрачки, Божев вдруг полюбил Айну. Он задумал так сильно и искренно обнять Айну, чтобы его любовь дошла к ней до сердца и она бы за все простила ему и согласилась быть женой. Он стал добрым, плакал до вечера у бедного подола Айны, обнимал ее измученные ноги и бегал в истоме по песчаным барханам. Айна все время не давалась ему, потом опять пошла дальше в район. Но Божев вновь достиг ее и шел за ней молча, бросив лошадь, а вечером изувечил ее, когда Айна, усталая и измученная, легла на землю. Айна схватила Божева за горло, когда была под его тяжестью, и душила его, но сила клокотала в горле Божева, он не умер, а сестра Мемеда ослабела и заснула. Наутро Божев оправил оборванную Айну, отыскал лошадь, подпоясал доярку бечевой от своего кнута и повез женщину на гурт, все время искренно лаская доярку за плечи, а встречным людям говорил, что он на ней скоро женится, так как полюбил. Айна стала смирная; ей дали два выходных дня подряд, и она, обмывшись в бане, ходила с Мемедом по полю и так целовала брата, что плакала от своей жадности и нежности к нему. Потом она сказала Мемеду, как большому, все, что было, и ушла за конфетами в совхозный кооператив. Целую ночь она не

приходила, а после ночи увидели, что она висит мертвая на постройке колодца и под ногами у нее лежит кулек с конфетами и зарплата за четыре месяца.

* * *

Божева осудили и увезли в городскую тюрьму. Там его вывели во двор и поставили к ограде, сложенной из старого десятивершкового кирпича; Божев успел рассмотреть эти ветхие кирпичи, которые до сих пор еще лежат в древних русских крепостях, погладил их рукой в своей горести — и вслед за тем, когда Божев обернулся, в него выстрелили. Божев почувствовал ветер, твердою силой ударивший ему в грудь, и не мог упасть навстречу этой силе, хотя и был уже мертвым; он только сполз по стене вниз.

Умрищев же сумел убедить кого-то в районном городе, что он может со временем, по правилам диалектического материализма, обратиться в свою противоположность; благодаря этому его послали работать в колхоз, ограничившись вынесением достаточно сурового выговора. В колхозе же, расположенном невдалеке от «Родительских Двориков», Умрищев стал поступать наоборот своим мыслям: как только что надумает, так вспомнит, что его природа

— это ведь оппортунизм, и совершит действие наоборот; до некоторого времени названные обратные действия Умрищева имели успех, так что бывшего директора колхозники выбрали своим председателем. Но впоследствии Умрищева ожидала скучная доля, о которой в свое время стало известно всем…

— Уезжая, член правления скотоводного треста и секретарь райкома определили гурту «Родительские Дворики» быть самостоятельным мясосовхозом, а директором нового мясосовхоза назначили Надежду Босталоеву, носящую в себе свежий разум исторического любопытства и непримиримое сердце молодости.

В помощницы себе Босталоева взяла Федератовну, а Николая Вермо назначила главным инженером совхоза. Зоотехник Високовский пришел к Босталоевой в землянку и вежливо, тщательно скрывая свою производственную радость, поздравил Босталоеву с высоким постом. Он надеялся, что эволюция животного мира, остановившаяся в прежних временах, при социализме возобновится вновь и все бедные, обросшие шерстью существа, живущие ныне в мутном разуме, достигнут судьбы сознательной жизни.

— Теперь засыпается пропасть между городом и деревней, — сказал Високовский, — коммунистическое естествознание сделает, вероятно, из флоры и фауны земли более близких родственников человеку… Пропасть между человеком и любым другим существом должна быть перейдена…

— Будет еще лучше, — обещала Босталоева. — Самая далекая ваша мечта все равно не опередит перспектив нашей партии. Между живой и мертвой природой будет проложен вечный мост.

Високовский ушел и на совхозном подворье подхватил и унес к себе своего любимого подсвинка.

Босталоева разобралась в планах и директивах, а затем позвала к себе Вермо и Федератовну.

— Вермо, — сказала она, — в прошлом году «Родительские Дворики» поставили пятьсот тонн мяса, в этом году нам задали тысячу тонн, а поголовье увеличивается процентов на двадцать, потому что мало пастбищ и мало воды…

Вермо улыбнулся.

— Мы должны выполнить, Надежда, — ответил инженер. — Москва вызывает нас на творчество; нормальной мещанской работой взять такого плана нельзя — значит, в центре доверяют нашим силам…

— Партия слишком уж любит массы, — сказала Федератовна, — оттого она и ценит так ихний ум. Без ума этот план нам сроду не взять!

— Мы поставим три тысячи тонн говядины, — высказалась Босталоева. — Мы не

только трудящийся, мы творческий класс. Правда ведь, товарищ Вермо?

Инженер молчал; он воображал великий расчет партии на максимального человека массы, ведущего весь класс вперед, — тот же расчет, который имел сам Ленин перед Октябрем месяцем семнадцатого года.

— Да то ништ не правда? — ответила Федератовна. — Уже дюже массы жадны стали на новую светлую жизнь: никакого укороту им нету!

Вермо ушел в полынное поле и только что приготовился подумать о выполнении огромного плана, как ему в лицо подул дальний ветер с запахом горелой соломы. Инженер почувствовал, что этот ветер ему знакомый — ветер не изменился, изменилось и выросло лишь тело Вермо, но и в глубине его тела осталось что-то маленькое, неизменное — то, чем вспомнил он сейчас этот теплый ветер, пахнущий дымом далеких печек, второй раз в жизни подувший ему в лицо из дальних мест. Вермо обратился к самому себе и ощутил свое сердце, все более наполняющееся счастьем, — так же как в детстве тело наливается зреющей жизнью. Когда же дул этот ветер в первый раз в лицо Вермо? Он обернулся на «Родительские Дворики». Там робко дымила одна печная труба — это кухонные мужики растопляли кухню для обеда. Шло лето, грусть росла, и надежды на еще несбывшееся будущее расстилались по неровному миру — это уже чувствовал Вермо когда-то, в свой забытый день. Над «Родительскими Двориками» не хватало мельницы, мелющей зерно: такая мельница была в родном месте Вермо, где он вырос и возмужал. И еще не было в совхозе такого дома, где бы тебя всегда ожидали — не было отца и матери, — но зато в совхозе были Босталоева, Федератовна, Високовский, а мельницу можно построить… Вермо вспомнил летний день детства на окраине родины — маленького города и этот вечер, который нес тогда дым жизни далеких и незнакомых людей.

Мельницу же в «Родительских Двориках» надо построить теперь же. Сила ветра будет качать сейчас воду из колодца, а осенью и зимою, когда дуют самые плотные ветры, сила воздушного течения будет отапливать помещения для скота, где целых полгода зябнут и худеют коровы. Пусть теперь степной ветер обратится в электричество, а электричество начнет греть коров и сохранит на них мясо, сдуваемое холодом зимы: скучную силу осеннего ветра в зимнюю пургу, поющую о бесприютности жизни, наступило время превратить в тепло, и во вьюгу можно печь блины.

Вечером Вермо сказал Босталоевой, как нужно отопить совхоз без топлива. Босталоева позвала Високовского, Федератовну, кузнеца Кемаля, еще двоих рабочих, и все они прослушали инженера.

Кемаль заключил, что дело ветряного отопления — безубыточное; он сам думал о том, только, не зная электричества, хотел, чтоб ветер вертел и нагревал трением какие-либо бревна или чурки, а чурки тлели бы и давали жар, — однако это технически сумбурно.

— А хватит нам киловатт-часов-то? — спросила Федератовна. — Ты амперы-то сосчитал с вольтами? — испытывала старуха инженера Вермо. — Ты гляди, раз овладел техникой! А проволоку, шнур и разные частички где ты возьмешь? Мы вон голых гвоздей второй год не допросимся, алебастру, извести и драни нету нигде…

— Я поеду в район, в край и достану все, что нужно, сама, — сказала Босталоева, запечалившись вдруг отчего-то. — Високовский, сколько мы нагоним мяса, если в скотниках будет тепло?..

— Можно телят выпаивать круглый год, — размышлял Високовский. — Весной мы родили две тысячи телят, а теперь будем осеменять коров круглый год — получим минимум три тысячи телят, на добавочную тысячу больше. Это при том стаде, какое у нас есть…

Далее Високовский сделал расчет на бумаге; он сообразил, сколько дадут товарного мяса добавочные телята, на сколько самое меньшее пополнеют благодаря теплу взрослые животные, — и выразил цифру: триста тонн чистого живого мяса, не считая громадной прибавки молока и масла от улучшения бытовых условии.

— Почти двадцать вагонов! — обрадованно произнесла Босталоева. — Мы это сделаем, товарищ Вермо! Бабушка, ты будешь бригадиршей на постройке… Бабушка, возьмись по-

старинному; когда великаны жили, говорят…

— Обожди, девчонка, — осерчала Федератовна. — Великаны были только сильны, а по уму любой цыпленок норовистей их. Обождите, вам говорят!.. Если на небе тихо, а на дворе мороз в тридцать градусов по Реомюру, в тридцать семь по Цельсию: вы тогда — что?!

Вермо думал быстрее, чем кончила Федератовна:

— Мы, бабушка, из коровьих лепешек брикетов наделаем в запас. Пусть Кемаль сделает деревянный пресс для обжима и брикетирования коровьих лепешек…

— Я уж ему двенадцать раз говорила, дураку, — сказала Федератовна. — Лежит зимой добро по всему гурту, а скот зябнет…

— Мне оппортунист Умрищев не велел, — оправдался Кемаль. — Я несколько раз докладывался: пора, говорю, нам заготовить деревянный блюминг, что ж это такое? Коровы ведь зарождают в туловище не одно молоко с мясом, а и топку! Давай, говорю, мне двух плотников и слесаря на помощь — я тебе из коров Донбасс сделаю, я тебе из коровьего желудка центральное отопление поставлю…

— Кто будет крутить ваш брикетный пресс? — спросил Вермо.

— Два вола, — сообщил Кемаль.

— Нет, ветер, — не согласился инженер, — не тратьте животных, живите за счет мертвой природы.

— Я люблю вас, гражданин Вермо, — произнес Високовский.

— Ветер лучше, — согласился Кемаль. — Пресс можно крутить, когда ветряк не нужен для тепла.

Федератовна, хоть и была довольна, но не очень — она потребовала от Вермо, чтоб он составил проект с экономической стороной, а она его проверит со всех точек: старуха была настолько скупа и осторожна в отношении социализма, что даже для верного друга требовала предосудительного контроля, — мало ли совершается в советском мире расточительства благодаря действию слишком радостных чувств!

Вермо согласился составить проект, а Федератовна пошла заботиться по советскому мясному хозяйству; она уже полгода как не спала, только дремала на заре, объясняя это тем, что она уже старая и ей было достаточное время выспаться при империализме.

Под вечер старуха села в совхозную таратайку и поехала по всем пастбищам, по всем стадам, нажевывающим себе тело в степях; и когда развернулась ночь, то все еще гремела в пространстве таратайка Федератовны — этот звук старушечьей езды наводил жуть на нерадивых гуртоправов, потому что невозможно было что-либо скрыть от бессонной специальной бдительности Федератовны, умудренной хитростью классового врага. Даже лучшие доярки вздрогнули, когда узнали, что старуха стала помощником директора. Покойница Айна давала больше всех работы — она выдаивала по 190 литров молока в сутки при норме 125; бабушка же однажды просидела в степной ферме трое суток и надоила 700 литров.

— Сучки-подкулачницы, — сказала тогда Федератовна двум бабам-лодырям. — Только любите, чтоб вам груди теребили, а до коровьих грудей у вас охоты нет…

Она помнила всех выдающихся коров в совхозном поголовье, а быков знала лично каждого. Проезжая сквозь жующие стада, старушка всегда сходила с таратайки и бдительно осматривала скотину, особенно быков — их она пробовала кругом, даже вниз к ним заглядывала: целы и здоровы ли у производителей все части жизни.

Сейчас уж далеко звучала таратайка Федератовны и удалялась все более скоро, потому что старуха совала рукой в кучера и пилила его сзади своими словами.

В эту ночь, когда поднялась луна на небе, животные перестали жевать растения и улеглись на ночлег по балкам и по низовьям, напившись воды у колодцев; несъеденная трава тоже склонилась книзу, утомившись жить под солнцем, в смутной тоске жары и бездождия. В тот час Босталоева и Вермо сели верхами на лошадей и понеслись, обдаваемые теплыми волнами воздуха, по открытому воздушному пространству земного шара…

Забвение охватило Вермо, когда скрылось из глаз все видимое и жилое и наступила

одна туманная грусть лунного света, отвлекающая ум человека и прохладу мирной бесконечности, точно не существовало подножной нищеты земли. Не умея жить без чувства и без мысли, ежеминутно волнуясь различными перспективами или томясь неопределенной страстью, Николай Вермо обратил внимание на Босталоеву и немедленно прыгнул на ее коня, оставив своего свободным. Он обхватил сзади всю женщину и поцеловал ее в гущу волос, думая в тот же момент, что любовь — это изобретение, как и колесо, и человек, или некое первичное существо, долго обвыкался с любовью, пока не вошел в ее необходимость.

Босталоева не сопротивлялась — она заплакала; обе лошади остановились и глядели на людей.

Вермо отпустил Босталоеву и пошел по земле пешком. Босталоева поехала шагом дальше.

— Зачем вы целуете меня в волосы? — сказала вскоре Босталоева. — У меня голова давно не мытая… Надо мне вымыться, а то я скоро поеду в город — стройматериалы доставать,

— Стройматериалы дают только чистоплотным? — спросил Вермо.

— Да, — неясно говорила Босталоева, — я всегда все доставала, когда и на главной базе работала… Вермо, сговоритесь с Височковским, составьте смету совхозного училища: нам надо учить рабочих технике и зоологии. У нас не умеют вырыть колодца и не знают, как уважать животных…

Но Вермо уже думал дальше: колодцы же — ветхость, они ровесники происхождению коровы как вида: неужели он пришел в совхоз рыть земляные дыры?

К полуночи инженер и директор доехали до дальнего пастбища совхоза — самого обильного и самого безводного. После того пастбища — на восток — уже начиналась непрерывная пустыня, где в скучной жаре никого не существует.

Худое стадо, голов в триста, ночевало на беззащитном выпуклом месте, потому что нигде не было ни балки, ни другого укрытия в тишине рельефа земли. Убогий колодец был серединой ночующего гурта, и в огромном пойловом корыте спал бык, храпя поверх смирившихся коров.

Редкий ковыль покрывал здешнюю степь, при этом много росло полыни и прочих непищевых, бедных трав. Из колодца Вермо вытащил на проверку бадью — в ней оказалось небольшое количество мутной воды, а остальное было заполнено отложениями четвертичной эпохи — погребенной почвой.

Почуяв воду по звуку бадьи, бык проснулся в лотке и съел влагу вместе с отложениями, а ближние коровы лишь терпеливо облизали свои жаждущие рты.

— Здесь так плохо, — проговорила Босталоева с болезненным впечатлением. — Смотрите — земля, как засохшая рана…

Вермо с мгновенностью своего разума, действующего на все коренным образом, уже понял обстановку.

— Мы достанем наверх материнскую воду. Мы нальем здесь большое озеро из древней воды — она лежит глубоко отсюда в кристаллическом гробу!

Босталоева доверчиво поглядела на Вермо: ей нужно было поправить в теле это дальнее стадо и, кроме того, Трест предполагал увеличить стадо «Родительских Двориков» на две тысячи голов; но все пастбища, даже самые тощие, уже густо заселены коровами, а далее лежат умершие пространства пустыни, где трава вырастет только после воды. И те пастбища, которые уже освоены, также нуждаются в воде, — тогда бы корма утроились, скот не жаждал, и полумертвые ныне земли покрылись бы влажной жизнью растений. Если брикетирование навоза и пользование ветром для отопления даст триста тонн мяса и двадцать тысяч литров молока, то откуда получить еще семьсот тонн мяса для выполнения плана?

— Товарищ Босталоева, — сказал Вермо, — давайте покроем всю степь, всю Среднюю Азию озерами ювенильной воды! Мы освежим климат и на берегах новой воды разведем миллионы коров! Я сознаю все ясно!

— Давайте, Вермо, — ответила Босталоева. — Я любить буду вас.

Оба человека по-прежнему находились у колодца, и бык храпел возле них. К колодцу подошел пастух. Он был на хозрасчете. У него болело сердце от недостачи двух коров, и он пришел поглядеть — не чужие ли это люди, которые могут обменять коров или выдоить их, тогда как он и сам старался для лучшей удойности не пить молока.

Вермо в увлечении рассказал пастуху, что внизу, в темноте земли, лежат навеки погребенные воды. Когда шло создание земного шара и теперь, когда оно продолжается, то много воды было зажато кристаллическими породами, и там вода осталась в тесноте и покое. Много воды выделилось из вещества, при изменении его от химических причин, и эта вода также собралась в каменных могилах в неприкосновенном, девственном виде…

— Ну как засиделая девка в шалаше, — обратно объяснил пастух инженеру, — выпусти ее, она тебе сразу рожать начнет, из нее так и посыпется.

Вермо не услышал: он заметил, как дрожали первичные волны рассвета на востоке, и мучил в темноте своего сознания зарождающуюся, еле живую мысль, еще неизвестную самой себе, но связанную с рассветом нового дня. Однако, опершись рукой на спящего быка, Вермо уже приобрел другую догадку: не пришла ли пора отойти от ветхих форм животных и завести вместо них социалистические гиганты, вроде бронтозавров, чтобы получить от них по цистерне молока в один удой?

На обратном пути Вермо погрузился в смутное состояние своего безостановочного ума, который он сам воображал себе в виде низкой комнаты, полной табачного дыма, где дрались оборвавшиеся от борьбы диалектические сущности техники и природы. Не было того естественного предмета или даже свойства, судьбу которого Вермо уже не продумал бы навеки вперед; поэтому он и в Босталоевой видел уже существо, окруженное блестящим светом социализма, светом таинственного летнего дня, утонувшего в синеве своих лесов, наполненного чувственным шумом еще неизвестного влечения.

Когда же Вермо глядел на конкретный облик Босталоевой и на других ныне живущих людей, вырывающихся из мертвого мучения долготы истории, то у него страдало сердце и он готов был считать злобу и все ущербы существующих людей самым счастливым состоянием жизни.

* * *

Возвращаясь среди утренней зари на «Родительские Дворики», Вермо и Босталоева встретили бригаду колодезников, и Босталоева велела колодезному бригадиру прийти вечером к инженеру Вермо, чтобы решить вопрос о добыче подземных морей.

Молодой бригадир Милешин невнимательно потрогал ногу Босталоевой, сидевшей на лошади, и ответил:

— Товарищ директор, прошлый год было постановление районного съезда о бурении на глубокую воду. Я тогда докладывал, и моя речь транслировалась по радио на все колхозы-совхозы. Я добился как факта, что у нас нет воды, ее не хватит социализму — у нас есть только одна сырость, один земляной пот… Я вечером приду.

Босталоева сняла шапку с бригадира гидротехников и пошевелила ему волосы.

Далее инженер и директор поехали по малоизвестной ближней дороге, и вскоре им представился странный вид земли, будто оба человека очутились в забытом сне: пространство лежало не в ширину, а в толщину, и всюду были такие мощные взбугрения почвы, что делалось скучно и душно в мире, несмотря на окружающую прелесть свежего дня.

«Надо использовать тяжесть планеты! — заботливо решил Вермо, наблюдая эту толщину местной земли. — Можно будет отапливать пастушьи курени весовою силой обвалов или варить пищу вековым опусканием осадочных пород…»

Мелкий человек с большой бородой стоял невдалеке на толстой земле и читал книгу при восходящем солнце. Простосердечный Вермо решил, что тот человек полюбил теорию и

думает, вероятно, о пролетарской космогонии, наблюдая одновременно солнце в упор. Но Босталоева сразу рассмеялась.

— Это Умрищев, — сказала она. — Он думает, что тут было при Иване Грозном: не лучше ли?

И действительно, то стоял в глубоком размышлении Умрищев, держа ветхую книгу в руках. Он небрежно глядел в сияющую природу и думал о чем-то малоизвестном; лицо его слегка похудело, но зато гуще обросло волосом и в глазах находилось постоянное углубление в коренные вопросы человеческого общества и всего текущего мироздания.

Он не заинтересовался конными людьми, ответил только на привет Вермо и дал необходимое разъяснение: что колхоз его отсюда недалеко — виден даже дым утренних похлебок, что сам он там отлично колхозирует и уже управился начисто ликвидировать гнусную обезличку и что теперь он думает лишь об усовершенствовании учета: учет! — Умрищев вдруг полюбил своевременность восхода солнца, идущего навстречу календарному учтенному дню, всякую цифру, табель, графу, наметку, уточнение, талон, — и теперь читал на утренней заре Науку Универсальных Исчислений, изданную в 1844 году и принадлежащую уму барона Корфа, председателя Общества Поощрения Голландских Отоплений. Одновременно Умрищев заинтересовался что-то принципиальной сущностью мирового вещества и предполагает в этом направлении предпринять какие-то философские шаги.

Босталоева скучно и гневно поглядела на Умрищева и пустила лошадь в сильный бег; эта женщина не верила в глупость людей, она верила в их подлость.

Вермо оглянулся издали на Умрищева — все так же стоял человек на толстой земле, вредный и безумный в историческом смысле. Вермо сейчас же предложил Босталоевой собрать все районные невыясненные и подопытные личности в одно место и поставить производство исторического идиотизма в крупном или хотя бы полузаводском масштабе, с тем чтобы заблаговременно создать для будущих поколений памятники последних членов отживших классов; Умрищев ведь тоже хотел, как нравственная и разумно-культурная личность, быть занесенным в список штатных единиц истории!

Босталоева ответила, что поучительные памятники следует устраивать после гибели враждебных существ — теперь же нужно заботиться только об их безвозвратной смерти. Вермо наклонился с седла, чтобы лучше разглядеть классовое зло на лице Босталоевой, но лицо ее было счастливое и серые глаза были открыты, как рассвет, как утреннее пространство, в котором волнуется электромагнитная энергия солнца.

Вермо почувствовал эту излучающую силу Босталоевой и тут же необдуманно решил использовать свет человека с народнохозяйственной целью; он вспомнил про электромагнитную теорию света Максвелла, по которой сияние солнца, луны и звезд и даже ночной сумрак есть действие переменного электромагнитного поля, где длина волны очень короткая, а частота колебаний в секунду велика настолько, что чувство человека скучает от этого воображения. Вермо вспомнил далее первичную зарю сегодняшнего дня, когда свет напрягался на востоке и слабел от сопротивления бесконечности, наполненной мраком, — и Вермо, опершись тогда на быка, утратил в темноте своего тела пробуждавшееся рациональное чувство освещенного неба…

И сейчас еще Вермо не знал, что можно сделать из небесного света.

— Товарищ Босталоева, — сказал он, — дайте мне руку…

Босталоева дала ему свою опухшую от ветра и работы руку, и оба человека проехали некоторое время со сдвоенными руками, причем Вермо жал руку женщины, помогая этим не страсти, а размышлению, — у него даже остыло все тело, теплота которого ушла на внутреннюю силу задумчивости.

Вскоре показалось расположение «Родительских Двориков», беспомощное издали, особенно если сравнить с Двориками небесное пространство, напряженное грозной и безмолвной электромагнитной энергией солнца.

* * *

К ночи Босталоева назначила производственное совещание.

Колодезный бригадир Милешин, зоотехник Височовский, инженер Вермо, Федератовна, кузнец Кемаль, пять гуртоправов (потому что совхоз состоял из пяти участков) и старший пастух Климент, выбранный, как природный практик, председателем производственного совещания, присутствовали на этом собрании уже загодя. Повестка дня состояла из вопросов переустройства всего мясного хозяйства, ради того чтобы произвести говядины в совхозе не тысячу тонн, как задано планом, а две тысячи; далее следовало задуматься над пастбищами для прокорма новых двух тысяч коров и сорока быков, о которых в дирекции получено письмо, что они гонятся пешим шагом из соседнего района — отсюда полтораста верст.

Как только опустилась вечерняя заря, так приехала и Босталоева из степи, закончив где-то свои дневные заботы.

Климент, глядя на солнце привыкшими глазами, сказал заседанию, что пора уж хозяйски думать о социализме, чтоб в степи было все экономично и умело.

— Во мне вот лежит большевистский заряд, — сказал Климент. — А как начну им стрелять в свое дело, так выходит кой-что мало… Ты стараешься все по-большому, а получается одна мелочь-сволочь! Ты скотину напитаешь во как, я сам траву жую, прежде чем скотину угощаю, а отчет мне показывает по молоку недоборка, а по говядине — скотина рость перестала!.. На центральном гурте взяли сорок рабочих всякого пола из колхоза, по сговору, — мне два помощника, два умных на глаз мужика досталось. Что ж такое?! Ходят они, бушуют и стараются — я сам на них пот щупал, — а все на моем гурте как было плохо, так стало еще хуже… Не досмотрю сам — скотина стоит на траве голодная, а не ест: непоеная! А мужики мои аж скачут от ударничества, под ними волы бегом бегут, а куда — неизвестно, кликнешь — они назад вернутся, прикажешь — тужатся, проверишь — проку нету. Это что такое, это откуда смирное охальство такое получается? Злой человек — тот вещь, а смирный же — ничто, его даже ухватить не за что, чтобы вдарить!..

— У нас классовая борьба, — тихо сказала Босталоева.

— Да то что ж! — сразу согласился Климент. — А то не она, что ль?

— Откуда твои мужики-то, дурак бесхарактерный? — спросила Федератовна. — Из какого это колхоза тебе помощь дали?

— А из того, матушка-старушка, где наш прошлый директор книги читает. Он там мужикам какую-то слабость организовал и говорит, чтоб никто не горевал, потому что все на свете есть электрон, который никуда не денется, хоть вся диктатура иди против него. Теперь там зажиточное население — всех про электрон спрашивает: каждый хочет электроном стать, а как — не знают…

— Вермо, — обратилась Босталоева, — поезжайте, пожалуйста, с Федератовной в колхоз к Умрищеву и объясните ему, что такое электрон. Теперь давайте обсудим зимнее отопление коровников.

Собрание вступило в это обсуждение, а Височовский вручил Босталоевой бумагу, где описывалось суточное положение совхоза, здоровье скота, отгон масла из молока — и между прочим отмечалась бесследная пропажа восьми коров и смерть двенадцати голов телят. Босталоева с терпеливым сердцем прочитала бумагу; она знала, что надо беречь свою ненависть, чтоб ее хватило до конца классового врага.

Собрание приняло решение строить ветряное отопление и рыть землю вглубь, вплоть до таинственных девственных морей, дабы выпустить оттуда сжатую воду на дневную поверхность земли, а затем закупорить скважину, и тогда среди степи останется новое пресное море — для утоления жажды трав и коров.

Ввиду дальности и безвестности ювенильной воды Вермо предложил прожигать землю вольтовой дугой, которая будет плавить кристаллические толщи и входить в них, как нож в тесто.

Федератовна, по своей скупости на социалистические средства, не велела было этим заниматься, но Вермо объяснил ей, что глубокое бурение электрическим пламенем, безусловно, является событием всемирно-исторического значения, и старушка, улыбаясь щербатым ртом, согласилась, так как была слаба на славу. Вслед за тем собрание начало думать, куда поместить новые две тысячи коров, и Вермо выдумал уже было кое-что — ничего не выдумывать он не мог: он бы разрушился от напора личной жизни, — но Кемаль, с мгновением столь же оживленного разума, предложил резать плиты в ближайшем месторождении известкового камня и строить из этих плит скотные жилища.

— Резать камень надо не железом, а электрическим огнем: двое рабочих могут заготовить и сложить тысячу скотомест! — враз сообщил Вермо.

— Хорошо сказал! — обрадовался Кемаль и тут же сказал еще лучше: — А соединять друг с другом мы будем электрической сваркой — такой же вольтовой дугой, которой мы нарежем плиты в карьерах…

Вермо вытер заслезившиеся от восторга глаза и встал на ноги, будучи рад всеобщей радостью.

— Вы забыли про коровьи брикеты, — напомнила Босталоева. Ее глаза побелели от усталости, она наклонилась на свои руки и потеряла во сне сознание.

Проснулась она уже поздно ночью в своей комнате и сразу велела запрягать лошадь, чтобы ехать до железной дороги и выспаться в степной повозке.

Босталоева решила немедленно достать в краевом центре стройматериалы и оборудование и построить до зимы новые коровьи помещения, а также отопительный ветряк с динамо-машиной и пресс для брикетирования коровьих лепешек. Что касается девственных морей, то Босталоева задумала поступить в городе в институт и учиться заочно, с тем чтобы самой стать инженером и проверить проект Вермо; а сейчас начать эту работу она стеснялась, потому что не понимала еще внутреннего устройства земного шара и не видела ни разу вольтовой дуги. Был еще один трудный выход: перевыполнить вдвое-втрое план, получить премию и добиться согласия всех рабочих совхоза приобрести на премиальные деньги машину для бурения земли электрическим огнем. Что мешало этому?

В совхозе играла хроматическая гармония; это Вермо выдумывал музыку — он чаще всего играл свои текущие сочинения и сразу же их забывал.

Вокруг совхозного поселения лежала неизвестная тьма, укрыв дальние и беззащитные стада; еще далее тех стад были колхозы, деревни, бывшие уездные города — тысячи дружелюбных и ненавидящих людей; советские коровы сейчас лежали у водопоев, быки храпели, и равнодушные пастухи варили себе что-нибудь на ночь, чтоб не скучать от голода во сне… Только десятая часть пастухов была коммунистами, которые старались спать днем, и то посменно, а ночью они ходили во тьме с открытыми глазами. Если каждые сутки будет исчезать по восемь коров, то сколько можно отправить мяса в Донбасс и в Сталинград?

Босталоева сложила в чемодан два запасных платья, ведомость потребных стройматериалов и оборудования, белье, поглядела на себя в зеркало и села на кровать в одиночестве. «У меня ведь нет родственников! — вспомнила она. — Была одна сестра, но мы забыли писать письма друг другу!.. Не забудь узнать в Ветеринарном институте — Високовский не напомнил мне, — как добывают семя из мочи для искусственного оплодотворения… Вермо! Я хочу выйти замуж за тебя при социализме; а может быть, расхочу еще!»

Вермо в тот час играл, как он думал, сонату о будущем ми ре: в виде выдуманных им звуков ходили по благородной земле гиганты молока и масла — живые существа, но с некоторыми металлическими частями тела, дабы лучше было уберечь их от болезней и обеспечить постоянство продуктивности; например, пасть была стальная, кишечник оперирован почти начисто (против заболеваний от разложения кала), а молочные железы должны иметь электромагнитное усовершенствование. Свободные доярки и рабочие слушали музыку Вермо и его разъяснения о значении исполняемой музыки и тогда только верили, что это так.

Босталоевой подали повозку. Она вышла в дорожном плаще, ее черные волосы блестели от света через окно, и ей стало страшно уезжать из совхоза, когда он остается один во тьме.

Она позвала Федератовну, велела ехать ей завтра вместе с Вермо в умрищевский колхоз, увидеть все, что следует, и если нужно — поставить в райкоме вопрос о немедленной ликвидации остатков кулачества и об удалении из района мясосовхоза всех буржуазных, жестких элементов, иначе хозяйство вести нельзя.

— Я заеду сама в райком, — сказала Босталоева. — Проверьте лучше электрон Умрищева: по-моему, это его новый политический лозунг.

— С Умрищевым я одна управлюсь, — высказалась Федератовна. — Электрон

— я знаю что такое, меня физике научили, — это такая частичка; а лозунги я чую, даже когда сам оппортунист молчит про них! Поезжай, девочка, — наган не забудь взять!

Вермо опечалился. Дерущиеся диалектические сущности его сознания лежали от утомления на дне его ума.

— Надежда Михайловна, — произнес Вермо, — я ехал с вами утром и увидел на небе электромагнитную энергию! Нам нужно сделать оптический трансформатор — он будет превращать пульсацию солнца, луны и звезд в электрический ток. Он будет питаться бесконечным пространством, он…

— Да остановись ты думать хоть ради человека-то, — обиделась на Вермо Федератовна. — Человек уезжает, а он бормочет — голову ей забивает. Девке и без тебя есть забота: иль мы сами физики не знаем, один ученый какой! Что ты, при капитализме, что ль, живешь, когда одни особенные думали!

— До свиданья, Вермо, — подала руку Босталоева. — Делайте пока земляные работы, а я привезу оборудование…

С теми словами Босталоева уехала в темноту, в далекий краевой город.

* * *

В одно истекшее летнее утро повозка Надежды Михайловны Босталоевой, директора мясосовхоза «Родительские Дворики», остановилась в селе у районного комитета партии. Различные партийцы расположились кругом комитета на раннем солнце; многие спали с омертвевшими впадинами глаз, другие говорили что-то и глядели в широту пространства, где было много положено их молодости и силы и где сейчас уже стлался газ тракторов, блестел тес новостроек, шли на работу бригады людей, — пустоту и скорбь капитализма сменял многолюдный социализм.

Секретарь райкома спал: он лег в постель не далее двух часов назад, потрудившись всю ночь. Босталоева не хотела ждать и вошла в комнату спящего секретаря. Он открыл глаза и узнал ее сразу, потому что все время помнил о ней и втайне ожидал ее, хотя и не имел никакой надежды.

Босталоева сообщила свою просьбу; секретарь лежа прослушал ее, не понимая вначале ничего. Она ему нравилась как соучастница в мучительной классовой борьбе, как товарищ по беспрерывной работе и как женщина, не имеющая никакого тайного личного наслаждения так же, как и сам секретарь.

— Про умрищевский колхоз мы уже знаем кое-что, — сказал секретарь в ответ. — Вчера мы постановили на бюро проверить положение колхозов вокруг твоего совхоза и выжечь остатки кулачья.

Босталоева попрощалась с секретарем и уехала. Секретарь райкома засмотрелся ей вслед с крыльца дома — ему стало жалко, что она уезжает; все люди, которых он наиболее любил, постоянно были невидимы: находились вдалеке, поглощались трудом, исчезали из дружбы — и нужно ждать еще пять или десять лет, чтобы наступил коммунизм, когда механизмы вступят в труд и освободят людей для взаимного увлечения.

В краевом городе Босталоевой негде было остановиться. Все гостиницы давно

наполнились безвыездными инженерами и квалифицированными рабочими Ленинграда и Москвы. Босталоева попала в город в ту пору, когда в нем почти не было приюта, потому что буржуазно-семейные убежища строители снесли в прах, а новые светлые сооружения еще не просохли для вселения.

Тогда Босталоева поселилась в том учреждении, где она хотела достать стройматериалы: ей пошел навстречу местком, который отвел ей для ночлега свою комнату и дал зеркальце, как члену союза и женщине. Ночью Босталоева открыла окно из месткома и засмотрелась в освещенное, гремящее строительство заводов, улиц и жилых домов. В учреждении было темно; молча лежали архивы, скрывая в бумагах бюрократизм, вредительство, бред мелких исчезающих классов и воодушевленный героизм. Босталоева прошла по коридорам гулкого учреждения, потрогала папки в шкафах и серьезно задумалась в скучной пустоте канцелярий.

Вымывшись в ванне, которая вполне разумно была приурочена к какому-то кабинету, Босталоева переоделась в чистое белье и легла спать на столе месткома, слушая через открытое окно шум ночной работы, голоса людей, смех женихов и невест, завыванье напряженных машин, гудки транспорта, песни сменившихся красноармейских караулов — весь гул большевистской жизни.

Она заснула успокоенная и счастливая, не услышав, как во второй половине ночи по ней ходили крысы.

Наутро Босталоева пошла ходатайствовать о бревнах, гвоздях, о динамо-машине, о проволоке и о железных частях для пресса, который должен сжимать коровий кал и делать из него топливные брикеты.

В большом зале учреждения стоял гул от умственной работы, сотни усердных служащих соображали о снабжении тысячи строительств и беспрерывно бились на плановом поприще с представителями мест, употребляя чай в промежутках труда.

В углу того зала сидел молодой еще, но уже поседевший ответственный исполнитель по разнарядке стройматериалов; он уныло глядел в чад пространства своего учреждения, не видя возможности удовлетворить самым необходимым даже ударные строительства и спецработы.

Босталоева подошла к нему.

— Мне нужен ящик гвоздей, — сказала она.

Исполнитель улыбнулся и отечески-ответственно сообщил ей:

— Голубушка моя, мне гвоздей нужно десять тысяч тонн!.. Вы откуда?

Босталоева уселась и с задушевностью надежды рассказала исполнителю всю нужду своего совхоза. Когда она говорила, к исполнителю подошли еще посетители и местные служащие; все они слушали женщину и явно улыбались над ее просьбой о внеплановом снабжении, но сам исполнитель был грустен.

— На весь ваш район мы дали пол-ящика гвоздей, возьмите оттуда себе горсть! — сказал исполнитель, привыкнув к строительному страданию.

Все люди, бывшие близко, удовлетворенно засмеялись: они пришли по делам планового снабжения и действовали не на основе искренности, а посредством высшего комбинирования.

— Вы сволочь! — произнесла Босталоева. — Дайте мне ваш бумажный план, я выдумаю вам гвозди!

Ответственный исполнитель сначала составил акт об оскорблении себя в присутствии свидетелей, а затем дал ей план, поскольку это было его обязанностью.

Босталоева рассмотрела всю разверстку гвоздей, и ей жалко стало каждое строительство, потому что каждое строительство просило жадно и каждому давалось мало, — она не могла указать, кого надо обездолить, чтобы совхоз получил гвозди. В конце ведомости было четыре тонны проволоки-катанки, назначенной в контору оргтары для опытной увязки.

Босталоева пошла к начальнику учреждения с плановой ведомостью в руках;

начальник, оголтелый от голода на стройматериалы, сидел среди чада в своем кабинете, окруженный многолюдством ходатаев по делам. Его убеждали, перед ним открывали очаровательные перспективы пускового чугунного завода, если только начальник даст гвоздей, ему угрожали карами вышестоящих инстанций и его угощали экспортными папиросами; начальник глядел в воздух сквозь дремоту своей усталости и, втайне радуясь, полагал про себя: «Старайтесь, крутитесь, черти, — ничего я вам не дам: учитесь изобретать и находить подножные ресурсы!»

Заметив неслужебное лицо Босталоевой, начальник сразу подозвал ее и вник в ее дело. Босталоева предложила начальнику отдать ей полтонны катанки, а она вместо катанки сделает в совхозе опытную увязку из соломы и пришлет ее оргтаре.

Начальник учреждения, пожилой рабочий, вдруг потерял свою дремоту и ясными глазами оглядел всю Босталоеву.

— Тебе сколько — полтонны нужно? — спросил он. — Возьми себе все четыре, ты из них дело сделаешь… Горюнов! — крикнул он ближнему секретарю. — Снять катанку с оргтары, перенарядить ее «Родительским Дворикам»! Поставь вопрос об этой оргтаре перед РКИ, пускай ей шерсть там опалят: надо показать мерзавцам; что металл бывает горячий. Верещасный! — провозгласил начальник поверх гула учреждения в сторону ответственного исполнителя, — зайди ко мне после занятий, я тебя, может, уволю за проволоку…

В тот же день Босталоева отправила три тонны катанки на совхоз, а одну тонну оставила на складе; затем — уже к вечеру — она явилась на гвоздильный завод и попросила директора нарубить ей из проволоки гвоздей.

— А за что мне их вам рубить? — сказал директор. — За ваши глаза?

— Да, — ответила Босталоева и посмотрела на него своими обычными глазами.

Директор глянул на эту женщину, как на всю федеративную республику, — и ничего не сумел промолвить: сколько он ни отправлял в республику продукции, выгоняя промфинплан до полутораста процентов, республика все говорила: мало даешь — и сердилась. И теперь стояла перед ним эта женщина, требовательная, как республика, и так же лишенная пока богатых фондов и особой прелести.

— Разве поцеловать мне вас за гвозди! — улыбнулся директор.

— Ладно, — согласилась Босталоева.

Директор с удивлением почувствовал себя всего целиком — от ног до губ, — как твердое тело и даже внутри его все части стали ощутительными, — до этого же он имел только одно сознание на верху тела, а что делалось во всем его корпусе, не чувствовал.

— А вы не обидитесь? — спросил директор, бдительно наблюдая кабинет: нигде не слышно было шагов, телефон молчал вентилятор гудел ровно, как безмолвный.

— Не обижусь, — ответила Босталоева, — потому что я привыкла… Прошлый год я достала кровельное железо, мне пришлось за это сделать аборт. Но вы, наверно, не такая сволочь…

— Нет, — спокойно сказал директор, садясь на место. — Где ваша катанка: вечером я сам стану за автомат, вы подождете десять минут и получите свои гвозди… Везите катанку сюда.

Директор равнодушно опустил голову к текущим делам. Босталоева сама подошла к нему и поцеловала его — таким способом, что впоследствии, когда Босталоева уже ушла, директор ходил в уборную глядеться в зеркало — не осталось ли чего на его лице от этой женщины, потому что он все время чувствовал какой-то лишний предмет на своих губах.

Вечером Босталоева получила гвозди на заводе. Директор сам вывез ей из цеха четыре ящика на электрокаре и взял расписку в получении продукции. Босталоева отправила гвозди на вокзал и пошла ночью, под взошедшей слабой луной, по новостроящимся гремящим улицам. Она читала вывески неизвестных ей организаций

— «Химрадий», «Востокогаз», «Электробюро высоких напряжений», «Комиссия воздуходувок», «Контора тяжелых фундаментов», «НТО изучения вибраций промустановок», «КрайВЭО» и т. п. — и была рада, что таинственные, мутные и нежные

силы природы действуют в рядах большевиков, начиная от силы тяжести и кончая нежной вибрацией и электромагнитной волной, трепещущей в темной бесконечности.

Окна «КрайВЭО» были освещены; девушки-техники работали, склонившись над чертежными досками; молодой инженер, поседевший от бурной технической жизни, проверял на логарифмической линейке расчеты техников и показывал изуродованным рабочим пальцем в просчеты и ущербы чертежей.

Босталоева прислонилась лицом к оконному стеклу и долго смотрела на своих ровесниц и товарищей. Лунная ночь шла в легком воздухе, летние сады и травы по-прежнему произрастали на земле, но они были почти безлюдны теперь, как отжившее явление, никто не гулял по ним в праздности настроения.

Босталоева вошла в КрайВЭО, подумала в недоумении про свою долю и попросила динамо-машину в сто лошадиных сил у заведующего сектором снабсбыта. Заведующий ничего не сказал в ответ Босталоевой, только посмотрел куда-то мимо нее — в страну электрического голода. Босталоева прошла в своем мучении, что нету машин, по нагретым, освещенным горницам учреждения, и ей понравился глубокий труд технической науки. Одна чертежница миловидно улыбнулась Босталоевой; Босталоева тотчас же заметила эту человечность, и, склонившись над чертежной доской, две женщины поговорили, как подруги: одна скучала по ребенку, ожидающему мать до полночи в запертой комнате, другая хотела динамо-машину. По утрам та чертежница занималась в Чертежно-конструкторском институте, а после, не заходя домой, сразу поспевала на работу; ночью же она старалась меньше спать, чтобы больше видеть своего ребенка. Босталоева обещала чертежнице приходить в ее комнату с вечера и заниматься с ребенком, пока возвратится мать.

На другой день Босталоева так и сделала, переселившись в жилище чертежницы на время командировки. Она рисовала четырехлетнему мальчику коров и солнце над ними, изобразила партийную умную старушку Федератовну, потом быка, коровью драку у водопоя; одинокий мальчик смотрел и слушал эти факты с пользой и удивлением. Наконец пришла мать, которая долго не давала спать ребенку, и с подробностью рассказала ему, что она делала в долгий день и про динамо-машину, которую она начала чертить в институте с натуры.

Босталоева сразу же узнала от матери-чертежницы, что это — большая динамо-машина, она давно стоит в аудитории, как чертежная модель, но сколько в ней сил, неизвестно: завтра чертежница обещала списать табличку-спецификацию.

Утром Босталоева пошла в то учреждение, где она впервые стала на ночлег, и там ей дали повестку, чтобы она явилась днем в нарсуд — как ответчица по делу о названии сволочью государственного служащего.

Рабочий судья прочитал вслух перед лицом интересующегося народа дело Босталоевой и вдруг дал свое заключение: ответчицу оправдать и вынести ей публичную благодарность за бдительность к экономии металла, а истца-служащего при знать действительной сволочью и предать наказанию как негодную личность. Народ вначале было озадачился, но потом обрадовался суждению судьи; истец же наклонил лицо и публично опозорился, впредь до особых заслуг перед рабочим классом.

Из камеры суда Босталоева ушла, как артистка, — под звуки всеобщих приветствий, и сам судья воскликнул ей: «До свиданья, приходите к нам еще выявлять эти элементы!» Была еще середина дня, шло жаркое лето и время пятилетки. Заботливая тревога охватила сердце Босталоевой, когда она остановилась среди краевого города, — с жадностью она глядела на доски и бревна построек, на грузовики с железными принадлежностями, на провода высокого напряжения, — она болела, что в ее совхозе много одной только природы и нет техники и стройматериалов. Еще Босталоева страдала о том, что мало будет мяса для гремящего на постройках пролетариата, если даже «Родительские Дворики» дадут две тысячи тонн, — и ей надо поскорее маневрировать.

Босталоева зашла в институт к подруге-чертежнице и увидела старую динамо-машину, с которой студентки чертили детали. Она прочитала на неподвижной машине надпись, что в

ней 850 ампер, 110 вольт, но не знала — сильно это или слабо. Выйдя из института, она написала телеграмму Вермо, что машина есть, но в ней 850 ампер и по ней учатся черчению молодые кадры; как же быть?

Ночью инженер Вермо прислал Босталоевой ответную телеграмму: «Придумал более совершенную, современную конструкцию динамо-машины, делаем ее из дерева и проволоки во всех деталях, окрасим в нужный цвет и вышлем багажом институту. Так как чертить можно с деревянной разборной модели — обменяйте нашу деревянную на ихнюю металлическую, наша деревянная конструктивно лучше, для черчения полезней».

«Дорогой мой Вермо, — подумала Босталоева. — Где живет сейчас твоя невеста? Может быть, еще пионеркой с барабаном ходит!..»

На другой день Босталоева вошла к секретарю ячейки Чертежно-конструкторского института. Побледневший человек, спавший позавчера, выслушал женщину и встал со своего места с восторгом.

— Отправляйте сегодня же нашу динамо в ваш совхоз! — воскликнул он, наполнившись сознательной радостью. — Мы будем чертить трансформатор, пока не привезут деревянную модель вашего инженера… Сколько, вы сказали, добавит мяса динамо-машина? — я забыл.

— Сто или двести тонн, — сообщила Босталоева.

Ей захотелось сейчас сделать какое-нибудь добро этому товарищу; она любила всякое свое чувство сопровождать веществом другого человека, но секретарь глядел на нее отвлеченно, и она воздержалась.

Через несколько суток секретарь сам построил упаковочные ящики и отправил динамо-машину в «Родительские Дворики», в то же время он попросил еще раз приехать через полгода, но Босталоева лишь косвенно улыбнулась на это.

— Тогда мы возьмем шефство над вашим совхозом! — провозгласил секретарь ячейки.

— Ладно, — согласилась Босталоева. — Вы помогите нам организовать в совхозе учебный комбинат. Нам хочется достать ювенильное море, тогда мы нарожаем миллионы телят, и вы не успеете поесть наше мясо… Но вперед нам нужно сто пастухов сделать инженерами.

— Ювенильное море! — вскричал секретарь, сам не зная, что это такое, но чувствуя, что это хорошо. — Мы добьемся через крайком в порядке шефства, чтоб теперь же у вас был технический комбинат!

— Нам нужна электротехника, гидрология и наука о мясном животноводстве, — говорила Босталоева, — плюс еще общая подготовка…

— Даю! — радовался секретарь. — Сегодня же поставлю шефство на ячейке и на общем собрании. Обними меня.

Босталоева обняла это худое тело, выгорающее сразу от всех лучших причин, какие есть в жизни.

— Достань мне электрические печи для коровников, — скромно улыбнулась Босталоева, не переставая оглядывать секретаря, — и арматуру для них, и наружные изоляторы, и еще кое-что… На тебе спецификацию.

— Печей нету нигде, — отказал секретарь, уходя в сторону. — Через месяц у нас будет практика в конструкторских мастерских: сделаем через два месяца в порядке шефства, давай спецификацию! Тебе не поздно?

— Ладно, — разрешила Босталоева, — мне даже рано, мне нужно к зиме.

Она ушла; секретарь склонил голову к столу и перестал чувствовать в сердце интерес к окружающим фактам.

— Буду шефствовать! — с горем выступающих слез воскликнул он и стал провертывать на столе текущие дела.

В тот день Босталоева уехала на подводе в леспромхоз. У нее появилось целесообразное желание — завести себе повсюду шефов, чтобы обратиться к сердцу рабочего класса и тронуть его.

В леспромхозе Босталоева прожила целую декаду, прежде чем успела добиться любви к «Родительским Дворикам» у всего треугольника. Однако же директор леспромхоза решил упрочить свою симпатию к мясосовхозу чем-нибудь более выдающимся, чем одно симпатичное настроение. И он написал двустороннее шефское обязательство, по которому леспромхоз немедленно отправлял в совхоз бревна, доски, брусья, оболонки и различные жерди, а совхоз ежемесячно должен отгружать леспромхозу по две тонны мяса, в качестве добровольного угощения!

Но когда вопрос о шефстве был поставлен на коллективное размышление рабочих, Босталоева объявила, что она согласна угощать рабочих, но только чтобы директор не ел ее мяса, потому что он допустил в подходе к шефству оппортунистическую практику, а она оппортунистов питать не хочет — она не гнилая либералка.

Сидевшее собрание встало наполовину при этих словах и отказалось есть даровое мясо Босталоевой, вымученное из нее директором. Председатель профкома произнес свою речь, где он уничтожил всякий факт нищенства и угощенчества, в которых рабочий класс никогда не понуждается.

Директор, пока слушал, уже успел написать в блокноте черновик признания своей правой, деляческой ошибки. На квартире он не спал всю ночь; он глядел через одинарное окно в тьму лесов, слушал голоса полуночных птиц и ожидал от тишины природы смирения своих тревожных чувств; но и тут он не мог успокоиться, поскольку такое отношение к природе есть лишь натурфилософия — мировоззрение кулака, а не диалектика. На рассвете директор вышел в контору и там написал чернилами раскаяние в одной ошибке и ордер на отправку «Родительским Дворикам» лесоматериалов в полуторном количестве против того, что просила Босталоева.

К вечеру того же дня Босталоева приехала обратно в крайцентр. Она уже тосковала по совхозу, у нее даже болел иногда живот от страха, что в «Родительских Двориках» что-нибудь случится. У Босталоевой осталась теперь одна забота — заказать пресс для приготовления навозных брикетов, а потом уехать в степь. Промучившись целый ряд суток по всему кругу учреждений, Босталоева не нашла себе такого сочувствия, чтобы ей дали предметы для устройства пресса, и притом во внеплановом порядке. В горе своем Босталоева прошла в крайком партии. Там ее принял третий секретарь крайкома, старик, паровозный машинист; он пил чай с домашним пирогом и старался вообразить себе ясно этот пресс, делающий топливо из животных нечистот.

— Хорошо, — сказал в заключение старик, представив себе жмущую машину пресса. — Зачем ты шаталась по всему нашему бюрократизму, кустарная дурочка! Ты бы зашла ко мне сразу.

Старший машинист позвонил по телефону в Институт Неизвестных Топливных Масс и велел помочь «одной девице» жечь коровье добро, а вечером пусть институт сообщит ему на квартиру свое исполнение.

— Ступай теперь, умница, в этот институт, — сказал секретарь. — Там ребята тебе сделают пресс… Спроси инженера Гофт, это мой помощник — не здесь, а на паровозе… Если обидишься на что-нибудь, зайди опять ко мне.

По уходе Босталоевой секретарь долго был доволен: старый механик почувствовал, что ушедшая девушка носила в своей голове миллион тонн нового топлива. Доев домашний пирог, он пошел к первому секретарю краевого комитета и сказал ему, что настала пора обратить в топливо все животные извержения, лежащие на площади края. Первый секретарь согласился подумать над этой задачей в текущих делах бюро.

Когда наступило бюро, то на заседание вызвали как докладчика Босталоеву и двух теплотехников из Института Неизвестных Топлив. Обсудив мероприятие, бюро крайкома поручило институту сделать в течение двух месяцев два опытных пресса для «Родительских Двориков», а сам босталоевский совхоз превратить в свою опытную станцию, связавшись с инженером Вермо и кузнецом Кемалем.

Наполнившись счастьем своих достижений, Босталоева уехала наутро в «Родительские

Дворики», навстречу будущему времени своей жизни.

* * *

Тем временем как Босталоева была в командировке, в «Родительских Двориках» умерло восемнадцать коров, а у одного быка непонятным образом был отрезан член размножения, и бык тоже умер.

Кроме того, семь коров были убиты в драке животных у дальнего водопоя, когда бык не сумел установить правильной очереди: старые коровы начали стервенеть и бодаться и семерых трехлеток кончили на месте.

Федератовна же лежала десять дней, больная животом и поносом, и только терла десны во рту, не имея зубов, чтобы ими скрипеть.

Високовский лично производил вскрытие коров и нашел причиной их смерти крупную нечищеную картошку, которую им скормили либо нештатные пастухи, либо неизвестные подкулачники. Високовский призвал к павшим коровам выздоравливающую Федератовну и, заплакав редкими слезами, жалобно сказал:

— Я не могу больше служить в таком учреждении!.. Я специалист, я никаких родных в мире не имею, а здесь животных воспитываю, а ваши кулаки их картошками душат, ваши колодцы сухими стоят… Если кулаки у вас еще будут, а воды все мало и мало, я уеду отсюда. Я два года любил телушку Пятилетку, в ней уж десять пудов веса было, я мясного гения выращивал здесь, а ее теперь затоптали в очереди за водой! Это контрреволюция: я умру — или жаловаться буду!..

Федератовна скучно поглядела на Високовского, как глядела на обычно на беспартийных.

— Какие это наши кулаки, дурак ты узкий!.. Езжай на дальние степи стеречь гурты, я всех пастухов арестовала.

— Сейчас поеду, — вытерев лицо, смирно согласился Високовский.

Федератовна сняла с работы также Вермо и Кемаля вместе с их бригадами, рывшими котлованы под ветряную мельницу и еще под одно сооружение, смысл которого Вермо до приезда Босталоевой никому не говорил, — всю живую людскую наличность Федератовна бросила в мясные гурты.

Сама же Федератовна села в таратайку и поехала без остановки в умрищевский колхоз.

В колхозе была тишина, из многих труб шел дым, слабый от безветрия и солнечной жары, — это бабы пекли блинцы; на дворах жили толстые мясные коровы и лошади, на улицах копались куры в печной золе и из века в век грелись старики на завалинках, доживая свою позднюю жизнь. Грустные избы неподвижно стояли под здешним старинным солнцем, как бедное стадо овец, пустые дороги выходили из колхоза на вышину окружающих горизонтов, и беззаботно храпели мужики в сенцах, наевшись блинцов с чухонским маслом. Еще на краю колхоза Федератовна встретила четырех баб, которые понесли в горшках горячие пышки в совхоз своим арестованным мужьям-пастухам; однако те бабы, видно, не особо горевали, так как ихние туловища ходили ходуном от сытых харчей и бабы зычно перебрехивались.

Тоска неподвижности простиралась над почерневшими соломенными кровлями колхоза. Лишь на одном дворе ходил вол по кругу, вращая, быть может, колодезный привод; водило, к которому был привязан вол, оказалось слишком длинным, так что для вола требовался большой круг и ему разгородили соседние плетни; поэтому вол то выходил на улицу, то скрывался на гумно. Одинокий поющий звук ворота, вращаемого бредущим одурелым животным, был единственным нарушением в полуденной тишине дремлющего колхоза.

Федератовна остановила свою таратайку и пошла сквозь по избам: ее всегда возмущала нерациональная ненаучная жизнь деревень, устройство печек без правильной теории теплоиспользования, общая негигиеничность и классовое исхищрение зажиточных жителей.

В первой же избе, которую посетила Федератовна, была бьющая в глаза ненормальность: в печке стояли два горшка с жидкой пищей и бежали наружу, а баба сидела на лавке с чаплей и не принимала мер.

Федератовна как была, так и бросилась в печку и выхватила оттуда оба горшка голыми руками.

— Нет на вас образования, серые черти! — с яростью сказала Федератовна хозяйке. — Ведь жидкость-то расширяется от температуры, дура ты обнаглелая, — зачем же ты воду с краями наливаешь: чтоб жир убегал?.. А в колхоз небось шла — брыкалась! Да как же тебя, домовую, образованию научить, если прежде всего единоличного демона твоего не задушить в тебе… У-у, анчихристы, замучили вы нашего брата!.. Дай вот я к тебе еще приду… Я еще погляжу, как ты в ликбез ходишь, какая ты общественница здесь, дура неумильная!..

Федератовна ушла с несчастным сердцем, а дворовая баба сначала обомлела, а потом ощерилась.

В другой избе Федератовна начала кушать молоко и сливки и раскушала, что это совхозная продукция, отнюдь не колхозная: слишком высок процент жира и пенка вкусна. Здесь старушка ничего не сказала, а только вздохнула с протяжностью и положила зло в запас своего сердца.

На следующем дворе мужик-колхозник экстренно помчался куда-то, не видя гостью, а гостья села на лопушок и обождала его; в запертом сарае в тот час кто-то томительно рычал и давился, и вскоре оттуда же стали доходить мучительные звуки расставания с жизнью. Федератовна подошла к сараю и заметила в прореху, что там терзается корова и еще две коровы стоят около нее, облизывая языками ее уже утомляющееся смертью лицо. В тот момент мужик примчался обратно: он держал в одной руке топор, а в другой квитанцию и, отперев коровник, умертвил свое животное топором, зажав квитанцию в зубах. Кончив дело, мужик засунул руку в пасть коровы и вынул оттуда громадную размятую картошку, обмоченную кровью и слизью.

В эти моменты некоторые жители уже управились заметить таратайку Федератовны, и зажиточные ребятишки летали по дворам, предупреждая кого нужно, что появилась сама старуха, чтоб все сидели смирно, а остаточное кулачество пусть прячется в колодцы. Спустя ряд мгновений в деревне потух ряд печек и несколько последних, исхищренных кулаков полезли по бурьянным гущам к колодцам и залезли в них по веревкам, а в колодцах сели на давно готовые, прибитые к шахте табуретки и закурили.

Федератовна как только вышла с последнего двора, как глянула своей зоркостью на изменившийся дух деревни, так у нее закипело все, что было внутри, даже съеденное кушанье.

Она пошла тогда к старому бедняку, своему другу, Кузьме Евгеньевичу Иванову, который в тот час облеживался после работы.

Кузьма Евгеньевич со всей симпатией встретил старушку и открыл ей тайну умрищевского колхоза.

— Я ведь здесь, как Союзкиножурнал, — сказал старик Кузьма, любивший туманные картины еще со старого времени, — все вижу и все знаю… Тут что делается, кума, аж последняя теория замирает в груди!.. Дай-ка я тебе чайку погрею в чугуне.

Погрев чаю, бедный старик торжественно объявил, что он вчерашний день организационно покинул колхоз и стал революционным единоличником, ибо Умрищев учредил здесь кулачество.

Федератовна вцепилась здесь в бедняка-старика и, склонив его книзу за отросток волос, начала драть оборкой юбки по заднице:

— Вот тебе, революционный единоличник! Вот тебе кулачество! Вот тебе Союзкиножурнал! Все видишь, все знаешь — так не молчи, действуй, бунтуй, старый сукин сын!.. Вот тебе теория, вот тебе — в груди она замирает! Не будь, не будь — либералистом не будь! Старайся, старайся, активничай, выявляй, помогай, шагай, не облеживайся, не единоличничай, суйся, суйся, суйся, бодрствуй, мучитель советской власти!..

Укротившись в этом бою и выпив чаю, чтоб не пропадала кипяченая вода, Федератовна пошла проверять экономику колхоза. Она обнаружила, что на каждом дворе была полная живая и мертвая утварь — от лошади до бороны, не говоря уже про пользовательных, про молочных или шерстяных животных. Что же, спрашивается, было обобществлено в этом колхозе?

Никакой коллективной конюшни или прочей общественной службы Федератовна не нашла, хотя и прощупала всю деревню сквозь, даже в погреба заглядывала и на чердаки лазила.

С этим непонятным мнением и бушующим сердцем Федератовна появилась к председателю Умрищеву. Умрищев, оказывается, жил в той самой избе, по усадьбе которой бродил вол, таская ярмо привода.

Умрищев сидел в занавешенной комнате, на столе у него горела лампа под синим абажуром, и он читал книгу, запивая чтение охлажденным чаем. Кроме лампы на столе Умрищева кружился вентилятор и подавал в задумчивое лицо человека беспрерывную струю воздуха, помогающую неустанно мыслить мыслителю. Зная науку, Федератовна расследовала действие вентилятора и нашла, что он кружится силой вола, гонимого погонщиком, который ходил вослед животному с лицом павшего духом, вол передавал свою живую мощь на привод, а от привода шли далее — через переходные оси-канаты, за канаты были привязаны веревки, а уж вентилятор вращала суровая нитка.

— Здравствуй, негодный! — сказала Федератовна.

— Здравствуй, старушка! — ответил Умрищев. — Что это тебя носит по всей территории?! Ты бы лучше жила всидячку и берегла силу в голову.

— Ты что это?.. Где у тебя тут диалектика в действии? Ты что — ты кулачество здесь рожаешь?.. Я все, батюшка, знаю, я все, батюшка, видела!.. Замолчи, несчастный схематик, — сейчас тебя тресну!

— Садись, — сказал Умрищев, держа одну руку близ утомившейся головы, а другую кладя на зачитанную страницу, — садись, старушка: встоячку я не говорю… Ты у меня видела отсутствие обезлички — первый этап моего руководства.

— Какое такое отсутствие обезлички? — как молодая, затрепетала вся Федератовна. — А ты знаешь, что твои колхозники пастухами у нас были, что они коров наших в гроб кладут, целые гурты твои бабы обдаивают, что…

— Ты не штокай, старушка, — возразил Умрищев, — ты тверже руководи, соблюдай классовую политику в отношении рабсилы и держись четче на своем посту.

Старуха подвигала пустыми деснами во рту и даже вымолвить ничего не смогла от напора ненавистных чувств.

— Ты погляди на мое достижение, — указывал со спокойствием духа Умрищев, — у меня нет гнусной обезлички: каждый хозяин имеет свою прикрепленную лошадь, своих коров, свой инвентарь и свой надел — колхоз разбит на секции, в каждой секции — один двор и один земельный надел, а на дворе одно лицо хозяина, начальник сектора.

— А чьи же это лошадки у твоих хозяев?

— Ихние же, — пояснил Умрищев, — я учитываю чувственные привязанности хозяина к бывшей собственной скотине: я в этом подходе конкретный руководитель, а не механист и не богдановец.

Старуха дрогнула было от идеологической страсти, но с мудростью сдержалась.

— Старичок, старичок, — слабо сказала она, — а в чем же колхоз у тебя держится?

— Колхоз держится только во мне, — сообщил Умрищев. — Вот здесь, — Умрищев прислонил ладонь к своему лбу, — вот здесь соединяются все противоречия и превращаются силой моей мысли в ничто. Колхоз — это философское понятие, старушка, а философ здесь я.

— А все у тебя состоят в колхозе, старичок?

— Нет, бабушка, — пояснил Умрищев, — я не держусь абсолютных величин: все абсолютное превращается в свою противоположность.

— Покажи-ка мне классовую ведомость, — спросила Федератовна.

Умрищев показал графу на бумаге, что двадцать девять дворов бедных и маломощных хозяев не состояло в колхозе: они отписались назад с приходом Умрищева, а всего в деревне было сорок четыре двора.

Федератовна вскочила с места всем своим округлым телом, собираясь вступить с Умрищевым в злобное действие, но в дверь вошел в валенках чуждый человек.

— Здравствуй, товарищ Умрищев, — у меня горе к тебе есть! — сказал пришедший.

— Горе? — удивленно произнес Умрищев. — Для теоретического диалектика, товарищ Священный, горе всегда превращается в свою противоположность: горя боятся только идеалисты.

Священный, конечно, согласился, что горе для него не ужас, однако у него прокисли прошлогодние моченые яблоки в кооперативе и стали солеными, как огурцы, а морковь пролежала свою сладость и приобрела горечь.

— Это прекрасно! — радостно констатировал Умрищев. — Это диалектика природы, товарищ Священный: ты продавай теперь яблоки как огурцы, а морковь как редьку!

Священный жутко ухмыльнулся своим громадным пожилым лицом, на котором лежали следы возраста и рубцы неизвестных побоищ; он с непонятной жадностью поглядел на старушку, а затем сразу захохотал и умолк с внезапным испугом, точно ощутив какое-то свое, контрольное, предупреждающее сознание. От его смеха по комнате понесся нечистый воздух изо рта, и понятно стало, какую мощную жрущую силу носил в себе этот человек, как ему трудно было жить среди гула своего работающего организма, в дыму пищеваренья и страстей.

Священный сел на скамейку в одышке от собственной тяжести, — хотя он не был толст, а лишь громаден в костях и во всех отверстиях и выпуклостях, приноровленных для ощущения всего постороннего. Сидячим он казался больше любого стоячего, а по размеру был почти средним. Сердце его стучало во всеуслышание, он дышал ненасытно и смотрел на люден привлекающими, сырыми глазами. Он даже сидя жил в целесообразной тревоге, желая, видимо, схватить что-либо из предметных вещей, воспользоваться всем ощутимым для единоличной жизни, сжевать любую мякоть и проглотить ее в свое пустое, томящееся тело, обнять и обессилить живущее, умориться, восторжествовать, уничтожить и пасть самому смертью среди употребленного без остатка, заглохшего мира.

Священный вынул рукой из мешка, пришитого к своим штанам, кашу, съел четыре горсти и начал зажевывать ее колбасой, изъятой из того же мешочного кармана; он ел, и видно было, как скоплялась в нем сила и надувало лицо багровой кровью, отчего в глазах Священного появилась даже тоска: он знал, как скудны местные условия и насколько они не способны удовлетворить его жизнь, готовую взорваться или замучиться от избытка и превосходства. Надувшись и шумя своим существом, Священный молча жевал, что лежало в его кармане.

Умрищев, вспомнив про пищу и про то, что мысль есть материалистический факт, попросил у Священного пищи. Священный так чему-то обрадовался, что выбросил, как рвоту, жеваное изо рта и вынул из бокового мешка кривой кусок колбасы, законченной на огне. Умрищев без внимания взял колбасу, но Федератовна как глянула на этот продукт, так взвизжала, как девушка, и зажмурилась от срама: она узнала бычий член размножения, срезанный у производителя совхоза.

Умрищев же, начитавшись физико-математических наук, ничем теперь не брезговал, поскольку все на свете состоит из электронов, и съел ту колбасу.

Открыв глаза, Федератовна бросилась энергично на Умрищева и укусила его; однако ж благодаря беззубию старушки Умрищев не узнал боли и подумал, что в старухе загорелись стихии остаточных страстей — преддверие гроба. Захохотавший, развонявшийся Священный также получил укус Федератовны, но он лишь обрадовался, почувствовав укус старухи.

На столе Умрищева остановился вентилятор; в дверь пришел сонный, унылый погонщик с топориком и сказал, что вол был сытый и здоровый, но скучный последнее время

и умер сейчас: наверно, от тоски своего труда для ненужного человека.

— Я теперь кандидат партии и ухожу со двора, — сказал погонщик. — Бабушка, — обратился он к Федератовне, — ты с совхоза, возьми меня туда.

— А что с тобою такое, родимец? — спросила Федератовна. — Чего ты прежде не сигнализировал, какой ты кандидат партии!..

— Мне, бабушка, неважно тут стало, у меня сердце испортилось от них и ум уморился…

— А отчего ж у тебя сердце-то испортилось?

— От них, — сказал вентиляторный батрак. — У них такая наука, чтоб бить совхоз и твердеть зажиточному единоличнику… Мишка Сысоев двух телок у совхоза свел — а ты не знала, — он члену кооперации товарищу Священному их на фарш продал, в кооперации товарищ Священный постоянно фарш на машине крутит, раньше хотел сосисочную фабрику открывать — теперь войны ожидает… Мишка Сысоев и Петька Голованец в пастухах были у тебя и хотели коров увезть: они порезали их на степи, а товарищ Священный обещал им лошадь, потом подрался с нею и убил лошадь, — коров черекнули, а везти не на чем, тут ты поймала пастухов и в амбар заперла. Они теперь сидят, кричат — им там мочи нету, а бабы им блинцы пекут из твоего молока, а мука своя…

— Я не давал установок бить совхоз! — вскричал Умрищев. — Я теоретик, а не практик: я живу здесь лишь как исторически заинтересованная личность, а в последнее время перехожу на точные науки, в том числе на физику и на изучение бесконечно больших тел! Это клевета классового врага на ряды теоретических работников!

Священный по-страшному и беспрерывно хохотал, а Умрищев глубоко, но чисто теоретически возмущался.

На дворе же все время шел жаркий день, стареющий в ветхой пустынной пыли, покрытой чадом тления местной почвы, и весь колхоз находился в этой туманной неопределенности атмосферы.

— Ведь здесь же была ликвидация кулачества: кто же тут есть? — узнавала Федератовна, держа бдительный взгляд на всех присутствующих людях. — Где же тут сидит самый принципиальный стервец?

— А здесь они, — вяло показал погонщик на Умрищева и Священного, — а под ними зажиточные остатки, которые жир наживают на твоей говядине с совхоза. У тебя за год сто коров семнадцать дворов съели — и мало, а ты один обман знала…

Федератовна на вид не удивилась, только подернулась гусиной кожей возбуждения.

— А чего ж бедняки-колхозники глядели и молчали? — спросила она.

— А это же я и есть бедняк-колхозник. — с собственным изумлением сказал погонщик, сам в первый раз додумав, кто он такой. — Как же я молчу, когда я весь говорю. На тебе топорик, а то товарищ Священный сейчас убьет тебя.

Священный, чуть двинувшись, схватил погонщика вентиляторного вола поперек и начал давить его слабое тело до смерти, но погонщик стукнул его топором в темя незначительным ударом уставших рук, и оба человека упали в мебель. Умрищев, вообще не склонный к практике действий, обратил внимание Федератовны на полную неуместность происходящего факта. Тем временем лежащий Священный был далеко не мертвый и пробил ногами стену на улицу, высунувшись конечностями в деревню, но уже обратно он не мог подобрать свои ноги, потому что погонщик терпеливо дорубал голову своего врага.

Федератовна взяла погонщика за руку и увела его на двор. Погонщик напился на дворе воды, поглядел на оставшийся без Священного мир и повеселел.

— Это я работал на жаре без шапки, у меня голова ослабла, и я тебе знать ничего не давал. Как буду на совхозе работать, так куплю себе шапку.

— Нет, малый, — сказала Федератовна, — ты в совхозе не будешь работать… Ты зачем, поганец, человека убил? — что ты — вся советская власть, что ли, что чуждыми классами распоряжаешься? Ты же сам — одна частичка, ты хуже электрона теперь?

Погонщик помутился на вид и опустил рано стареющую голову.

— Это, бабушка, от жары: мне голову напекло… Дай я вот шапку куплю!

Федератовна пригнула погонщика и погладила его лохматую голову.

— Нет, ты брешешь — голова у тебя нормальная…

На околице колхоза встал вихрь кругового ветра и поднял с земли разные предметы деревенского старья. Позади вихря шла не колеблясь прочная туча дорожной пыли. Это двигалось добавочное стадо в «Родительские Дворики», уже многие сутки одолевая пешком полтораста верст. Позади стада ехали на волах гуртовщики и ели арбузы от жажды.

Федератовна отправила убийцу-погонщика в совхоз со стадом и велела ждать ее, а сама села в таратайку и направилась в район, в комитет партии.

В районе Федератовна не застала секретаря партии — он умер вскоре после свидания с Босталоевой, потому что у него вскрылась от истощения тела внутренняя рана гражданской войны.

Новый секретарь, товарищ Определеннов, уже взял курс дела в умрищевском колхозе и еще имел в своем распоряжении всю картину бушующих капиталистических элементов, окружающих «Родительские Дворики».

А сейчас он грустно жалел, что не управился лично объездить колхозы умрищевского влияния, когда даже старушка мчится неустанно в таратайке по степи и действует энергичной силой.

Федератовна начала обижать Определеннова упреками, что он хуже покойника и руководит районом из своего стула, что он скатится в конце концов в схематизм и утонет в теории самотека. Секретарь, хотя и чувствовал свое слабое недовольство, все-таки радовался наличию таких старушек в активе района.

— Бабушка, — сказал с любовью к ней Определеннов, — Умрищева мы сегодня обсудим на бюро и отдадим из партии к прокурору, а тебя мы перебрасываем из совхоза на место Умрищева. Ты согласна?

Федератовна почувствовала было тоску, но сознание враз справилось в ней с ничтожным чувством личности, и она сказала:

— Согласуй с директором и пиши путевку, товарищ Определеннов… Либо социализм, либо нет — ведь вот вопрос-то!

Отвернувшись, Федератовна, как всякая рядовая бабка из масс, вытерла в знак огорчения свои глаза краем кофты — она чувствовала свое расставание с Босталоевой.

— Ты это что? — спросил Определеннов.

— Ты пиши, ты пиши наше партийное — а это мое, старое бабье, выходит наружу.

— Да то-то! — сказал Определеннов, предначертывая какую-то повестку дня. — А я думал, ты горюешь о чем-то.

— Да то ништ не горюю, да то ништ не скучаю! — закричала вдруг Федератовна. — Иль я безгрудая, бездушная, нездешняя какая!.. Родные мои Дворики, Надюшка моя, товарищ Босталоева, отымает меня Умрищев-злодей, уж смеркается сердце мое, схоронилися вы за дорогою… — и, склонившись плачущим лицом на стол секретаря, старуха заголосила на весь районный центр.

Через час терпеливый Определеннов спросил у нее:

— Ну как, бабушка?

— Обсохла уж, — ответила Федератовна. — Давай инструкцию на ликвидацию умрищевской школки.

Определеннов длительно улыбнулся и не стал учить умную и чувствительную старушку, поскольку она сама уже постигла все.

* * *

Надежда Босталоева возвратилась в «Родительские Дворики». Она приехала тихо, в вечерние часы, на подводе привокзального единоличника.

Не доезжая двух верст, Босталоева остановилась. В совхозе стояла неизвестная башня,

емкая и полезная по виду, хотя и невысокая по размеру. Закат солнца освещал темный материал местного происхождения, из которого была построена башня. Кроме башни в совхозе был еще огромной силы и величины ветряк, при этом он крутился сейчас в пустоте совершенно тихого воздуха.

Подъехав еще ближе, Босталоева убедилась что землебитных жилых домов в совхозе уже нет, и также не было никаких других следов прежних обжитых «Родительских Двориков» — ни шелюги, ни знакомых предметов в виде тропинок, лопухов и самородных камней, доставленных сюда неизвестной силой, — теперь была лишь развороченная грузная земля, как битва, оставленная погибшими бойцами.

— Что здесь такое? — с испугом спросила Босталоева. — Где же мой совхоз?

Возчик-единоличник объяснил ей, что совхоз должен быть тут.

— А это просто какие-то факторы! — сказал возчик на башню и мельницу. — Теперь ведь много факторов в степи, а я живу около транспорта, я отсюда дальний. Транспорт, тот я знаю: тара 414 пудов, нетто, диаметр шейки, тормоз Казанцева, закрой поддувало и сифон, автоблокировка; три свистка

— дай ручные тормоза; два — освободи обратно; багаж принимается при наличии проездного билета. А степь я не люблю: это место для меня как-то почти что маловероятное, я люблю больше всего вагоны парового отопления и еще сторожевые будки. В будках хорошо живется сторожевому человеку: кругом тихо, работы мало, мимо поезда мчатся, выйди и стой себе с сигналом, а потом осмотри свой участок и заваривай себе кашу…

Босталоева со вниманием посмотрела на этого случайного, преходящего для нее человека: как велика жизнь, подумала она, и в каких маленьких местах она приютилась и надеется…

В снесенном совхозе ходили четыре вола по взбугренной почве и крутили мельницу наоборот, то есть не текущий воздух вертел снасть, а живая сила вращала внизу крылья в воздухе. Босталоева с удивлением спросила у Кемаля, радостно созерцавшего такое разорение, что это означает.

Кемаль, назначенный к этому дню секретарем ячейки, подал Босталоевой разросшуюся от работы руку и сказал:

— Это мы притирку частей делаем, чтоб механизм обыгрался на ходу: новый паровоз тоже сам себя сначала не тянет, пока не обкатается…

Около мельницы гонял волов инженер Вермо, обнищавший в одежде и успевший постареть за истекшее время. Он было обрадовался, что видит Босталоеву, но вдруг задумался другим нагрянувшим на него сомнением.

— Надежда Михайловна, — сказал он, — что, если мы ликвидируем всех пастухов, а коров поручим быкам. Високовский мне говорил, что бык — это умник, если его приучить к ответственности: субъективно бык будет защитником коров, а объективно — нашим пастухом! Штатное многолюдство — это отсталость, Надежда Михайловна: нам надо поменьше людей в республике — слишком много работы… Федератовна арестовала кулацких пастухов, а нам их теперь негде держать — их связал Климент веревкой от бегства и увел в районную тюрьму. Говорят, пастушьи бабы защекотали Климента в степи, а бабьи мужья разбежались. Динамо-машину мы получили, но без вас было скучно…

Инженер говорил что попало, пробрасывая сквозь ум свою скопившуюся тоску. Босталоева ничего не ответила Вермо: она настолько утомилась от своих действий в городе, от впечатлений исторической жизни, от своего сердца, отягощенного заглушенной страстью, что уснула вскоре в тени неизвестной башни, молчаливо обидевшись на всех.

Проснулась она вечером, покрытая от росы и ночного холода разной одеждой.

Вблизи от Босталоевой сидели шестнадцать человек, среди них были Кемаль, Вермо и Високовский, и все они ели пищу из одного котла.

— Сломали весь совхоз, а сами кашу едят! — сказала Босталоева. — Сволочи какие!.. Кто из вас первый начал землю здесь рыть, здоровы ли гурты; где Федератовна-старушка?.. Кемаль, ты за чем тут глядел, кто эти люди сидят? Я прямо удивляюсь: какие вы малолетние!

А я думала, вы и вправду коммунисты!

— Мы-то? — прохаркнувшись от мелкой каши с молоком, произнес Кемаль. — Мы-то не коммунисты? Ах ты дура-девчонка! Я старый кузнец и механик, я не смеялся тридцать лет, а вот пришел инженер Вермо, открыл нам пространство науки — и я улыбнулся на твой совхоз из землянок! Ты же все лозунги извращаешь, ты с природой, ты с отсталостью примирялась здесь — нервная ничтожность такая!.. Ты уехала, старуха твоя пропала — тоже советская наседка такая — и мы втроем, — Кемаль показал еще на Вермо и Високовского, — мы сказали твоему старушьему совхозу: прочь, ты не дело теперь! И не было его в одну ночь! Надо трудиться, товарищ директор, не за лишнюю сотню тонн говядины, а за десять тысяч тонн!.. Ты — девчонка еще в глазах техники!

«Отчего у нас люди так быстро развиваются, — подумала Босталоева, заново разглядывая Кемаля. — Это прямо превосходно!»

Другие рабочие, оказавшиеся на проверку бедняками, сбежавшими из умрищевского колхоза, также начали стыдить Босталоеву за ее недооценку башни, мельницы и дальнейших перспектив.

Високовский взял Босталоеву, как женщину, под руку и повел ее в башню. Босталоева молчала. Вермо глядел ей вслед и думал, сколько гвоздей, свечек, меди и минералов можно химически получить из тела Босталоевой. «Зачем строят крематории? — с грустью удивился инженер. — Нужно строить химзаводы для добычи из трупов цветметзолота, различных стройматериалов и оборудования».

Башня была сложена из сжатых, сбрикетированных ручным прессом глино-черноземных кирпичей и представляла собой вид усеченного конуса.

В сенях башни находилось особое стойло — оно хоть и не имело еще арматуры, но это было то же, что электрический стул для человека — место смертельного убийства животных высоким напряжением. Високовский и Вермо не хотели портить качества мяса предсмертным ужасом и безумной агонией живого существа от действия механического орудия. Наоборот, животное будет подвержено предварительной ласке в электрическом стойле, и смерть будет наступать в момент наслаждения лучшей едой. Внутренность башни была выложена досками в тесную пригонку, а доски покрыты слоем клеевого лака, непроходимым для электричества.

— Вы понимаете, что это? — спросил Високовский.

— Нет, я не понимаю, — сказала Босталоева. — Ведь дожди же размоют эту земляную каланчу.

— Толщина кладки земляных брикетов здесь такая, Надежда Михайловна, — объяснил Високовский, — что нужно десять лет ливней, чтобы вода смыла башню…

Вид животных, гонимых сквозь пространства пешком в города на съедение или даже запертых в неволю вагонов, всегда приводил Високовского в душевное и экономическое содрогание. Коровы, и особенно быки, слишком впечатлительны, чтобы переносить железнодорожную езду, вид городов и ревущую индустриализацию. У животных расстраиваются нервы, они высыпают беспрестанно из себя навоз и теряют съедобный вес. Сосчитано, что при езде в вагоне на тысячу верст коровы худеют на десять и больше процентов, а быки вовсе тают, тоскуя, что им уж никогда теперь не придется случаться.

Если «Родительские Дворики» отправят в течение года две тысячи тонн коров, то двести, а может быть, и четыреста тонн наиболее нежного мяса будет истрачено в пути благодаря похудению животных. Кроме того, коровы могут вовсе умереть в дороге. Эти двести или четыреста тонн говядины должен сохранить электрический силос, построенный как башня. Коровьи туловища разрубаются на сортовые части и загружаются в башню. Затем небольшое количество высоконапряженного тока пропускается сквозь всю массу говядины, и говядина сохраняется долгое время, даже целый год, в свежем и питательном состоянии, потому что электричество убивает в нем смертных микробов.

По мере надобности мясо накладывается в приспособленные кадушки с выкачанным воздухом и отправляется в города. В дальнейшем следует вокруг электрического силоса

развить комбинат, с тем чтобы на месте обращать мясо в фарш, колбасу, студень, консервы и отправлять в города готовую еду.

У Босталоевой после разговора с Високовским сжалось сердце, что она еще не инженер и ей нужно излишне любить Вермо.

Високовский развил перед директором еще ряд мер, обдуманных им совместно с Вермо и Кемалем, для резкого накопления мяса в совхозе, а Босталоева молча думала о новом техническом большевизме, которому уже не соответствует ее ум.

Здесь в башенные сени вошла бывшая совхозная кухарка, не знавшая, куда теперь ей деться, когда все сломали, когда из металлических ложек мужики сделали проволоку, суповые котлы раскатали в листы, когда даже ушные сережки вынули у нее и расплавили их в олово, — это печальная, бесхозная женщина, лишенная бытового состояния, сказала, что движется новое стадо из какого-то дальнего пункта: идите его встречать и организуйте поскорее баб из степи, потому что некому обдаивать скотину, а из нее уж капает молоко в землю.

Босталоева и Високовский вышли из сеней башни и увидели погонщика умрищевского вентиляторного вола; погонщик прибежал первым, чтобы осознать новое место своей жизни и сообщиться.

* * *

Устроив вновь прибывшее стадо на участок степного разнотравия, открытый недавно Високовским около одного дальнего одичавшего колодца, Босталоева возвратилась ночью в совхоз. Вермо играл на гармонии, а Кемаль плясал — с тем выражением, словно хотел выветрить из себя всю надоевшую старую душу и взять другой воздух из дующего ветра.

Странно и опасно было видеть костер в степной темноте, веселых людей, крылья могучей мельницы, башню и слушать, как всеобщий человеческий голос, прекрасную музыку, всегда соответствующую намерению борющихся большевиков. Босталоева вошла в среду людей и стала танцевать по очереди со всеми товарищами, пока не перепробовала всех; только Вермо, как занятый музыкант, не мог потанцевать с Босталоевой, но зато она, двигаясь, обещала ему достать агрегат для бурения на ювенильное море, и Вермо с энергией радости начал еще лучше играть на гармонии. Один погонщик вентиляторного вола стоял в стороне, не примкнув к дружбе и музыке, но и его Босталоева взяла в дело танца, отчего погонщик весь заухмылялся и уж заранее согласен был положить всю свою силу на совхозном строительстве — настолько он мало еще видел нежности в жизни. Танцуя, погонщик нюхал подругу-директора и наслаждался своим достоинством, нужностью и равенством с высшими друзьями, а Босталоева глядела не него близко и улыбалась ему в лицо своей улыбкой серьезной искренности, своими спокойными верными глазами, и погонщик чувствовал ее легкую руку на своем плече, привыкшем к тяжести и терпению.

Глядя на танцующих, Вермо успел уже продумать вопрос о рационализации отдыха и счастья, а сам не мог победить в своем сердце чувства той прозрачной печали, которая происходила от сознания, что Босталоеву может обнять целый класс пролетариата и она не утомится, она тоже ответит ему со страстью и преданностью.

Вскоре погонщик умрищевского вола заржал от радости не своим голосом — женским басом, и танец постепенно прекратился, поскольку долгое веселье превращается уже в скорбь.

Наступила полночь; воздух начал прозябать от росы и отсутствия солнца, и всем людям, всей технической бригаде Вермо и Кемаля захотелось спать и согреваться. Тут же стало известно, что вся теплая одежда ушла со вновь нанятыми пастухами на пастбища, на месте была только одна громадная кошма, метров в десять или пятнадцать длины. Все влезли под ту кошму, а Босталоеву положили в середину, чтобы ей было теплей, и ближние соседи отодвинулись от нее, желая дать Босталоевой больше дыхания и свободы, если она будет шевелиться во сне.

Наутро в совхоз приехала в таратайке Федератовна, и с ней прибыл в качестве кучера секретарь райкома Определеннов. Старушка еще издали закричала от злости, решив, что умрищевцы управились украсть без нее весь совхоз.

— Подожди ты шуметь, убогая, — остановил ее Определеннов, не терпевший никакого визга на земле как знака бессилия. — Побольше спокойствия, бабушка, — нам ничто не страшно.

Застав под кошмой население совхоза, Определеннов стянул со спящих кошму, и они сразу проснулись, как оголтелые.

Опомнившись, видя недовольство старухи и секретаря, Вермо начал порочить естественное самотечное устройство природы и потворство этому оппортунистическому устройству со стороны администрации совхоза. Например, разве землянично-землебитная и деревянная форма совхоза не есть ненависть к технике? Разве можно получить мясо от полуголодного, непоеного скота, бродящего в печали по пище десятки верст ежедневно? И мы снесли в ночь всю совхозную убогость, дабы освободить мебель с утварью и взять из них гвозди, доски и прочие материалы для истинной техники, для утроения продукции совхоза!

— Он прав вполне, — с неопределенной грустью сказал Кемаль.

— Вы еще понятия не имеете о большевистской технологии, — говорил Вермо среди летнего утра, неумытый и постаревший от темпа своих размышлений, — у вас нет органического ощущения техники как первого чувства своей жизни…

Федератовна, осознав, что кто-то хотел обидеть науку, враз стала на точку яростной защиты Вермо и приветствовала речью башню и мельницу.

Определеннов смеялся над старушкой и был рад, что в «Родительских Двориках» под видом чувственного восторга происходит на самом деле социалистическое скотоводство, превозмогающее все существующее на свете на этот счет.

— Говори теперь ты, Високовский, — предложил Определеннов.

— Хотя я зоотехник, — сказал Високовский, желая выявить чем-нибудь охватившую его радость зоотехнического творчества, хотя бы тем, что покаяться, — хотя моя дисциплина долгое время была заражена невежественным оппортунизмом и вредительством и взглядом на зоологию как на мягкую какую-то, тихую науку, где все гармонично и эволюционно, но я заявляю, что советская зоотехника немыслима без металлургии, без машиностроения, без электрификации, потому что только железо и огонь добудут нам воду в сухих степях, потому что лишь тонкая пульсация электричества, приближающаяся по нежности и остроте своего факта к жизненным явлениям, к зоологии, лишь она, эта пульсация, игра солнечной энергии в атомной глубине материи, как определяет Николай Эдвардович Вермо, лишь она даст нам излишний нарост мяса на костях животных, позволит нам рационально забить скот, сохранить его без потерь и отлично транспортировать. Затем я предлагаю уничтожить немедленно текучесть рабсилы…

— Как конкретно? — спросил Определеннов, вслушиваясь с полным сердцем в слова специалиста.

— Уничтожить ее как текучесть, как пережиток разрыва города с деревней… Нужно ввести скользящую шкалу профессий, чтобы пастух был обучен строительству и мог быть плотником зимой или еще чем-либо, чтобы человек обнимал своим уменьем несколько профессий и чередовал их во времена года… Каждый трудящийся может и обязан иметь хотя бы две профессии — наш Кемаль имеет их целых четыре, — это даст десятки тысяч экономии по одним «Родительским Дворикам»… Да здравствует наша жизнь и наш напряженный труд для всех товарищей… как дальних, так и близких! — неожиданно кончил скромный Високовский и медленно покраснел, почувствовав свою заключительную патетическую бестактность.

— Да здравствуют наши социалистические специалисты! — громко сказал Определеннов, чтобы уничтожить краску ложного смущения с лица Високовского.

Но Високовский покраснел еще гуще, и все засмеялись, а Босталоева смеялась до тех пор, пока у нее не вышли слезы, блестевшие на свете солнца, как роса, на черной траве

ресниц. Все люди поглядели на глаза Босталоевой, а Вермо сказал:

— Я ручаюсь, что не каждый еще сумеет умереть из нас, как наступит высший момент нашей эпохи: нам тогда потребуется лишь построить оптический приемник-трансформатор света в ток, как мы сейчас строим радиоприемники, и через него к нам польется бесконечная электрическая энергия — из солнечного пространства, из лунного света, из мерцания звезд и из глаз человека… Вот какая проблема, товарищи, сидит в одном взоре Босталоевой, а вы увидели ее глазами полового мещанства: так ведь никуда не годится!

— Глянь в мои глаза! — попросила Федератовна. — У меня там горит электричество иль потухло?

Вермо поглядел в старушечьи очи.

— Плохо горит, — сказал инженер, — у тебя бельма растут.

Федератовна сразу оценила было этот факт как заглушенную вылазку классового врага, но потом пошевелила деснами и передумала.

— Пусть растут, — согласилась старуха, — я и видеть не буду, так почую. А ты научный левак!

— Погоди судить, бабушка, — сказал Определеннов. — У них уже есть дела, а ты говоришь слова… Давайте, товарищи, наметим план технической реконструкции «Родительских Двориков».

Здесь же, на общей кошме, был составлен перечень главных мер, а именно:

— Название работы Цель ее Фамилия бригадира и срок исполнения Полезный эффект и примечания

— 1. Закончить постройкой электродвигатель; установить динамо; смонтировать трансмиссионную передачу; провести электрическую сеть Зимой: отопление окотных баз и рабочих жилищ, подача жара на кухню. Летом: давать силу на насос и на брикетный пресс Вермо. 2 месяца 300 тонн добавочной говядины. На 100 руб. топлива. Уничтожение жажды на центральной усадьбе 2. Электротехнический монтаж силосной башни и убойного стойла Заготовка свежей говядины в долгий срок Височковский, консультации, Вермо. 1 месяц Не менее 400 тонн мяса. При отсутствии ветра питать башню следует от воловьего привода ввиду малого количества тока, потребного для башни 3. Пресс для брикетирования коровьей желудочной продукции Решение степной топливной проблемы Кемаль Экономия 2 тысячи руб., которые должны быть истрачены на покупку стороннего топлива 4. Приобрести, перепроектировать переделать 2 вольтовых агрегата разной мощности Электрическим пламенем меньшего агрегата резать камень в карьерах и сваривать их вновь на месте кладки, с целью постройки цельнолитых жилищ для людей и скота. Мощным агрегатом прижигать скважины в глубину земного шара, дабы вскрыть кристаллическую гробницу материнского моря, либо вообще достигнуть богатых запасов воды — взять оттуда количество влаги, достаточное для образования постоянного озера или степного моря. Параллельно бурить немедленно вольтовым огнем неглубокие водоносные скважины на всех пастбищах и зимних гуртах совхоза (малое водоснабжение) Босталоева, Вермо. 3 месяца По строительству 50 тыс. р. По малому водоснабжению 30 тыс. р. в год. По большому водоснабжению (на материнское море): социалистический риск 5. Изобрести и сконструировать оптический прибор для обращения солнечного света в электричество Получать энергию в степи и во всем мире из любой точки освещенной бесконечности Вермо, Кемаль, Босталоева. Не менее года Установление технического большевизма в «Родительских Двориках» и на всем открытом пространстве земли 6. Сконструировать животноводческий комбайн на автомобильном шасси Быстрое обдаивание отдаленных гуртов и доставка сливок на совхозную маслобойку Височковский, Кемаль. 2 месяца 18 тысяч рублей в год

— В седьмом, восьмом и девятом пункте плана назначались прочие виды работ. Всякое мероприятие по этому плану должно иметь помощь и консультацию со стороны Института Неизвестных Топливных Масс, КрайВЭО, Института Дешевой Энергии, Варнитсо, Общества Глубокого Бурения и прочих соответствующих организаций.

* * *

Через месяц или полтора в «Родительские Дворики» прибыли оборудование и материалы, занаряженные Босталоевой в крайцентре, и то потому, что Босталоева сама нашла свои заблудившиеся на железной дороге грузы и привела вагоны на ближайшую станцию. Иначе бы грузы могли вовсе осиротеть, приобрести безвестное состояние и их сейчас же присвоили бы себе агенты многочисленных строек, населявшие в то время все узловые пункты транспорта; эти агенты-снабженцы беспрерывно глядели волчьими глазами на потоки чужих грузов и только свою стройку считали действительно решающей для судьбы социализма, поэтому они прямо удивлялись, что кого-то еще снабжают, кроме них, и способствовали превращению блуждающих грузов в бесхозное сиротство, чтобы переадресовать их себе, пользуясь суетой всеобщего строительства.

Около того же времени в совхоз приехали два инженера из края: электрик Гофт и гидрогеолог Даев. Гофт был из Института Неизвестных Топлив, а Даев от Варнитсо и Общества Глубокого Бурения. Совместно с инженером Вермо они довели конструкторские идеи вольтового бурения до чертежного детального выражения и поправили различные упущения в устройстве башни брикетного пресса и ветродвигателя.

Инженер Гофт уже не хотел уезжать из совхоза и остался в нем до окончания всех работ, а Даев и Босталоева отправились скорее в Краевой Город и в Ленинград, дабы найти подходящие электросварочные агрегаты эти — агрегаты были нужны для немедленного переустройства их на другую службу. Один из агрегатов должен успеть перерезать камни в карьере и сварить из этих камней жилища еще до наступления зимы.

Контора переустройства совхоза помещалась в сенях электросилосной башни, где все чертили, считали, спали и бредили от ночного воображения. Кемаль взял себе на учет такой бытовой недостаток и отправился в колхоз к Федератовне. Через четверо суток он привез из колхоза на волах шесть пустых изб, принадлежавших ранее кулакам, тем, что прятались в колодцы от старухи. Эти избы лишь в слабой степени повредились от транспорта и вполне оказались пригодными для размещения техперсонала и для ночлега технических бригад.

Инженер Вермо развернул фронт работ сразу — по всем сопротивлениям; главный же удар он сосредоточил на достройке и оборудовании электрической мясной башни, где производил весь монтаж лично.

Но рабочих было всего шестнадцать человек, и люди так умаривались, что не могли смыть водой свой пот и им не хватало сна для забвения усталости.

Однажды ночью Вермо сидел за столом и, скучая по Босталоевой, рассматривал ее книги. Вокруг Вермо спали люди на полу, от них пахло отработанной жизнью, их рубашки заживо сотлели на постоянно греющемся теле и рты были печально открыты, чтобы освежиться воздухом ночи и продуть насквозь свое туловище, зашлаковавшееся смертельными скоплениями немощи.

Кемаль лежал навзничь с омертвевшим видом лица; он сегодня в одиночку таскал бревна на верх башни, а вчера забивал якорные сваи для крепления ветродвигателя от зимних бурь.

В своем дыхании он плавно поднимал и опускал ребра, обросшие жилами тяжелой силы, и лицо его хотя и было покрыто печалью утомления, но все же хранило в своем смутном выражении нежность надежды и насмешку над грубой тягостью жизни, — в этом Кемаль, хотя и незаметно, но походил на Босталоеву.

«Зачем он таскает бревна, зачем он не повесил блока и не заставил вола втянуть бревно на Канате? — думал Вермо в тишине большого пространства. — Зачем вообще нам труд как повторенье однообразных процессов; нужно заменить его беспрерывным творчеством изобретений!»

Погонщик умрищевского вентиляторного вола спал вниз лицом. Он трудился по рытью земли для различных установок. Вермо решил завтра же сделать несколько конных лопат и рыть грунт силой волов или даже приспособить под это дело ветер.

Вермо не знал, есть ли у Кемаля и погонщика вентиляторного вола другая жизнь, эстетические вкусы и накопления на сберкнижке. Они были, наверно, безродными и превращали будущее в свою родину.

В вещах Босталоевой Вермо нашел «Вопросы ленинизма» и стал перечитывать эту прозрачную книгу, в которой дно истины ему показалось близким, тогда как оно на самом деле было глубоким, потому что стиль был составлен из одного мощного чувства целесообразности, без всяких примесей смешных украшений, и был ясен до самого горизонта, как освещенное простое пространство, уходящее в бесконечность времени и мира.

Читая, Вермо ощущал спокойствие и счастливое убеждение верности своей жизни, точно старый серьезный товарищ, неизвестный в лицо, поддерживал его силу, и все равно, даже если бы погиб в изнеможении инженер Вермо, он был бы мертвым поднят дружескими руками на высоту успеха — и уцелевшие товарищи добудут из глубины земли материнское море и свет солнца превратят в электричество.

Под утро Вермо вышел наружу. Вращающаяся земля несла здешнее место навстречу солнцу, и солнце показывалось в ответ. Но Вермо не вдумывался в это явление, вдумываясь обычно во все, что попадалось; он слишком начитался за ночь и чувствовал себя сейчас недостаточно умным. Он отошел дальше в степь и лег в нее вниз лицом с настроеньем своей незначительности.

Откуда-то из участка к Вермо подошел Високовский. Он сказал, что снял с пастбищ двенадцать пастухов в помощь техническим бригадам, а коров поручил наиболее сознательным быкам; он уже делал опыты самоохраны и самокормления стад, приучая отдельных быков к определенному поголовью коров, организуя этим шагом бычьи семейства. И что же? — быки дерутся между собой, каждый желая обеспечить для своих коров лучшую траву и водопой, а коровы мирно пасутся и полнеют в теле. Если перейти на способ бычьих семейств, то можно вдвое сократить степной штат людей.

Вермо не слушая глядел на Високовского.

Затем он возвратился в избу, где по-прежнему спали рабочие; но лица их, освещенные зарею, приняли торжественное выражение. Вермо понял, насколько мог, столпов революции: их мысль — это большевистский расчет на максимального героического человека масс, приведенного в героизм историческим бедствием, — на человека, который истощенной рукой задушил вооруженную буржуазию в семнадцатом году и теперь творит сооружение социализма в скудной стране, беря первичное вещество для него из своего тела.

Эта идея неслышно растворена в книгах, прочитанных Вермо ночью, — потому что ее нельзя услышать мелким сердцем индивидуалиста или буржуя.

В тот же день Вермо составил бригаду в семь человек и сам стал в ее ряды. Он хотел осуществить ставку на творческого пролетарского человека, с тем чтобы изобретение стало способом работы, чтобы не Кемаль таскал бревна, а ветер или вол; и чтобы работа шла на смысле, а не на грустном терпении тяжести, как работает мещанин капитализма.

К концу первой десятидневки в бригаде почти не применялся черный труд — его сменили деревянно-веревочные и железные приспособления, движимые животной силой волов.

* * *

Через два месяца, уже осенью, прибыли из Ленинграда переделанные электросварочные агрегаты и другое необходимое оборудование. Одновременно с многочисленными машинами приехали Босталоева и инженер Даев.

Босталоева ехала от железной дороги через колхоз и привезла с собой смирившегося Умрищева, которого выслала Федератовна в совхоз для проверки в рабочем котле.

Умрищев был давно исключен из партии, перенес суд и отрекся в районной газете от своего чуждого мировоззрения. Он ходил теперь робко по земле, не зная, где ему место,

долгие дни жил при Федератовне в качестве домашнего хозяина, чему Босталоева по невыясненной причине радовалась и смеялась на протяжении всей совместной дороги в степном фаэтоне, а Умрищев только сторонился от нее на узком месте сиденья.

Босталоева была несколько дней в Москве, в Скотоводобъединении, и привезла оттуда новость для всех рабочих: в «Родительских Двориках» организуется образцовый опытно-учебный мясокомбинат. Этот вопрос был поднят крайкомом партии и теперь всюду согласован и обдуман.

Спустя еще некоторое время в «Родительские Дворики» съехалось большое число людей из Москвы и краевого центра: они должны были участвовать в организации учебного мясокомбината и быть свидетелями первого в мире бурения земли вольтовой дугой, чтобы прожечь грунт до воды.

Инженер Вермо, как только получил вольтовый агрегат, уехал с ним в степь неизвестной дорогой, взяв с собой одного Кемаля.

Возвратившись через четверо суток, Вермо установил агрегат среди новостроящейся усадьбы совхоза; запустил мотор и направил фронт сияющего, шарообразного пламени вертикально в недра земли.

Делегация Москвы и края уселась к тому времени на скамьи вокруг воющего агрегата; столб едкого газа поднялся над плавящейся породой, обращающейся в магму, затем — через полчаса — раздался взрыв, и наружу вырвался вихрь пара: это пламя вошло в массу воды и пережгло ее в пар. Вермо выключил агрегат.

Каждый из бывших здесь освидетельствовал сделанную скважину: она была неглубока, около трех метров, поскольку совхоз стоял в низменности, внутренняя поверхность скважины покрылась расплавленной, застывшей теперь породой, что сообщало крепость колодцу от обвала, и внизу светилась вода. Затем Вермо и Кемаль, настроив пламя в острую форму, стали резать его лезвием заранее заготовленные самородные камни и тут же сваривали их вновь в монолиты, слагая сплошную стену, чтоб было ясно, как нужно строить теперь жилища людям и приют скоту.

* * *

В глубокую осень из Ленинграда в Гамбург отплыл корабль. На борту корабля находились инженер Вермо и Надежда Босталоева. Они имели командировку в Америку сроком на полтора года, чтобы проверить там в опытном масштабе идею сверхглубокого бурения вольтовым пламенем и научиться добывать электричество из пространства, освещенного небом.

На берегу их провожали две фигуры небольших людей: Федератовна и Умрищев. Старушка приехала издалека, чтобы проводить Босталоеву и поплакать по ней на вечное прощанье, потому что она уже не надеялась прожить полтора года: слишком активно билось ее сердце всю жизнь, и оно устало.

Федератовна была одета в шляпу, которая сидела на ее голове, как чертополох; маленький смирный Умрищев держал под руку старую женщину и вытирал глаза белым платочком от сочувствия. Он еще в колхозе полюбил Федератовну за оживленность, за открытую страстность сердца, за беспощадность ее идейного духа, и старушка, будучи положительной женщиной, увлеклась постепенно терпеливым отрицательным старичком, так что они поженились в течение времени.

Корабль уплыл в водяные пространства земли. Вермо и Босталоева отошли от борта. Старичок и старушка остались на далеком берегу и долго плакали, глядя на горизонт, а потом приступили к взаимному утешению друг друга.

Вечером того же дня, ложась спать в гостинице, Умрищев долго кряхтел, предполагая и боясь высказаться.

— Мавруша, а Мавруш! — обратился он после томления к Федератовне.

— Что тебе, старичок? — охотно спросила Федератовна.

— А что, Мавруш, когда Николай Эдвардович и Надежда Михайловна начнут из дневного света делать свое электричество, — что, Мавруш, не настанет ли на земле тогда сумрак?.. Ведь свет-то, Мавруш, весь в проводе скроется, а провода, Мавруш, темные, они же чугунные, Мавруш!..

Здесь лежачая Федератовна обернулась к Умрищеву и обругала его за оппортунизм.

Хлеб и чтение

Жил на свете рыцарь бедный…
Пушкин

1

В апреле 1920 года по освещенной утренней равнине Советской России тихо ехал испорченный, больной паровоз № 401 серии «О-в», с небольшим составом вагонов; клапана машины парили, в дышлах явственно слышался опасный стук, потому что стальные пальцы на колесах сработались и труба паровоза была смята, как голова у дефективного человека.

Из окна машины глядел в пространство пути исхудалый юноша машинист, а его ровесник — помощник шуровал топку одной левой рукой. Лицо машиниста обросло мягкой шерстью молодости, почти пухом, — он брился всего раза четыре в жизни, и притом не бритвой, а ножом, отточенным на бандаже паровоза; сумрачные глаза юноши уже выцвели от ветра и от внимания к далекому пространству, губы ссохлись, будто время шло на большой возраст, и кожа, не имея напора из туловища в виде жирового запаса, износилась в морщины; но зато кости машиниста сильно разрослись, заменяя нежность и мягкость прочной твердостью, и руки приобрели мощные размеры, годные для работы на несовершенной машине, и жилы его развились в толстые заросли по всему телу, способные выдерживать любое давление крови при напряженных усилиях жизни; и вместе с тем странное старчество размышления уже лежало печалью на лице механика.

Помощник машиниста был человек послабее; он еще сохранил младенческую полноту конопатого лица и, глядя в жар топки, скучал о своих умерших родителях. Голова его сохранила громадный круглый размер, выражение взгляда запавших глаз было невинным и кротким, а правая рука его не действовала — она иссохла костью до толщины пальца и висела мертвой плетью, поэтому машинисту приходилось иногда самому работать с топкой.

— Семен! — сказал помощник машинисту. — Надо воды взять на Разгонной и гром-буксы немного подбить: они сильно парят чего-то…

— Не нужно, — ответил механик. — Воды в тендере хватит, а гром-буксы не подобьешь: поршневые скалки разработались неровно… Скоро и так доедем, скоро конец нашей езде…

— А паровоз наш куда пойдет? — спросил помощник. — В ремонт станет?

— На кладбище, — проговорил Семен. — Он уже давно уморился… До нас он возил броневые площадки, с нами он таскал снаряды, потом фураж для кавалерии, красноармейцев, потом хлебные сухари с юга… Сейчас мы везем последних тифозных, но машина сама уже идет в больном бреду: ты же видишь!

Позади паровоза было прицеплено четыре теплушки и один классный санитарный вагон; в теплушках лежали выздоравливающие тифозные красноармейцы, завалявшиеся по деревням, — они проболели всеми тифами и всеми осложнениями и очнулись вполне только теперь, после победы над империализмом, победив без помощи науки, в окружении равнодушных мужиков, томительную заразу смертельного одурения.

Красноармейцев везли в губернский город на отдых и демобилизацию, они смотрели теперь в мировую весеннюю свежесть удивленными глазами и зорко следили за восходом солнца над растравленными теплотою полями: точно ли сбывается с ними жизнь! С особой

бдительностью они наблюдали попутные сельские погосты, расположенные обычно в отдалении от жилых избушек, на склоне какой-нибудь заглохшей балки; там под православными крестами лежали загубленные белыми красноармейцы, похороненные верующими родственниками, и тело их погрузилось в вечную безвестность; хотя нельзя сказать наверно — навеки ли они расстались с жизнью: может быть наука при полном торжестве коммунизма начнет воскрешать погибших, потому что сердце будущих людей должно будет глубоко и трогательно чувствовать ложь исторических фактов, — оно потребует ответа у всех бушующих стихий природы и направит свою дружелюбную силу и нежность не только на будущее, которое и так будет отличным, но и на прошлое, где в темницах земли лежат умолкшие герои, тогда как на солнечной поверхности остались быть может одни ликующие стервецы. Каждый из уцелевших красноармейцев подумал еще, не сказав никому другому, что и его ожидала несколько лет гробовая теснота, но он не обратил на это внимания, потому что дело было не в своей жизни, а во всемирной.

В классном вагоне ехал детский дом, собранный из фронтовых сирот. Этот дом отправлялся на север, чтобы бездетные рабочие могли усыновить младшее поколение и найти семейное счастье.

Не доезжая Разгонной паровоз прекратил свой ход. Машинист Семен Душин, не прикрыв регулятора, стал глядеть в поле, всегда казавшееся ему загадочным. Он уже привык, что его паровоз иногда останавливался сам по себе, а потом, побыв в покое, снова начинал постепенно ехать. Никакой резкой внезапной поломки в паровозе не случалось, но машина прекращала движение и стояла неопределенное время, а затем вдруг трогалась вперед. Видимо, паровоз настолько был измучен тягостью составов, огнем, скоростью и ветром — на протяжении всех войн и революций, — что уже походил немного на человека — наиболее измученное вещество.

Вскоре паровоз № 401 снова поехал в даль со своим грузом детей и красноармейцев, а в полдень подошел к городу Ольшанску, станции своего конечного назначения.

Не доезжая Ольшанска паровоз умер: из котла пошла в топку вода и огонь потух.

Механик Душин и его помощник Щеглов спустились из машины на землю и постояли около паровоза, чувствуя тоску и недоумение — оттого, что приходится расставаться с привычным беспокойством жизни, с двумя годами молодости, прожитыми на этом паровозе среди войны.

Душин огляделся в местности: близ пути, в полосе отчуждения, стояла необитаемая будка сторожа с отзвонившим сигнальным колоколом, наверно вся загаженная внутри бродягами и дезертирами. Машинист подумал, что в этом домике можно хорошо жить и думать; затем он обтер концами в последний раз ведущий механизм паровоза и пошел в депо требовать резервную тягу и составлять ведомость дефектов для сдачи своей машины.

2

Через четыре дня Душин и Щеглов явились в Ольшанский Технологический Институт для продолжения своего учения. Два года назад, когда революцию начали убивать со всех сторон мира, когда пролетариат мог отступать только по дороге к Ледовитому океану, всех рабочих, учившихся в Ольшанском Институте, отправили работать на различные механизмы и аппараты, направленные против буржуазии. Душин — бывший кочегар и Щеглов — бывший подмастерье с фабрики будильников попали на паровоз и ездили на нем два года по всему пространству юго-восточного фронта, ночуя около теплого тела котла, когда бывала ночная стоянка, или в вагоне-теплушке, если паровоз остужался на промывку.

Оба они, и Душин и Щеглов, учились на третьем курсе электросилового факультета, и теперь, слушая сопротивление материалов или расчет турбогенераторов, они часто отвлекались от текущего предмета со внезапным чувством воспоминания и наблюдали звезды в уме, под которыми они вели воинские эшелоны во тьму фронта и всеобщей будущей судьбы — до победы или до забвения в земле; Душин чутко ощущал напряжение

машины и сознавал на звук величину трения, работу масла в буксах, общее настроение всего паровоза — и старался разгадать во мраке профиль незнакомого пути: в те времена путевые сторожа не давали сигналов безопасности — их домики при рельсах стояли ночью без света, без звука и без животных на дворе — сторожа вымерли, были убиты или исчезли в общую безвестность старины, поэтому рельсы мгновенно могли окончиться и закончить жизнь мчащихся по ним людей; но в вагонах пели красноармейцы, Душин давал во тьму долгие гудки угрожающих предупреждений и глядел в ветер, поднятый скоростью из тишины воздуха, — смертельная опасность длилась и не свершалась; но однажды она свершилась: Душин спешил со снарядами через темные степные залежи на юг; осенний день давно уже обратился в тесную тьму и паровоз шел в ней, как в туннеле. Душин слышал только немеющий гул мрака и глядел вперед, как ослепший, не чувствуя своего зрения; вдруг впереди паровоза заплакал жалобный человеческий голос — с такой ясностью неподвижности, будто все на свете молчаливо стояло, а не стремилось — и затем паровоз Душина ударил стальным фронтом в невидимый жесткий предмет, и предмет тот, разъявшись на гибельные части, дал огненную вспышку сопротивления и умолк, осветив беззащитный состав из платформ и крытых вагонов, а паровоз начал громить и терзать темный стоячий эшелон, подпираемый прессующей силой своей разогнанной гнетущей тяжести; разбив глухие вагоны на той потерянной станции, поезд Душина свободно ушел в дальнейшую ночь, и машинист уже никогда не мог узнать — кого же он разбил на месте грудью бегущей машины — красноармейцев, империалистов или каких-нибудь прочих — бессознательных и безответных: где теперь их кости и кто теперь вспоминает своим сердцем тех внезапно умерших? Душин и Щеглов ясно понимали катастрофу, когда терлись паровозом о чужеродное ревущее железо, но Душин даже не закрыл работающего пара и стоял неподвижно — в увлечении своей близкой смертью, равнодушно замерев перед нею, чтобы не испугаться.

После ученья, вечером, студентам Института раздавали по куску хлеба и они уходили домой, а некоторые из них оставались в пустынных аудиториях и съедали хлеб тут же. Оставшиеся собирались вместе и проектировали мелом на доске устройство будущего света; Душин предлагал создать социализм на простой силе рек и ветра, из которых будет добываться электричество для освещения и отопления жилищ и движения машин, а материнское, девственное вещество земли нужно не разрушать и не трогать — оно должно впоследствии послужить науке для суждения о неясной судьбе вселенной и ответить на вопрос жизни — правильно ли действует частный разум людей и их небольшое чувство в сердце, когда человечество желает отрегулировать течение мира, — или человек лишь мнимое существо и ярость его действий есть бой невесомого, а стихия всемирного вещества исчезает мимо в неизвестном гремящем направлении к своему торжественному концу.

Душин хотел, чтоб земля пролежала нетленным гробом, в котором сохранилась бы живая причина действительности, чтоб социалистическая наука могла вскрыть гроб мира и спросить сокровенное внутри его: в чем дело? — и слух точной науки тогда услышит, быть может, тихий, жалобный ответ.

Душин боялся втайне, что последующие люди разовьют такую энергию действий, что без остатка уничтожат все мировое вещество и больше ничего не случится.

Щеглов также был согласен с неприкосновенностью земного шара, потому что его отец и мать, четыре сестры и семь братьев лежали в могилах, а он жил один и должен теперь привлекать к научной ответственности все сокрушительные силы непонятного пространства. Однако, когда Щеглов смотрел глазами исподлобья в высоту ночи или видел истощение людей во взаимной истирающей суете, он понимал, что человек есть местное, бедное явление, что природа обширнее, важнее ума и мертвые умерли навсегда.

Пожилой студент Боргсениус, променявший жену-шведку и двоих детей на коммунизм в России, сделал расчет о силе рек и ветра, и силы той получилось достаточно, чтобы пропитать и согреть двадцать миллиардов людей.

Далее рабочие студенты приходили к вопросу об электричестве. К тому времени уже

по всей стране революции шли слухи об этой таинственной силе, о молниеносном предмете, похожем в точности на Октябрьскую революцию, и все думающие большевики также озадачивались перед фактом электричества. В некоторых деревнях, как раз самых дальних и забвенных, председатели сельсоветов совместно с кузнецами и конторщиками уже строили электрические станции около публичных колодцев, пользуясь мотоциклами, брошенными убежавшими империалистами, — при этом, вследствие отсутствия бензина, моторы мотоциклов гонялись самогоном, добытым из хлеба, а так как самогон горел в моторах плохо, то к мотору прибавлялся местный ум машиниста — и моторы все-таки вращались, а в темных избушках горел свет.

Студенты-электрики понимали, что это мотоциклетное избушечное электричество есть заблуждение с технической стороны, но сердце каждого волновалось от воображения работающего тока во тьме и скуке бедняцкой земли. Узнав про такое событие, Душин засмеялся от радости и сказал всем, что от электричества в соломенной грустной избушке, может быть, начнется весь социализм, — это Октябрьская революция, превращенная из надежды в вещество.

— Нам надо, — сказал Душин, — сходить в комитет партии, пусть большевики постараются подумать об этом, пусть они надышат своей политикой теплоту в те электрические избушки, чтоб они не остыли и не потухли в таком темном, царствующем холоде…

Коммунист Боргсениус решил, что лучше всего сходить в комитет партии самому Душину — он хороший электрик, хотя пока и беспартийный, пусть объяснит точно свое мнение.

Душин пошел на другой день в комитет. Комитетом заведовал бывший истопник центрального отопления Чуняев; он обладал таким любопытством, что прочитал все архивы Земской Управы и Палаты Мер и Весов — перед тем, как сжечь их в топке водяного котла. Чуняев усвоил сообщение Душина со всей громадной силой своей души, беспрерывно готовой на любое пышное и грандиозное дело, и даже прослезился от слабости человеческого сердца. Одного он не понял — берегущей любви Душина к таинственной раскаленной точке, засветившейся в унылой тьме нищего пространства и того, что, может быть, больше ничего не потребуется для сплочения коммунизма на земле, кроме развития электричества из рек и ветра. Коммунизм уже близок, он таится в проводах, повешенных на истлевший плетень!

— А это что такое — электричество? — спросил затем Чуняев, уже согласившись на все. — Радуга, что ли?

— Молния, — объяснил Душин.

— Ах, молния! — согласился Чуняев. — Вон что! Ну пускай! А ведь и верно, что нам молния нужна! Как ты догадался? Мы уж, братец ты мой, до такой гибели дошли, что нам действительно нужна только одна молния, чтоб — враз и жарко! Научно и великолепно!.. Ну а тебе-то чего надо?

Душин выразил желание съездить в деревню — посмотреть электрическую станцию, а потом поставить добычу электричества во всенародном масштабе.

— Буржуазия, товарищ Чуняев, отчего была культурна? — спросил Душин. — У нее был пролетариат, который работал, а буржуазия только питалась и размышляла…

— Она не размышляла, она размножалась, — поправил Чуняев. — Делала вид размножения, а получалось одно наслаждение…

— Ну не размышляла, — согласился Душин. — Но у нее было время для размышления. А у пролетариата ведь нет никакого — ему самому приходится работать, ему задуматься некогда над разными вопросами мира! Вот и пусть теперь электричество поработает, а рабочий класс подумает — ему много задач предстоит в судьбе!..

— Опять-таки верно! — воскликнул Чуняев. — Пускай рабочий класс поработает с миросозерцанием, а не с балдой, пускай электричество-сволочь теперь помучается! Она ведь не живая?

— Неизвестно, — ответил Душин. — Оно тайное.

— Ну и пусть! Орудуй! Что надо — являйся ко мне — круглые сутки!

— А как же начать орудовать? — спросил Душин.

— Как-как! — раздражился Чуняев: сам он умел орудовать безо всего, даже без указаний. — Учреждаю комиссию по всему электричеству в губернии, а ты председатель! Ты член партии?

— Нет.

— Ну ничего. Будешь в виде исключения… А отчего ты не член?

— Сам не знаю, — произнес Душин.

— Зря! Напрасно! Никуда не годится! — выразился Чуняев. — Что ж ты, иль не хочешь смысл жизни строить с нами среди всего вещества? Ты чуждый что ль?

— Нет, я свой, — сказал Душин, и удивился тому, что целые массы, вся партия строит всемирную истину, а он думал, что только он один желает ее.

— Ну, ступай, — странно посмотрев на Душина, определил Чуняев. — Нечего теперь неопределенно мотаться в нужде: сделаем электричество, и весь коммунизм готов. Сильней электричества ведь ничего еще нету?

— Нет, — подтвердил Душин.

— Ну значит нам подходит! Действуй — стремись скорее вдаль, а то живешь и сердце скорбит: ни то это все верно, ни то нарочно…

— Что верно? — спросил Душин.

— А любой предмет, — объяснил Чуняев, — и человек, и вихрь… Так один не решишь же никогда: ума мало и горизонт близок, а со всеми массами может и выясним центральную точку всемирного недоразумения. Ты думаешь, мы буржуазию победили для одного торжества что ли: победили, дескать, и герои веков! Для дальнейшего движения, вот для чего. Буржуазия — одна ближняя застава, а дальше — еще тыща бугров… Что ж делать: надо терпеть, весь свет есть научный вопрос, а массы решают его своим мученьем.

— А что если, товарищ Чуняев, наука увидит в конце концов, что мир состоит из одних вопросов!..

Ярость мысли появилась на здоровом добром лице Чуняева:

— Да ну?! Оттого наверно из целых миллиардов лет и не получается ничего!.. Ну и пускай! Мы тогда сразу сделаем из этих вопросов одно решенное дело! Я ведь такой человек! И все наши массы такие! Мы дознаемся с точностью, откуда человек произошел: от обезьяны или еще хуже! Мы всех мертвецов выкопаем, самого ихнего начальника Адама найдем, на ноги его поставим и спросим: ты откуда явился жить, либо Бог, либо Маркс, — говори, старичок! Если скажет правду, Еву ему воскресим, а нет — будем перевоспитывать… Мы ведь такие люди! Мы живем ответственно! Мы — жуткие!

3

Через два дня Душин прибыл на подводе волисполкома в деревню Верчовку, где должна якобы находиться электростанция.

Душин с мученьем невозвратного свидания расстался с крестьянином-подводчиком, успев с ним подружиться за дорогу, а затем стал на ночлег в избе, отведенной сельсоветом для прохожих и бездокументных.

Наутро Душин нашел электрическую станцию, работавшую в полверсте от села — около общественного водопоя на проезжем тракте.

Английский двухцилиндровый мотоцикл «Индиан» был врыт в землю на полколеса и с ревущей силой вращал ремнем небольшую динамо-машину, которая стояла на двух коротких бревнах и сотрясалась от поспешности. В прицепной коляске сидел пожилой человек и курил махорочную цигарку; тут же находился высокий столб и на нем горела электрическая лампа, освещая день, а кругом стояли подводы с распряженными лошадьми, евшими корм, и на телегах сидели крестьяне, наслаждаясь наблюдением быстроходной машины; некоторые из

них, худые по виду, выражали открытую радость тем, что подходили к механизму и гладили его, как милое существо, улыбаясь при том с такой гордостью, точно они принимали участие в гении изобретательства.

Механик электростанции, сидевший в мотоциклетной коляске, не обращал внимания на окружающую его действительность: он проникновенно воображал стихию огня, бушующую в цилиндрах машины, и слушал, как музыкант, мелодию газового вихря, вырывающегося в атмосферу. В дождь и град, равно и в пустые ночи, механик не покидал неподвижного мотоцикла, вырабатывающего электричество, — он дремал в коляске или чинил внезапный дефект, а действия природы ему, видимо, были безразличны, поскольку вместо природы находилось более прекрасное явление — машина, в которой сосредоточилась вся трагическая сцена жизни между трудящимися людьми и всемирными силами.

На околице самой Верчовки безостановочно дымила печная труба — там в выморочной избе работал самогонный аппарат и перед ним сидел блаженный старик с кружкой в правой руке и с куском хлеба в левой: старик ждал очередного выхода безумной жидкости и пробовал ее — годится ли она для машины или слаба, и принимал свои меры. В сутки старик выгонял четыре ведра и отпивал для пробы восемь кружек, так что самодовольство опьянения у него никогда не проходило и он пел песни забвения своей жизни, когда нес ведро с топливом на электростанцию, а за ним следом мчались мужики с ложками и хлебали у него на ходу из ведра.

Душин молча изучил устройство электростанции, не обращаясь к задумчивому механику. Под сиденьем мотоцикла он прочел номер машины: Е-0-401, и удивился, что это был номер его паровоза, а под тем номером имелась еще мелкая английская надпись, означавшая в переводе воинскую часть: «77 британский королевский колониальный дивизион».

Провода от электростанции на деревню шли под землей, в глухом кабеле, и вечером торжественно сияли окна избушек, охраняя от тьмы революцию.

В начале ночи Душин вошел в одно бедняцкое жилище: он увидел, что четверо детей лежали на лавках и глядели на моргающий электрический свет, не желая спать от интереса; ихняя мать тоже выглядывала с печки на свет, надеясь, что он быть не может и вскоре погаснет; сам же пожилой хозяин сидел за столом и читал книгу под освещением, произнося вслух склады очередного слова: мо-мо-мо…

Душин издали поздоровался со всеми и сел в стороне, следя за действительно горящей лампочкой в двадцать пять свечей. Начитавшись, хозяин жилища сложил книгу, завернул ее в старую гербовую бумагу и спрятал в сундук на замок: он высоко ценил печатные мысли, потому что они давали ход его собственному соображению; он не надеялся ни на что, кроме науки, и любил свободу сердцем империалистического невольника, запертого на время в нищую хижину.

Когда они уже наговорились в течение часа, только тогда житель избы подал руку гостю и объявил себя:

— Иван Матвеевич Агурейкин, безлошадный бедняк, живу так себе, но теперь надеюсь.

— На что же вы надеетесь? — спросил Душин.

— Нас с наукой соединяют, — ответил Агурейкин и показал на электрический свет. — Всемирная мысль идет нам навстречу, я гляжу на нее и надеюсь…

Здесь Агурейкин вывернул лампу из патрона — и свет погас. Агурейкин полагал, что не следует теперь тратить без счета природные силы, поскольку они являются уже научным веществом — электричеством. Дальнейшие переговоры происходили уже в темноте, и дети тоже не спали, а шептались чего-то, все более удивляясь тревоге жизни, охватывающей их мелкие худые существа. Агурейкин же, несмотря на малограмотность, успел за революцию прочитать столько книг, что ум его тронулся с места <и> стремился в такую даль познания загадок, где неизвестно что было. Электричество, астрономию, силу тяготения и прочие естественные данные Агурейкин представлял не логическим способом, а в виде

цветущего бурьяна бушующих явлений, в дебри которого отправится навеки блуждать новое умственное человечество, освобожденное от насущной скорби своего пропитания.

Оставив Агурейкина думать о свободе человека в гуще мировых сил, Душин пошел дальше по улице электрических избушек. По всему пространству лежала теплая обширная ночь, некоторые девушки ходили по дороге со своими женихами, и без сознания шелестели лопухи в овраге. Душин спустился в овраг, постоял там в глуши, слушая рабочее биение отдаленного английского мотоцикла, и направился в другое жилище.

Кроме пожара, вихря, ливневого размыва и другого бедствия деревенской стихии, были, видимо, другие стихии, которые разрушали сельские избы с могуществом и точностью урагана. Мимо одной такой избушки Душин прошел было, но потом вернулся к ней с грустным чувством. Эта изба походила на старушку, оставшуюся одинокой в мире после похорон всех своих поколений, и жить которой было не для кого, поэтому она стояла в нечистоплотном беспамятстве, в обмороке отчаяния. Кругом избы не было двора, отходы жизни выливались тут же в землю и пропитали почву настолько, что трава давно не могла расти; ветер или время уничтожили с крыши все остатки соломы, и бедность ничем не сумела покрыть тощие жерди; побелку стен и даже глину выел дождь, так что виднелись наружу самые кости избушки — кривые бревна, уложенные туда не позднее середины девятнадцатого века, потому что с них сыпался тлен от трения пальцем; из трех окон того жилища два были заглушены вслепую каким-то прахом, но зато третье окно светилось блестящим электричеством и на подоконнике цвело растение в горшке; ни фундамента, ни завалинки у избушки не было, а если что было, то уже ушло в землю, — таким образом это ветхое жилище заживо погружалось в свою могилу. Душин прислушался: в избушке кто-то неясно пел, словно женщина.

Томимый не любопытством, а простым сердцебиением, Душин постучал в дверь, выходящую без крыльца и сеней прямо в пространство. Изнутри жилища раздался приглашающий голос, дверь была без запора — и Душин вошел.

На пустой лавке за пустым столом сидела девица и напевала стихи по книжке красноармейского песенника; она умолкла и обратилась лицом к вошедшему.

— Здравствуйте! — стесняясь, сказал Душин; он увидел черноволосую девушку прекрасной красоты, с мысленным выражением счастья на легком лице, возбужденным из глубины сердца неизвестной причиной.

— Здравствуйте и вы тоже, — ответила хозяйка и подвинулась на лавке в сторону, приглашая тем садиться.

Душин сел в каком-то сомнении к самому себе и оглянулся кругом по горнице, радуясь, что нет никого. Помещение избушки состояло из одной комнаты, в комнате была русская печь из кирпичей, истертых гревшимися когда-то людьми, около печи стоял рогач, чугун, ведро с лоханкой и сундук с бедным добром; на печке лежал зипун для подстилки в ночное время. Все было отчего-то грустно здесь, или так казалось Душину от присутствующей девушки.

— Вам чего? — спросила молодая хозяйка.

Душин сказал, что он приехал в Верчовку смотреть электричество.

— Смотрите пожалуйста! — предложила женщина и продолжала читать красноармейский песенник, только шепотом.

— После проведения электричества у вас здесь будет коммунизм, — сказал Душин.

— Пусть, — ответила девушка и вытянула руку на столе; в руке ее равнодушно бились жилы, не обещая ничего никому.

Душин промолчал; рядом с ним сидело какое-то малознакомое существо, от которого однако в сердце его начиналось тревожное бедствие: он оглядел всю ее фигуру, стараясь понять факт своего страдания более сознательно, — опухшее тело девушки жило молчаливо, от нее исходил запах тоски и пространства, и Душин почувствовал свою скуку перед нею, как перед мертвым мировым законом, с которым жить нельзя и уничтожить нет уменья. Он спросил еще девушку: чем она здесь занимается.

— А мы здесь живем! — ответила она. — В печке стоит теплое молоко, если хотите — ешьте.

— Нет, я не хочу, — отказался Душин, и действительно — он бы сейчас ничего не мог ни есть, ни пить, его желудок испугался первым, а ум опечалился, предчувствуя свое расточение в однообразной мечте любви; только тело, на потеху разумной мысли, враз стало жестким, твердым и счастливым, словно оно впервые воскресло к сознанию из мягкой и смутной бессмысленности.

Вдруг хозяйка избушки повернулась к Душину лицом, и он успел разглядеть ее глаза, как два черных бдительных сторожа, глядящие из непроглядной, хранимой ими жизни; она улыбалась, улыбка ее означала добро сожаления, помощь в гибели и недоверие. Душин понял, что ему помочь она не может, и нельзя. Может быть, она уже согласна полюбить его в ответ, но все равно они друг друга утешить не могут. Пусть он сейчас обнимет ее и совершит с ней свое чувство: они оба утомятся потом, но их скорбь друг по другу останется нетронутой и не утешится; они тогда повторят свое утомление, будут стремиться к нему каждый день в течение десятков лет — и оба умрут в конце концов, истратив все свое тело у поверхности любимого человека, и влечение их будет убитым, но не успокоенным: ничего нового они не найдут против того, что имеют сейчас, прожив вместе, вплотную даже сто лет.

Уверенный в торжестве своего сознания над бедным таинственным сердцем, Душин поднялся с места и поцеловал сидящую девушку в ее щеку — он хотел все же запомнить ее навсегда. Она молчала, не шевельнувшись.

Здесь в горницу вошел молодой исхудалый человек и стал к стороне, уставившись на хозяйку омертвевшими глазами. Никто ничего не говорил.

Дверь отворилась снова, и пришли еще двое людей, лет по двадцати пяти, еле живые от слабости сил. Затем явилось сразу четверо, такие же истомленные плохою едой, и все стали безмолвно курить от своей любви.

Хозяйка не смутилась гостей, она сидела по-прежнему невнимательно, как будто была одна.

Эти немощные, потемневшие от голода люди были, вероятно, сплошь женихами сидящей девушки, но для женитьбы у них не хватало силы в теле, и они ожидали чего-то, сторожа Лиду и друг друга.

Вскоре явился отец девушки, старик с мешком в руках, похожий на дьявола, потому что у него были черные яростные глаза и бурая бородка, жестко растущая вниз. Он отдал мешок дочери и девушка начала копаться в нем, вынимая чьи-то куски и объедки себе для пищи.

— Здравствуйте, женихи! — сказал старик всем присутствующим. — Ешь, невеста! — обратился он к дочери. — Нынче у хозяина поп из волости в гостях был, а я опивки допил и куски дочери собрал…

Его черноволосая дочь сейчас же начала есть остаточные куски с зажиточного стола, а старик, опьянев от хозяйских опивок, начал говорить всем женихам про великую идею всемирной спекуляции, которая мгновенно вдарила ему сегодня в голову при виде застольного торжества тунеядцев.

Старик враз сбегал к соседям за бумагой и чернилами и, вернувшись, велел тут же писать одному жениху письмо Владимиру Ильичу Ленину. Жених сел к столу против невесты и начал писать, не интересуясь всемирным вопросом. Старик подробно высказал свою идею превращения злобной буржуазии в смирное и бедное население, вполне покорное советской власти. Для этого надо заложить в главном банке капитализма всю Российскую Советскую Республику — и сушу ее, и всю жидкость на ней, и даже твердь над нею. А когда банк капитализма выдаст облигации на тысячи миллиардов рублей, то эти облигации поручить Владимиру Ильичу, а он пусть играет тогда пролетарскими талонами среди мировых акул на сцене хищников биржи. Раз Владимир Ильич — гений, и раз он будет богаче любого империалиста, следовательно, он легко обыграет все те элементы, которые украли мир себе в карман. Следовательно, всю буржуазную сушу вполне можно завоевать

посредством спекуляции на всемирной бирже, посредством одних арифметических действий с облигациями в гениальном уме.

— Подпишись теперь полностью за меня! — со страстью своего торжествующего чувства воскликнул старик. — Пиши подробно: батрак кулака Болдырева Иван Поликарпова Вежличев, сочувствующий всей контратаке на паразитов… Владимир Ильич, спекулируй, пожалуйста, доводи буржуазию до капитального краха, до полнейшего убытка и нищенства, ограбь ограбленное, действуй экономически, мой стаж жизни пятьдесят семь лет, тружусь в работниках полвека, вся надежда-мечта, семейное положение — вдовец и дочка Лидия, гордость республики за красоту… Все поспел написать?

— Управился, — сказал жених, и нарисовал в конце письма почему-то аэроплан.

Немного погодя, нагоревавшись без утешения, женихи разошлись в свои стороны; с хозяевами остался только один Душин, как человек нездешний.

— Пора! — сказал тогда отец общей невесты. — Ложитесь спать и вы все, природа давно уж спит, — и старик с деловой серьезностью враз залез на печку, будто это было для него главной важностью, а дневная жизнь — ничтожность.

Дочь его Лидия посидела еще несколько времени, потом сходила на двор, вернулась с охапкой травы и часть ее положила на пол для Душина, а остальное расстелила для себя около печки. Она легла, укрывшись до носа зимней овечьей шубой, и все глядела на Душина своими черными, свежими глазами, пока из-за поздней ночи не потухло электричество.

Душин лежал на траве непокрытый, охлажденный воздух полуночи проникал сквозь дверные щели и обдувал его тело: он застывал и ворочался.

Старик Вежличев сопел на печке в наслаждении беспамятства, на дальнем конце деревни уже кричали петухи, предчувствуя новые сутки, все было хотя и понятно, но в сущности неизвестно почему. Душин не мог уснуть и собирался встать, чтобы уйти куда-нибудь отсюда.

— Ты что не спишь — тебе холодно? — спросила его Лида Вежличева.

— Холодно, — сказал Душин. — Я сейчас встану и пойду…

— Не ходи, — прошептала девушка. — Иди ложись со мною, тут теплее.

Душин прополз по полу и лег рядом с нею, где ветра уже не чувствовалось. Они молча полежали некоторое время, потом Душин спросил у нее:

— Отчего вы такие бедные? У вас дом плохой, ты чужие объедки ешь, лежишь грязная — от тебя пахнет чем-то не твоим…

— Я не знаю, — ответила молодая Лида. — Мать нищенкой была, она дом по кусочкам накопила, у богатых воровала, а отец по людям работает, воровать не может, а думает чего-то, как умный…

— Тебе скучно жить? — спросил Душин.

— Нет, мы привычные, — сказала Лида.

Они оба замолчали. Старик-отец спал на печке, издавая звуки блаженства; какой-то поздний человек пел на улице в оглохшем пространстве.

— Ты любишь меня? — спросил Душин.

— Нет, — ответила лежавшая с ним черноволосая женщина. — За что тебя любить-то?

— А как же?! — озадачился Душин.

— Так, — сказала Лида. — Никак.

Тогда Душину стало не жалко ее, все равно — что будет, и он, уже не чувствуя любви к ней, ожесточенно обнял ее тело — с таким отчаяньем, как будто готовился к разрушению.

Она ничего не говорила и лежала безвольная, спокойная, как давно умолкший предмет, не чувствующий своего существования. Сначала Душин ожидал лишь пустяков, но женщина, оказалось, устроена неожиданно, и он удивился свободе своего наслаждения — видимо, природа имела истину в своем основании и не обманывала человека, увлекая его; но потом Душину стало грустно, сердце его билось теперь равнодушно, точно остуженное пронесшимся ветром, напряжение ума прекратилось, и смысл тревоги мирового вещества был теперь неинтересен — оттого, что сам принял участие в этом тревожном движении, или

оттого, что мир стоит в стороне от счастья, — и Душин обнял свою подругу спокойной рукой, тоскуя вместе с ней, что ничего не случилось в результате любви.

— Давай убежим! — сказала черноволосая Лида, тоже обнимая своего соседа.

— Давай, — согласился Душин. — Но мы потом вернемся сюда, когда станем старыми.

— Ладно, — сказала Лида. — А убежим давай сейчас.

— Давай, — опять согласился Душин, но глаза его закрылись и он решил встать через минуту.

Через минуту он пошевелил девушку и сказал ей:

— Ну, давай вставать! Пойдем.

— Сейчас, — согласилась Лида. — Сейчас я встану, дай я вытянусь только…

Душин воспользовался — и тоже вытянулся в утомлении всего тела; под его высохшими, закрытыми веками густо наливалась прохладная влага сна.

— Пойдем, — сказала Лида.

— Пойдем, — пробормотал Душин.

Еще раз — уже без слова — они потолкали друг друга, и сон разлучил их.

4

Проснувшись, они увидели пустую избу. Отец ушел еще на рассвете работать на дворе зажиточного Болдырева, члена сельского совета потребительской кооперации.

Они поцеловались, умылись и ушли из дома. Лето разгоралось над их головами, и оба они ожидали неизвестную бесконечную жизнь. Лидия Вежличева блестела на солнечном свете от своей красоты, и чувства ее бесцельно блуждали в груди, еще не имея ясной страсти и направления. Душин смотрел на нее со стороны, как на загадку природы, и все же хотел забыть ее, уйти от нее в одиночество, в работу и свободное размышление. Вчера ночью из него ушло в эту женщину что-то невозвратимое — может быть часть ума, может быть та тревога, которая причиняла несчастие, но одновременно томила жить как можно быстрее вперед. И теперь он видел мир каким-то более туманным и спокойным, будто зрение его ослабело.

Выйдя за деревню, Лида вдруг остановилась и посмотрела кругом. Всюду росла редкая, мелкая рожь — дождей не было с весны, — только бурьян бушевал в придорожной канаве; никто не шел и не ехал вблизи. Черноволосая босая девушка поспешно обняла Душина и сказала ему:

— Давай ляжем в траву полежим!

Но Душин стал скуп на свое тело, он не хотел больше тратить себя на пустяки наслаждения и отстранил прочь эту Лиду Вежличеву. Слишком еще велика и страшна природа и могуч классовый враг империализма, чтобы губить себя <на> женщину в изнеможении, опустошая сразу оба сердца.

Лида приуныла, но не обиделась; она вообще не знала еще, что делать ей с самой собой и как надо правильно существовать в этом общем мире. Однажды, не зная куда деваться от грустной тоски и не уверенная в счастье жизни, она прыгнула в деревенский колодезь, но он был мелок и наполнен сухим песком вместо воды; она не умерла и опомнилась.

Через некоторое время Душин и его спутница увидели, что в стороне от них по сухому полю пылила толпа народа. Они подождали, пока народ выйдет на дорогу, и тогда увидели попа с помощниками, трех женщин с иконами и человек сорок богомольцев. Здешняя местность имела покатость в древнюю высохшую балку, куда ветер и весенние воды отложили тонкий прах, собранный с обширных нагорных полей.

Шествие спустилось с верхних земель и теперь шло по праху в долине, направляясь к битой дороге.

Впереди шел обросший седой шерстью, измученный и почерневший поп; он пел что-то в жаркой тишине природы и махал кадилом на дикие, молчаливые растения, встречавшиеся на пути. Иногда он останавливался и поднимал голову к небу в своем обращении в глухое

сияние солнца, и тогда было видно озлобление и отчаяние на его лице, по которому текли капли слез или пота. Сопровождавший его народ крестился в пространство, становился на колени в пыльный прах и кланялся в бедную землю, напуганный бесконечностью мира и слабостью ручных иконных богов, которых несли старые, заплаканные женщины на своих отрожавших животах. Двое детей — мальчик и девочка — в одних рубашках и босиком шли позади церковной толпы и с интересом изучения глядели на действие взрослых; дети не плакали и не крестились, они боялись и молчали.

Около дороги находилась большая яма, откуда когда-то добывалась глина. Шествие народа остановилось около той ямы, иконы были поставлены ликами святых к солнцу, а люди спустились в яму и прилегли на отдых в тень под глинистый обрыв. Поп снял ризу и оказался в штанах, отчего двое детей сейчас же засмеялись.

Душин и Лида все время стояли на краю дороги, и только когда народ опустился в яму на отдых, они подошли к людям.

Большая икона, подпертая сзади комом глины, изображала деву Марию, одинокую молодую женщину, без Бога на руках. Душин всмотрелся в эту картину, а Лида пошла к остальным женщинам и вскоре занялась там делом — искала у старухи в голове, а потом старуха у нее.

Бледное, слабое небо окружало голову Марии на иконе; одна видимая рука ее была жилиста и громадна и как будто не отвечала смуглой красоте ее лица, тонкому носу и большим нерабочим глазам — потому что такие глаза слишком быстро устают. Выражение этих глаз заинтересовало Душина — они смотрели без смысла, без веры, сила скорби была налита в них так густо, что весь взор потемнел до непроницаемости, до омертвения и беспощадности; никакой нежности, глубокой надежды или чувства утраты нельзя было разглядеть в глазах нарисованной богоматери, хотя обычный сын не сидел у нее на руках; рот ее имел складки и морщины, что указывало на знакомство Марии со страстью размножения и со злостью обыкновенной жизни, — это была неверующая рабочая женщина, которая жила за свой счет, а не милостью Бога. И народ, глядя на эту картину, может быть также наслаждался втайне подтверждением своего практического предчувствия о глупости мира и необходимости своего действия.

Около иконы сидела усохшая старуха, ростом с ребенка, и невнимательно смотрела на Душина карими глазами; лицо и руки ее были покрыты морщинами, точно застывшими судорогами страдания, во взгляде был зоркий ум, прошедший такие испытания жизни, что старушка, наверно, знала не меньше целой экономической науки и могла бы быть почетным академиком.

Душин спросил у нее:

— Бабушка, зачем вы ходите молитесь? Бога же нет совсем, и дождя не будет.

Старушка согласилась:

— Да и наверно, что нету, — правда твоя!

— А на что вы тогда креститесь? — спросил Душин далее.

— Да и крестимся зря! Я уж обо всем молилась — о муже, о детях, и никого не осталось — все померли. Я и живу-то, милый, по привычке, разве по воле, что ли! Сердце-то ведь само дышит, меня не спрашивает, и рука сама крестится: Бог — беда наша… Ишь убытки какие — и пахали, и сеяли, а рожон один вырос…

Душин недоумевал в огорчении.

— Не молитесь, бабушка, лучше никому. Природа не слышит ни слов, ни молитвы, она боится только разума и работы.

— Разума! — произнесла старуха с ясным сознанием. — Да я столько годов прожила, что у меня разум да кости — только всего и есть! А плоть давно вся в работу да в заботу спущена — во мне и умереть-то мало чему осталось, все уж померло помаленьку. Ты погляди на меня, какая я есть!

Старуха встала перед Душиным и приподняла юбку, забыв про стыд, про любовь и всякое другое неизбежное чувство. Верно было, что на старухе немного осталось живого

вещества, пригодного для смерти, для гниения в земле. Кости ее прекратили свой рост еще в детстве, когда горе труда и голода начало разрушать девочку; кости засохли, заострились и замерли навеки. Нажитое в молоке матери тело тоже впоследствии истощилось в ручном труде, способном прокормить не только старуху, но еще двадцать человек, если б только законы природы и людей не расхищали плодов ее согбенного усердия. Но это расхищение коснулось даже самой плоти старой крестьянки, и она была раскрадена и уничтожена почти без остатка, — только в умозрении можно догадаться, как случилось такое событие, — но тех, кто именно съел живой вес старушки, можно было собрать фактически и убить. И вот теперь Душин видел ничтожное существо, с костями ног, прорезающимися, как ножи, сквозь коричневую изрубцованную кожу. Душин нагнулся в сомнении и попробовал эту кожу — она была уже мертва и тверда, как ноготь, а когда Душин, не чувствуя стыда от горя, еще далее оголил старуху, то нигде не увидел волоса на ней, и между лезвиями ее костяных ног лежали, опустившиеся наружу, темные высушенные остатки родины ее детей; от старухи не отходило ни запаха, ни теплоты. Душин обследовал ее, как минерал, и сердце его сразу устало, а разум пришел в ожесточение. Старуха покорно сняла платок с головы, и Душин увидел ее облысевший череп, растрескавшийся на составные части костей, готовые развалиться и предать безвозвратному праху скупо скопленный терпеливый ум, познавший мир в труде и бедствиях.

— Придет зима, я и соседу пойду поклонюсь, — сказала старуха, — и у богача в сенцах поплачу: все может пшена подживусь до лета, а летом уж погибелью своей буду отплачивать — за мешок полтора мешка, да отработки четыре дня, да почету ему на пять мешков… Разве мы Богу одному только кланяемся — мы и ветра боимся, и гололедицы, и ливня, и суши, и соседа, и прохожего человека, — и на всех крестимся. Разве мы молимся оттого, что любим! Нам и любить-то нечем уж!

Она задрала кофту и показала грудь — на ней висели два темных умерших червя, въевшихся внутрь грудного вместилища, — остатки молочных сосудов, — а кожа провалилась между ребер, но сердце было незаметно, как оно билось, и вся грудь была так мала, что только немногое и сухое могло там находиться, — чувствовать что-либо старухе было уже нечем, оставалось лишь мучиться и сознавать мысленно.

Такая грудь ничего уже не могла делать — ни любить, ни ненавидеть, но на ней самой можно было склониться и заплакать.

Душин отошел прочь, наполненный думой и скорбью. Толпа народа начала собираться с отдыха, и весь крестный ход, молившийся о дожде, направился назад на деревню. Осталась одна старуха, говорившая с Душиным, и еще Лида Вежличева, бегущая из отцовского дома.

Старуха желала еще немного передохнуть, и все равно бы она теперь не поспела идти за людьми на своих детских мелких ногах, когда народ пошел по-деловому и поп шагал в штанах.

Увидев ее состояние, Душин поднял старуху на руки и понес ее к деревне, как восьмилетнюю девочку, сознавая громадную производственную ценность ветхой труженицы. А Лида, побыв одна в тоске, пошла обратно за Душиным, опуская растущие теплые ноги в горячую пыль дорожной колеи.

5

Не доходя до деревенской околицы, Душин временно опустил старушку на землю и велел Лиде одной идти в Ольшанск, — к заходу солнца она уже успеет дойти до места.

Около города, на железной дороге есть заброшенная, необитаемая будка — там стоит маленькая железная башня с сигнальным колоколом, — в этой будке Лида должна пожить одна до возвращения Душина, потому что он не знал, где ее приютить; сам он жил у бедной многосемейной тетки, и тоже не хотел больше находиться у нее. Он дал Лиде денег, она взяла их с безотчетностью юности и пошла одна, наполненная чувством надежды, имея лишь слабое сознание о своей будущей судьбе.

Душин поднял старушку и понес ее дальше. У одной попутной избушки старушка слезла с его рук. Душин поцеловал ее во что-то на лице и решил посвятить ей жизнь. Старуха пошла за плетень своего хозяйства и сразу забылась там в одурении своих текущих забот, как будто от ее трудов зависело благосостояние вечности.

Душин же направился в сельсовет. В сельсовете сидел один пожилой делопроизводитель, а председатель уехал ловить остаток бандитов.

Душин предложил делопроизводителю победить засуху насосом, пользуясь электричеством от действующей мотоциклетной станции, свет же лампочек пусть потухнет на время.

— Я здесь автоматическая сила, — сказал делопроизводитель. — А твой вопрос взойти обязан — вверх высоко — до общего собранья!

— А когда приедет председатель? — спросил Душин.

— Как всех бандитов умертвит — он без победы никогда еще домой не возвращался, — сообщил делопроизводитель. — Он гений слов, ты сам его увидишь! Его супруга кончилась недавно от голода и лютости людской, а дети бегают безумно, впиваясь в сердце своего отца…

Душин вышел наружу, лег в тень и нечаянно заснул, утомленный быстротою своей жизни.

К вечеру приехал председатель совета, и делопроизводитель указал ему на спящего. Председатель потолкал Душина ногою и велел ему сразу встать на ноги.

— Не время сна, не время спать, пора весь мир уж постигать и мертвых с гроба поднимать! — произнес председатель над спящим.

Душин в ужасе опомнился; поздняя жара солнца, как бред, стояла в природе. Над ним наклонился человек с добрым лицом, морщинистым от воодушевленного оживления, и приветствовал его рифмованным слогом, как брата в светлой жизни.

— Вставай, бушуй среди стихии, уж разверзается она, большевики кричат лихие и сокрушают ад до дна!

Но у Душина тогда была в уме не поэзия, а рачительность. Поднявшись, он сказал председателю про насос и мотоциклетную электростанцию.

— Мне ветер мысли все разнес, — ответил председатель, — и думать здесь я не могу про… А дальше как? — спросил вдруг председатель у делопроизводителя.

— Про твой насос! — добавил делопроизводитель.

— Про твой насос!.. Пойдем ко мне в мою усадьбу, — продолжал председатель во вдохновении сердца, — ты мне расскажешь не спеша: могилы ждешь ты или свадьбы, и чем болит твоя душа.

В сельсовете Душин с точностью изложил главе деревни свой план, который касался орошения сухой земли водою, чтобы прекратить крестные походы населения за дождем.

— Провижу я чело твое младое! — воскликнул председатель. — В ответ гремит тебе отсюда, — он показал на грудь, — сердце боевое!

Душин спросил его:

— У вас есть общественная огородная земля, чтоб там не было многих хозяев?

Председатель без размышления сразу дал справку:

— Земля такая есть. Она была коровья. Теперь же стала вдовья и отведена семействам — как их такое?.. — сбился председатель.

— Семействам больраненых красноармейцев! — сказал добавочно делопроизводитель. — В ней сорок десятин. Там пашет, жнет и сеет орган власти — сельсовет! Там было раньше староселье, теперь же пустошь, зато осталось удобренье и злак растет, как дым зимой из труб. Ну а теперь, конечно, все засохло — нам без воды и солнце ни к чему!

Душин сообразил, что, может быть, мотоциклетной силы не хватит для поливания водою сорока десятин, но все же решил полить хоть часть этой наиболее бедняцкой земли — вдовьей и красноармейской.

Председатель, узнав про мероприятие Душина, не мог больше выразиться и тут же заплакал.

— Это я от стечения обстоятельств, — сказал он немного погодя, не употребляя стихов.

В течение двух последующих дней Душин, председатель, делопроизводитель и механик мотоциклетной электростанции трудились над установкой мотоцикла на новом месте — на берегу маловодной речки Язвенной, которая слабо текла куда-то в обмороке жары. Здесь, начинаясь с берега, была вдовья и красноармейская земля, обрабатываемая сельсоветом на общественных лошадях. Несмотря на плодородие низинных угодий, сейчас там росли только редкие посадки картофеля, а за ними — мелкие просяные колосья; но все растения были в изнеможении, они покрылись смертельной пылью знойных вихрей и клонились вниз, чтобы вернуться обратно в темноту праха и сжаться в свое первоначальное семя.

В этих же посевах с терпеньем росли купыри, репей, бледные цветы «златоуста», похожие на лицо человека с выраженьем сумасшествия, и прочие плевелы, которыми всегда зарастает земля во время действия стихий.

Душин всюду пробовал почву; она была как зола, сгоревшая на солнце, и первый же ураган способен был поднять всю пыль плодородия и развеять ее бесследно в пространстве.

После установки мотоцикла, председатель и Душин задумались о насосе. Они поискали его по сараям зажиточных мужиков, грабивших помещиков с наибольшим хладнокровием и жадностью, и нашли там много добра, даже картины Пикассо и женские мраморные биде, а никакого насоса не было.

— Потеха жить и наслаждаться, — сказал председатель, — насоса нет, но есть любовь, и чашка, чтобы обмываться.

Он имел в виду женское биде для обмывания тела.

В конце концов Душин снял железную бляху с мотоцикла, обозначавшую английскую интервенционную воинскую часть, и вырезал из нее в кузнице две лопасти. Затем по приказу председателя была раскрыта железная крыша с дома сельсовета, и то железо пошло на изделие остальных пяти лопастей, а также кожуха для насоса и труб для всасывания и нагнетания воды.

Еще трое суток Душин поработал у мотоцикла, пока не посадил семь лопастей на спицы заднего колеса машины и не обрядил колесо в кожух. Таким образом он соорудил центробежный насос из колеса мотоцикла, он организовал водокачку вместо электрической станции; однако он ничему не помешал: когда вода не потребуется земле, можно опять вертеть динамо и давать свет в избушки.

Через пять дней мучительного труда среди полевого неустройства Душин и механик пустили мотор мотоцикла и вода пошла на землю вдов и красноармейцев; но поток ее был слишком слаб — ведер сто в час, и нужно было еще развезти воду по всем посевам, что требовало усердия населения.

Но председатель не огорчился и сказал:

— Пускай наука только каплю даст, мы выжмем море туловищем масс!

На другой день председатель, делопроизводитель и двадцать женщин с худыми мужчинами-бедняками повели воду под лопату вглубь полей, но ручей воды иссох уже вблизи водокачки. Из расщелин земли, пугаясь влаги, полезли ящерицы, пауки, сухие членистые черви неизвестной породы и твердые мелкие насекомые, точно сделанные из меди, — они, следовательно, и должны наследовать землю, если тучи не соберутся в атмосфере.

Вдовы окружили Душина и начали ругать его за недостаток воды и за бедную силу машины. Душин выслушал их без боязни, а председатель произнес заключительное слово. Он глядел в туманное, томительное небо одичалого лета и говорил среди тишины природной безнадежности:

— О, граждане, не тратьте ваши звуки — среди такой всемирной бедной скуки… Стоит как башня наша власть науки, и этот вавилон из ящериц, засухи разрушен будет умною

рукой. Не мы создали божий мир несчастный, но мы его устроим до конца. И будет жизнь могучей и прекрасной и хватит всем куриного яйца! Не дремлет разум коммуниста, и рук ему никто не отобьет. Напротив — он всю землю чисто в научное давление возьмет… Громадно наше сердце боевое, не плачьте вы, в желудках бедняки, минует это нечто гробовое, мы будем есть пирожного куски. Я тоже ел три дня назад, жена моя лежит в гробу, детишки ходят к ней под крест, чтоб поглядеть где ад, где мать родная им кричит свою мольбу! Но не горюет сердце роковое, моя слеза горит в мозгу и думает про дело мировое свое великое гу-гу!..

Председатель устал от жары и семейного страдания по умершей жене, хотя лицо его не потеряло доброты своих складок, и он сказал прозой бабам-вдовам, смотревшим на него с ужасом, как на представление, и с улыбкой любви, как на свою власть:

— Ступайте, женщины, копать канаву дальше. Машина эта — интервентка, она была за белых, теперь ей неохота лить воду в пролетарский огород…

Душин с жадностью страстного размышления наблюдал напряженную работу мотора; машина шла на сбавленных оборотах и тяжко упыхивалась от перегрузки. Душин опробовал все тело машины — оно сильно грелось и мучилось, крепкий самогон взрывался в цилиндрах с жесткой яростью, но легкое подсолнечное масло не держалось в трущихся частях. Мотор трепетал в раме, и неясный тонкий голос изнутри его механизма звучал как предупреждение о смертельной опасности.

Душин понял машину и прекратил ее злобный сухой ход. Он снял кожух с колеса, служившего центробежным насосом, затем убавил число лопастей на колесе с семи до четырех и опять надел кожух. Душин хотел разгрузить мотор, чтобы он дал лучшую скорость, и тогда четыре лопасти будут работать сильнее семи.

В это время настал вечер; все люди ушли на отдых, только Душин и председатель остались сидеть на берегу слабеющей, сочащейся реки. Душин не спешил пускать мотор, он хотел догадаться еще о чем-нибудь для более свободного движения машины.

Солнце зашло в бесконечном пространстве, внизу осталась тьма и озабоченные люди с трудным чувством в сердце, поникшие в избах без всякой защиты от равномерного гибельного действия природы. Вскоре к председателю пришли его дети — мальчик и девочка, — те самые, которых Душин видел в крестном ходе о дожде. Они оголтели от голода и бесприютности и бросились к отцу, радуясь, что нашли его и будут ночевать вместе в страшной темноте; хлеба они уже не просили, радуясь тому, что хоть есть у них отец, который их любит и сам ничего не ест. Отец прижал к себе слабые тела своих детей и стал искать в карманах чего-нибудь, чтобы покормить их, но находил лишь мусор и отношения волисполкома. Тогда председатель решил успокоить детей своей теплотой; он обнял их обоих громадными руками, приблизил к своему теплому животу, и все трое заснули на ночной земле.

Душин догадался, что надо сделать: нужно свернуть из пакли фитиль, опустить его одним концом в воду и обмотать им цилиндры мотора — тогда вода будет сочиться по фитилю, а машина почувствует прохладу и даст лишнюю мощность. Он нашел паклю в прицепной коляске — в ящике механика, и к полночи совершил работу до конца. Затем он подошел к спящему семейству председателя совета и не знал, что делать — качать ли воду, чтобы обеспечить хотя бы на осень пищу этим детям, или подождать, потому что дети проснутся от шума мотора и немедленно начнут мучиться без еды.

Бывший паровозный машинист сел к воде от раздумья. Он поглядел в звездное скопление на небе, на это будущее поприще течения человечества — в бессмертную сосущую пустоту, наполненную тонким тревожным веществом, бьющимся в ритме своей неизвестной судьбы, — и стал думать об электричестве, что всегда ему приносило удовольствие. Он вспомнил о Лиде Вежличевой, своей нечаянной невесте, и, озаботившись что ему делать с ней, — решил сделать из нее электрика слабых токов.

Вдруг он обернулся к деревне — там раздался взрыв какой-то бочки, а потом шипение пара, и опять стало тихо. Председатель проснулся, поднял спящую голову, сказал стих —

«дети в мозгу кричат агу» — и снова уснул.

Учитывая крепкий сон семейства, проспавшего взрыв бочки, Душин пустил мотор. В черные угодья пошел толстый поток воды из нагнетательной трубы; мотор теперь вращался на хороших оборотах, грелся мало и не пел мучительным голосом утомления из глубины своего жесткого существа. Душин тихо ходил вокруг бьющейся в напряжении машины и наблюдал спокойное течение ночи в мире; экономя силы своего сердца и разума, он избегал воспоминания о Лиде и сосредоточенно направлял вперед, в далекую неясность свое воображение — и видел имущество будущего человечества сначала в приобретении электричества, а затем и той последней, еще неощутимой, материнской силы, на верху которой играет электрическая пульсация, будучи сама лишь отдаленной слабой дрожью на поверхности неведомого гигантского остервенения.

Душин смерил ведром подачу воды в минуту времени — оказалось, что насос теперь дает около двухсот ведер в час, в два раза больше прежнего. В кармане он нашел сухой кусочек городского хлеба и стал есть его, стараясь закончить еду поскорее. Он втайне боялся внезапного пробуждения председателя или его детей, которые обязательно попросят у него пищи, тогда как она нужна ему самому, чтобы сохранить в себе силу для размышления. Уже дожевывая, Душин наклонился к детям — они смутно и неравномерно дышали в своем скучном сне, смирившем в них страдание голода. Только отец их лежал со счастливым, обычно приветливым лицом: он господствовал над своим телом и надо всеми мучающими силами природы и общественного неблагоустройства; магическое напряжение гения беспрерывно радовало его сердце, верующее в могучую долю пролетарского, бедного человечества.

Видимо, что-то переполнило сознание председателя — он нечаянно открыл глаза, увидел дожевывавшего Душина и сразу сказал как неспавший:

— Пора не только жизнь страдать, но также хлеб во рту жевать…

Душин в испуге проглотил остаток пищи и задумался.

Из темноты речной долины вышли к машине два человека — выспавшийся механик и незнакомая старушка большого роста.

— Идите вот теперь, — сказала старушка, — идите мужика моего подымайте: мужчина весь обмер, свалился, и сердце в нем не стучит. Все для вас, чертей, коффей этот варил…

Душин равнодушно обратился к механику мотоцикла, учась быть хладнокровным среди событий. Механик представил старушку как жену старичка, который варит круглые сутки самогон специальной крепости для снабжения мотора. Ввиду отсутствия прибора, измеряющего градусы крепости, старичок обычно брал в одну руку кружку, в другую кусок посоленной закуски, что-нибудь вроде картошки, и ожидал с посудой у отводящей трубки котла, пока оттуда закапает. Но нынче старичок не сразу раскушал качество топлива; он завернул кран на трубке, подложил дров в огонь и заснул с опорожненной кружкой и картошкой в руках; котел накопил давление, взорвался и мощный газ выбросил старичка из самогонной избушки вместе с дверью и двумя оконными рамами. Сейчас старик лежит и постепенно опоминается, а завтра начнется ремонт взорвавшейся установки.

— Чего же вы хотите? — спросил Душин у старушки. — Это авария, а сельсовет здесь ни при чем.

— Льготы какой-нибудь, — ответила бранившаяся старуха.

— Хорошо, я запишу, — ответил Душин и, вынув книжку, написал там: «скорее надо организовать мир на покой».

Старуха враз успокоилась. Душин дал механику устную инструкцию о насосе и пошел пешком по теплой ночи в Ольшанск.

6

Проблуждав по уездным дорогам остаток ночи и весь новый день, Душин поздним вечером дошел до заброшенной железнодорожной будки.

Дверь была не запертая, ее нечем было запереть. Лида Вежличева спала на подстилке из сухой полыни, раздевшись догола от ночной духоты. В единственной комнате стало теперь чисто и приятно, хотя никакой мебели не стояло. Поздняя луна освещала женщину на полу, такую странную благодаря толщине и бессознательности различных частей своего большого дикого тела, что было удивительно, как Лида могла быть в тот же момент человеком. И однако лицо ее, отделенное от нижнего корпуса, даже во сне светилось духом печали и смысла — печали, может быть, от одиночества и ожидания неопределенной жизни. Душин разделся и лег тихо рядом с нею. Любовь мгновенно напряглась в нем, но он подавил ее размышлением, что мир далеко еще не благоустроен и надо экономить в себе давление души для организации истины и хозяйства. Понюхав Лиду около шеи, Душин подумал безумную мысль, что от нее пахнет свободой, водою озер и травяным ветром бегства в степи, — но тут же отрекся с рациональной улыбкой:

— Это лишь пот и нечистота! — и заснул в блаженстве своей победы над стихией наслаждения.

Наутро Лида проснулась и обрадовалась; она первая поцеловала Семена Душина и приготовила ему на завтрак тюрю в железной кружке. Душин велел ей ожидать его, а сам пошел к Щеглову, чтобы узнать про текущие дела в городе.

Щеглов спал в сарае с деревянной крышей, утренний свет проходил в скважины теса и освещал хлам, как таинственную драгоценность. По дворам в мелких провинциальных садах вскрикивали птицы, вертясь на ветках, женщины гремели хозяйственной утварью, плакали дети от пробуждающегося зла, и вдалеке, точно в синеве счастья, гудели в пространствах мчащиеся вперед паровозы. Щеглов давно проснулся и слушал этот ежедневный шум жизни, казавшийся ему жалобным и милым голосом свободы, поющим в окружении сверкающей, но непроходимой бесконечности.

Щеглов отворил дверь для освещения и стал читать толстую книгу, называвшуюся «Исследованием о нуле», которая у него лежала под подушкой; он был сильно, до ежедневного сердечного содрогания заинтересован жизнью и до сих пор не мог освоиться и привыкнуть, чтобы чувствовать все обыкновенно, — его поражало, что ему достался случай существовать с открытыми глазами, точно он помнил свое вечное мучительное забвение в темноте земли; он с робостью и внимательным удивлением рассматривал людей и весь всемирный вид, еще не имея какого-либо сознательного желания и собственного характера и не стремясь ни к господству, ни к наслаждению. Он ходил на свете согнувшись, как будто носил горб или груз житейской тягости, и сосредоточенно вглядывался во что-то привлекательное для него, а в тишине он долго прислушивался к странному течению жизни внутри самого себя, и тогда на лице его появлялась озадаченность.

После смерти родителей, всех братьев и сестер, Щеглов жил у знакомых и никак не мог отвыкнуть от любви к погребенному отцу и матери; иногда он просыпался ночью и сразу плакал — в такой грусти, которую утешить не может никакое торжество в жизни.

Пришедший Душин попросил Щеглова перенести его вещи от тетки в железнодорожную будку, где находится Лида; сам же он должен явиться к товарищу Чуняеву.

Щеглов целых полдня нес вещи Душина в его новое жилище, потому что правая иссыхающая рука не давала подмоги, а одинокая левая обессилела, и он часто отдыхал в тени заборов.

В момент прихода Щеглова в железнодорожном домике никого не было. Щеглов сложил вещи, увидел на окне полотняную женскую рубаху и сел в неловкости. Вскоре отворилась дверь, и в свете смутной сухой жары из надворной природы появилась Лида с ведром воды в руках и остановилась на минуту, увидя чужого человека.

Вымывшись у колодца, она была сейчас вся влажная и свежая, но утереться ей было нечем, и прелесть ее лица светилась в тени ее черных волос. Щеглов встал в застенчивости и сказал, зачем он пришел.

— Ну, спасибо вам, — ответила Лида, и спросила: — А как отсюда ехать в Москву, и

сколько дней и ночей?

Щеглов сказал, что два дня и полторы ночи.

— Далече, — произнесла Лида. — А я думала — поезда идут шибко!

— Они шибко, но пространство длинное и путь расшатался в Гражданскую войну, — объяснил Щеглов с подробностью. — Согласитесь с этим масштабом! — и здесь весь Щеглов покраснел, сказав не своим голосом чуждые для него слова.

— Да, это вполне определенно, с масштабом я согласна, — выговорила Лида и, тормозя ладонями по стене, опустилась на пол против Щеглова, который сидел на вещевом теткином узле Душина.

Снаружи загремел долгий товарный поезд; после него Лида спросила:

— А на товарном если ехать — такой же масштаб или хуже?

— Хуже, — пояснил Щеглов. — Там вас ожидают различные неудобства, в теплушках вас могут коснуться паразиты насекомых… На товарных ехать всегда бывает странно…

Лида Вежличева сделала на лице вид размышления и с важностью потерла одну губу о другую.

— Да, это правда — ехать бывает странно, — выразилась она. — Но если дюже хотится, то не хватает терпежу!

— А вы ради чего хотите ехать? — с учтивостью спрашивал Щеглов, чувствуя почему-то позор внутри себя.

— Так, для обыкновенного интереса, — ответила девушка с уклончивым равнодушием.

— Наверное, учиться будете в Москве?.. Теперь все желают учиться — сейчас удивительная тяга к науке.

Лида прищурилась от серьезности:

— Ну конечно… Я тоже хочу быть приличной, ведь жить в деревне ужасно невозможно.

Они замолчали от чувства совести и стыда, заполнившего оба ихние сердца.

— Революция — прекрасная сила! — сказал Щеглов в напряжении молчания.

— Да, вероятно, — поджав в морщины молодые губы, согласилась Лида Вежличева.

— Вы, должно быть, не здешняя гражданка?

— Нет, мы тамошние…

Они снова замолчали.

— Ваш отец был доктором? — спросил Щеглов.

— Немножко… А потом он купил постоялый двор и винокуренный завод, и мы были богатые, гусей ели за ужином…

Щеглов понял теперь ее неизбежную отдаленность от него и со скукой опустил голову: отец Щеглова был столяром.

Вдруг слезы показались на черных глазах, и Лида рассмеялась, освобождаясь от стеснения лжи…

Мимо будки через каждый час или два шли поезда, а Щеглову казалось, что они едут почти беспрерывно и мешают тишине его разговора с невестой Душина. Они не ели, не пили ничего с утра, и есть не хотели, а все время были заняты чем-то трудным, грустным и счастливым, томительной неопределенностью сердца. Но вот однажды Щеглов почувствовал, что поезда перестали ехать, он посмотрел на окно — там была синяя тьма, ночь: все, оказывается, уже окончилось, надо идти домой.

Душина все не было, его наверно задерживал Чуняев по электрическим государственным делам. Лида собрала, что у ней было, на ужин, и они съели его с аппетитом, точно холодная тюря была гусем, а потом Лида без забот, без всякой ответственности легла спать на полу, как смирная раба природы, которая всегда ложится, раз в мире наступила тьма. Щеглов не ушел, он сидел дальше неотлучно, лишь изредка прохаживаясь по комнате и следя за железнодорожными огнями в степи, светившимися в равнодушной теплой мгле. Ничто не соответствовало его сердцу и не утешало наставшей тоски.

Лида мирно сопела во сне, и лицо ее приобрело жалобное выражение давно прожитого младенчества; по еще не забытой детской привычке она брыкалась ногами, раскидывалась и волновалась в движениях, помогая телу расти и развиваться; наконец она раскрылась вся и стала вовсе голой и беспомощной. Тогда Щеглов всмотрелся в нее с силой бьющегося сердца и увидел среди нее, чего он не видел никогда — чужое и страшное, как неизвестное животное, забравшееся греться в теплые теснины человека из погибших дебрей природы, или как растение, оставшееся здесь, в соседстве с сердцем и разумом, от ископаемого мира. Это существо, непохожее на всю Лиду и враждебное ей, было настолько безумно и мучительно по виду, что Щеглов навсегда отрекся от него, решив любить женщину в одном чувстве и размышлении. Только раз он потрогал осторожно поверхность девушки своей правой иссохшей рукой и удивился химической нежности ее кожи, еще не разрушенной морщинами страстей и утомления.

Пока он разглядывал спящую, луна вышла на уровень окна и осветила девушку как прожектором, но извне к окну подошел Душин и заслонил свет. Щеглов не замечал наблюдающего товарища, он сидел лицом к спящей, спиной к окну.

Душин сразу увидел все и почувствовал неустойчивость в своем сознании; горячая, сладостная тревога, не имеющая никакой мысли, прошла по его телу, и Душин сам удивился ее бессмысленности. Он отошел от окна и стал делать соображения в уме, подводя итоги движением руки в воздухе, как в беспамятстве; затем он направился в дом и велел Щеглову уходить, потому что надо спать. Щеглов ушел, а Душин лег с Лидой рядом и осмысленно стал ее мужем, дабы ликвидировать в себе излишки тела, накапливающиеся в качестве любви, и спокойно сосредоточиться на серьезности жизни. После этого Душин сейчас же захотел есть, чтобы немедленно возместить ущерб, причиненный своим силам любовью. Лида босая пошла, поискала и дала ему корочку хлеба. С тех пор Душин всегда закусывал любовь хлебом.

7

В течение лета Душин писал по указанию Чуняева книжку об устройстве коммунизма на силе электричества, причем воображал себе электричество в виде могучего укрепленного укрытия, возведенного вокруг будущего, мирного подворья человечества, для защиты его от смертельного волнения природы.

Лида училась в подготовительной группе совпартшколы, но по вечерам была свободна и часто встречалась со Щегловым, который жил без изменения. Вдвоем они ходили по полям, сидели над оврагами и говорили разные ничтожные вещи; при этом Щеглов никак не мог понять ум или достоинство Лиды — она ничем не интересовалась, быстро забывала, чему ее учили, и была глупа и красива, как ангел на церковной стене. Но зато простота, как греющий ветер, жила в душе Лиды, и она часто обнимала Щеглова по дружбе, и не отказала бы ему ни в чем, если б он захотел, потому что не ценила себя и ничем не гордилась.

Однажды они были на закате солнца у опушки мелкого обглоданного леса. Лиду охватило внутреннее волнение, она села в траву и заплакала по отцу-бедняку, которому она ничем не помогает, потому что у нее у самой одно платье и ноги босые. Щеглов спросил у нее: какой человек — ее отец? И здесь Лида представила ему своего отца: она встала, веселая улыбка прошла по ее лицу, и она изобразила изможденного старичка, в счастливом воображении беседующего с Лениным о всемирной славной судьбе бедноты и спорящего с миллиардерами о курсах котировки награбленных капиталов: старик-отец изучил империализм вплоть до акций и советовал своему правительству провести на парижской бирже такую махинацию, чтоб сразу нажить весь мир пустым способом ухищрения. Как изможденный чуткий дух, бормотала Лида непонятные ей самой слова, и лицо ее покрылось ветхостью старости, губы шевелились, как тряпки, и тело усохло в страсти выражения ослабевшего далекого человека. И в то же время насмешливая улыбка, как печаль, скрывалась в лице Лиды, и глаза ее глядели равнодушно, чтобы не ошибиться, готовые ко

всякому мгновенному, точному, но бесследно и безжалостно исчезающему чувству.

Через месяц начались выпускные экзамены в Институте, где учились Душин и Щеглов, и оба они получили профессию инженеров по электротехническим работам. На выпускном вечере в Институте была и Лида, а товарищ Чуняев говорил речь о всей задаче человеческой жизни на земле и так резко размахнулся жестами, что тело его чуть было не изувечилось от радости. Он говорил, как академик революции, и предлагал советским юношам и девушкам найти ход к истине путем производства, посредством труда в тяжелом веществе, а не путем задумчивого размышления, — в тесноте борьбы с врагами, а не на просторе одиночества.

Чуняев открыл перед присутствующей молчаливой молодостью бесконечность истории и под конец осветил ее электричеством, прожектором пролетариата.

— В одной руке рабочий класс держит меч власти, — сказал Чуняев в безмолвный, мечтающий зал Института, — а в другой… другой же рукой он схватывает молнию науки, красную жар-птицу всего рабочего человечества… Да здравствует наш рабочий инженер, вооруженный ум пролетариата!..

После речи наступило торжество. Пришел малочисленный оркестр трудовой армии и начал робко играть первые вальсы мирной жизни. Студенты отвыкли танцевать благодаря войне и теоретическим занятиям и плохо шли под музыку, только одна Лида враз почувствовала мелодию и быстро приучила к ней движение ног. Однако на звук оркестра в зал Института вскоре набрались с воздуха какие-то ожившие послевоенные девицы кухарочного образца и привели с собой под руку будущих пижонов. Они энергично освоили зал и показали класс по танцам молодым инженерам, которые держались в стороне от этой стихийной уличной юности. Но Лида не выдержала, она вошла в круг танцующих, и ее взял лучший парень, оценив достоинство ее красоты, а оставленная подруга того парня пошла в уборную, чтобы порыдать там от ревности и приготовить химическую присушку своему ухажеру против черноволосой разлучницы.

В полночь Душин взял под руку Лиду и пошел гулять с нею, пользуясь светлой ночью; вместе с ними шел Щеглов, неся на груди свою немощную руку, как будто бы он держал невидимого ребенка.

Все трое шли в молчании, в неясности своей дальнейшей жизни, ибо революция в те годы была как пространство — открытое, свободное, но еще не заполненное, — и его пустота висела над сердцем, как тревога и как опасность. Душин бормотал в уме слова об электричестве и населял им в своем воображении всю революцию. Он поглядывал иногда на дальние звезды и решал с успокоением, что это суть короткие замыкания тока в хаосе сил бесконечности.

— Сеня, вас учили, сколько звезд на небе? — спросила Лида у мужа. — Там, наверное, интересно!

— Их бесконечное число, — ответил Душин.

— Как же так? — с разочарованием опять спросила Лида, она не знала — сколько это: бесконечно.

— А сколько же?! — допытывалась она.

— Говорят тебе — бесконечность!

Но Лида была в недоумении: она привыкла воображать все слова в виде предметов, и только тогда в них верила, а бесконечности вообразить не могла.

— Ну тогда — пускай! — сказала Лида, отвергая бесконечность как несуществующее.

— Это ошибка, — произнес Щеглов, — бесконечности нету — мы просто не знаем еще, сколько звезд на небе, вот и все. А это число все равно есть. Если б звездам не было числа, то их бы ни одной не светило на небе…

— И верно что! — сказала Лида, не понимая, но удивленно чувствуя простое соображение Щеглова.

— Но как весь мир-то стал быть?

Щеглов поглядел на нее с обычной кротостью.

— Наверно, не было ничего и законов никаких не было, — сказал он. — И случилось,

что попало — сразу все, как взрыв, и стало интересно…

Щеглов сам не знал, почему это казалось ему верным; ум его иногда думал без спроса, нечаянной силой своего внутреннего запаса, и легко показывал ясные пространства действительности.

Душин промолчал в недовольстве: он решил больше не разбазаривать своих сил на размышление о бесконечности, поскольку она не имеет отношения к человечеству на поверхности земли, к организованному устройству прекрасной жизни.

Они пришли в поле; свет луны освещал камни шоссейной дороги и повисшие пыльные листья придорожной ракиты. Дорога уходила в уезд, в тьму невежества и разорения, где сейчас спали люди, потерявшие смысл своей жизни в тягости разрушительного труда на буржуазию, в тифу и в побоищах войны. И только теперь — несколько месяцев — они увидели, что на земле стало тихо, и начали пахать, сеять и трудиться сами на себя, и сила уставшего народа опять скоплялась внутри его. Снова восстанавливалось мирное теченье природы, свободное дыханье всех ее матерьялов.

С жадностью глядел Душин в эту смутную окрестность: он знал способ учреждения повсеместного счастья — для всех мирных, трудящихся, соединенных людей: это — электричество; и слюна собралась во рту Душина от предчувствия торжества пользы и разума. Верстак сапожника, печь для варки металла, лампочка на столе научного вождя, теплая вода для ребенка, хлебный плуг, мчащийся поезд, орошение, цветущие яблочные сады — все должно производиться могуществом электричества, дрожащей силой мироздания, действующей под руками человека.

Полагая, что и медицина получит развитие от электричества, Душин сжал локоть Лиды и решил любить ее сегодня ночью, истратив немного самого себя, а в будущем электрическая медицина сумеет восстановить его тело, пожертвованное на женщину.

Они стали возвращаться и пошли ближней дорогой. На околице города они перешли путь железной дороги и миновали депо. Позади депо рельсы уходили прямо в степь, но здесь не было езды, а на рельсах, обросших бурьяном, стояли мертвые паровозы — на целую версту в даль. Двое юношей и молодая женщина с ними медленно проходили по фронту остывших, безмолвных паровозов, называя их по именам и прозвищам: Зигль, Балдвин, Щука, Воклен, Овечка, Э-пятипарный, Компаунд, опять Овечка…

Они остановились. Перед ними была машина «О-в 401». Со странной мечтой Душин и Щеглов потрогали свой паровоз и пошли на ночлег; они оба печально почувствовали, что революция все более беднеет и постепенно проживается, машины умирают от усталости и поля стоят пустыми; но Душин верил в экономическое, целостное восстановление всего ветхого и утраченного, Щеглов же прощался с погибающим навсегда.

8

Чуняев велел навеки упразднить небольшую этапную прогонную тюрьму, где теперь жили десять человек устаревших контрреволюционеров. В эту опорожненную тюрьму поместили затем Комитет по Электроустроению Губернии, а подвалы старого здания были назначены для складов и монтажных мастерских того же комитета.

Душин оставил железнодорожную будку и совместно с Лидой поместился в сторожевой тюремной башне, где была маленькая комната и открывался вид на все страны света.

Переехав на тюремную квартиру, Лида по целым дням сидела у южного окна и глядела в порожние, будто снящиеся поля позднего лета. Учиться в совпартшколе она перестала — у нее не было понимания науки, потому что она любила ни о чем не думать, скучать сама с собой, бормотать песни, глядеть в воздух или чувствовать что-нибудь простое и грустное в своем ленивом теле. Преподаватель статистики влюбился в нее со слезами на глазах и целовал несколько раз в коридоре совпартшколы, хотя Лида не знала даже слова «статистика».

— Пускай я дура, пускай клетница, пускай я пропадаю, — говорила Лида сама себе и опускала голову на подоконник.

Щеглов ей приносил книги, но черноволосая женщина не могла их долго читать — ей хотелось самой действовать и чувствовать, а не смотреть, как чувствуют другие: это слишком завидно и скучно. По вечерам ей понравилось ходить в гости к одному бывшему товарищу Душина по Институту — инженеру Стронкину, у которого была девятнадцатилетняя жена, красавица-растрепка, встававшая ежедневно в четыре часа дня.

Семен Душин видел, как жена его тоскует, но не мог беспрерывно утешать ее настроение, так как неотлучно, со всей страстью наслаждающегося ума, работал над проектами электрических станций. Он не мог ходить с ней в гости, потому что после работы старался сразу ложиться спать, чтобы беречь умственные способности для завтрашнего труда и не тратить их на пустяки ложного удовольствия. Поэтому Лида ходила одна в гости к Стронкиным. Там она заставала молодое общество: юноша-хозяин заводил старый заграничный патефон и мужающие мальчики, сами походившие чем-то на патефон, брали за руки девушек и женщин и, все время напевая про радость жизни, начинали шевелить нижними половинами туловищ. Лида танцевала без отдыха, потея от движения, теряя сознание в чуждых, очередных объятиях, в напряженной суете торжествующих звуков мелодии, в бессмысленности своего бьющегося сердца. Растрепанная хозяйка, черноволосая, как Лида, и ровесница ей, плясала в мужских штанах и пела хрипло и великолепно, как цыганка.

Угомонившись к полночи, гости садились пить чай с тонкими черными лепешками; чай подавала на стол старая кухарка-приживалка, с лицом врага рода человеческого, тут же бранившая гостей, что они обжирают весь дом и что им давно пора подохнуть с голоду. Присутствующая юная толпа смеялась в ответ и тут же, нарасхват уничтожала все твердое и жидкое на столе. Старуха-кухарка не уходила — она вслух проклинала едоков или же, взяв деревянную ложку, хлопала ею по головам слишком рвущихся к скудной еде.

— Ишь ты, ишь ты, какой вредный! — говорила старуха с яростью экономии в сердце. — Так и лопает, так и лопает, прямо не жует, а глотает, а дрова пилить их нету, а огороды копать им не хотится, а с девками задницей вертеть, а пышки чужие жрать — так вот они!.. На€ тебе! На тебе! На€ тебе! На тебе, шпана с переулка, — и старуха давала ложкой по затылку тому, кому надо, но молодые и счастливые не обижались на эту бренную старость.

Иногда кто-нибудь приносил спирт или самогон, и тогда веселое общество искало молодого, опасного наслаждения. Лиде никогда не приходилось пробовать вина, вследствие бедности и только еще прожитого детства. Однажды за столом против нее сидел юноша, он рассматривал Лиду глазами, не знающими ни рассуждения, ни прощения; он вглядывался в жену Душина таким взором, точно проваливался в нее, и мысленно уже любил эту женщину без спуска и без всякого сопротивления с ее стороны, о котором и речи быть не могло под его рукой. Он налил себе и Лиде по стакану разбавленного спирта, украшенного для аппетита сухими вишнями, и дал ей:

— Выпьем за нашу дружбу, за вашу красоту! — сказал он.

— Ну давай! — согласилась Лида, желая того, что будет.

Они выпили. Лида, узнав вино, засмеялась от ударившей ей в голову радости. К ней подошла безумная хозяйка-подруга, они обнялись и вышли на середину комнаты. Хозяйка раскрутила Лиду, потом сжала ее в своих объятиях, а Лида стала целовать подругу с невинной страстью девочки — и обе они, лаская друг друга, начали раскачиваться в такт и петь об общем, одиноком возлюбленном:

Луна взошла, все тихо стало.
Ольшанск весь спит в тиши ночной,
А в одиночке номер первый
Сидит преступник молодой…

Лиде стало грустно в этой песне, как в жизни, и она запела еще громче и печальнее:

Я ведь московского рожденья,
Китайгородского села,
А я приехал к вам, девчонки,
Добыть монету без труда…

Молодой человек, угощавший Лиду вином, встал из-за стола и хладнокровно подошел к ней, считая про себя, что дело с этой роскошной девушкой решено бесповоротно и ясно: она будет его сегодня же, даже немедленно, в его теле уже заглохла вся жизнь в определенном ожидании и нетерпении.

— Пойдем! — сказал он Лиде, когда она рассталась с косматой хозяйкой.

— Куда? — спросила Лида.

— В уборную.

— Там вонью пахнет, — отказалась Лида.

— На чердак, — предложил кавалер.

Они потихоньку исчезли из комнаты, причем Лида сделала на лице кажущееся недоумение; однако она и вправду не знала, как ей быть: стыдно ли это или ничего, или вся жизнь все равно пройдет безумно и бесследно.

На чердаке было жутко, казалось, что тут есть притаившиеся люди, и в воздухе плавал какой-то горячий сор. Молодой человек с силой машины схватил Лиду во тьме и задохнулся горлом над нею.

— Не уродуй меня! — сказала Лида, и тут же, взяв что-то тяжкое и круглое из окружающего мусора, дала этим неведомым предметом кавалеру по голове.

У нее зла не было, и не из верной любви к Душину она передумала свое чувство: она решила, что лучше будет встретиться в такой же тьме со Щегловым, а то он некрасивый, застенчивый, рука у него не действует, и он никогда не дождется никакой женщины.

Но спутник Лиды не отступил от нее; после обычной мольбы он внезапно посадил ей шишку под волосами на голове ударом кулака, затем бил по груди, ожесточаясь в бою, как в любви, и наконец с гулом мученья пропал где-то во мраке чердака. Лида, сжавши свое тело, не позволила ему ничего существенного.

Когда она сошла по лестнице в более освещенное место, то ее догнал удрученный кавалер; он нес в руках громадную черную кошку.

— Подожди же ты, стерва, наконец! — попросил он.

— Ну чего тебе, хулиган? — приостановилась Лида.

Молодой человек поднял кошку на уровень своего лица, правой рукой взял ее за хвост, левой за шею, дернул руки врозь и разорвал животное насмерть по позвонку. Кошка хряпнула и осталась лежать на земле.

При возвращении в комнату обратно Лида с интересом схватила своего спутника под руку и вошла, улыбаясь. Но молодой человек от ее вежливости и тактичной улыбки уныло загрустил. «Вот черт, — думал он, — если она такая здесь, то какая же была бы там на чердаке, если б все случилось! Эх, господи боже мой!.. Говорили, что есть законы природы — где ж они?! Дайте их Лиде, пожалуйста! Но мне только не надо — у меня есть».

Через четыре дня Лида снова пришла к Стронкиным — у них собирался большой осенний праздник. Она пригласила с собой Щеглова и привела его под руку в чужой для него дом. Стеснительный Щеглов не умел ни петь, ни танцевать, но ему нравилось быть среди веселых людей и хотя бы молчаливо участвовать во всеобщем воодушевлении. Он работал теперь чертежником на черепичном заводе: старые инженеры, служившие на том заводе, не верили, что Щеглов имеет серьезные технические знания, и взяли его на маленькую работу.

Лида веселилась весь вечер, и Щеглов заметил, что у нее было такое нетерпение к радости, как будто она чувствовала близкую смерть и спешила пожить с людьми. Под конец

она надела брюки Стронкина и спела песню, начинавшуюся словами: «Когда легковерен и молод я был, младую гречанку я страстно полюбил…» Но лицо и тело ее выражало такую кротость и такие неизгладимые черты ранней юности, что всякий почувствовал в ней обаяние, но не страсть порока.

Перед ужином все разбрелись по закоулкам квартиры, отдыхая и беседуя. Лида, не сняв штанов, позвала Щеглова выйти зачем-то наружу. Щеглов сказал, что время еще раннее и ему неохота идти ночевать в одиночестве: он был недогадлив. Лида тоже не поняла его, она подумала, что Щеглов хочет поужинать, прежде чем идти с ней. И она сказала ему шепотом:

— Пойдем, Митя! Сейчас ужин плохой — ты поешь и все равно будешь наравне с голодным… Потом поешь, мы вернемся. Семен всегда, когда бывает со мной, потом есть хочет, и корочку просит… Я тебе уворую потом…

Они вышли наружу. Луны теперь не было, в темноте вела ветхая лестница на чердак. Лида полезла первая, и Щеглов видел впереди себя ее большое колеблющееся тело. Он замер и слышал бьющуюся частоту своего сердца.

На чердаке им обоим стало жутко. Они стояли вблизи друг друга, и каждому было совестно.

— Обними меня, — сказала Лида.

Щеглов обнял ее левой рукой — тихо, как святыню.

— Скорее же, — тяжко произнесла Лида в пыльном мраке.

Щеглов, насколько мог, обнял ее одной рукой, а она прислонилась спиной к чему-то твердому, чтоб было устойчиво, и Щеглов понял разум ее поступка.

— Не могу, — сказала она.

— Что не можешь? — спросил Щеглов.

— Штаны не знаю как раздеваются.

Щеглов помог ей управиться с чужой одеждой, но она отошла от него и попросила:

— Обожди! Меня тошнит.

Она села в неизвестный хлам.

— Говорила тебе — надо скорее, пока меня не тошнило.

— Лида, у меня одна рука не действует, я не могу быстро…

Она молчала в темноте. Щеглов стоял отдельно и далеко.

— Митя! — позвала она издалека. — Иди ближе ко мне, я сама тебя обниму — у меня две руки и обои действуют…

Он подошел к ней вплотную и склонился в теплоту ее дыхания.

— Другие же хуже меня, — говорила Лида, — я же ведь знаю. Такая, как я, тебя любить не станет, а я тоже не хочу доставаться дуракам — лучше тебе… Но ты не спеши… не спеши же, тебе говорят!

Щеглов в терпении отстранился от нее.

— Мне так плохо что-то стало… Опять тошнит! Митя, я наверно скоро помру — ты будешь плакать?

— Буду, — ответил Щеглов и молча улыбнулся: он знал, что в молодости всегда чудится близкая смерть, но она наступает лишь лет через пятьдесят.

— Тебе сколько лет? — спросила Лида.

— Двадцать второй, — сказал Щеглов.

— А мне девятнадцатый идет… Знаешь что: я беременна.

Щеглов погладил ее в недоумении, а потом поцеловал в теплое лицо.

— Смотри, — сказала Лида в своей возне с чем-то, — ваши пуговички никак не застегиваются…

Они вместе, тремя руками, застегнули брюки Стронкина.

— Митя! А сколько тебе будет лет, когда моей дочке сравняется семнадцать?

— Тридцать восемь, — сосчитал Щеглов.

— Нестарый еще, — засмеялась Лида. — Можешь жениться на ней, я бы хотела. Подождешь?

— Подожду, — сказал Щеглов.

— А вытерпишь?

— Вытерплю, — пообещал Щеглов. — Все равно мне жить долго еще. Мы с тобой, как бессмертные! А может быть — ты мальчика родишь!

— Нет, девчонку, — сообщила Лида. — У меня дети будут на меня похожи, и все женщины… Я же ведь женщина!

Они спускались по лестнице обратно.

— А знаешь что! — сказала Лида посреди спуска, и остановилась. — Знаешь! — и зашептала: — Если тебе трудно станет ожидать мою дочку — приходи ко мне, меня тошнить не будет.

— А муж твой как же? — спросил Щеглов.

— Семен-то, — удивилась Лида. — А что он?.. Я есть не животное такое, чтоб жить всю жизнь в одной загородке!

— А кто же ты?

— Сама не знаю, — вздохнула Лида. — Так, что-то такое: чувствую и живу…

Они сошли вниз до самой земли. Здесь Лида снова остановилась и взяла за руку Щеглова.

— Митя! Отчего у меня в сердце иногда что-то такое кричит? А сама я молчу, не говорю ничего…

— У меня не кричит, у меня там бормочет, — сказал Щеглов.

— Что бормочет? — спросила Лида.

— Не знаю, — ответил Щеглов. — Горе какое-то!

— А у меня там не горе — так, что-то интересное такое…

Чувствуя ее руку, Щеглов думал о спутанных дебрях природы, где вырастают не только звезды или что-нибудь другое — глупое и большое, — но и мелкое сердце, бормочущее в человеке неизвестно что.

Они прошли в комнаты. Начался ужин; все с любовью начали есть пшенные котлеты, которые хозяйка-растрепка готовила своими руками, и притом как попало — с попутным сором и просяной шелухой, потому что ничем не интересовалась, кроме радости, и лицо ее не дурнело от качества еды. Кухарка Стронкиных на гостей ничего не готовила и не подавала на стол — из принципа, только осуждала расточительство в такое бедное время и расправлялась вручную со жрущей молодостью.

За ужином Лида положила Щеглову сразу две пшенные пышки, не испугавшись кухаркиной ярости.

— Ешь, — сказала она, — ешь пожалуйста! Давай думать нарочно, что на чердаке у нас с тобой все было и мы уморились.

После ужина гости остались дальше: хозяин Стронкин привлекался на краткую службу в Красную Армию и его провожали всеобщей песней того времени: «Кому в России чайник прицепили»; в песне пелось о тех, кто идет с винтовкой за плечами и с пустым чайником, гремящим на боку, — идет по большим дорогам против белых и веселится на ходу.

В час ночи неожиданно пришел Душин; он привел с собой громадного парня с розовыми девственными щеками, лет двадцати пяти. Этот парень, оглядев веселье и Лиду в штанах, сказал всем:

— Эх вы, сволочи отродье! Дать бы вам гвоздя, чтоб у каждого сразу встал вопрос о жизни или смерти!..

Так как Лида была прекрасней всех, то этот малый сразу и подошел к ней:

— Ну ты, пупочек, дай мне пышку со стола в рот!

Лида еще не знала, кто это такой, и дала ему пшенную лепешку:

— Ну на — трескай: ненормальный какой!

Но пришедший парень едва только донес еду до рта, как тут же получил «гвоздя» от кухарки — полотенцем по лицу. Парень обернулся к ней и, после мысленного мгновенья, ухватил бабу поперек и пробросил ее в дверь, мимо пригнувшихся гостей; кухарка на лету

открыла дверь и треснулась где-то в коридоре на сундук.

— Раз равноправье, — объяснил парень, — то фактически.

Душин молча оглядывал странное для него состояние людей — ведь их веселье не было основано на каком-нибудь уже достигнутом успехе, и оно представлялось Душину простой и гнусной стихией — вроде буржуазного пищевого сладострастия. От вида жены, смеющейся среди такой глупости и притом обтянутой в штаны, пропахшие неизвестным мужчиной, у Душина вначале жалобно завопило сердце; он прислушался к нему и отверг его: судьба людей решается не сердцем, а электричеством, и кроме того в Лиде его интересует лишь маленький уголок, деталь, и то лишь для того, чтобы не терять работоспособности от приставшей к нему из природы любви — и время от времени уничтожать ее в брачном акте.

Душин представил жене и Щеглову розового мощного парня — он был его служебным помощником, старшим электромехаником Иваном Жареновым; после знакомства с Лидой Жаренов не извинился перед нею за хамство у стола, но отвернулся к стороне и стал багровым от прилива силы стыда.

Вчетвером они ушли от Стронкиных, и на улице Душин попросил Лиду и Щеглова помочь ему с Жареновым ограбить старинный склеп принца Мекленбург-Шверинского.

— Нам нужны громадные средства для организации электрического хозяйства в губернии, — объяснил Душин. — Я просил у товарища Чуняева, а он говорит — подожди, госбюджета нет. А я ждать не хочу, я не могу расточать бесполезное время революции…

— Там золотая сабля лежит у принца, и эфес ее весь в бриллиантах! — сказал Жаренов. — Мне дед говорил: он сам саблю видел, при нем принца в цинковый гроб хоронили.

— А стальной косарь у тебя где? — спросил Душин.

— Дома, — ответил Жаренов. — Там и веревки лежат… Пойдемте скорей, пока ночь идет.

9

На кладбище было тихо и печально в ту черную ночь остывающего лета. Лида взяла Щеглова под его иссохшую правую руку и шла с ним, сжавшись от грусти. Она не чувствовала страха и, вглядываясь в тесноту крестов и памятников, не видела там никаких демонов и не слышала голосов с того света: значит, смерть была безвозвратной, ухитриться жить за гробом даже в виде черта будет нельзя; придется поскорее и получше жить, пока ходишь на верху земли. От этого Лида с тоскою сжимала высохшую до детской толщины руку Щеглова и сожалела, что на чердаке у Стронкиных она испугалась своей тошноты.

Душин шел передним, озабоченный мечтою об электричестве; кресты и памятники наводили на него озлобление, поскольку в них запечатлен непроизводительный, ложный труд человека.

От темноты, умноженной перекрещенными тенями деревьев и памятников, Жаренов заблудился, прежде чем найти склеп принца Мекленбургского.

Мавзолей над склепом был открыт, а на каменных плитах лежала человеческая гадость, которую теперь осветил спичкой Жаренов. Вход в нижнее погребальное помещение закрывала каменная плита.

— Ну, давайте! — сказал Душин всем. — Сначала откроем вход, а потом мы с Иваном спустимся туда… Ну, беритесь разом, а ты, Щеглов, жги спички — у тебя рука не действует…

Душин сначала поддел косарем через боковую щель каменную плиту, и все трое ухватились за подавшийся край камня… После трудов плита была свергнута на сторону, а внизу открылся мрак могилы.

— Митя! — сказал Душин Щеглову. — Вы с Лидой держите веревки здесь наверху, а мы с Ваней спустимся туда и когда крикнем — тяните нас вверх… Лидка, ты держи первая, у тебя руки здоровые…

Душин поводил руками во тьме могилы принца.

— Иван! Тут лестницы никакой нету, наверно, сгнила иль ее украли. Придется спускаться на веревке.

Душин и Жаренов скрылись поочередно в глушь чужого погребения, держась руками за веревку, а ногами упираясь в сырую, ветхую кирпичную стену. Лида держала веревку так, что у нее башмаки трещали от напряжения, а Щеглов помогал ей одной левой рукой.

Как только они оба пропали, так из глубины Лида сейчас же услыхала сухой крик Душина:

— Лида, кверху!

В беспамятстве всех своих сил она во мгновение вытащила из могилы сразу обоих, хотя у нее лопнули брюки по всем скреплениям.

Душин и Жаренов повалились на пол мавзолея и стали быстро дышать.

— Там воздуха нет, — сказал Жаренов. — Там мгла стоит: сосешь ее, а в грудь входит одна пустота.

— Ничего, мы привыкнем, — произнес Душин. — Там сабля золотая лежит. Косарь с тобой?

— Со мной, — сказал Жаренов. — Там два гроба: ты видал?

— Видал, а что?

— Один большой, а другой поменьше. В маленьком какая-нибудь гнида лежит иль ребенок. Надо большой гроб открывать! — советовал Жаренов.

— Ладно, — ответил Душин.

После того они еще пять раз опускались в могилу, и Лида вытаскивала их обратно, работая уже окровавленными руками. На шестом разу Душин притерпелся дышать пустым газом могилы и начал рубить косарем большой цинковый гроб. Затем он оставил Жаренова наверху таскать веревку и начал прыгать в могилу один. На десятом спуске он разверз и отнял прочь гробовую крышку и запустил свои руки в прах и скверну принца, чтобы схватить золотую саблю, украшенную бриллиантами. Но в руки ему попадался лишь мелкий тлен мишуры и известковая пудра костей; не веря в ошибку, он стал высыпать в гробовую крышку прах очередными горстями и несколько раз вылезал на верх вместе с наполненной крышкой.

Когда в большом гробу осталось чисто, Душин обследовал всю могилу и нашел здесь, кроме второго гробика, лишь мелких погибших животных, неизвестно как попавших сюда, — сухую кожу маленькой змеи, крысиные кости, птичье перышко, паутину с дохлым пауком; все это он разглядел уже наверху при свете спички. Сабли не было: дед Жаренова либо набрехал, либо сам украл саблю. Выругавшись по-холуйски при Лиде, Душин быстро пошел с кладбища в одиночку, согнувшись от неудачи.

Щеглов и Жаренов проводили Лиду до самой тюрьмы, потому что у нее сверкало белье из разорванных брюк и ее могли обидеть хулиганы.

На другой день Душину принесли корректуру его брошюры об электроустроении губернии, и он проверял ее до полудня со всем тщанием своего скупого разума, сгорбившегося над любимой идеей.

В полдень пришел Жаренов; он украл где-то водопроводную трубу и положил ее в подвальный кладовой каземат, под канцелярией Электрического Комитета. Жаренову нечего пока было делать, и он волок разное техническое имущество отовсюду, где оно только ему попадалось: для электротехнических работ много потребуется инвентаря и приспособлений. Где Жаренову оказывали сопротивление — он грозил силой власти или просто давал «гвоздя» возражающему и тащил на плечах металлические изделия в фонд будущих электрических устройств. Но денег в электрической канцелярии не имелось вовсе, и приступить к постройке хотя бы первой электрической станции было нельзя. Жаренов обещал принести сегодня вечером несколько сот миллионов рублей двадцатого года, но неизвестно, как это выйдет. Он организовал во Дворце Труда большой платный вечер «научно-технических чудес», причем главным чудом было объявлено, что публика будет

находиться три часа под водой. Для совершения этого чуда Жаренов предполагал повесить под потолок на крюк ведро с водой — тогда публика несомненно и по существу очутится под водой. А перед этим номером Жаренов хотел поиграть немного на гармонии, рассказать какую-либо чушь из жизни и кратко побеседовать в духе научного полета на Луну.

— А тебя потом не изобьют? — спросил Душин.

— Так ведь не до смерти! — возразил Жаренов. — Ну и что ж такое! А от меня-то сколько гвоздей влетит! Я, братец ты мой, тоже буду с мясом черпать — во всю!.. Дай мне только часа на два — на три Лиду твою!

— А зачем?

— Пускай она со мной билеты продает, а потом убежит с деньгами домой!.. Мне же неудобно будет драться с деньгами в руках — еще отымут!

Душин пошел к Лиде в ее комнату в сторожевой башне, застекленной кругом — со всех стран света. Лида лежала на своей кровати и следила, как идет время кругом в виде солнечного света и уже светит к вечеру.

— Что же ты лежишь все, как ерунда какая? — обратился Душин к жене. — Учиться бросила, ничего не делаешь, нам таких не нужно!

— Не нужно? — спросила Лида. — А я вам и не даюсь — вы меня не берите. Я сама себе нужна… Я тружусь так трудно, будто хлеб пашу…

— Чем же ты трудишься?

— Я расту… Я в детстве не доросла ведь от голода!

Говорить про то, что в ней уже лежит початок ребенка, Лида не стала — она решила его украсть от мужа, убежать отсюда далеко, спрятаться с ним и родить его втайне и в одиночестве.

— Ты вот что, — сказал Душин, — сходи-ка с Жареновым в Дворец Труда и принеси оттуда деньги в мешке. У тебя есть мешок?

— Найдется, — ответила Лида и встала с кровати.

Когда они ушли, Душин долго ходил по пустой старинной тюремной крепостце; теперь во многих камерах стекла были разбиты: сквозь решетки прилетали птицы и ночевали на месте былых узников. Затем Душин сошел в подвальное помещение, в кирпичный просторный могильник, прохладный и скучный, похожий на общий склеп для бедняков. Здесь, наверно, казнили в старое время тех страшных, сосредоточенных людей, которые настолько не любили бессмысленную жизнь на свете, что без ужаса принимали смерть, потому что и тело их было частью косного мира, мысль же, блестевшая истиной, мучиться не могла и темнела в пронзенном, исхудалом теле с гордостью непобедимости, хотя и убывала навсегда.

Сейчас в подвале лежали трубы, доски, железные крючья кранов, мотки проводов, моторные части, рычаги паровых машин и даже один небольшой церковный колокол. «Может быть, он тоже годится для будущей техники!» — сказал Жаренов, когда прикатил тот колокол. И Душин решил, что колокол годиться может: для противовеса, для устойчивости или еще для чего-нибудь.

Душин сел на моторную станину и загляделся в этот милый для него мир железной мощности, в эти руки рычагов, способные перевернуть убогий груз земли, в это спокойствие верной хладнокровной диктатуры человека. Сердце Душина стало легким, ему сейчас никто не требовался — ни жена, ни человеческий друг, думать больше не надо над простором жизни — она освещена простым светом трудящейся науки, по земле надо идти и действовать, а не мучиться неподвижным размышлением и не привязываться сердцем к мнимости сердечного влечения.

Душин вынул из пиджака записную книжку, пересчитал по записи имущество в натуре, вытер тряпкой грязь и погладил рукою металл, удостоверяясь в его факте, в реальности своего счастливого чувства истины.

Уже стемнело. Душин бдительно замкнул подвал, проверил несколько раз надежность замка и пошел в комнату на сторожевой башне. Он лег на кровать Лиды и с мирным

наслаждением подумал о том моменте, когда скромный разумный ключарь всего организованного человечества запрет в вечном складе всемирно-историческую истину, такую же фактическую, вещественную и прочную, как инвентарь.

Душин задремал в изнеможении, все время наблюдая гаснущее небо, нарождение звезд, смуглый загорелый цвет сухого лета в далеких полях; он видел все это, как будущее, как близкое достояние политической экономии и боялся, что там пропадет что-либо без учета и назначения.

Лида пришла и засмеялась. Она принесла мешок с миллионами денег, собранных на вечере «чудес науки и техники». Душин тут же пересчитал все деньги с точностью и упорядочил их в пачки.

— Сеня! Дай мне рубликов на кофту и туфли: спекулянты продают, — попросила Лида. — Я ведь босая почти что хожу, и кофта вся худая — скоро груди вываливаться начнут.

Душин почувствовал жар ярости во всем теле: он мог отдать Лиде миллион золотом, если б у него были такие личные деньги, но отдать средства, назначенные для электричества, он мог только после уничтожения своего сердца, потому что в Верчовке и по всему свету носили иконы и жили костяные старушки.

— Не сметь! — закричал он, прижимая к себе мешок, как ребенка. — Не трожь ничего — это не наши деньги… Мы электрическую станцию будем строить в Верчовке! — прибавил он тише. — Там родина твоя была.

— А на шута мне теперь родина! — ответила Лида в сердечной обиде. — Я кофту хочу! Я голодала на родине… А ты жадный, ты зажиточный, ты мне не муж теперь, ты — кадет!..

— Пошла ты еще, стерва такая! — уже равнодушно сказал Душин, думая лишь о деньгах и работе. — Продай мою зимнюю куртку — купи себе что хочешь… А где Жаренов?

— А сколько дадут за твою куртку-то? — утешаясь понемногу, пытала Лида. — Мало небось!

— На юбчонку тебе хватит.

— А Ваньку Жаренова там бить, должно быть, начали, — говорила Лида. — Он мне велел убегать скорей, я схватила деньги, и рысью…

— За что бить? — спросил Душин. — Чего они трогают человека?

— Ну не знаю уж! Кричат все, что это обман, деньги назад давай, говорят, три часа под водой не было, интересу мало…

Душин загодя отнес деньги в таинственное место тюрьмы и заложил их кирпичами в стенном провале. Пока он ходил, без него явился Жаренов, битый, рваный — не только по одежде, но и по живому мясу, — но счастливый, что спас деньги.

— Ну что? Ну как там? — спросил его Душин, радуясь, что все цело.

— А ничего! — сказал Жаренов. — Я сказал всем ясно: программа, граждане, окончена, до свиданья, а публика сначала в ладоши захлопала, а потом полезла ко мне на сцену со своими ладошами. Я опять к публике: в чем дело, граждане, короче говоря! Один ко мне лезет депутатом: где три часа под водой? Я говорю: вон они — и показываю ведро на потолке. Нет, он говорит, ты давай нам правду, реально, чтоб сырость была, чтоб одежа на публике намокла! А я ему: вы же потопнете, как меньшевики, как мещане, у нас охрана труда организовалась! А он: пускай, говорит, мы ничего не боимся, у нас билеты, — и лезет ко мне на грудь. Я ему: прочь, говорю, бессознательный! Он мне: бац в грудь! Я ему пока что не отвечаю. Другой мне дает удар в щеку, третья — женщина-стерва — ухо рвать когтями начала. Я тут — да вы что, короче говоря! — и начал им всаживать гвозди с презрением. Меня повалили, но я встал постепенно и прошел по плечам и головам. Когда я шел, то ближние меня держали от испуга, но дальние били все сквозь…

— Чем били? — спросила Лида.

— Скамейками и палками, даже верхушкой вешалки, — сказал Жаренов, — руками меня было не достать.

— Больно? — допытывалась Лида.

— Боль — один момент, — ответил Жаренов.

— Ну, чем кончилось? — спросил Душин.

— Ваня, давай я тебе заштопаю дырки сейчас, — сказала Лида.

— Штопай, — согласился Жаренов и начал раздевать пиджак и рубашку. — Кончилось концом: я прыгнул в дверь, обернул кровавое лицо — я сам кровь посильней размазал — и закричал: граждане, этим номером программы мы кончаем сегодняшнее представление, короче говоря — для артиста наступает смерть!

— А они что? — спросила Лида.

— А они засмеялись… Увидели, что я кровавый бедняк, и денег им сразу стало не жалко. Лучше б уж я сразу дал им избить себя, а представления не показывал. Они бы также довольны остались… Хорошо, что я Лидку с деньгами прогнал.

Душин вздохнул с сожалением, что Жаренову все же больно было, и со счастьем, что денег теперь не отымут.

— А сколько же времени тянулось представление? — спросил он.

— Да минут тридцать тянулось, считая со всем с боем, — сказал Жаренов. — Не было же ничего, кроме этого водяного ведра.

— А ты же хотел лекцию о Луне! — произнес Душин.

Жаренов поглядел на Душина.

— Да, я хотел… Я даже начал! Но все стали кричать — не надо, долой, не надо — я и перестал. Раз вам не надо — то мне же лучше, — сказал я этой публике. Дайте мне теперь умыться и чаю напиться, я устал. Возьмите хлеб у меня в кармане.

10

Жаренов остался ночевать у Душиных и ночью увидел во сне деда, как дед порол его в детстве веткой сирени. Жаренов кричал деду, что ему больно, что его и так вечером уже били, но дед порол без отдыха и без ответа.

Проснувшись, Жаренов вспомнил деда более подробно и душевно: лучше бы он жил до сих пор и пусть бы порол Ваньку по-прежнему. Деда ведь тоже пороли: он сколько раз говорил, как старуха-принцесса Мекленбургская, баба великанского роста, любила сама пороть своих дворовых молодых мужиков, делая в себе развитие сил; она лично щупала время от времени страдающее тело, дабы наказать лишь физику, но сохранить без повреждения душу, не дав ей исчезнуть путем смерти. Эта мощная старая принцесса умерла через два дня после смерти сына, и их хоронили вместе…

— Душин, вставай скорее! — вскричал Жаренов.

Душин поднялся на кровати с безумием на лице; Лида спала отдельно и сопела заложенным носом, раскидываясь во сне ногами. Утреннее осеннее солнце уже освещало всю страну и губернию.

— Семен! — сказал Жаренов. — Знаешь что, Семен! Мы же с тобой старуху выбросили из гроба, а сын ее принц тоже помер — он лежит в маленьком гробу. А старуха была великаном, поэтому сын ее, хотя он тоже старичок, но ребенок против матери. Это его остался гробик там!

— Там сабля золотая!? — воскликнул Душин.

— Там. А мы думали, что это ребенок лежит, — там старичок! Я про своего деда вспомнил…

— Беги скорей туда, — распорядился Душин. — Не бойся: в могилы и днем никто не ходит. Я тебя на весь день от службы освобождаю…

Жаренов стал одеваться. Лида повернулась во сне на бок и полуприкрытыми, закатившимися глазами как бы глядела на Жаренова. Беспомощно, увлекательно дышал ее рот, и лицо розовело в глубоком отдыхе; волосы взбились диким черным бурьяном и оттуда, наверно, шел запах природы, покоилась тишина наслаждения. Жаренову вдруг ничего не захотелось делать — уйти и лечь в траву на солнце. Но будет неудобно перед революцией и

перед всеми неустанными товарищами по общей трудовой жизни…

— Семен, баба у тебя хороша!

— Ничего, — сказал Душин.

— Редкость! И ведь нищенка, дочь батрака — пролетарское дело, короче говоря… Только на живот толста!

— Ест всякую гадость, кормить нечем. Набьет себе в живот что попало и лежит как жирная… Кругом ведь засуха, сельское хозяйство всего боится — и солнца, и дождя, и ветра. Техники нет никакой — одни избушки, плетни да костлявые лошади, мощностью в один гектоватт. Такая лошадь может давать силы на одну лампу — свечей в сто…

— Ну да! — сказал Жаренов. — А для красоты, наверно, нужна сильная мощность, как для целого социализма.

Здесь Жаренов оделся и ушел. Скоро Лида встала и пошла печь десять картошек в тюремной пекарне.

Позавтракав, Душин пошел к Чуняеву говорить о дальнейших перспективах электричества — ждать и жить в таком положении больше нельзя: народ всюду слаб и держится не телом, а революционной душой — запасом радости и надеждой. А нам нужна не столько радость, сколько политическая экономия, основанная на электрической технике.

Чуняев, когда пришел к нему Душин, сказал всем военным людям, бывшим в его кабинете:

— Выйдите вон на полчаса. Дайте мне слово с нашим инженером сказать!

— Садись, инженер!.. Гадко ведь дело-то.

— Что — гадко? — спросил Душин.

Чуняев набил махоркой деревянную трубку и закурил, утешая дымом беспокойство в уме.

— Все гадко. Мужик весь мордуется — от засухи, от беды, от дурости — и нас замордовал. Где же твоя молния, чтоб бедность рассечь? Ты же обещал… Написал книжку?

— Написал. Она уж печатается.

— Завтрашний день прочтешь ее вслух нашему активу после партсобрания… Приходи! Я нынче вечером лягу в чулан и обдумаю твой вопрос. Ничего у тебя не выходит?

— Нет, — ответил Душин. — Пробуем средства собирать, но трудно… Рублей на тыщу золотом у нас есть кой-чего…

— Это чушь! — в размышлении произнес Чуняев. — Вот госбюджета мы тебе дать не можем, вот что зря! Так ведь у нас и нету никакого бюджета — мы живем как-то суммарно и хаотично, красноармейские остатки доедаем… Слушай, а нельзя ли без денег электричество добывать?..

— А как же, товарищ Чуняев?

— Да прямо с неба, из какой-нибудь природной пропасти — откуда хочешь!

— Ненаучно, товарищ Чуняев!

— Ну тогда не надо!.. Погоди — а науку нельзя выдумать получше, чтоб она бедноте была доступна?

— Электричество — самая дешевая наука, товарищ Чуняев. Электротехника самая верная подруга бедных масс!

— Хорошо сказал! — обрадовался Чуняев. — Люблю я жить, люблю, когда ум сверкает предо мной… Трудно нам, но трогательно в сердце: хлеба вот мало, черного чёрта! Смотрю, понимаешь, на хлеб — и вижу в нем кулака: лежит темное глупое тело и пахнет теплым навозом. Сволочь, а не пища! А революция голодает! Вот идиотизм деревянной жизни!.. Ну, ступай, дай я бандитизмом займусь, приходи завтра в клуб нашей партии… Нет — постой!

И здесь Чуняев со стеснением, с неохотой выговорил Душину про вечер во Дворце Труда.

— Зачем ты так, товарищ Душин?.. На этом ничего не построишь, на срамных копейках! Ты народ вокруг себя собери, ты организуй его силу, объясни ему нашу мысль — вот где будут твои миллиарды!.. А обманывать нам не нужно, обставлять своих товарищей

не надо — кто же тогда будет строить электричество, если ты их обманешь!..

Чуняев отвернулся на окно и умолк. Душин вышел, не сказав ничего от своей тоски.

По дороге в тюрьму Душин зашел к Щеглову на Черепичный завод; тот задумчиво чертил левой рукой шаровую мельницу, а сердцем мечтал о Лиде. Душин подождал конца занятий, а потом направился со Щегловым по вечернему городу — по тому же направлению, как, бывало, они ходили, будучи еще отроками; им тогда казалось, что в мире стоит беспрерывное лето; зима и дожди не сохранились в их памяти.

Город Ольшанск был незначительным пунктом, и только потому, что на сотни верст кругом были почти порожние пространства, за которыми нужно как-то наблюдать, Ольшанск некогда назначен был губернским городом. Прежние начальники губернии, равно как и комиссар Временного правительства, считали, что главное назначение губернского города состоит в руководстве борьбой с оврагами, поэтому в городе сильно развился ивово-прутяной промысел для производства плетней, которые затем ставились в размытые пропасти оврагов. И до нынешнего времени кое-где еще сидели старики в сенцах и плели потихоньку хворостяные огорожи для сбыта их в крестьянство и в конторы казенных земель. Остальные люди, населяющие Ольшанск, находились теперь больше всего около печек и ожидали, когда сварится что-нибудь в горшке, потому что иначе их ожидала смерть. По утрам ольшанские люди брали домашнюю нажитую утварь и шли в деревни по полевой целине, поскольку на трактах, у городских застав, жили во временных будках заградительные отряды. К вечеру население возвращалось, принося в карманах пшено, обмененное в селах на утварь, и садилось на отдых вокруг кулеша в печке, жалея, что опять много людей живет на свете и мало умерло от тифа и войны: хлеба не хватает на всех!

Сейчас был вечер. Изредка по теплой, сумеречной улице ехал крестьянин, ухитрившийся провезти мешок проса или пузырь самогона; далеко было слышно, как гремели колеса его телеги — сначала по мостовой, а затем по деревянному мосту и замирали наконец в долгом мягком мире полей, в синеве потухшего пространства.

Душин и Щеглов вышли за ближайшую заставу города, приникшего к мелкой реке. Налево был дубовый мост, справа на берегу виднелась тюрьма, и в ее сторожевой башне горел огонь — значит Лида находилась дома. На другом берегу реки лежала во мгле своего тления торфяная залежь. Друзья пошли по берегу, дошли до железнодорожной линии и снова посетили депо и свой паровоз № 401, все так же томившийся без движения на заржавленном, обросшем пути. Они залезли на тендер, и им открылся вид губернии, уходящей своими горизонтами в темноту.

— Митя! — сказал Душин. — Так жить нельзя: смотри, какой мрак кругом! Неужели нас похоронят в могилах бесследно? Ведь на свете живет Ленин!.. Давай строить электрическую станцию! Мы скоро организуем социализм и победим самую сущность материи!

Щеглов молчал: ему не нравилась гордость Душина, стремившегося к абсолютному техническому завоеванию всей вселенной; он не чувствовал в себе такой драгоценности, которая была бы дороже всего мира и была достойна господства. Щеглов имел скромность в душе и человека ставил в общий многочисленный ряд случайностей природы, не стыдясь жить в таком положении; наоборот, эта скромность осознания позволяла ему думать над несущимися стихиями естественного вещества с максимальной тщательностью и усердием, не опасаясь за потерю своего достоинства. Он не верил, что в человеке космос осознал самого себя и уже разумно движется к своей цели: Щеглов считал это реакционным возрождением птолемеевского мировоззрения, которое обоготворяет человека и разоружает его перед страшной скрежещущей действительностью, не считающейся с утешительными комбинациями в человеческой голове. Поэтому Щеглов молчал.

— Не хочешь? — спросил Душин. — Ну ладно: я и без тебя обойдусь.

— Обходись! — ответил Щеглов.

— Так ты против электричества и коммунизма? Ты не веришь?

— Нет, я не против… Ты скажи мне, по твоему проекту — сколько нужно меди на

провода?

— Хорошо, я скажу: около миллиона тонн — на первую очередь!

— До свидания! — сказал Щеглов. — С такими проектами ты не победишь даже губернской тьмы, не только мрака вечности, как ты говоришь…

— Ты дурак и сволочь!

Щеглов близко и без волнения подошел к Душину.

— Семен, ты погляди, — он указал в ночь над пустыми пахотными угодьями. — Гляди, как тихо все и темно, под нами мертвый паровоз, в животе у людей переваривается необрушенное просо и даже не хватает силы от голода, чтоб нормально билось сердце — оно бьется реже… Ты понимаешь что-нибудь?

— Ну дальше!

— Дальше вот что… Когда у нас будет хотя бы одна тысяча тонн меди, то из нее надо сначала делать копейки, а не провода…

— Ты мелкий, несчастный человек! В тебе мещанский умишко — почему я с тобой был товарищем? — понять не могу!

По мосту гремела чья-то одинокая телега, лунная заря начинала светить на востоке. Щеглов молча вытерпел слова Душина и сказал ему:

— Если бы ты слушал не свой ум, а весь тот мир, который ты хочешь завоевать для чего-то, наверно — чтоб уничтожить его, если б ты стал простым, грустным, может быть, человеком, тогда бы ты даже телегу, какая едет сейчас на мосту, мог бы использовать для электричества… Семен! — ты знаешь что? На свете много всего есть… И у нас в губернии найдется добро! Ты не мучайся из пустого воображения, ты гляди на бедные предметы, собирай их по-новому, что тебе нужно! Вот река, по мосту мужик проехал, там торфяное болото, вон тюрьма — сумей сделать из этого электротехнику…

— Ты стервец, Димитрий, и глупый человек — ты совсем не электрик!

— Пусть… Ты только не обижайся. Ну, до свидания!

— Отныне и навеки! — произнес Душин и не подал Щеглову руки.

Щеглов молча сошел с тендера и пошел ночевать в свой угол — к чужим людям.

Душин всю дорогу до тюрьмы говорил вслух ругательства и смеялся над сволочью — бывшим товарищем, добивая в себе остывающее влечение к нему.

Поднимаясь по лестнице в башню, Душин услышал музыку, играла гармония. Он открыл дверь и увидел золотую древнюю саблю, лежавшую на подоконнике, и бриллианты блестели на ее эфесе. А посреди комнаты вертелась Лида на веселых ногах, одетая в черный сверкающий шелк, подпоясанная синим кушаком и обутая в золоченые туфли; волосы ее уже были завиты в волны морские, а от всего тела исходил любовный запах духов. На кровати сидел Жаренов и играл вальс на громадной хроматической гармонии.

Душин нечаянно заинтересовался своею женою, как будто пред ним было теперь неизвестное существо, и решил любить ее беспрерывно всю жизнь. Лида действительно стала в новом наряде незнакомой женщиной, ее глаза блестели без сознания в черноте шелка и волос, и тело скрывало мучительное напряжение силы, опухающей от своего безысходного внутреннего скопления. Раньше, под одеждой из деревенских ветошек, Лида тоже была хороша, сейчас же она стала загадочной, но науки об этой загадке не было. Увидя Душина, Лида бросилась к нему со своим чувством, но Душин отстранил ее на время и стал исследовать золотую саблю; на рукоятке ее имелась черная кайма и в эту кайму были вделаны бриллианты по пятиугольнику — три бриллианта светились на месте, а от двух остались одни серебряные гнезда. Душин спросил, куда пропали два бриллианта.

— А вот платье на мне, а вон гармония, и бутылка вина под кроватью! — ответила Лида со счастьем. — Сеня! Мы их к спекулянту отнесли, мы променяли…

Душин вздрогнул и переменился от ужаса расточительности, его сердце сразу заболело, и любовь в нем к жене остановилась.

— Где этот спекулянт?! — спросил он в отчаянии пропадающей жизни. — Ведите меня сейчас же к нему, его надо арестовать!

— Сеня, он уехал уже, — сказала Лида. — Он был на вокзале, говорил, что ему надо в Москву. Теперь его нет…

Душин занемог от боли в уме, что дело электричества разрушается руками его жены и его друзей; он взял саблю, прижал ее для сохранности к себе и велел Лиде уйти из дома, куда она хочет: на земле слишком худо и бедно, чтоб заниматься шелком и любовью, — он вспомнил старуху, которую нес на руках с крестного хода в Верчовке, и страшный мир войны и капитализма. Лучше он будет жить один, согнув голову в терпении и сосредоточившись цельным сердцем на неизвестном еще, нерожденном мире социализма.

— Прочь отсюда! — приказал Душин. — И ты тоже уходи, — обратился он к Жаренову, — мне таких шикарных служащих не нужно.

— А куда? — спросила Лида, не все понимая.

— А куда хочешь… Мне не надо ни жен, ни людей!

— Насовсем уходить?

— Насовсем и навсегда!

Лида прислонилась лбом к оконному стеклу и поглядела в ночь, освещенную нищим светом луны.

— Сеня! — сказала она. — Мы думали — эти каменья дешевые… Они же маленькие — это бусы!

Душин поглядел на жену; она стояла к нему задом, смотря в темноту. «Постой, сволочь, ты задаром не уйдешь!» — решил он и выгнал Жаренова сначала одного, оставив его гармонию на месте.

— Лида! — произнес он тихо и обнял ее за плечи.

— Что, Семен? — ответила Лида и обернулась к нему; она плакала.

— Потуши свет!

Лида помолчала и улыбнулась.

— А корочку хлеба приготовить?

— Приготовь.

«Все равно! — думал Душин. — Ведь может быть в последний раз я буду тратить себя на женщину! Я сэкономлю потом!» — и разделся. Лида без обиды обняла его.

Спустя время, Душин почувствовал пустоту в голове и полное бессмыслие жизни в сердце, будто все выгорело внутри его на коротком замыкании тока. Он сел в постели и не мог сознать своего ума: вместо энергичной заботы о всемирном устройстве слабый туман равнодушия стоял в его мысли… Гудел паровоз, уходя из Ольшанска в могучие пространства темноты, и слышно было, как парили его сланцы от плохой притирки; в Верчовке и других невидимых селениях спали старушки и дети, обглоданные нуждою, и погибали от голода, а Душин погибал от наслаждения, оставляя всех без помощи, истратив бриллианты, нажитые некогда батрацкими безмолвными поколениями, на шелковую сексуальную юбку жене, дабы она еще более стала прекрасной над кротким уродством масс…

— Сеня! — сказала теплая и усталая Лида. — У спекулянта еще брюки были, жилетка и пиджачок — враз по тебе сшиты!.. Он часики золотые показывал и жамок обещал мешок. Камушков только не хватило: мы две штуки взяли… Сеня, ну дай, пожалуйста, еще один камушек — я больше просить никогда не буду!

— А спекулянт где? Ты говорила — он уехал!

— Ну пускай уехал! Я другого найду. Мне Ванька Жаренов сказывал — их много теперь, они опять разводиться стали… Сеня! Ступай отковырни, дай мне под подушку…

Душин слез с кровати.

— Вставай! — сказал он тихо.

— А что? — Лида поднялась.

— Уходи прочь отсюда, стерва!

— А куда?

— Туда! — закричал Душин с оцепеневшим сердцем, наслаждающимся собственной

яростью, и выбросил золоченые туфли и новую шелковую одежду вниз по лестнице.

Лида пошла в ночной рубахе вслед за своим платьем и там оделась в темноте. Затем она покинула тюрьму и отправилась куда-то. Где живет Щеглов, она не знала, знала только его службу и пошла на вокзал в своем роскошном наряде. Люди ей не встречались, она одна топала каблуками туфель в осенней воздушной пустоте. На вокзальной улице ей попался неизвестный поздний человек и, приостановившись, спросил у Лиды: «Даешь?» Она ответила: «Нет, я все отдала уже», — и человек прошел мимо. Вскоре встретились еще двое и спросили то же самое. Лида им опять сказала, что ничего не дает, но прибавила, что хочет продать туфли и платье, которые одеты на ней, а сама уезжает в Москву.

— Где здесь спекулянты? — спросила Лида.

— Это мы! — ответили двое. — Идем раздеваться!

— А куда?

— Тут близко…

По дороге они четырьмя руками щупали на ней платье, объясняя, что боятся купить брак и подделку. Лида не ругала их, хотя ей было больно.

— А вы продайте мне какую-нибудь юбчонку и кофточку подешевле, а то в чем же я поеду!..

— Продадим, — соглашались спекулянты.

Вскоре они остановились у калитки деревянного домика с палисадником.

— Ну пойдем! — сказал один спекулянт и отворил калитку.

— Я туда не пойду, — отказалась Лида. — Вы думаете, я не вижу, что вы охальники!.. Я все знаю… Я постою, а вы несите поскорей мне деньги и старую юбку с кофточкой, я переоденусь на улице…

Здесь спекулянты схватили ее вокруг тела, чтобы унести насильно, но Лида завизжала таким издевленным, бабьим голосом, что люди сейчас же бросили ее держать.

— Вот глотка, сволочь! Аж сера в ушах закипела! — сказал один. — Не трожь ее, Серега, сейчас обходы ходят… Обожди нас, девка!

Они ушли в калитку. Лида ждала их долго и уже хотела уйти от обмана. Но один спекулянт вернулся и принес ей чьи-то зачумленные, немытые гуни и опорки. Лида примерила те гуни поверх своего шелка — юбка оказалась ветошью, ее носила, наверно, нищенка, привязывая веревкой к животу; кофта тоже была без важности, и баба, носившая ее, не имела ни плеч, ни грудей, а только одну костлявую длину. Однако Лида не стала придираться. Она получила деньги, скинула шелк и туфли, а затем оделась нищенкой-беднячкой и пошла в опорках на вокзал.

Снова перед нею, как в детстве — в годы полевого одиночества, — опасностью встала жизнь, все показалось чужим и безразличным. С берегущим, нежным чувством Лида погладила свое тело вокруг — больше у нее ничего не было, здесь находилось все ее оружие, крепость и достоинство. «Стану веселой, гулящей, буду нахалкой, жульницей, истрачу себя поскорей — и помру! — решила Лида свою судьбу. — А что? Что будет-то? Ничего!.. Если электричество наступит, так я уж видала его — горит пузырь какой-то, а есть нечего и в голове вошки живут!» В наставшей тоске она поскребла себе голову на ходу и вдруг улыбнулась: «Я теперь не одна живу, я теперь как мешок с птичкой!..» Лида села на порог уличного входа, склонилась к своему животу и спросила: «Дочка! А — дочка! Ты цела там? Тебе не скучно? Давай водиться с тобой вдвоем: я твоя мама».

До утренней зари Лида просидела на вокзале, среди тысячи дремлющих, невзрачных людей, прижавшихся к своим мешкам. Их сон был бдителен, при каждом свистке паровоза они бросались на выход, предполагая, что это подают состав для них. Но паровозы шли в одиночку, а железнодорожное начальство развозило пассажиров лишь из того, чтобы не собирались в одну кучу миллионы людей и не разводили тифа и чумы.

Лида не спешила уезжать. Когда показался солнечный свет на ненавистных, пыльных окнах вокзала, она захотела остаться в Ольшанске, пойти к Стронкиным, найти Щеглова, выйти замуж снова…

«Не надо! Поеду одна в даль, там рожу дочку, власть теперь за бедных, за матерей, в Москве Ленин живет!..»

Снаружи загудел поезд. Народ, как был, во сне и в бреду грянул в непролазные двери. Лида подождала, пока кончится давка, и вышла после всех.

На путях стоял поезд из теплушек. Люди глядели из вагонов, боясь, что они отсюда сроду не уедут. Они настолько утомились от злобы, терпения и голода, что теперь даже подобрели. Увидя бредущую спокойную девушку, один старичок с заржавленной бородкой озаботился об ее судьбе:

— Тебе куда, дочка?

— На Москву, дедушка!

— А ну садись к нам живо! И мы на Москву! У нас здесь старухи собрались, ты у нас для запаху будешь…

Лида влезла в вагон и уехала.

11

Партсобрание в Ольшанске затянулось на позднее время, поэтому доклад Душина об электроустройстве губернии пришлось отложить. Душин узнал об этом от Чуняева заранее и направился в одиннадцать часов вечера домой. На улице шел осенний дождь, народу никого не было, около клуба горела свечка в фонаре. Только близ фонаря ходил взад-вперед одинокий человек, держа правую согнутую руку около груди; он сжался от холодного дождя и, останавливая шаги, слушал, как жалобно скрипят ставни где-то в переулке, раскачиваемые ветром непогоды. Душин сразу узнал Щеглова, но молча ушел своей дорогой. Щеглов, наверно, прочитал в газете, что будет доклад Душина об электричестве, и теперь ожидал конца собрания, когда его пустят в зал.

Дома, в тюремной башне, Душин долго смотрел в темные поля, поливаемые дождем, и думал о Лиде, исчезнувшей от него в этой мгле; он не мучился по своей бывшей жене, но его брало раздражение от психического неустройства людей и он ясно сознавал ничтожность печали своего сердца.

— Плачь, плачь, — советовал он собственному жалующемуся чувству, — но помни: ты плачешь не одно на свете, и утешать я тебя не буду!

Он лег спать и стал думать об освещенных ночах коммунистического человечества, когда марш жизни будет продолжаться круглые сутки… Проснулся он в слезах; дождь на дворе перестал — там было тихо и темно, все люди еще спали, лишь где-то далеко, в тюремном подполье, пищали крысы.

Душин вытер слезы, зажег огонь в лампе и начал читать электромагнитную теорию света Максвелла; сердце его успокоилось, он был рад, что никого нету с ним — ни Лиды, ни товарища — и никто не ворует у него силу, необходимую для улучшения положения всего трудящегося человечества. Он прочитал в книге: «Пространство, насыщенное светом солнца, делается более электропроводным, чем тьма, и в то же время только в освещенном мире, а не во мраке развивается жизнь. Вспомним теперь, что свет солнца есть электромагнитная пульсация волн высокой частоты…» — Душин читал с наслаждением и, перелистывая страницы, разглаживал их рукой и глотал слюну жадности к науке. Вскоре настало утро, Душин оделся и бросился в деятельность по борьбе с мировым расстройством…

Однажды вечером мимо тюрьмы медленно прошел Щеглов; он глядел скучными глазами на здание, где жила недавно Лида. Днем он получил письмо от Лиды из Москвы. Она писала, чтоб он жил скорее до 38 лет и женился на ее дочке, которая родится месяцев через семь; она уже видела в Москве Луначарского и ее взяли учиться в академию театрального искусства, теперь она живет в богатом доме по адресу: Арбат д. 41, общежитие юных дарований Наркомпроса. Она уехала потому, что муж — Душин выгнал ее за расточительство бриллиантов, необходимых для электричества, но она все равно будет расточать и тратить что попало всю жизнь, ей ничего не жалко, — и уехала навсегда, до

самой смерти. «Прощай, милый Димитрий Николаевич Щеглов, и поклон Ваньке Жаренову! Если будем иметь с тобою свидание, то я помню свое драгоценное обещание, хотя и мать твоей невесты. Это все равно хорошо. Здесь жить мне стало привычно, все нежничают, кормят по кусочку сыра в день, дают суп и рыбу, ученье тоже одна прелесть, но пузо растет и по танцам я плохая. Здесь везде электричество, никто не обращает никакого внимания. Странно!! Твоя милая Лидия Ивановна Вежличева! Позавчерашний день дали новый костюм?!! Свои ребята меня любят душой по-советскому, а чужие все время пристают, даже плачут, но я кладу на них одну насмешку, а то бы пришлось рожать до старости лет ради чужого удовольствия!!!»

Щеглов обошел всю тюрьму, по глухой заросшей канаве и увидел, что ограда в одном месте проломана и оттуда рабочие выносят на носилках битый кирпич. Щеглов сел в наблюдении. Вскоре из пролома вышел Жаренов и велел рабочим сыпать кирпичный щебень в одну кучу, а не как попало.

— Ваня! Тебе поклон, — сказал Щеглов.

— От кого?

— От Лиды!

— У-у! — сказал Жаренов протяжно и безразлично.

— Что вы тут делаете? — спросил Щеглов.

— Да так, кое-что! — сообщил Жаренов. — Короче говоря, электрическую станцию!.. Не отвлекай меня разговором: сейчас Душин на башне, увидит, что я не шевелюсь, — жару даст!

Щеглову понравилось, что тюрьму перестраивают в электрическую станцию, где узниками будут лошадиные силы природы, а человек свободным. Он пошел в неопределенной тоске молодости по оврагам и полевым дорогам городских окрестностей… Сгоревшая еще летом трава теперь лежала вовсе мертвой, забитая холодными дождями, ветром и прочей непогодой осени. Угрюмые облака неслись по верху, гонимые неслышной бурей, безлюдная охладелая почва лежала вокруг. Лето давно прошло, все кончилось в природе громадным несчастьем.

Щеглов отошел далеко в одиночество. Он сел на краю песчаного оврага и увидел, как мелкий, смертоносный ветер пробегал по согбенной, безвестной траве и пропадал в местной темноте, ползущей исподволь по отжившему полю. В дебрях травинок и земляных крошек лежали навзничь погибшие жучки и безымянные насекомые; Щеглов поднял одного жучка — он был мокрый, как в слезах. С ужасом огляделся Щеглов по всему пространству и сжался от безрадостности и содрогания жизни. Может быть, электричество есть тот костер, около которого соберется и согреется озябшее, потерявшее дорогу человечество, и Лида приедет тогда из далекой Москвы. Лида! Он ее не увидит больше, в революцию люди живут недолго; голод уже затомил его тело, и сухая болезнь, источив руку, перебирается через плечо в позвоночник, чтобы вскоре положить Щеглова на спину в гроб… Он пошел обратно, удивляясь случайности существования, которой он подвергся, и даже не самому существованию, а тому, что жизнь с ним сбылась так, как именно она только и могла сбыться свой единственный раз — мучительно, нечаянно и неуверенно.

Дома, в углу чужой многодетной семьи, Щеглов сел на краю стола и написал поскорее письмо Лиде, чтобы утомить свое сердце к ней: «Дорогая Лида, я живу ничего, так же, как жил. Без тебя стало скучно в городе, у нас наступила осень, идут дожди надо всей губернией. Ты, наверно, будешь великой артисткой рабочего класса и деревенской бедноты, я увижу тебя когда-нибудь в театре, и ты будешь представлять революционную радость. Ты хочешь, чтоб я дождался, когда вырастет твоя девочка-дочка, я буду жить теперь терпеливо и буду работать, чтоб твой ребенок застал на свете счастье, а не горе…»

Через месяц в партклубе состоялся доклад Душина об электроустройстве губернии. В газете «Красная губерния» об этом докладе два дня подряд печаталось объявление, поэтому в клуб загодя собрались самые серьезные люди Ольшанска: квалифицированные рабочие, старые и молодые инженеры, большевики, преподаватели Политехникума, где учился

Душин, агрономы, левые эсеры, командиры трудовой армии и прочие различные граждане. Щеглов тоже находился на задней скамейке.

За красный стол президиума вышел Чуняев и сказал:

— Товарищи! Смыслом жизни Октябрьской революции была война с буржуазией всех стран и народов и разгром ее насмерть. Теперь эта задача разрешена отлично, но в чем же сейчас будет дальнейший центральный смысл Октября — пускай из вас каждый озадачится этим обыкновенным вопросом, и что получится! Ясно, я уж думал сильней всех, что народу нужно дать в первую голову хлеб и чтение, его нужно кормить и просвещать. Далее того — нужно запустить фабрики, починить железные дороги, подумать о новых пушках, о засухе, о пулях в винтовках, потому что враги живут за границей целыми, а мы оружие потратили, обороняться нечем, а война будет еще не одна, а целая серия… И вот встает перед нами загадка жизни Октябрьской революции! В чем дело, я вас спрашиваю! Дело пахнет смертью!.. Ко мне ходят всякие служащие неизвестные люди: агрономы, скотоводы, доктора, левые эсеры и прочая интеллигенция. Один говорит, что вся загадка, весь корень жизни в землеустройстве, другой хочет многопольный севооборот (а остальное, дескать, — будь оно проклято!), третий человек считает, что надо рыть побольше полевых колодцев, тогда революции сразу легче станет, еще какой-нибудь, вроде эсера, аж волосы рвет на себе, но чтоб мужику покой дали на сто лет и рабочий жил для хлебных поселков как подсобная сила, чтоб, дескать, пролетарский город стал коллективным батраком у деревни… Но да не будет этого — прочь, я говорю таким! Никто из них не черпает вопроса с большевистской жадностью ко всемирной, хозяйственной истине! Только товарищ Душин, наш советский молодой инженер, мысленно карябнул мне сердце об электричестве, поскольку этот факт может и пахать, и сеять, и воду таскать, и поезда возить, и освещать книги читающему народу, и — всё! Эта сила, товарищи, работает по-жуткому — одна и за всех, как пролетариат в человечестве, а все другие силы природы есть паразиты электричества!.. Ну пускай теперь Душин прочтет нам свою книгу, а мы послушаем и задумаемся. Давай, Душин, — касайся больше всего, как нам организовать побольше хлеба и чтения…

К столу вышел похудевший, скромный Душин. Он негромко стал читать свое сочинение о применении электричества для социализма, и люди в зале сократили дыхание и движение от внимания к словам инженера, который сосредоточенно внедрял электротехнику в хозяйственное вещество своей убогой, болящей, но любимой родины. Душин написал книжку с сухою страстью серьезности, с бдительностью единственной веры среди многих суеверий, с печальным чувством страдания рядового народа, разоруженного войной и нищетою перед лицом природы и буржуазии, с конечным расчетом завладеть всею бесконечной природой, чтобы она превратилась навеки в огороженный, устроенный двор человечества…

В трогательных местах чтения Чуняев открыто утирал слезы на подобревших глазах, а некоторые из присутствующих в то же время равнодушно улыбались.

Душин замечал лишь эти улыбки иронии и с ненавистью поглядывал иногда в зал; только слезы и теплота большого тела Чуняева, сидевшего с ним рядом, успокаивали его. Когда Душин однажды сбился и забеспокоился, Чуняев, словно обо всем догадавшись, помог ему:

— Читай, читай… Что ты! Власть же в наших руках: пускай они ухмыляются, мы тоже не заплачем!

Душин понял, что надо быть равнодушным к улыбке врага пролетариата и электричества, и продолжал читать свое сочинение с достоинством владельца истины. Душин говорил о крайней экономичности по отношению к будущему миру людей, ибо это гораздо важнее сегодняшней любви и радости: ведь человечество еще копошится в детстве, поэтому оно способно разломать весь свет на свои игрушки и будущая общественность очутится без имущества и погибнет бездомной. Душин напрягся мыслью, он говорил сверх своей книги: электричество — вот экономия всемирного вещества от безумной растраты его в смертельный прах, в холод пространства; надо остановить бесполезных бродяг природы —

небесные водопады ветра и нижние потоки воды — и жить за их счет, не тратя и не сжигая материнской материи. Эта материя потребуется для социализма, для научного суждения о существе и назначении всей вселенной, для высшей страсти сосредоточенной общественной задумчивости. Переходная же, подсобная наша эпоха должна стараться жить путем использования бесполезного или неразрушимого — того же ветра, текущей воды, ветхих деревьев, мешающих расти новому лесу, и мертвой травы — торфа; в переходную эпоху, как в незначительное время, необходимо жить скупо, с терпеньем бедности, с напряжением всего тела на труд оборудования нового мира, с тщетой сердца, что нынешний человек есть лишь переходная, бесследная ничтожность, которая не будет иметь всемирно-исторической ценности и погибнет в забвении, как испитая заботой, устарелая фигура…

Чуняев с нежностью глядел на собрание, наполненное временными личностями, но не хотел жить в другую, более торжественную, победную эпоху — он согласен был погибать без памяти в текущий период: черт с ним, будущим счастьем, когда незнакомые люди, может быть — сукины дети, станут великолепно существовать; он работал для спасения нынешней бедноты, а не завтрашней. В тот же момент Чуняев гордился, как партийный отец, блестящим глубокомысленным инженером советской школы, выросшим полностью под теплой рукой партии. Он с важностью смотрел в залу, когда Душин касался теории или расчета электрических сил, и сдержанно смеялся, устраняя слезы трогательности из глаз. Особенно его поразили понятия дрожащей частоты тока, высокого напряжения и бродячей электромагнитной волны, — он просто захохотал от радости, а потом бормотал сам на себя ругательства за неприличие.

Оставив расчетную часть, Душин снова возвратился к людям и советовал жить теперь без роскоши, более согбенно, ибо основные истины жизни уже найдены: в общественности — это Ленин, а в производстве — электротехника. Для исполнения этих истин необходимо истратить без жалости в бою и в труде одно или два поколения; жалость и нежность, если они прихватят, затормозят чувство и рабочую волю людей, неминуемо организуют капитализм с паровой машиной.

Щеглов слушал многое из того, что сообщал Душин, со стыдом и со страхом: ему не нравилась сама угрюмая вера бывшего товарища в электричество, обещающая — хотя бы и на время — согнуть людей в беде нужды, в тщетности личной жизни и в терпении. Щеглов не понимал необходимости в такой сухой кротости, и, кроме того, Душин неверно сознавал электрическую энергию.

Бывшие преподаватели Душина сидели смирно, с умытыми лицами покорности невежеству, которое они же воспитали в суете войны в этом студенте. Только один пожилой электрофизик Преображенский улыбался самодовольно и открыто, он знал, что электричество может делать только кое-что, но далеко не все — например, пахать поле оно не может. Мир, по соображению Преображенского, давно обветшал, и человеческая мечта за последние тысячелетия не дает результата: примерным неудачником был Иисус Христос, который с горя по умершему другу Лазарю изобрел воскресение мертвых, но осуществил это изобретение лишь в опытном масштабе — в случае с Лазарем, и с самим собой; однако самого себя Иисус воскресил не вполне успешно: после воскрешения уже не было его следов на земле, значит — он погиб. И в течение двух тысяч лет никто третий не был воскрешен из умерших: настолько медленно реализуются самые необходимые изобретения в нынешнюю эпоху равнодушных, утомленных поколений. Мир был прекрасен до его сотворения или до всемирного потопа, но в организационной остужающей дисциплине, потребовавшейся для сотворения мира (вероятно, всемирной империи, с «богом» во главе), а возможно после — в мутных волнах потопа — была навсегда изуродована, запугана, растерзана свежая творческая энергия жизни — «душа»; и теперь «душа» замерла в старческой скудости, в испуге и молчании — на тысячи лет. Только изредка по «душе» человечества проходят волны воспоминания о своей прошлой свободе — тогда появляются Александр Македонский, Иисус, Ленин. Так полагал инженер Преображенский в своей склеротической, костенеющей голове, утешая себя, что близкий гроб ему не страшен, и он не ожидал, что

неизвестная рядовая «душа» нанесет ему гибельное поражение через несколько минут: «душа», оказывается, не помнила своих библейских бедствий. Преображенскому иногда самому казалось, что библия — его любимая книга — представляет собою собрание частушек древних народов, и он приходил в раздражение безверия.

Душин заканчивал. Он предложил построить три большие губернские электростанции, жгущие торф, дабы освободить земли, занятые торфом, для хлебных пашень; первая электростанция уже строится в бывшей губернской прогонной тюрьме.

Выслушав, многие не знали, что сказать, а кто знал — тот молчал некоторое время. Несколько рабочих, стесняясь, похлопали Душину в ладоши; им нравилась надежда на прочный и обильный машинный хлеб, им надоел голод с капризным, нервным мужиком.

Чуняев сурово осмотрел собрание.

— Вы что же молчите, как невежды? Или Душин самый умный? А может, он пустяками здесь выражался!..

— Совершенно верно, — сказал с места Преображенский. — Инженер Душин говорил здесь пустяки…

— А ну выйди сюда, — предложил Чуняев, — покрой Душина вслух, чтоб мы не одурели от этой магии…

Электрофизик инженер Преображенский вынул логарифмическую линейку и обратил к собранию свое умное, скучное лицо, казавшееся все еще молодым от точности худых, бледных черт. Наукой, простою как привычка, говоря на память все расчеты, а линейку держа лишь для редкого жеста, Преображенский разрушил всю фантазию Душина.

— Осветить книгу лампочкой можно, — заявлял Преображенский. — Организовать чтение для трудящихся путем проводки электричества вполне мыслимо. Для сего потребуется двести тысяч тонн меди. Организовать же хлеб, как выражается товарищ Чуняев, нельзя, — для устройства электрической пахоты нужны уже миллионы тонн той же меди, не считая стали для тросов и плугов, специальных электропередач и так далее. Конструктивных трудностей я здесь не касаюсь. Хлеб, добытый таким способом, будет настолько дорог, что, если бы мы задумали пахать путем упряжки в плуг миллиардов насекомых, хлеб показался бы нам страшно дешевым, по сравнению с электрическим хлебом…

— Эх вы, сукины сыны! — сказал Чуняев обо всех, видя, что электричество погибает. — Душин, это верно, что он говорил?

— Верно в отношении меди, — ответил Душин.

— Неверно, — ответил с места Щеглов.

— Выдь сюда, раз неверно! — обрадовался про себя Чуняев. — Крой теперь старика, чтоб чудо жизни зря не пропало! Утилизируй что-нибудь!

Щеглов также вынул логарифмическую линейку и, придерживая ее подбородком и левой рукой, стал считать металл. У него вышло, что меди нужно по десяти килограммов на десятину и по пяти килограммов на избушку, чтобы по всей губернии организовать хлеб и чтение — пахоту и свет. Получилось всего тридцать тысяч тонн на губернию, а не миллионы тонн.

— Ложь, невежественная чепуха! — крикнул с места Преображенский. — Вы не электрик!

Щеглов ответил:

— Я и не хочу быть электриком, если вошь, на которой вы предлагаете нам пахать, Георгий Михайлович, пашет дешевле электричества. Такое электричество нам не нужно…

— Правильно, товарищ, — угрюмо и чуждо сказал Чуняев.

— Такую электротехнику надо уничтожить, а не учить ей нас. Вы не электрик, Георгий Михайлович…

— Вы мальчишка! — произнес Преображенский и омертвел лицом, сжав свое сердце в терпении ненависти.

— Ничего, я тоже скоро постарею, — сказал Щеглов, краснея от стыда своего

возраста. — Товарищ Чуняев, когда у нас опять будут базарные дни?

— А черт их знает: власти у меня не хватает, я бы давно их открыл… А тебе что?

— Мне нужно…

Ночь углубилась в свое время. Четыре семилинейные лампы догорали в партийном клубе, на дворе, прозябая, скулила от голода какая-то мелкая собака — она видела свет в окнах и надеялась на сытость. В остальном городе было мирно, ничего не слышно, народ спал, экономя свои силы во сне; только изредка покрикивал маневровый паровоз на станции. Неподвижные люди, проработавшие целый день на одном пшенном кулеше, слушали Щеглова, не помня своей нужды, с глазами, застланными воображением.

…В губернии стоит зима. В базарные дни сотни деревенских подвод едут порожняком с базаров на свои сельские дворы. На базарах находятся зарядные будки, где заряжаются аккумуляторы электричеством. Потом аккумуляторы крестьянин ставит в сани и едет в свою избушку. В месяц ему нужно всего перевезти пять пудов аккумуляторов, чтобы освещать свое жилище двумя лампами. Значит — чтение можно организовать почти без проводов…

— Хлеб нужней чтения, чего дурака валять! — сказал кто-то из собрания с раздраженным могуществом в голосе.

— Георгий Михайлович! — обратился Щеглов, осмелевший от ничтожности и ошибочности общей жизни. — Проверьте меня, в чем здесь неверно! — и стал чертить мелом на доске фигуры и символы энергии. — Мы с вами сдавали зачеты в Институте, теперь сдадим перед голодающим рабочим классом…

— С вами я никаких зачетов сдавать не намерен! — ответил Преображенский.

— Как так не намерен?! — воскликнул Чуняев. — Выдь сюда, тебе говорят! Тут не Щеглов-мальчишка стоит, а взрослый рабочий класс!

Преображенский вышел к доске.

Душин спросил его:

— Если мы по тонкому медному волоску направим очень слабый ток, но очень высокой частоты и резкого содрогания — вот в радио бывает такой ток, — то что будет с воздухом вокруг нашего медного волоска?..

— Воздух из диэлектрика станет довольно хорошим проводником! — сразу и равнодушно ответил Преображенский. — Воздушный слой вокруг медного волоска будет обладать способностью проводить энергию наравне примерно с углем… Что из этого?

— Из этого? — переспросил Щеглов и покраснел из счастливого сердцебиения: природа отдавалась его непретендующему разумению. — Мы, Георгий Михайлович, сильные токи не собираемся передавать на поля по толстым медным жилам. Мы проведем туда волоски в сотую миллиметра сечением! А сильный ток будем передавать по воздуху около этих волосков!.. Вам нужны миллионы тонн меди, а нам два-три десятка тысяч!

Чуняев оглядел собрание и вытер глаза от прилива настроения.

— Ученый! — сказал он к Преображенскому. — Допустимо ли пахать на волоске, или это — дурачество, по-твоему?!

Преображенский проверял расчет Щеглова на доске; он там замедлился, потом обернул к публике беззащитное, странное лицо, побледневшее настолько, что видны стали тени его костей, и ответил в тишине зоркого немого народа:

— Надо проверить в тяжелой работе. Но это — верно! — и Преображенский упал на пол омертвелым туловищем: сознание сразу устало в нем думать, и сердце сбилось с такта своей гордости.

— Ничего: он очухается! — определил Чуняев, когда люди пришли на помощь Преображенскому.

Здесь в залу пришел с улицы человек и дал Чуняеву бумагу в руки. Чуняев сначала прочел сам, а потом обратился во всеуслышание:

— Погодите там копаться!.. Из Москвы пришло радио по воздуху: там через четыре дня открывается Всероссийский съезд Советов и выступит Владимир Ильич! А после инженер товарищ Кржижановский сделает доклад об… об чем-то это такое?.. Сердце-

сволочь истратилось на войне, ни музыки слышать, ни гения читать — никак не могу: прет слеза, и шабаш! Читай-ка сам! — он отдал телеграмму радиотелеграфисту.

— Доклад товарища Кржижановского об электрификации всей страны! — сказал тот на память.

Люди на собрании встали со своих сидячих мест и задумались на ногах.

— Так, значит, мы правду тут думали! — в тревоге своей радости произнес Чуняев. — Социализм, стало быть, это электричество в бедняцких руках. И больше нет ничего! Это молния, товарищи!! Да здравствуют теперь наши все инженеры — Душин, Щеглов и этот лежачий товарищ Преображенский! Пускай республика привыкает теперь есть хлеб и читать книги великих умов!.. Всё! Пойдем спать по семействам!

Собрание повернулось к инженерам и создало им овацию славы. Поднявшийся Преображенский тоже хлопал ладонями по отношению к Щеглову, не слышав слов Чуняева.

На улице происходила сухая метель устанавливающейся темной зимы. Душин и Щеглов вышли нечаянно рядом. Душин не обижался на успех Щеглова; ум его сосредоточился теперь на сознании своей бедности талантом и еще лучше стал убежденным в том, что миру нужнее всего такое тщательное и осмысленное устройство, при котором истина и благо вырабатывались бы автоматически, без мучительного смертного напряжения; то, что один падает в обморок, а другой пользуется случайным соображением — это есть доказательство всемирного расстройства и беда безумия, — и Душин снова с удовлетворением чувствовал в себе сейчас истину и любил электричество.

— Митя! — сказал он Щеглову. — Давай снова дружить со мной!

— Давай! — согласился Щеглов. — Я с тобой не расходился, ты меня отогнал от себя.

— Нет, мир страшен, кругом стихия природы, контрреволюция, никаких вещей нету… А мы с тобой тоже предметы, нам нельзя терять друг друга и расходиться…

— Ты не знаешь ничего про Лиду? — спросил Щеглов.

— Нет, — сказал Душин. — При чем тут Лида? Что красивая? Все люди должны быть прекрасными — это вопрос пролетариата и электротехники.

— Не скучаешь по ней?

— Нет. Она глупая оказалась. Как ты изобрел передачу больших сил по волоску?

— Я не изобретал. Я читал Максвелла, потом Маркони и продолжил их мысли для нашей пахоты. Ты ведь тоже с Преображенским изучал свет и высокую частоту!

— Мы тоже изучали, — ответил Душин.

Дома Щеглов неслышно разделся, чтобы не будить спящее семейство домохозяина, и залез под одеяло в своем углу. Рука его болела от непогоды, он всю ночь ворочался, бормотал и видел разные короткие сны: вдруг Лида приехала обратно и подходит к нему: «Митя! Как же ты живешь так? У тебя ведь нет белья, ты спишь на сундуке, тебе хрустко, одеяло засалилось, по тебе клопы лазают… Иди ко мне!» Щеглов пробуждался, и действительно обирал с себя клопов, а потом поскорее засыпал, чтобы продолжать видеть Лиду, но она пропала на всю ночь. Лишь под утро — на мгновение, в шуме проснувшихся ребятишек хозяина — он увидел в бреду дремоты новую юную Лиду, черноволосую, невинную и простую, а где-то в отдалении стояла старая Лида, седая мать, и звала их обоих — Щеглова и свою молодую дочь, но куда она звала — было неслышно.

Щеглов проснулся. Одевшись, он вышел наружу. Повсюду лежал светлый, далекий снег, тихо стояли деревья; голоса людей звучали, как счастливые, в испитом прохладном воздухе зимы. Щеглов ушел в поле и проходил там весь день, забыв про службу на черепичном заводе. Вечером он пришел к своему холодному паровозу № 401, забрался в его будку и заснул там у пустого котла, ничего не евши.

Ночью он встал, оправился и хотел сейчас же пойти на вокзал и уехать в Москву, чтобы увидеть там Лиду, жить в центре революции и наслаждаться каким-нибудь счастьем. Он долго размышлял в недоумении, потом заплакал и растер слезы, опустив лицо на рукав правой высохшей руки.

Терпеливое забвение простиралось вокруг него по всей губернии, — Щеглов огляделся

и опомнился.

— Нет, я здесь буду жить…

Все главные безымянные люди трудятся на революцию здесь, в самых скучных местах мира, и слава или наслаждение в теперешнее время были бы для них срамом.

Щеглов покинул паровоз и пошел к дому мимо кладбища, где лежали в земле его отец с матерью, братья и сестры, мертвые навсегда, забытые всем человечеством. Он решил пожить на свете еще лет двадцать или тридцать; он хотел увидеть когда-нибудь Лиду и ее выросшую дочь в летнем свете нового мира, когда наступят на земле неизвестная радость и неизвестное горе. В полное, сокрушительное покорение всемирного вещества Щеглов как настоящий инженер не верил, он чувствовал человека лишь как незначительное существо среди обыкновенных событий природы, — он был для человека беспристрастным товарищем, желающим ему освобождения из царства всякой мнимости, даже от мнимости своего всемогущества.

Но где свобода? — Она лежит далеко в будущем — за горами труда, за новыми могилами мертвых.